

ИГОРЬ И
МИХАИЛ

8



1963

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIX

№ 8

Август, 1963 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

А. ТВАРДОВСКИЙ — Теркин на том свете	Стр. 3
МИХАИЛ ШИТОВ — Березовские поворотки, рассказ	43
А. КОВТУН — Севастопольские дневники	75
АХМЕД ЕРИКЕЕВ — Два стихотворения. С татарского. Перевел Семен Липкин	156
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
Н. РЫЛЕНКОВ — Ветер времени	157
ПУБЛИЦИСТИКА	
О. ГОРЧАКОВ — Группа «Максим»	170
ПРОБЛЕМЫ НАУКИ	
А. ШАРОВ — Противовирусная битва	187
ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ	
ПОЛИНА ВИНОГРАДСКАЯ — Последний рейс (Воспоминания о Я. М. Свердлове)	208
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
М. КУЗНЕЦОВ — Социалистический реализм и модернизм	220
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	246
Л. Фейгина. Поэт и его переводчики.— Ю. Буртин. Беллетристика и публицистика.— О. Михайлов. Читатель не верит на слово...— С. Кайдаш. Две книги о Лесе Украинке.— С. Штут. Поэзия критики.— Л. Николаев. Режиссеры о комедии.— Л. Копелев. Месть доброго человека.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	268
К. Оболенский. Боевое оружие строителей коммунизма.— Ю. Бочкарев. Острая проблема — Сергей Львов — Документы великой дружбы.— Л. Зенкевич. Удивительные животные.— Л. Новикова. Много ли мы знаем о Латинской Америке?	
КОРОТКО О КНИГАХ	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

А. ТВАРДОВСКИЙ

★

ТЕРКИН НА ТОМ СВЕТЕ

Тридцати неполных лет —
Любо ли не любо —
Прибыл Теркин на тот свет,
А на этом убыл.

Убыл-прибыл в поздний час
Ночи новогодней.
Осмотрелся в первый раз
Теркин в преисподней...

Так пойдет — строка в строку —
Вразворот картина.
Но читатель начеку:
— Что за чертовщина!

— В век космических ракет,
Мировых открытий —
Странный, знаете, сюжет.
— Да, не говорите...

— Ни в какие ворота.
— Тут не без расчета...
— Подоплека не проста.
— То-то и оно-то...

И держись: наставник строг —
Проникает с первых строк...

Ах, мой друг, читатель-дока,
Окажи такую честь:
Накажи меня жестоко,
Но изволь сперва прочесть.

Не спеши с догадкой плоской
Точно критик-грамотей
Всюду слышать отголоски
Недозволенных идей.

И с его лихой ухваткой
Подводить издалика —
От ущерба и упадка
Прямо к мельнице врага.

И вздувать такие страсти
Из запаса бабьих снов,
Что грозят Советской власти
Потрясением основ.

Не ищи везде подвоха,
Не пугай из-за куста.
Отвыкай. Не та эпоха —
Хочешь, нет ли, а не та!

И доверься мне по старой
Доброй дружбе грозных лет:
Я за зря тебе не стану
Байки бзять про тот свет.

Суть не в том, что рай ли с адом,
Черт ли, дьявол — все равно:
Пушки к бою едут задом,—
Это сказано давно..

Вот и все, чем автор вкратце
Упреждает свой рассказ,
Необычный, может стать,ся,
Странный, может быть, подчас.

Но — вперед. Перо запело.
Что к чему — покажет дело.

Повторим: в расцвете лет,
В самой доброй силе
Ненароком на тот свет
Прибыл наш Василий.

Поглядит — светло, тепло,
Ходы-переходы —
Вроде станции метро,
Чуть пониже своды.

Перекрытие — не чета
Двум иль трем накатам.
Вот где бомба ни черта
Не проймет — куда там!

(Бомба! Глядя в потолок
И о ней смекая,
Теркин знать еще не мог,
Что — смотря какая.

Что от нынешней — случись
По научной смете —
Так, пожалуй, не спасись
Даже на том свете.)

И еще — что явь, что сон —
Теркин не уверен,
Видит, валенками он
Наследил у двери.

А порядок, чистота —
Не приткнуть окурок.
Оробел солдат спроста
И вздохнул:
— Культура...

Вот такие бы везде
Зимние квартиры.
Поглядим — какие где
Тут ориентиры.

Стрелка «Вход». А «Выход»? Нет.
Ясно и понятно:
Значит, пламенный привет,—
Путь закрыт обратный.

Значит, так тому и быть,
Хоть и без привычки.
Вот бы только нам попить
Где-нибудь водички.

От неведомой жары
В горле зачерствело.
Да потерпим до поры,
Не в новинку дело.

Видит парень, как туда,
К станции конечной,
Прибывают поезда
Изо мглы предвечной.

И выходит к поездам,
Важный и спокойный,
Того света комендант —
Генерал-покойник.

Не один — по сторонам
Начеку охрана.
Для чего — судить не нам,
Хоть оно и странно:
Раз уж списан ты сюда,
Кто б ты ни был чином,
Впредь до страшного суда
Трусить нет причины.

По уставу, сделав шаг,
Теркин доложил:
Мол, такой-то, так и так,
На тот свет явился.

Генерал, угрюм на вид,
Голосом усталым:
— А с которым. — говорит,—
Прибыл ты составом?

Теркин — в струнку, как стоял,
 Тем же самым родом:
 — Я, товарищ генерал,
 Лично пешим ходом.

— Как так пешим?
 — Виноват.
 (Строги коменданты!)
 — Говори, отстал, солдат,
 От своей команды?

Так ли, нет ли — все равно
 Спорить не годится.
 — Ясно! Будет учтено.
 И не повторится.

— Да уж тут, что нет, то нет,
 Это, брат, бесспорно,
 Потому как на тот свет
 Не придешь повторно.

Усмехнулся генерал:
 — Ладно. Оформляйся.
 Есть порядок — чтоб ты знал —
 Тоже, брат, хозяйство.
 Всех прими да всех устрой —
 По заслугам место.
 Кто же трус, а кто герой —
 Не всегда известно.
 Дисциплина быть должна
 Четкая до точки:
 Не такая, брат, война,
 Чтоб поодиночке...
 Проходи давай вперед —
 Прямо по платформе.

— Есть идти! —
 И поворот
 Теркин дал по форме.

И едва за стрелкой он
 Повернул направо —
 Меж приземистых колонн —
 Первая застава.

Тотчас все на карандаш:
 Имя, номер, дату.
 — Аттестат в каптерку сдашь, —
 Говорят солдату.

Удивлен весьма солдат:
 — Ведь само собою —
 Не положен аттестат
 Нам на поле боя.
 Раз уж я отдал концы —
 Не моя забота.

— Все мы, братец, мертвецы,
А порядок — вот он.
Для того ведем дела
Строго — номер в номер,—
Чтобы ясность тут была,
Правильно ли помер.
Ведь случалось иногда —
Рана несмертельна,
А его зашлют сюда,
С ним возись отдельно.
Помещай его сперва
В залу ожиданья...
(Теркин мельком те слова
Принял во вниманье.)

— Ты, понятно, новичок,
Вот тебе и дико.
А без формы на учет
Встань у нас, поди-ка.

Но смекнул уже солдат:
Нет беды великой.
То ли, се ли, а назад
Вороти, поди-ка.

Осмелел, воды спросил:
Нет ли из-под крана?
На него, глаза скосив,
Посмотрели странно.

Да вдобавок говорят,
Усмехаясь криво:
— Ты еще спросил бы, брат,
На том свете пива...

И довольны все кругом
Шуткой той злорадной.
Повернул солдат кру-гом:
— Будьте вы неладны...

Позади Учетный стол,
Дальше — влево стрелки.
Повернул налево — стоп,
Смотрит:
Стол проверки.

И над тем уже Столом —
Своды много ниже,
Свету меньше, а кругом —
Полки, сейфы, ниши;
Да шкафы, да вертлюги
Сзади, как в аптеке,
Книг толстенных корешки,
Папки, картотеки.
И решеткой обнесен
Этот Стол кромешный

И крошечный телефон
 (Внутренний, конечно).
 И доносится в тиши
 Точно вздох загробный:
 — Авто-био опиши
 Кратко и подробно...

Поначалу на рожон
 Теркин лезть намерен:
 Мол, в печати отражен,
 Стало быть, проверен.

— Знаем: «Книга про бойца».
 — Ну так в чем же дело?
 — «Без начала, без конца» —
 Не годится в «Дело».
 — Но поскольку я мертвец...
 — Это голку мало.
 — ...то не ясен ли конец?
 — Освети начало.

Уклоняется солдат:
 — Вот еще обуза:
 Там же в рифму все подряд,
 Автор — член союза...

— Это — мало ли чего,
 Той ли меркой мерим.
 Погоди, и самого
 Автора проверим...

Видит Теркин, что уж тут
 И беда, пожалуй:
 Не напишешь, как пришьют
 От себя начало.

Нет уж, лучше, если сам.
 И у спецконторки
 Примостившись, написал
 Авто-био Теркин.

По графам: вопрос — ответ
 Начал с предков — кто был дед.

— Дед мой сеял рожь, пшеницу,
 Обрабатывал надел.
 Он не ездил за границу,
 Связей также не имел.
 Пить — пивал. Порой без шапки
 Приходил, в ночи шумел.
 Но, помимо как от бабки,
 Он взысканий не имел.
 Не представлен был к награде,
 Не был дед передовой.
 И отмечу правды ради —
 Не работал над собой.

Уклонялся. И постольку
Близ восьмидесяти лет
Он не рос уже нисколько,
Укорачивался дед...

Так и далее — родных
Отразил и близких,
Всех, что числились в живых
И посмертных списках.

Стол проверки бросил взгляд
На его работу:
— Расписался? То-то, брат.
Следующий — кто там?

Впрочем, стой.— Перелистал,
Нет ли где помарок.
— Фотокарточки представь
В должных экземплярах.

Докажи тому Столу:
Что ж, как не запасса,
Как за всю войну в тылу
Не был ты ни часа.

— До поры была со мной
Карточка из дома —
Уступить пришлось одной,
Скажем так, знакомой...

Но суров закон Стола,
Голос тот усопший:
— Это личные дела,
А порядок общий.

И такого никогда
Не знавал при жизни —
Слышит:
— Палец дай сюда,
Обмакни да тисни.

Передернуло всего,
Но махнул рукою.
— Палец? Нате вам его.
Что еще другое?..

Вышел Теркин на простор
Из-за той решетки.
Шаг, другой — и вот он Стол
Медсанобработки.

Подошел — не миновать
Предрешенной встречи.
И, конечно же, опять
Не был обеспечен.

Не подумал, сгоряча
 Протянувши ноги,
 Что без подписи врача
 В вечность нет дороги;
 Что и там они, врачи,
 Всюду наготове
 Относительно мочи
 И солдатской крови.

Ахнул Теркин:
 — Что за черт,
 Что за постановка:
 Ну как будто на курорт
 Мне нужна путевка.
 Столько всяческой возни
 В их научном мире.

Вдруг велят:
 — А ну, дыхни,
 Рот разинь пошире.
 Принимал?
 — Наоборот.—
 И со вздохом горьким:
 — Непонятный вы народ,—
 Усмехнулся Теркин.

— Кабы мне глоток-другой
 При моем раненье,
 Я бы, может, ни ногой
 В ваше заведение...

Но солдат — везде солдат:
 То ли, се ли — виноват.
 Виноват, что в этой фляге
 Не нашлось ни капли влаги,—
 Старшина был скуповат,
 Не уважил — виноват.
 Виноват, что холод жуткий
 Жег тебя вторые сутки,
 Что вблизи упал снаряд,
 Разорвался — виноват.
 Виноват, что на том свете
 За живых мертвец в ответе.

Но молчи, поскольку — тлен,
 И терпи волюнку.
 Пропустили сквозь рентген
 Всю его начинку.

Не забыли ничего
 И науки ради
 Исписали на него
 Толстых три тетради.

Молоточком — тук да тук,
Хоть оно не больно,
Обстучали все вокруг —
Чем-то недовольны.

Рассуждают — не таков
Запах. Вот забота:
Пахнет парень табаком
И солдатским потом.

Мол, покойник со свеж́а
Входит в норму еле,
Словно там еще душа
Притаилась в теле.

Но и полных данных нет,
Снимок, что ль, нечеткий.
— Приготовься на предмет
Общей обработки.

Баня? С радостью туда,
Баня — это значит
Перво-наперво — вода.
— Нет воды горячей.
— Ясно! Тот и этот свет
В данном пункте сходны.
И холодной тоже нет?
— Нету. Душ безводный.

— Вот уж это никуда.—
Возмутился Теркин.
— Здесь лишь мертвая вода.
— Ну, давайте мертвой.

— Это — если б сверху к нам,—
Поясняет некто,—
Ты явился по частям,
То есть некомплектно.
Мы бы той тебя водой
Малость покропили,
Все детали меж собой
В точности скрепили.
И готов — хоть на парад —
Ты во всей натуре...
Приступай давай, солдат,
К общей процедуре.

Снявши голову, кудрей
Не жалеть, известно.
— Ах, валяйте, да скорей,
Мне бы хоть до места...

Раз уж так пошли дела,
Не по доброй воле,
Теркин ищет хоть угла
В мрачной той юдоли.

С недосыпу на земле,
Хоть как есть, в одеже
Отоспаться бы в тепле —
Ведь покой положен.

Вечный, сказано, покой —
Те слова не шутки.
Ну, а нам бы хоть какой,
Нам бы хоть на сутки.

Впереди уходят вдаль,
В вечность коридоры —
Того света магистраль,—
Кверху семафоры.

И видны за полверсты,
Чтоб тебе не сбиться,
Указателей персты,
Надписи, таблицы...

Строгий свет от фонарей,
Сухость в атмосфере.
А дверей — не счесть дверей,
И какие двери!

Все плотны, заглушены
Способом особым,
Выступают из стены
Вертикальным гробом.

И какую ни открой —
Ударяет сильный,
Вместе пыльный и сырой
Запах замогильный.

И у тех, что там сидят,
С виду как бы люди,
Означает важный взгляд:
«Нет. И не будет».

Теркин мыслит: как же быть,
Где искать начало?
«Не мешай руководить» —
Надпись подсказала.

Что тут делать? Наконец
Набрался отваги —
Шасть к прилавку, где мертвец
Подшивал бумаги.

Мол, приписан к вам в запас
Вечный — и поскольку
Нахожусь теперь у вас,
Мне бы, значит, койку...

Взглядом сонным и чужим
Тот солдата смерил,
Пальцем — за́ ухо — большим
Указал на двери
В глубине.

Солдат — туда,
Потянул за ручку.
Слышит сзади:
— Ах, беда
С этою текучкой...

Там за дверью первый стол,—
Без задержки следуй —
Тем же, за́ ухо, перстом
Переслал к соседу.

И вели за шагом шаг
Эти знаки всеу,
Без отрыва от бумаг
Дальше указуя.

Но в конце концов ответ
Был членораздельный:
— Коек нет. Постели нет.
Есть приклад постельный.

— Что приклад? На кой он ляд?
Как же в этом разе?
— Вам же ясно говорят:
Коек нет на базе.
Вам же русским языком...
Простыни в просушке.
Можем выдать целиком
Стружки.
Для подушки.

Соответственны слова
Древней волоките:
Мол, не сразу и Москва,
Что же вы хотите?

Распишитесь тут и там,
Пропуск ваш отмечен.
Остальное — по частям.
— Тьфу ты! — плюнуть нечем.

Смех и грех: навек почить,
Так и то на деле
Было б легче получить
Площадь в жилотделе.

Да притом, когда б живой
Слышал речь такую,
Я б ему с его «Москвой»
Показал другую.

Я б его за те слова
Спосылал на базу.
Сразу, нет ли та «Москва»,
Он бы понял сразу!

Я б ему еще вкатил
По гвардейской норме,
Что такое фронт и тыл —
Разъяснил бы в корне...

И уже хотел уйти,
Вспомнил, что, пожалуй.
Не мешало б занести
Вывод в книгу жалоб.

Но отчетлив был ответ
На вопрос крамольный:
— На том свете жалоб нет,
Все у нас довольны.

Книги незачем держать.—
Ясность ледяная.
— Так, допустим. А печать —
Ну хотя б стенная?

— Как же, есть. Пройти пустяк —
За угол направо.
Без печати — как же так.
Только это зря вы...

Ладно. Смотрит — за углом —
Орган того света.
Над редакторским столом —
Надпись: «Гробгазета».

За столом — не сам, так зам,—
Нам не все равно ли,—
— Я вас слушаю,— сказал,
Морщась, как от боли.

Полон доблестных забот,
Перебил солдата:
— Не пойдет. Разрез не тот.
В мелком плане взято.

Авторучкой повертел.
— Да и места нету.
Впрочем, разве что в Отдел
Писем без ответа...

И в бессонный поиск свой
Вникнул снова с головой.

Весь в поту, статейки правит,
Водит носом взад-вперед:
То убавит, то прибавит,

То свое словечко вставит,
То чужое зачеркнет.
То его отметит птичкой,
Сам себе и Глав и Лит,
То возьмет его в кавычки,
То опять же оголит.

Знать, в живых сидел в газете,
Дорожил большим постом.
Как привык на этом свете,
Так и мучится на том.

Вот притих, уставясь тупо,
Рот разинут, взгляд потух.
Вдруг навел на строчки лупу,
Избоченясь, как петух.

И последнюю проверку
Применяя, тот же лист
Он читает снизу кверху,
А не только сверху вниз.

Верен памятной науке,
В скорбной думе морщит лоб...

Попадись такому в руки
Эта сказка — тут и гроб!

Он отечески согретым
Увещаньем изведет.
Прах от праха того света,
Скажет: что еще за тот?

Что за происк иль попытка
Воскресить вчерашний день,
Неизжиток пережитка
Или тень на наш плетень?

Впрочем, скажет, и не диво,
Что избрал ты зыбкий путь.
Потому — от коллектива
Оторвался — вот в чем суть.

Задурил, кичась талантом, —
Да всему же есть предел --
Новым, видите ли, Дантом
Объявиться захотел.

Как же было не в догадку —
Просто вызвать на бюро
Да призвать тебя к порядку,
Чтобы выправил перо.

Чтобы попусту бумагу
На авось не тратил впредь:
Не писал бы этак с маху —
Дал бы планчик просмотреть.

И без лишних притязаний
Приступал тогда к груди,
Да последних указаний
Дух всегда имел в виду.

Дух тот брал бы за основу
И не ведал бы прорух...

Тут, конечно, автор снова
Возразил бы:
— Дух-то дух.
Мол, и я не против духа,
В духе смолоду учен.
И по части духа —
Слуха,
Да и нюха —
Не лишен.

Но притом вопрос не праздный
Возникает сам собой:
Ведь и дух бывает разный —
То ли мертвый, то ль живой.

За свои слова в ответе
Я недаром на посту:
Мертвый дух на этом свете
Различаю за версту.

И не той ли метой мечен
Мертвых слов твоих набор.
Что ж с тобой вести мне речи —
Есть с живыми разговор!

Проходите без опаски
За порог открытой сказки
Вслед за Теркиным моим —
Что там дальше — поглядим.

Помещенья вроде ГУМа —
Ходишь, бродишь, как дурной.
Только нет людского шума —
Всюду вечный выходной.

Сбился с ног, в костях ломота,
Где-нибудь пристать охота.

Галереи — красота,
Помещений бездна,
Кабинетов до черта,
А солдат без места.

Знать — не знает, где привал
Маяты бессонной,
Как тот воин, что отстал
От своей колонны.

Догони — и с плеч гора,
Море по колено.
Да не те все номера,
Знаки и эмблемы.

Неизвестных столько лиц,
Все свои, все дома.
А солдату — попадись
Хоть бы кто знакомый.

Всем по службе недосуг,
Смотрят, не вникая...
И не ждал, не думал — вдруг
Встреча. Да какая!

В двух шагах перед тобой
Друг-товарищ фронтовой.

Тот, кого уже и встретить
Ты не мог бы в жизни сей.
Но и там — и на том свете —
Тоже худо без друзей...

Повстречал солдат солдата,
Друга памятных дорог,
С кем от Бреста брел когда-то,
Пробираясь на восток.

С кем расстался он, как с другом
Расстается друг-солдат,
Второпях — за недосугом
Совершить над ним обряд.

Не посетуй, что причалишь
К месту сам, а мне — вперед.
Не прогневайся, товарищ.
И не гневается тот.

Только, может, в миг прощальный,
Про себя, живой солдат
Тот безропотно-печальный
И уже нездешний, дальний,
Протяженный в вечность взгляд
Навсегда в душе отметит,
Хоть уже дороги врозь...

— Друг-товарищ, на том свете —
Вот где встретиться пришлось...

Вот он — в блеклой гимнастерке
Без погон —
Из тех времен.
Значит, все, — подумал Теркин. —
Я — где он.
И все — не сон.

— Так-то, брат.— Слова излишни.
Поздоровались. Стоят.
Видит Теркин: друг давнишний
Встрече как бы и не рад.

По какой такой причине —
На том свете ли обвык,
Или, может, старше в чине
Он теперь, чем был в живых?

— Так-то, Теркин.
— Так, примерно:
Не понять — где фронт, где тыл.
В окруженье — в сорок первом —
Хоть какой, но выход был.

Был хоть суткам счет надежный,
Был хоть запад и восток,
Хоть в пути паек подножный,
Хоть воды, воды глоток!

Отоспись в чашобе за день,
Ночью двигайся. А тут?
Дай хоть где-нибудь присядем —
Ноги в валенках поют...

Повернули с тротуара
В глубь задворков за углом,
Где гробы порожней тарой
Были свалены на слом.

Размещайся хоть на дневку,
А не то что на привал.
— Доложи-ка обстановку,
Как сказал бы генерал.

Где тут линия позиций,—
Жаль, что карты нет со мной.
Ну, хотя б — в каких границах
Расположен мир иной?..

— Генерал ты больно скорый,
Уточнился бы сперва:
Мир иной — смотря который,—
Как-никак их тоже два.

И от ног своих разутых,
От портянок отвлечен,
Теркин — тихо:
— Нет, без шуток?..
Тот едва пожал плечом.

— Ты-то мог не знать -- заглазно;
Есть тот свет, где мы с тобой,
И, конечно, буржуазный
Тоже есть, само собой.

Всяк свои имеет стены
При совместном потолке.
Два тех света, две системы,
И граница на замке.

Тут и там свои уставы
И, как водится оно,—
Все иное — быт и нравы...
— Да не все ли здесь равно?

— Нет, брат,— все тому подобно,
Как и в жизни — тут и там.

— Но позволь: в тиши загробной
Тоже — труд, и капитал,
И борьба, и все такое?..

— Нет, зачем. Какой же труд,
Если вечного покоя
Обстановка там и тут.

— Значит, как бы в обороне
Загорают — тут и там?
— Да. И, ясно, прежней роли
Не играет капитал.

Никакой ему — лазейки,
Вечность вечностью течет.
Денег нету ни копейки,
Капиталу только счет.

Ну, а в части распорядка —
Наш подъем — для них отбой,
И поверка и зарядка
В разный срок, само собой.

Вот и все тебе известно,
Что у нас и что у них.

— Очень, очень интересно...—
Теркин в горести поник.

— Кто в иную пору прибыл,
Тот как хочешь, а по мне —
Был бы только этот выбор —
Я б остался на войне.

На войне о чем хлопчешь?
Ждешь скорей ее конца.
Что там слава или почесть
Без победы для бйца.

Лучше нет — ее, победу,
Для живых в бою добыть.
И давай за ней по следу,
Как в жару к воде — попить.

Не о смертном думай часе —
В нем ли главный интерес:
Смерть — она всегда в запасе,
Жизнь — она всегда в обрез.

Так ли, друг?
— Молчи, вояка,
Время жизни истекло.
— Нет, скажи: и так, и всяко,
Только нам не повезло.

Не по мне лежать здесь лежем,
Да уж выписан билет.
Ладно, шут с ним, с зарубежным,
Говори про наш тот свет.

— Что ж, вопрос весьма обширен.
Вот что главное усвой:
Наш тот свет в загробном мире —
Лучший и передовой.

И поскольку уготован
Всем нам этак или так,
Он научно обоснован,
Не на трех стоит китах.

Где тут пекло, дым иль копать
И тому подобный бред?
— Все же, знаешь, сильно топят,—
Вставил Теркин,— мочи нет.

— Да не топят, зря не сетуй,
Так сдается иногда,
Кто по-зимнему одетый
Транспортирован сюда.

Здесь ни холодно, ни жарко —
Ни полена дров, учти.
Точно так же — райских парков
Даже званья не найти.

С басней старой все несходно —
Где тут куши и сады?
— А нельзя ль простой природной
Где-нибудь глотнуть воды?

— Забываешь, Теркин, где ты,
Попадаешь в ложный след:
Потому воды и нету,
Что, понятно, спросу нет.

Недалек тот свет соседний,
Там, у них, на старый лад —
Все пустые эти бредни:
Свежесть струй и адский чад.

И запомни, повторяю:
Наш тот свет в натуре дан:
Тут ни ада нет, ни рая —
Тут — наука, там — дурман...

Там у них устои шатки,
Здесь фундамент нерушим.
Есть, конечно, недостатки, —
Но зато тебе — режим.

Там, во-первых, дисциплина
Против нашенской слаба.
И, пожалуйста, картина:
Тут — колонна, там — толпа.

Наш тот свет организован
С полной четкостью во всем:
Распланирован по зонам,
По отделам разнесен.

Упорядочен отменно —
Из конца пройди в конец.
Посмотри: Отдел военный,
Он, понятно, образец.

Врать привычки не имею,
Ну, а ежели соврал,
Так на местности виднее, —
Поднимайся, генерал...

И в своем строю лежачем
Им предстал сплошной грядой
Тот Отдел, что обозначен
Был армейскою звездой.

Лица воинов спокойны,
Точно видят в вечном сне,
Что, какие были войны,
Все вместились в их войне.

Отгремел их край передний,
Мнится им в безгласной мгле,
Что была она последней,
Эта битва на земле;

Что иные поколенья
Всех пребудущих годов
Не пойдут на пополненье
Скорбной славы их рядов...

— Четкость линий и дистанций,
Интервалов чистота...
А возьми Отдел гражданский —
Нет уж, выправка не та.

Разнобой не скрыть известный —
Тот иль этот пост и вес:
Кто с каким сюда оркестром
Был направлен или без...
Кто с профкомовской путевкой,
Кто при свечке и кресте.
Строевая подготовка
Не на той уж высоте...

Теркин будто бы рассеян,—
Он еще и до войны
Дань свою отдал музеям
Под командой старшины.

Там соха иль самопрялка,
Шлемы, кости, древний кнут,—
Выходного было жалко,
Но иное дело тут.

Тут уж верно — случай редкий
Все увидеть самому.
Жаль, что данные разведки
Не доложишь никому.

Так, дивясь иль брови хмуря,
Любознательный солдат
Созерцал во всей натуре
Тот порядок и уклад.

Ни покоя, мыслит Теркин,
Ни веселья не дано.
Разобрались на четверки
И гоняют в домино.

Вот где самая отрада —
Уж за стол как сел, так сел,
Разговаривать не надо,
Думать незачем совсем.

Разгоняют скукой скуку —
Но таков уже тот свет:
Как ни бьют — не слышно стуку,
Как ни курят — дыму нет.

Ах, друзья мои и братья,
Кто в живых до сей поры,
Дорогих часов не тратьте
Для загробной той игры.

Ради жизни скоротечной
Отложите тот «забой»:
Для него нам отпуск вечный
Обеспечен сам собой...

Миновал костяшки эти,
Рядом — тоже не добро:

Заседает на том свете
Преисподнее бюро.

Здесь уж те сошлись, должно быть,
Что не в силах побороть
Заседаний вкус особый,
Им в живых изъевший плоть.

Им ни отдыха, ни хлеба —
Как усядутся рядком,
Ни к чему земля и небо —
Дайте стены с потолком.

Им что ведро, что ненастье,
Отмеряй за часом час.
Целиком под стать их страсти
Вечный времени запас.

Вот с величием натуральным
Над бумагами склонясь,
Видно, делом персональным
Занялися — то-то сласть.

Тут ни шутки, ни улыбки —
Мнимой скорби общий тон.
Признает мертвец ошибки
И, конечно, врет при том.

Врет не просто скуки ради,
Ходит краем, зная край.
Как послушаешь — к награде
Прямо с ходу представляй.

Но позволь, позволь, голубчик,
Так уж дело повелось,
Дай копнуть тебя поглубже,
Просветить тебя насквозь.

Не мозги, так грыжу вправить,
Чтобы взмокнул от жары,
И в конце на вид поставить
По условиям игры...

Стой-постой! Видать персону.
Необычный индивид
Сам себе по телефону
На два голоса звонит.

Перед мнимой секретаршей
Тем усердней мечет лесть,
Что его начальник старший —
Это лично он и есть.

И упившись этим тоном,
Вдруг он, голос изменив,

Сам с собою — подчиненным —
Наставительно учтив.

Полон власти несравнимой,
Обращенной вниз, к нулю,
И от той игры любимой
Мякнет он, как во хмелю...

Отвернувшись от болвана
С гордой истовостью лиц,
Обсудить проект романа
Члены некие сошлись.

Этим членам все известно,
Что в романе быть должно
И чему какое место
Наперед отведено.

Изложив свои наметки,
Утверждают по томам.
Нет — чтоб сразу выпить водки,
Закусить — и по домам.

Дальше — в жесткой обороне
Очертил запретный круг
Кандидат потусторонних
Или доктор прахнаук.

В предуказанном порядке
Книжки в дело введены,
В них закладками цитатки
Для него застолблены.

Впережку их из книжек
На живую нитку ниже,
И с нее свисают вниз
Мертвых тысячи страниц...

За картиною картина,
Хлопцы дальше держат путь.
Что-то вслух бубнит мужчина,
Стоя в ящике по грудь.

В некий текст глаза упрятал,
Не поднимет от листа.
Надпись «Пламенный оратор» —
И мочалка изо рта.

Не любил и в жизни брэнной
Мой герой таких речей.
Будь ты штатский иль военный,
Дай тому, кто побойчей.

Нет, такого нет порядка,
Речь он держит лично сам.
А случись, пройдет не гладко,
Так не он ее писал.

Все же там, в краю забвенья,
Свой особый есть резон:
Эти длительные чтенья
Укрепляют вечный сон...

Вечный сон. Закон природы.
Видя это все вокруг,
Своего экскурсовода
Теркин спрашивает вдруг:

— А какая здесь работа,
Чем он занят, наш тот свет?
То ли, се ли — должен кто-то
Делать что-то?
— То-то — нет.

В том-то вся и заковыка
И особый наш уклад,
Что от мала до велика
Все у нас руководят.

— Как же так — без производства,—
Возражает новичок,—
Чтобы только руководство?
— Нет, не только. И учет.

В том-то, брат, и суть вопроса,
Что темна для простаков:
Тут ни пашни, ни покоса,
Ни заводов, ни станков.
Нам бы это все мешало —
Уголь, сталь, зерно, стада...

— Ах, вот так! Тогда, пожалуй,
Ничего. А то беда.
Это вроде как машина
Скорой помощи идет:
Сама режет, сама давит,
Сама помощь подает.

— Ты, однако, шутки эти
Про себя, солдат, оставь.
— Шутки!
Сутки на том свете —
Даже к месту не пристал.

Никому бы не мешая,
Без бомбежки да в тепле
Мне поспать нужда большая
С недосыпу на земле.

— Вот чудак, ужели трудно
Уяснить простой закон:
Так ли, сяк ли — беспробудный
Ты уже вкушаешь сон.

Что тебе привычки тела?
 Что там койка и постель?..

— Но зачем тогда отделы,
 И начальства корпус целый,
 И другая канитель?

Тот взглянул на друга хмуро,
 Головой повел:

— Нельзя.
 — Почему?
 — Номенклатура.—
 И примолкнули друзья.

Теркин сбился, огорошен
 Точно словом нехорошим.

Все же дальше тянет нить,
 Развивая тему:

— Ну, хотя бы сократить
 Данную Систему?
 Поубавить бы чуток,
 Без беды при этом...

— Ничего нельзя, дружок.
 Пробовали. Где там!

Кадры наши, не забудь,
 Хоть они лишь тени,
 Кадры заняты отнюдь
 Не в одной Системе.

Тут к вопросу подойти —
 Штука не простая:
 Кто в Системе, кто в Сети —
 Тоже Сеть густая.

Да помимо той Сети,
 В целом необъятной,
 Сколько в Органах — сочти!
 — В Органах — понятно.

— Да по всяческим Столам
 Список бесконечный,
 В Комитете по делам
 Перестройки Вечной...

Ну-ка, вдумайся, солдат.
 Да прикинь, попробуй:
 Чтоб убавить этот штат —
 Нужен штат особый.

Невозможно упредить,
 Где начет, где вычет.
 Словом, чтобы сократить,
 Нужно увеличить...

Теркин под локоть дружка
Тронул осторожно.
— А какая все тоска,
Просто невозможно.
Ни заботы, ни труда,
А тоска — нет мочи.
Ночь-то — да. А день куда?
— Тут ни дня, ни ночи.

Позабудь, само собой,
О зиме и лете.
— Так, похоже, мы с тобой
На другой планете?

— Нет, брат. Видишь ли, тот свет —
Данный мир забвенный,
Расположен вне планет
И самой Вселенной.

Дислокации иной —
Ясно?
— Как не ясно:
То ли дело под луной
Даже полк запасный.

Там — хоть норма голоднá
И гоняют лихо,
Но покамест есть война —
Виды есть на выход.

— Пообвыкнешь, новичок,
Будет все терпимо:
Как-никак — оклад, паек
И табак без дыма...

Теркин слышит, не поймет —
Вроде, значит, кормят?
— А паек загробный тот
По какой же норме?

— По особой. Поясню
Постановку эту:
Обозначено в меню,
А в натуре нету.

— Ах, вот так.— Глядит солдат,
Не в догадку словно.
— Ну, еще точней, оклад
И паек условный.
На тебя и на меня
Числится в расходе.
— Вроде, значит, трудодня?
— В некотором роде...

Все по форме: распишись —
 И порядок полный.
 — Ну, брат, это же — не жизнь.
 — Вон о чем ты вспомнил.
 Жизнь! И слушать-то чудно:
 Ведь в загробном мире
 Жизни быть и не должно,—
 Дважды два — четыре...

И на Теркина солдат
 Как-то сбоку бросил взгляд.

Так-то близко, далеко ли
 Новый видится квартал.
 Кто же там во власть покоя
 Перед вечностью предстал?

— Любопытствуешь?
 — Еще бы.
 Постигаю мир иной.
 — Там отдел у нас Особый,
 Так что — лучше стороной...

— Посмотреть бы тоже ценно.
 — Да нельзя, поскольку он
 Ни гражданским, ни военным
 Здесь властям не подчинен.

— Что ж, Особый есть Особый.—
 И, вздохнув, примолкли оба.

...Там — рядами, по годам
 Шли в строю незримом
 Колыма и Магадан,
 Воркута с Нарымом.

За черту из-за черты,
 С разницею малой,
 Область вечной мерзлоты
 В вечность их списала.

Из-за проволоки той
 Белой-поседелой —
 С их особою статьей,
 Приобщенной к делу...

Кто, за что, по воле чьей —
 Разберись, наука.
 Ни оркестров, ни речей,
 Вот уж где — ни звука...

Память, как ты ни горька,
 Будь зарубкой на века!

.

— Кто же все-таки за гробом
 Управляет тем Особым?

— Тот, кто в этот комбинат
Нас послал с тобою.
С чьим ты именем, солдат,
Пал на поле боя.

Сам не помнишь? Так печать
Донесет до внуков,
Что ты должен был кричать,
Встав с гранатой. Ну-ка?

— Без печати нам с тобой
Знато-перезнато,
Что в бою — на то он бой —
Лишних слов не надо.

Что вступают там в права
И бывают кстати
Больше прочих те слова,
Что не для печати...

Так идут друзья рядком.
Вволю места думам
И под этим потолком
Сводчатым, угрюмым.

Теркин вовсе помрачнел.
— Невдомек мне словно,
Что Особый ваш отдел
За самим Верховным.

— Все за ним, само собой,
Выше нету власти.
— Да, но сам-то он живой?
— И живой. Отчасти.

Для живых родной отец,
И закон, и знамя,
Он и с нами, как мертвец,—
С ними он и с нами.

Устроитель всех судеб,
Тою же порою
Он в Кремле при жизни склеп
Сам себе устроил.

Невдомек еще тебе,
Что живыми правит,
Но давно уж сам себе
Памятники ставит.

Теркин шапкой вытер лоб —
Сильно топят все же,—
Но от слов таких озноб
Пробежал по коже.

И смекает голова,
Как ей быть в ответе,
Что слыхала те слова,
Хоть и на том свете.

Да и мы о том, былом,
Речь замнем покамест,
Чтоб не быть иным числом,
Задним,— смельчаками...

Слишком памятны черты
Власти той безмерной...

— Теркин, знаешь ли, что ты
Награжден посмертно?

Ты — сюда с передовой,
Орден следом за тобой.

К нам приписанный навеки,
Ты не знал наверняка,
Как о мертвом человеке
Здесь забота велика.

Доложился — и порядок,
Получай, задержек нет.

— Лучше все-таки награда
Без доставки на тот свет.

Лучше быть бы ей в запасе
Для иных, желанных дней.
Я бы даже был согласен
И в Москву скатать за ней.

Так и быть уже. Да что там!
Сколько есть того пути
По снегам, пескам, болотам
С полной выкладкой пройти.

То ли дело мимоходом
Повстречаться с той Москвой,
Погулять с живым народом,
Да притом, что сам живой.

Ждать хоть год, хоть десять кряду,
Я б живой не счел за труд.
И пускай мне там награду
Вдвое меньшую дадут...

Или вовсе скажут: рано,
Не видать еще заслуг.
Я оспаривать не стану.
Я — такой. Ты знаешь, друг.

Я до почестей не жадный,
Хоть и чести не лишен...
— Ну, расчувствовался. Ладно.
Без тебя вопрос решен.
Как ни что, а все же лестно
Нацепить ее на грудь.

— Но сперва бы мне до места
Притулиться где-нибудь.

— Ах, какое нетерпенье,
Да пойми — велик заезд:
Там, на фронте, наступленье,
Здесь нехватка спальных мест.

Ты, однако, не печалься,
Я порядок наведу,
У загробного начальства
Я тут все же на виду.

Словом, где-нибудь приткнемся.
Что смеешься?

— Ничего.
На том свете без знакомства
Тоже, значит, не того?..

Отмахнулся друг бывалый:
Мол, с белой ведем борьбу.
— А еще тебе, пожалуй,
Поглядеть бы не мешало
В нашу стереотрубу.

— Это что же ты за диво
На утеху мне сыскал?
— Только — для загробактива,
По особым пропускам...

Нет, совсем не край передний,
Не в дыму разрывов бой,—
Целиком тот свет соседний
За стеклом перед тобой.

В четкой форме отраженья
На вопрос прямой ответ —
До какого разложенья
Докатился их тот свет.

Вот уж точно, как в музее —
Что к чему и что почем.
И такие, брат, мамзели,
То есть — просто нагишом...

Теркин слышит хладнокровно,
Даже глазом не повел.
— Да. Но тоже ведь условный
Этот самый женский пол?..

И опять тревожным взглядом
Тот взглянул, шагая рядом.

— Что условный — это да,
Кто же спорит с этим.
Но позволь и мне тогда
Кое-что заметить.

Я подумал уж не раз,
Да смолчал, покаюсь:
Не условный ли меж нас
Ты мертвец покамест?

Посмотрю — ни дать, ни взять,
Все тебе охота,
Как в живых, то пить, то спать,
То еще чего-то...

— Покурить! — И за кисет
Ухватился Теркин:
Не занес ли на тот свет
Чутьочку махорки?

По карманным уголкам
Да из-за подкладки —
С хлебной крошкой пополам —
Выгреб все остатки.

Затянулся, как живой,
Той наземной, фронтовой,
Той надежной, неизменной,
Той одной в страде военной,
В час грозы и тишины —
Вроде старой злой жены,
Что иных тебе дороже —
Пусть красивей, пусть моложе
(Да от них и самый вред,
Как от легких сигарет).

Угощаются взаимно
Разным куревом дружки.
Оба — дымный и бездымный
Проверяют табаки.

Теркин — строгий дегустатор,
Полной мерой раз и два
Потянул, вернул остаток
И рукой махнул:
— Трава.
На-ко нашего затяжку.—
Друг закашлялся:
— Отвык.
Видно, вправду мертвым тяжко,
Что годится для живых...

— Нет, а я оттуда выбыл,
Но и здесь, в загробном сне,—
То, чего не съел, не выпил,—
Не дает покоя мне.

Не добрал, такая жалость,
Там стаканчик, там другой.
А закуски той осталось —
Ах ты, сколько — да какой!

За рекой Угрой в землянке —
Только сел, а тут «в ружье!»
Не доел консервов банки,
Так и помню про нее.

У хозяйки белорусской
Не доел кулеш свиной.
Правда, прочие нагрузки,
Может быть, тому виной.

А вернее — сам повинен:
Нет — чтоб время не терять,—
И того не споловинил,
Что до крошки мог прибрать.
Поддержать в пути здоровье,
Как тот путь бывал ни крут,
Зная доброе присловье:
На том свете не дадут...

Тут, встревожен не на шутку,
Друг прервал его:
— Минутку!..

Докатился некий гул,
Задрожали стены.
На том свете свет мигнул,
Залились сирены.

Прокатился долгий вой
Над глухим покоем...

Дали вскорости отбой.
— Что у вас такое?

— Так и быть — скажу тебе,
Но держи в секрете:
Это значит, что ЧП
Нынче на том свете.

По тревоге розыск свой
Подняла Проверка:
Есть опасность, что живой
Просочился сверху.

Чтобы дело упредить,
Срочное задание:
Ну... изъять и поместить
В зале ожиданья.

Запереть двойным замком,
Подержать негласно,
Полноценным мертвецом
Чтобы вышел
— Ясно.

— И по-дружески, любя,
Теркин, будь уверен —
Я дурного для тебя
Делать не намерен.

Но о том, что хочешь жить,
Дружба, знаешь, дружбой,
Я обязан доложить...
— Ясно...
— ...куда нужно.

Чуть ли что — меня под суд.
С места же сегодня...
— Так. Боишься, что пошлют
Дальше преисподней?

— Все ты шутики шутишь, брат,
По своей хватке,
Фронта нет, да есть штрафбат,
Органы в порядке.

Словом, горе мне с тобой,—
Ну какого черта
Бродишь тут, как чумовой,
Беспокоишь мертвых.

Нет — чтоб вечности служить
С нами в тесной смычке,—
Все в живых охота жить.
— Дело, брат, в привычке.

— От привычек отвыкай,
Опыт расширяя.
У живых там, скажешь,— рай?
— Далек до рая.

— То-то!
— То-то, да не то ж.
— До чего упрямый.
Может, все-таки дойдешь
В зале в этой самой?

— Не хочу.
— Хотеть — забудь.
Да и толку мало:
Все равно обратный путь
Повторять сначала.

— До поры зато в строю —
Хоть на марше, хоть в бою.

Срок придет, и мне травую
Где-то в мире прорасти.
Но живому — про живое,
Друг бывалый, ты прости.

Если он не даром прожит,
Тыловой ли, фронтовой —
День мой вечности дороже,
Бесконечности любой.

А еще, сознаться можно,
Потому спешу домой,
Чтоб задачей неотложной
Загорелся автор мой.

Пусть со слов моих подробно
Отразит он мир загробный,
Все по правде. А приврет —
Для наглядности подсобной —
Не беда. Наоборот.

С доброй выдумкою рядом
Правда в целостности жива.
Пушки к бою едут задом.
Это верные слова...

Так что, брат, с меня довольно
До пребудущих времен.
— Посмотрю — умен ты больно?
— А скажи, что не умен?

Прибедняться нет причины:
Власть Советская сама
С малых лет уму учила —
Где тут будешь без ума!

На ходу снимала пробу,
Как усвоил курс наук.
Не любила ждать особо,
Если понял что не вдруг.

Заложила впредь задатки
Дело видеть без очков.
В умных нынче нет нехватки,
Поищи-ка дураков.

— Что искать — у нас избыток
Дураков — хоть пруд пруди,
Да каких еще набитых —
Что в Системе, что в Сети...

— А куда же их, примерно,
При излишестве таком?
— С дураками планомерно
Мы работу здесь ведем.

Изучаем досконально
Их природу, нравы, быт,
Этим делом специальный
Главк у нас руководит.

Дуракам перетасовку
Учиняет на постах.
Посылает на низовку,
Выявляет на местах.

Тех туда, а тех туда-то —
Четкий график наперед.
— Ну, и как же результаты?
— Да ведь разный есть народ.

От иных запросишь чуру —
И в отставку не хотят.
Тех, как водится, в цензуру —
На повышенный оклад.

А уж с этой работенки
Дальше некуда спешить...
Все же — как решаешь, Теркин?
— Да как есть: решаю жить.

— Только лишняя тревога.
Видел, что за поезда
Неизменно дорогой
Направляются сюда?

Все сюда, а ты обратно,
Да смекни — на чем и как?
— Поезда сюда, понятно,
Но отсюда — порожняк?

— Ни билетов, ни посадки
Нет отсюда «на-гора».
— Тормозные есть площадки,
Есть подножки, буфера...

Или память отказала,
Позабыл в загробном сне,
Как в атаку нам, бывало,
Доводилось на броне?

— Трудно, Теркин, на границе,
Много легче путь сюда...
— Без труда, как говорится,
Даже рыбку из пруда...

А к живым из края мертвых —
На площадке тормозной —
Это что — езда с комфортом —
Жаль, не можешь ты со мной
Бросить эту всю халтуру
И домой — в родную часть.

— Да, но там в номенклатуру
Мог бы я и не попасть.
Занимая в преисподней
На сегодня видный пост,
Там-то что я на сегодня?
Стаж и опыт — псу под хвост?..
Вместе без году неделя,
Врозь на вечные века...

И внезапно из тоннеля —
Вдруг — состав порожняка.

Вмиг от грохота и гула
Онемело все вокруг...
Ах, как поручни рвануло
Из живых солдатских рук.

Как хватало мертвой хваткой
Изо всех загробных сил.
Но с подножки на площадку
Теркин все-таки вступил.

Долей малой перевесил
Груз, тянувший за шинель.
И куда как бодр и весел,
Пролетает сквозь тоннель.

Комендант иного мира
За охраной суетной
Не заметил пассажира
На площадке тормозной.

Да ему и толку мало:
Порожняк и порожняк.
И прощальный генералу
Теркин ручкой сделал знак.

Дескать, что кому пригодной.
На себя ответ беру,
Рад весьма, что в преисподней
Не пришелся ко двору.

И как будто к нужной цели
Прямиком на белый свет,
Вверх и вверх пошли тоннели
В гору, в гору. Только — нет! —

Чуть смежил глаза устало,
И не стало в тот же миг
Ни подножки, ни состава —
На своих опять двоих.

Вот что значит без билета,
Невеселые дела.
А дорога с того света
Далека еще была.

Поискал во тьме руками,
Чтоб на ощупь по стене...
И пошло все то кругами,
От чего кричат во сне...

Там в страде невыразимой,
В темноте — хоть глаз коли —
Всей войны крутые зимы
И жары ее прошли.

Там руин горячий щебень
Бомбы рушили на грудь,
И огни толклись в небе,
Заслоня Млечный путь.

Там валы, завалы, кручи
Громоздилось поперек.
И песок сухой, сыпучий
Из-под ног бессильных тек.

И мороз по голой коже
Драл ножовкой ледяной.
А глоток воды дороже
Жизни, может, был самой.

И до робкого сознания,
Что забрезжило в пути,—
То не Теркин был — дыханье
Одинокое в груди.

Боль была без утоленья
С темной тяжкою тоской.
Неисходное томленье,
Что звало принять покой...

Но вела, вела солдата
Сила жизни — наш ходатай
И заступник всех верней,—
Жизни бренной, небогатой
Золотым запасом дней.

Как там смерть ни билась круто,
Переменчива борьба,
Час настал из долгих суток,
И настала та минута —
Дотащился до столба.

До границы. Вот — застава,
Поперек дороги жердь.
И дышать полегче стало,
И уже сама устала
И на шаг отстала Смерть.

Вот уж дома — только б ноги
Перекинуть через край.
Но не в силах без подмоги,
Пал солдат в конце дороги.
Точка, Теркин. Помирай.

А уж то-то неохота,
Никакого нет расчета,
Коль от смерти ты утек.
И всего-то нужен кто-то,
Кто бы капельку помог.

Так бывает и в обычной
Нашей сутолоке здесь:
Вот уж все, что мог ты лично,
Одолел, да вышел весь.

Даром все — легко ль смириться —
Годы мук, надежд, труда...
Был бы бог, так помолиться.
А как нету — что тогда?

Что тогда — в тот час недобрый,
Испытанья горький час?
Человек, не чин загробный,
Человек, тебе подобный, —
Вот кто нужен, кто бы спас...

Смерть придвинулась украдкой,
Не проси — скупа, стара...

И за той минутой шаткой
Нам из сказки в быль пора.

В этот мир живых, где ныне
Нашу службу мы несем...

— Редкий случай в медицине, —
Слышит Теркин, как сквозь сон.

Проморгался в теплой хате,
Простыня — не белый снег,
И стоит над ним в халате
Не покойник — человек.

И хотя вздохнуть свободно
В полный вздох еще не мог,
Чует — жив! Тропой обходной
Из жары, из тьмы безводной
Душу, с телом доволок.

Словно той живой, природной,
Дорогой воды холодной
Выпил целый котелок...

Поздравляют с Новым годом.
— Ах, так вон что — Новый год!
И своим обычным ходом
За стеной война идет.

Отдохнуть в тепле не штука.
Дай-ка, думает, вздремну.

И дивится вслух наука:
— Ай да Теркин! Ну и ну!

Воротился с того света,
Прибыл вновь на белый свет:
Тут уж верная примета:
Жить ему еще сто лет!

— Точка?
— Вывернулся ловко
Из-под крышки гробовой
Теркин твой.
— Лиха концовка.
— Точка все же с запятой...

— Как же: Теркин на том свете!
— Озорство и произвол:
Из живых и сущих в нети
Автор вдруг его увел,
В мир загробный.

— А постольку
Сам собой встает вопрос:
Почему же не на стройку?
— Не в колхоз?
— И не в совхоз?
— Почему не в цех к мотору?
— Не к мартену?
— Не в забой?
— Даже, скажем, не в контору? —
Годен к должности любой.

— Молодца такой закваски —
В кабинеты — не расчет.
— Хоть в ансамбль грузинской пляски,
Так и там не подведет.

— Прозевал товарищ автор,
Не потрафил в первый ряд.
Двинуть парня в космонавты.
— В космонавты — староват.

— Впору был бы по отваге
И развитию ума.
— В космонавты?

- Нет, в завмаги!
- Ох, запутают.
- Тюрьма...
- Укрепить бы сеть Нарпита.
- Да не худо бы Жилстрой...
- А милиция забыта?
- А пожарник — не герой?..

Ах, читатель, в этом смысле
 Одного ты не учел:
 Всех тех мест не перечислить,
 Где бы Теркин подошел.

Спор о том, чьим быть герою
 При наличьи стольких свойств,
 Возникал еще порою
 Меж родами наших войск.

Теркин — тем ли, этим боком —
 В жизни воинской своей
 Близок был в раскате дней
 И с войны могучим богом,
 И гремел по тем дорогам
 С маршем танковых частей,
 И везде имел друзей,
 Оставляясь в смысле строгом
 За царицею полей.

Потому в солдатском толке,
 По достоинствам своим,
 Признан был героем Теркин
 Как бы общевойсковым...

И совсем не по закону
 Был бы он приписан мной —
 Вдруг — по ведомству какому
 Или отрасли одной.

На него уже управа
 Недействительна моя:
 Где по нраву —
 Там по праву
 Выбирает он края.

И не важно, в самом деле,
 На каком теперь посту —
 В министерстве иль артели
 Занимает высоту.

Там, где жизнь, ему привольно:
 Там, где радость, он и рад,
 Там, где боль, ему и больно,
 Там, где битва, он — солдат.
 Хоть иные батареи
 И калибры встали в строй,
 И всему иной покрой...

Автор — пусть его стареет,
Пусть не старится герой!

И такой сюжет для сказки
Я избрал не потому,
Чтобы только без подсказки
Сладить с делом самому.

Я в свою ходил атаку,
Мысль одна владела мной:
Слажу с этой, так со всякой
Сказкой слажу я иной.

И в надежде, что задача
Мне пришлось по плечу,
Я — с чего я книжку начал,
Тем ее и заключу.

Я просил тебя покорно
Прочитать ее сперва.
И теперь твои бесспорны,
А мои — ничто — права.

Не держи теперь в секрете
Ту ли, эту к делу речь.
Мы с тобой на этом свете:
Хлеб-соль ешь, а правду режь.

Я тебе задачу задал,
Суд любой в расчет беря.
Пушки к бою едут задом —
Было сказано не зря.

1954—1963.



МИХАИЛ ШИТОВ

★

БЕРЕЗОВСКИЕ ПОВЕРТКИ

Рассказ

1

Вековые заросли ельника, туманная лента Жимолохи, стелющаяся по низинам, взгорье, и на нем — одинокая деревушка Горы.

Среди неба на лысом гребне холма торчит просторный дом с дверями и окнами на все стороны света. Под его чешуйчатой кровлей соседствуют — каждый в своем углу — клуб и библиотека, совхозная контора и сельповский магазин, где можно купить спички и отрез на платье, буханку хлеба и мотоцикл.

Гребень в Горах издавна называют «верхушкой». От нее рассыпаются под откос дома с веселыми крышами, сараюшки, пестрые штaketники. Будто для надежности, чтобы не свалились в реку, все эти строения накрепко связаны бечевками троп и дорожек, между которыми летом буйствует осот, зимой вспухают сугробы.

По березовским масштабам и понятиям слово «Горы» звучит так же примерно, как «Камчатка». На карте района это крайний северо-восток, сплошь покрашенный в зеленый цвет. Отсюда начинаются чащобы ельника и корабельной сосны и идут, все набирая силу, к ледовым широтам, до кромки арктических морей. А проще так: до Березова, районного центра, от деревушки Горы без малого семьдесят километров, а если прикинуть столько же и еще полстолько, как раз попадете в областной центр. Здесь, в индустриальнейшем городе с деревьями, подстриженными по последней садово-парковой моде, о существовании Гор знает, быть может, десяток-другой человек, кому положено по штату. Да и для них неприметная деревушка не более как «глубинка», которая время от времени подает о себе вести.

Хотя жители Гор не очень печалятся на отшибе — места здешние привольны, есть своя киноустановка, и даже телевизионные антенны простирают в небо тонкие перекладины, — они рады каждому приезжему. Особенно, если он из центра...

Апрельским полуднем по откосу горского холма взбирался мужчина пенсионного возраста в черной морской шинели, с полированной палкой в руках. Теплый ветер трепал его разлетавшиеся на стороны седеющие бачки, норовил распахнуть шинель.

В ложбинах еще лежал серый, не похожий на себя снег, дорога отблескивала раскисшей глиной. Мужчина шел медленно: нащупав палкой твердую почву, ставил на нее левую ногу и, чуть волоча, подтягивал правую.

До дома на верхушке оставалось не больше полусотни шагов, когда на его крыльце показалась девушка в накинутом на голову ватнике.

— Михаил Петрович! — крикнула она. — Давайте-ка скоренько! К телефону!

Взметнув бачки, мужчина гаркнул в ответ:

— Спроси: откуда?

Девушка убежала в дом и почти тотчас выскочила обратно:

— Из райкома-а!

Михаил Петрович прибавил шагу. Палка тыкалась куда придется, правая нога непослушно соскальзывала в рытвины. Не обтирая сапог на крыльце, он бросился через сенцы в комнату направо. Лида Симакова, счетовод горского отделения совхоза «Новинский», держала наготове телефонную трубку. Густой голос, прерываемый одышкой, наполнил комнату:

— Алё! Алё! Лопатин слушает... Алё!.. Да! Конечно, нужен. Еще бы! На когда? На завтра?.. Как, говорите? Тураев? Тугаев?..

Накричавшись вдосталь, Михаил Петрович повесил трубку на рычажок, устало перевел дух.

— Чего такое?— тревожно спросила Лида, ожидавшая ревизии из Березова.

— Лектор приезжает. Из города,— обычным, домашним голосом сказал Михаил Петрович.

Лида недоверчиво взглянула на него. Она была довольна, что опасения ее не оправдались, и вместе с тем, узнав, из-за чего весь этот шум, протянула разочарованно:

— Только-то...

— Что «только-то»? Чудо-голова! Лектор-то не какой-нибудь, а из обкома партии, по международным вопросам... Ты скажи мне: давно у нас такого видела?

— Да я ничего, Михаил Петрович. Я так...

— «Так»,— передразнил Михаил Петрович и повернулся к столу за палкой.

Только теперь он увидел другую девушку, осторожно за ним наблюдавшую.

Валя Ковылева, подруга Лиды, сидела на скамье у окна, поджав ноги в черных лакированных ботах. Ничего, собственно, нового в этом не было, но Михаил Петрович с минуту рассеянно, словно забыл что-то, смотрел на девушку.

Она была в малиновом демисезонном пальто без талии, из модных, с беличьим воротником. На голове небрежным конвертиком перетянут цветной шелковый платок, хотя и не по сезону, но тоже модный.

— Что смотрите? — не выдержала Валя затянувшуюся паузу.

— Смотрю, боты у тебя, невеста, как с прилавка,— усмехнулся Михаил Петрович.— Кругом грязища, а у тебя ни пятнышка, один блеск!

— А вон он, ручей, у крыльца,— оборвала Валя и отвернулась к окну.

«Невестами» Михаил Петрович называл не всех горских девушек на выданье, а лишь тех немногих, которые, закончив новинскую десятилетку, нигде не работали. Валя давно заметила это и, не вполне понимая, что именно имел он в виду под словом «невеста», сердилась, когда Михаил Петрович называл ее так.

Для всех в деревне Михаил Петрович Лопатин, флотский старшина в прошлом, а теперь пенсионер и секретарь партийной организации в Горках — человек взыскательный, радеющий за хозяйство, а для Вали — въедливый и непонятный старик, которому обязательно нужно сунуть нос, куда не просят... Еще в прошлом году Валя подавала заявление в институт, но на экзаменах срезалась и с тех пор сидит дома, при матери, или изредка съездит куда-нибудь — в поисках неведомых перемен.

— И чего тебе надо, не знаю,— наставлял ее при случае Михаил Пет-

рович.— Глянь-ка, какой у нас простор! Красота! Разве в городе найдешь такое? Живи, работай, и все тебе будет!

Валя смотрела на леса и холмы, на серебряную под солнцем Жимолуху. Хотелось верить, что Лопатин желал ей добра. Но нетрудно было догадаться, что за разговорами о деревенских красотах скрывалось у него более существенное намерение: заполучить лишнюю пару рабочих рук. И пряча в обшлага эти руки, словно оберегая их от посягательств, она говорила:

— Ну вас, Михаил Петрович. Ничего-то вы не понимаете...

Подцепив палку, Михаил Петрович перевел взгляд на Лиду.

— Из «Новинского» позвонят, скажешь: к Барсукову пошел, в кухню. Да насчет лекции не забудь. Кто будет приходить, говори: завтра, мол, в восемь вечера.

— Ладно.

— Я, кажется, знаю вашего лектора,— сказала Валя и шмыгнула носом.— Вчера вместе из Березова ехали. Такой хлюпенький, в очках.

Михаил Петрович покосился на нее с подозрением:

— Опять насчет работы ездила?

Валя смолчала.

— Чего ж он не сразу сюда?

— Говорил, у него путевка такая. Сперва в Моторное, а потом к нам.

— «Вашего лектора»,— спохватился вдруг Лопатин.— Почему это «вашего»? Тебя это не касается?

— Обойдусь и без него.

— Ишь, прыткая,— усмехнулся Михаил Петрович.

Оставляя на полу ошметки глины, он прошел через сенцы в узкую комнатку с одним окном — курилку и фойе горского клуба. По стенам висели плакаты, красные щиты с обязательствами совхоза. Все было новенькое, свежее, включая последнюю сводку по надоям.

Следующая комната солидно именовалась в Горах «зрительным залом». После вчерашнего киносеанса окна в ней оставались плотно занавешенными. Полумрак рассеивался лишь в глубине, у помоста, где байковая занавеска наискось приоткрывала окно.

На помосте, за широким столом, сидел, пригнувшись, парень в светлом пальто, в сдвинутой на затылок барашковой шапке. Это и был Яша Полетаев, заведующий горским клубом и секретарь комсомольской организации.

Заслышав знакомое поскрипывание, Яша привстал, оглянулся:

— Здравствуйте, Михаил Петрович!

— Здоров, здоров,— бодро ответил Лопатин.

Путаясь между скамьями, он подошел к двухступенчатой лесенке на помост, ткнул палку в первую ступеньку и поставил на нее ногу. Яша подскочил, пригнулся, протягивая руки. Из-под шапки соскользнула на лоб льняная прядь, с плеча упал конец узорчатого шейного платка.

Михаил Петрович, поднявшись, неторопливо осмотрелся. На заляпанном чернилами столе грудились пузырьки с цветной тушью, кисти и ручки со стальными, похожими на лопаточки перьями. Топорщился изнанкой кверху кусок обоев. «Сегодня в клубе» — сообщала написанная на нем сверху строчка, а все остальное поле — от края до края — занимала цепочка пламенеющих дальнобойных букв: «Танцы».

— Когда это?

— Завтра, Михаил Петрович.

— Отставить!

У Яши странно дернулась и побледнела щека, обращенная к Лопатину. Заметив это, Михаил Петрович вздохнул и рассказал о предстоящем приезде лектора.

— Бери бумагу. Пиши.

Яша сосредоточенно вырвал листок из блокнота, не садясь написал под диктовку текст объявления о лекции.

— Да одного будет мало,— говорил Михаил Петрович. Выставив руку, он стал загибать короткие, с широкими ногтями пальцы: — Сюда, у конторы,— это раз. На Касимово, свинаркам,— два. Трактористам — три. За стариков я не боюсь — эти будут, а ты вот давай комсомолню мобилизуй... Из обкома, друже, не как-нибудь!..

Яша молча теребил конец шейного платка.

— Вот так-то,— сказал Михаил Петрович и участливо положил руку на его плечо.— А насчет танцев поменьше бы надо.— И глядя в упор на приунывшее лицо Полетаева, спросил неожиданно: — Валюшка-то чего здесь болтается?

— Где здесь? — нахохлился Яша.

— Рассказывай! Под боком сидит, у Лидушки.

— Я почему знаю.

— Будто... Невест, Яшенька, не танцульками надо завлекать. Пустое это дело!.. Ты организуй вечер молодежный. Например: «Кто не работает, тот не ест». Или: «В чем наше счастье».

— В чем оно? — Яша достал портсигар с Медным всадником на крышке. Закурил, горько выдохнул с дымом: — Не хочет она оставаться, Михаил Петрович.

— Знаю. Однако и ехать не решается... Дай-ка побалуешь.

Яша снова щелкнул портсигаром, зажег спичку.

— Я и то диву даюсь,— рассуждал Михаил Петрович, пыхнув, не затягиваясь, дымком.— Работа? Выбирай любую, по вкусу. Опять же климат... Ну, и женихи будто на уровне.

— Бросьте, Михаил Петрович.

— А я и не шучу... Нет, Яша, вздохами тут, видно, не поможешь. Ты ее, уж коли на то пошло, постарайся не танцульками, а делом привлечь. Пусть вон хоть библиотеку приведет в порядок...

Смяв недокуренную папиросу и еще раз напомнив Яше о лекции и объявлениях, Михаил Петрович направился к выходу. Яша вдруг сорвался за ним, схватил за рукав:

— Михаил Петрович! Только, пожалуйста, между нами.

— Нет, вот сейчас с верхушки всем объявлю,— качнул головой Михаил Петрович.— Эх вы, молодо-зелено!..

Глубокая, уплывающая в синеву даль распахнулась перед ним с крыльца. Свежий ветер играл на просторе. Пахло прогреваемой, парящей под солнцем землей, талым снегом.

Отсюда, с верхушки, заметней всего были перемены в природе. Снег всюду отступал, оставляя в укрытиях хилые арьергарды. Он уже не блеснул на солнце, как в зимние месяцы, а истощал и был точно присыпан пеплом.

Кругом, как всегда в эту пору, преобладали серые краски. Серыми были кустарники и холмы, лед на Жимолохе и дома Ореховки — соседней деревни, раскинувшейся в низине, по ту сторону реки. По накатанной дороге через реку шел малец, а может быть, и взрослый — издали Михаилу Петровичу трудно было различить. Местами на дороге голубели разливы протрупившей из-под льда воды — пешеход топал по ней как ни в чем не бывало.

— Рисково,— сказал вслух Михаил Петрович.— Вот-вот тронется Жимолоха...

Он надвинул шапку на лоб и, выставляя вперед палку, спустился с крыльца.

2

В Березово электричка пришла днем. Почти всю дорогу Степан Федотыч Тугаев смотрел, оправляя очки, в окно вагона. Все было знакомо ему по прежним поездкам и вместе с тем все казалось необычным.

Он видел по-весеннему темную землю, островки снега, прореженные голизной перелески и думал, куда на этот раз забросит его беспокойная должность.

Тугаеву было за пятьдесят. Он повидал всякое. За годы работы лектором обкома партии приходилось добираться до отдаленных колхозов в кузовах грузовых машин, мерзнуть в розвальнях, глухими ночами ожидать на полустанках поезда, но ему нравилась эта полубродячая жизнь, и, когда где-нибудь в завалищем клубе люди слушали его, плотно сидя на скрипучих скамьях, он чувствовал себя вполне вознагражденным за дорожные невзгоды.

Выйдя из вагона с небольшим чемоданом, Тугаев встал в очередь у автобусной остановки: до районного центра оставалось еще два с половиной километра. Наметанный глаз его отметил, что новый березовский вокзал достроен и уже отделяется. Это была профессиональная привычка — наблюдать для того, чтобы сравнить, и сравнивать для того, чтобы людям, к которым он обращался, были понятней перемены в окружающей их жизни.

В райкоме партии Тугаева знали давно и встретили как старого знакомого.

— На вас есть у нас три заявочки,— говорил ему заведующий отделом.— В Моторном речники и поселковый Совет просят, промкомбинат интересовался. Народ помнит вас, Степан Федотыч... Но нам хотелось бы еще нашу глубинку обслужить.

— Где это?

— Горы,— сказал заведующий и двинул пальцем по верхнему краю висевшей за спиной карты.

— Горы, давайте сюда и Горы,— согласился, не раздумывая, лектор.— Давно собираюсь туда добраться!

Утром другого дня Тугаев, перекусив в чайной, направился на угольную площадь в центре поселка. Еще в гостинице он натянул на ноги резиновые сапоги, которые всегда брал с собой в распутицу, и теперь смело шагал по лужам.

У подъезда райкома среди нескольких постоянно торчавших здесь машин стояла кремовая райкомовская «победа» на высоком шасси. Все отъезжающие были в сборе, ждали Бродову, второго секретаря, она должна была ехать через Моторное в город.

В машине сидели знакомая Тугаеву сотрудница районной газеты и девушка в легком платочке на голове и в ярком малиновом пальто. Никто, кроме Бродовой и сотрудницы газеты, бывшей учительницы из Гор, не знал, что это была Валя Ковылева, приезжавшая в Березово по своим делам. Павлуша, шофер, копался в моторе. Незавязанные наушники его шапки трепыхались, как крылья птицы на взлете. Рядом с планшеткой в руках стоял инструктор райкома, чернобровый парень из демобилизованных, которого Тугаев знал только по имени Вася.

Пришла Бродова, плотная круглолицая женщина в кубанке, а Павлуша все что-то прощупывал в моторе.

— Что у тебя там? — спросила Бродова.

— Зажигание хандрит, Анна Петровна.

— Где же ты был раньше?

— И раньше здесь был,— с бездумной лихостью отозвался Павлуша.— Старушку-то в ремонт сдавать пора. Доездимся!

Ничего не ответив, Бродова полезла на переднее сиденье. Расселись и остальные. Невысокого и узкоплечего Тугаева сжали так, что трудно было шевельнуться, и все равно места не хватило: Вале пришлось сидеть бочком, у самой двери.

Павлуша включил мотор, но, прежде чем ехать, оглянулся, сказал неодобрительно:

— Перегруз. На одну штатную единицу.

— Не первый раз,— сказала Бродова.— До Отрады дотянем, а там Вася сойдет.

— Я могу выйти,— смутилась Валя и нерешительно подалась вперед.

Но Бродова остановила ее и коснулась плеча Павлуши:

— Трогай!

«Победа» развернулась и, набирая скорость, выехала на моторническое шоссе. В ветровом стекле, приближаясь, разворачиваясь вширь, поплыли холмы, леса. Линия горизонта то подскакивала к верхней кромке стекла, то вдруг стремительно падала под колеса.

Дорога всегда молодила Тугаева. Грунтовая, изрытая колеями; асфальтированная, глаже скатерти, летящая навстречу; стиснутая сугробами или поросшая травой полевая — она волновала его необозримостью земной жизни. Толпятся и уходят прочь перелески, рвя́т в глазах сахарные головы столбушек, натканных по обочинам на скатах, блеснет озеро в малахитовой чаше холмов, встречный ветер кинет в лицо пригоршню лесных ароматов, а она, дорога, все бежит и бежит в загоризонтные дали. Сколько впереди незнакомых пространств, сколько людей, с которыми хотелось бы встретиться!

Подъем. Павлуша переключает скорость. Стучат шестерни, подвывает мотор, дорожных спутников отбрасывает назад. Они смотрят по сторонам, говорят о своем. Какой-то Головин из совхоза «Отрада» обязался откормить четыре сотни свиней, а механизатор Никитенко вывез на свой участок все компосты... В глубине березовского пейзажа, прихваченной сиреневой легкостью, показываются поселки, издали без признаков движения и безмолвные, словно нарисованные на полотне. Где-то там Головин трудится на ферме или, может быть, вышел подышать свежим воздухом и вот сейчас глядит, как блеснула на горизонте машина, не ведая, что сидящие в ней люди поминают его добрым словом. Вон взбирается на горюшку трактор с прицепом, водитель перегнулся с сиденья, смотрит под гусеницы. Не этот ли Никитенко?

Спуск. Шуршат, нагоняя друг друга, колеса. По задку машины непрерывно и дробно стучит взвихренный движением гравий; треск его, короткий, как вспышка, напоминает звуком электрические разряды. Асфальтированная лента бежит все дальше, другая, чуть уже, пересекает ее. На белом столбе торчат стрелки-указатели. «Быстрый Ручей. 18 км», — успевает прочитать Тугаев. — «Отрада. 7 км», «Моторное. 27 км».

— Хорошие у вас названия,— говорит он, ни к кому особо не обращаясь.— Отрада, Быстрый Ручей... И ваше тоже отличное,— улыбается он Вале, узнав в пути, откуда она,— Горы! Приятно жить и работать в таких местах...

Валя смущенно улыбается и опускает голову.

— Названия хорошие, верно,— поворачивается Бродова, и круглое лицо ее, обветренное, с нестираемыми складками в уголках губ, становится на миг ребячливым. Но уже в следующую секунду изменившийся, озабоченный взгляд ее останавливается на инструкторе: — В Ручье, Вася, у нас сколько вывезли?

Сдвинув брови в одну черную полосу, Вася задумывается.

— Вместе с компостами что-то тонн пятьсот.

— Пятьсот шестьдесят,— уточняет сотрудница газеты.

— Плохо. Надо Можяева подкрутить. У них под одну кукурузу надо восемьсот вывезти.

— А то еще Грязи есть,— мельком взглянув на Тугаева, говорит Павлуша.— Чем плохо?

— Грязи тоже у меня,— вставляет Вася.— Там с надоями нынче вы-
правились: с плюсом идут.

— А у вас какие надои? — обращается Тугаев к Вале. Ему не столько хочется узнать, какие в Горах надои — об этом в свое время ему скажут,— сколько втянуть в общую беседу эту держащуюся особняком девушку.

Рассеяннo смотревшая на Тугаева, Валя переводит взгляд за окно, как будто вопрос обращен не к ней.

— Видите ли, Степан Федотыч,— смягчает неловкость бывшая горская учительница.— Валя пока не работает, и ей трудно ответить на ваш вопрос.

— Нештатная единица,— вспоминает свою остроу Павлуша.

Бродова тычет его локтем:

— Перестань!

Вскоре машина стала пустеть. В Отраде вышел Вася, в Грязях — сотрудница районной газеты. Прощаясь, она поцеловала Валю, сказала негромко: «Подумай, девочка» — и Валя, сникнув, долго смотрела на дорогу.

Заполдень впереди на открытой возвышенности показались дома Моторного. Поселок был крупный — с универмагом, клубом речников и Домом культуры, где должен был выступать Тугаев. Выехав на площадь, Павлуша подрулил к столовой. Для райкомовцев это был полуденный час, и они обычно обедали здесь, перед тем как приступить к делам или отправиться дальше.

Вала торопливо высочила из «победы»: до Гор ей надо было искать другую попутную машину. Она поблагодарила Бродову, чуть заметно кивнула Тугаеву и, совсем не глядя на Павлушу, пошла через площадь к магазину, далеко обходя лужи.

— Желаю вам удачи, Степан Федотыч,— сказала после обеда Бродова, прощаясь с Тугаевым.— Я задержусь в городе, а Павлуша послезавтра будет здесь и подбросит вас в Горы.

Она поехала дальше, а Тугаев, разминаясь с дороги, зашагал к Дому культуры.

3

На вторые сутки погода испортилась. Небо сплошь заволокло тучами. Ближе к земле ветер гнал их рваные клочья, и они второпях обдавали Моторное колючими брызгами дождя.

Павлуша приехал за Тугаевым в начале одиннадцатого. Времени впереди было с избытком, но Тугаеву хотелось приехать в Горы пораньше, чтобы успеть, как он делал это обычно, познакомиться с людьми и хозяйством. И когда он спросил Павлушу, долго ли им добираться, тот только зубами блеснул:

— Мигом!

В машине было тепло и уютно. Закинув ногу на ногу, пригревшись, Тугаев наблюдал, как дождевые капли разбивались о ветровое стекло. Испещренное ими, оно пузырилось и словно перекипало. Когда дождь прекращался, капли медленно оползали и, соединяясь, стремительно вдруг скатывались, оставляя на стекле выпуклые светлые дорожки. И только напротив Павлуши неумолимый «дворник» расчищал, пощелкивая, часть стекла, похожую контуром на раскрытый веер. Меняющийся в этом контуре пейзаж представлял во всей своей унылой обнаженности.

Павлуша вел машину легко и так же легко болтал о своей дорожной жизни. Закуривал, не сбавляя хода, держа одну руку на баранке; огонек спички, прыгая, лизал его огрубевшие пальцы, а «победа» послушно следовала зигзагам шоссе.

Моторное осталось далеко позади. Асфальтовая дорога сменилась грунтовой, прикрытой между колеями слежавшимся, смурым снегом. Тугаев мысленно уже перенесся в Горы. Он думал о предстоящих встречах и о том, как лучше провести время до вечера, когда машину что-то вдруг подбросило, откинуло в сторону и она медленно, со скрипом остановилась.

Впервые после Моторного Тугаев взглянул на часы: они показывали без семи минут двенадцать. В спешке не было необходимости. Он зябко стянул борта серенького дорожного пальто и стал ждать. А Павлуша хлопотал вокруг машины, и было заметно, как он нервничает, бестолково суетится. Он открывал капот, прощупывал колеса, заглядывал под раму и, ничего не добившись, принялся расчищать снег под передним мостом.

Тугаеву показалось, что он немного вздремнул. Он протер запотевшие очки и, ругая про себя Павлушу, выбрался из машины.

Крупные капли дождя редко и косо падали на дорогу. Все вокруг было насыщено обильной мокрядью и растворенными в ней прелыми запахами земли. Колея шла вдоль леса и метрах в трехстах сворачивала в сторону. Лужи походили на тусклые клочки неба.

— Ну что? — спросил Тугаев, подходя к передку машины.

— Приехали! — Павлуша отбросил лопату, мазанул грязной ладонью лоб. — Полуось, кажись, сдала... Я же говорил: доездимся!

— Что же мне теперь?

— А вот еще посмотрю.

И Павлуша полез в багажник за домкратом, а Тугаев, подняв воротник и придерживая руками отвороты пальто, стал шагать взад и вперед возле машины.

Минут через десять он остановился и окликнул Павлушу: из-за поворота выкатил встречный семитонный МАЗ. Возившийся под рамой Павлуша поднялся и взглянул на дорогу.

МАЗ приближался, гремя цепями на скатах. Цепи стучали все реже, пока совсем не затихли. Из высокой, просторной кабины вылез шофер, вразвалку подошел к «победе».

— Сидишь?

— Сижу, — сказал Павлуша. — Полуось, кажись, треснула.

Мазовский шофер деловито осмотрел раму, колеса, прошелся вдоль колеи, по которой проехала «победа».

— Загорай, приятель, помочь ничем нельзя, — заключил он. — Что ж ты, не видишь, голова садовая, дифером по земле прошелся, колесо погнул?

— Может, подцепишь? — неуверенно спросил Павлуша.

— Помог бы, друг, да некогда. Давай-ка лучше твой драндулет в сторону подадим.

Все трое навалились на машину и после изрядных усилий сдвинули ее к обочине. МАЗ уехал, Павлуша все пыхтел под рамой. Подняв правую сторону кузова, он стучал ручником по внутренней стороне колеса.

Тугаев ругался, нервничал и смотрел на часы. Переменчивый ветер то стихал, то упруго набирал силу. Из низких туч беспорядочно слетали хлопья слепившихся белесых снежинок.

Но вот со стороны Моторного показалась попутная грузовая машина. Потеряв надежду на Павлушу, Тугаев встал посреди дороги, поднял руку. Шофер попутной сигнализировал и несся прямо на него.

Тугаев не шевельнулся. Метрах в десяти от него машина притормо-

зила, переваливаясь на ухабах, медленно подкатила ближе. Из кабины хмуро высунулся водитель с плоским и шербатым, как терка, лицом.

— В чем дело?

По тону вопроса и сердитому взгляду водителя Тугаев понял, что запросто с таким не поговоришь. Насупившись, как только было возможно, он спросил с начальственной суровостью:

— Куда едешь?

— За кудькины горы.

— Вот и хорошо: мне как раз в Горы надо,— сказал Тугаев, сделав вид, что не понял злой шутки водителя.

Тот ответил помягче, рассудительней:

— Горы вон туда, вправо, а мне на Замятино.

— Это товарищ из обкома,— вмешался Павлуша.— Ты его хоть до ореховской поворотки подбрось, а там как-нибудь.

Воспользовавшись минутной заминкой, Тугаев зашел с другой стороны кабины, поднялся на приступку.

— Ладно,— сказал шербатый.— Но предупреждаю: только до поворотки!

Машина качнулась и, вихля кузовом, пошла вперед.

Снова пригревшись, Тугаев смотрел по сторонам, но уже не было прежнего ощущения новизны, радости дорожных открытий. Горы, Замятино, какая-то ореховская поворотка, и почему именно поворотка,— что говорили ему эти названия, это непривычное и странное слово? Ничего. Но Горы есть, и люди там будут сегодня ждать его, и надо как-то добираться...

Лес потянулся с обеих сторон дороги. Сосны надвигались отовсюду, застилала кронами небо. Стекла кабины потускнели. Порожнюю машину трясло, как в лихорадке.

— И охота вам мотаться в такую слякоту,— проговорил после длительного молчания водитель.

Тугаев не ответил, и оставшиеся полчаса ехали опять молча.

Скоро дорога раздвоилась, лес расступился, впереди вырос телеграфный столб. Замедляя ход, шербатый подкатил к столбу, и тут Тугаев увидел проселок, круто забиравший вправо, в лилово-мглистую чашу.

— Ореховская поворотка,— сказал водитель.— Вам сюда, мне прямо.

— Сколько же до Гор осталось?

— Смотря как идти,— усмехнулся шербатый.— Если по-быстрому — десяток наберется... Да вы погодите здесь: может, попутная подойдет.

Тугаев открыл дверку. Ветер рванул ее на сторону, лицо обдало сыростью. Поблагодарив водителя, он выбрался из кабины, и, пока протирал очки, машина ушла в глубь леса. Рокот ее опадая, становился все приглушенней, и Тугаев напряженно прислушивался к замирающим звукам, как будто обрывались нити, которые еще связывали его с миром. Волнуемые ветром, шумели верхушки сосен, скрипели стволы, а ему казалось, что все кругом застыло в опасливой тишине.

Дорога была наезженная, избитая. В колеях меркли лужи, забитые ледяным крошевом; снег лежал между ними толстым слоем, отпрессованный, как мрамор.

Подняв воротник пальто и покрепче стянув отвороты, Тугаев с полчаса топтался возле телеграфного столба. Он всматривался вдоль просек, прислушивался, но не было слышно никаких признаков приближающихся машин. Потом он сообразил, что зря тратит время: была бы попутная машина, а сесть в нее можно в любом месте. И, не оглядываясь, крупно зашагал вперед.

Часы показывали три минуты четвертого, когда он добрался до крутой ложбины, в которую ныряла дорога. Лес на спуске оборвался, ветер

своевольничал здесь, разбрасывал капли дождя и хлопья снега, щекочущие лицо. Прикрывая очки ладонью, Тугаев осмотрелся.

Всюду был лес, лес — темно-зеленый вблизи, дымчатый на горизонте, в бурых пятнах подлеска. За мостком внизу дорога взбиралась на другую сторону распадка и на всем своем протяжении была безнадежно пустынной. «Непутевый ты лектор, ни дна тебе, ни покрывки», — грустно улыбнулся Тугаев и, придерживая шляпу, стал осторожно спускаться.

Поднимаясь в гору, он передохнул. По скату метались кусты вербы в светлом оперении. Тугаев догадался, что верба зацветает, распушив серебристые почки. Он сорвал ветку, ощупал шелковые влажные ядрышки, и они чудодейственно перекинули его в детство. Вспомнилось праздничное убранство в доме по весне, кисти вербы у икон и на окнах, тепло шершавых материнских рук, снаряжавших его на прогулку. И от этого воспоминания идти стало легче, как будто исподволь подталкивали те же добрые старые руки.

За ложбиной лес опять сомкнулся, и только в одном месте ненадежно брезжил вдали просвет. Минута за минутой манил он к себе Тугаева и был по-прежнему далек.

Оступившись на выбоине, Тугаев почувствовал, что портянка на левой ноге сбилась и на большом пальце натерлась мозоль. Он остановился, присматриваясь, на что бы присесть и переобуться.

Неподалеку от дороги, среди деревьев, виднелась поленница. Тугаев поднял с обочины молоденькую осинку, срезал ножом сучья и вершину. Прощупывая палкой хрустящий наст, направился к поленнице.

Едва он сделал несколько шагов по лесу, как стало заметно тише, сумрачней.

Снег на полянках, испятнанный опавшими иглами, хранил еще зимнюю свежесть. У оснований деревьев, от корневищ, он отступал, образуя лунки, словно древесина была теплой. Стволы сосен, оранжевые на переднем плане, в глубине леса темнели, сливались в призрачную массу.

Поленница оказалась выложенной угольником. Во внутренней его части снег был расчищен и притоптан, на земле лежали бревна, отлично сходившие за скамьи. Банки из-под консервов, кучка хвороста и следы костра в обгоревшем пятачке указывали, что укромное местечко это уже служило кому-то пристанищем.

Тугаев сел на бревно, вытянул занывшие ноги. В лесу стойко пахло смолистой хвоей, перепревшими листьями и еще чем-то свежим и неуловимым, может быть, соками нарождающихся почек. Отдаленно и однообразно, не нарушая тишины, шумели верхушки деревьев.

Отдохнув, Тугаев переобулся, плотнее обернул ноги портянками. Только теперь он почувствовал, как набрякла шляпа, а потяжелевшее от влаги пальто неприятно сковывало движения. Плечи и спину холодила липкая сырость.

Невольный привал обязывал подкрепиться. Тугаев раскрыл чемоданчик и без особого желания съел бутерброд с колбасой, запил лимонадом. Он сидел оцепенело, привалившись к поленнице и думая, что хорошо было бы сейчас развести костер, немного погреться и обсушиться. Но на костер нужно время, а он и без того задерживается и теперь, пожалуй, не успеет походить по фермам. Еще минута отдыха — и он пойдет дальше...

Лес жил и не был таким безмолвным и сумрачным, как показалось вначале. Тугаев прислушивался к его непривычным для горожанина звукам. Вот скрипнуло дерево, с шелестом упала ветка. Из-за куста испуганно вспорхнула птица, и что-то там жалобно пискнуло. По стволу сосны — это уже совсем походило на открытие — торопливо пробежал пушистый зверек.

Среди лесных звуков незаметно возник и выделился один — прерывистый, похожий на отдаленную пальбу и тарахтенье. Настойчивый и беспокойный, он упрямо пробивался сквозь чащу. Тугаев чутко приподнял голову. Шум приближался и скоро перешел в явственный, раздельный и частый ляг тракторных гусениц.

Ляг в секунду смахнул с Тугаева усталость и тупое ощущение скованности. Он вскочил, поднял чемоданчик и палку и поспешно вернулся на просеку.

По дороге навстречу ему медленно двигался приземистый трактор. Оглушительно стреляла выхлопная труба, скрипели гусеницы. У руля, под навесом, сидел паренек в синем ватнике. Когда трактор приблизился, Тугаев, отойдя на обочину, крикнул:

— Далеко ли до Гор?

Тракторист приглушил мотор, сказал недоуменно:

— Километров шесть-семь.

— Шесть-семь,— повторил Тугаев.— Сколько же это я шагаю от этой, как ее... от поворотки?

— От ореховской? — Паренек посматривал на него все еще в замешательстве.— Если отсюда — не меньше восьми километров. А всего до нас четырнадцать... Только, вы говорите, вам Горы нужны, а сами в Ореховку идете. Горы от нас напротив, через Жимолоху.

— Как это — через Жимолоху?

— Ну, через реку. Моста там поблизости нет, а Жимолоху ломает — пожалуй, не пройти. Вам срочно надо?

— Очень,— сказал Тугаев и взглянул на часы.— В восемь там народ собирается, меня будут ждать.

Тракторист погладил баранку, словно испрашивая у нее совета.

— Я как раз на ту сторону еду, в Малкино, а там и Горы недалеко. Хотите — подвезу. Но это крюк изрядный, раньше десяти не успеем.

— Это поздно,— возразил Тугаев.— Никак нельзя!

— Тогда добирайтесь до Ореховки. Идите все прямо. За Васильевским хутором там другой мост есть... Может, Николай Степаныч, бригадир наш, подбросит.

— Спасибо за совет. Попробую,— сказал Тугаев.

Они расстались.

Ветер сразу же отнес назад шум трактора, и опять Тугаев остался наедине с лесом.

Переобутым ногам стало легче, удобней, и он пошел быстрее. До восьми оставалось еще больше трех часов. Если здешние километры не резиновые, успеть можно было вполне.

Дорога мельчала. Деревья теснили ее, перекрывали мохнатыми лапами, небо и впрямь казалось с овчину.

Километрах в двух от поленницы Тугаев остановился на развилке. Вот они, негаданные березовские поворотки! Близоруко пригибаясь, он сделал несколько шагов по одной дороге, потом свернул на другую, и эта подбросила ему под ноги отчетливый след гусениц.

Крупный лес сменился густым, непроницаемым мелколесьем. Колея петляла по нему и отлого спускалась в низину. Грязно-желтый снег, исполосованный гусеницами, мешался с глиной, вязкие комки ее налипали на сапоги. Счищая их палкой, Тугаев старался идти в темпе, но ноги все чаще соскальзывали с кочек и одышка перехватывала грудь...

Он намечал далеко впереди веху — одинокую, на отлете, сосну, замшелый валун на обочине — и говорил себе, что вот там-то надо обязательно подкрепиться минутным роздыхом, а дойдя до вехи, выскивал следующую и натужно двигался дальше.

Вероятно, все же ореховская повертка обманула его — вильнула куда-то в сторону, а ему подкинула ледащий проселок. Не может же быть, чтобы и час и два не встретилось в пути ни единой живой души. Промозглое безмолвие. И ветер, и лесные шумы не в счет — затерявшаяся глухомань.

— Шагай, шагай, коли уже взялся,— подбадривал себя Тугаев, не видя просвета ни впереди, ни в небе, ни по сторонам.

Опять сбилась портянка. Корявая колода, присыпанная снежком, легла на пути. Тугаев постучал по ней носком сапога — хотел присесть. Хрястнула и осыпалась трухлявая кора, звук получился гулкий, ненадежный, и, тяжело перевалив через преграду, Тугаев зашагал прочь.

— А это уж совсем хорошо,— проговорил он, подходя минутой позже к широкой, на десяток метров, луже.

Она была темной, без блеска и неподвижной — даже ветер не расписывал ее рябью. Только редкие снежинки, по-прежнему падавшие, холодно вспыхивали и гасли, коснувшись ее поверхности.

Тугаев оторопело смотрел на лужу. Справа и слева она уползала в заросли, и, видно, не было иного выхода, кроме той же колеи, выбиравшейся по ту сторону на пригорок. В воде по шиколотку стоял молодой осинник и понятливо протягивал ветви: иди, мол, поддержи!

И Тугаев пошел, протерев для верности очки.

Лужа показалась неглубокой, и он уже с третьего шага уверенней заносил ногу. Разумно помогали деревца. Но ближе к середине дно стало ускользать из-под ног. Вода, казавшаяся Тугаеву тягучей, как черная патока, доходила почти до колен. Стараясь удержать равновесие, он наваливался всем телом на палку, цеплялся за дружественные осинки.

Сердце защемило незванное чувство беспомощности. Вдобавок к стеклу очков прилип пухлый комок снежинок, и мир, без того серенький, совсем растворился в нем. Тугаев растерянно потянулся к соседнему деревцу и в ту же минуту оступился. Всплеснула вода, левую ногу охватила ледяная влага. Он поспешно поднял ее и, замерев, прислушивался, как вода растекается в сапоге. И когда она пригрелась, расположилась по-хозяйски, он опустил ногу и, уже не очень следя за дном, выбрался на пригорок.

Теперь он боялся смотреть на часы, боялся думать, что все его усилия вовремя добраться до Гор могут оказаться напрасными. Он шел и шел, пока хватало сил. Он уже не сомневался, что сбил с пути, но о возвращении назад не могло быть и речи.

Давно потерялся след тракторных гусениц, будто и не было его, как не было ни беспечного Павлуши, ни дорожных спутников, видевшихся теперь откуда-то из нереального далека. Проселок мотался, как неприкаянный, в частом кустарнике и, обессиленный им, истаявал на глазах. Еще немного покрутил он Тугаева без всякой цели и вдруг бесследно исчез.

Потеряв направление, Тугаев брел наугад по насту, благо весна еще не расковала его. Он обходил одни неприступные заросли и вламывался в другие. Ветви упруго сгибались под напором его тела и с хлестом отлетали, норовя прихватить шляпу, исцарапать лицо и руки. Раза два им удалось сбить очки — Тугаев чуть ли не на четвереньках выискивал их в перегнувшейся трухе.

Уже, кажется, темнело, небо и лес заволакивались сумрачной пеленой. Снег местами спадал, земля обнажалась в зыбком покрове мхов и лишайников. Тугаев поднимался по откосу, стремясь пробиться на высотку, где можно было бы сориентироваться. Но высотка не обнаде-

жила его — и она оказалась пристанищем того же неистощимого мелко-лесья. Лишь кое-где в прорывах обрисовывались ближние холмы, сплошь усеянные полчищами осинника.

Впереди был спуск — зловещий провал в тартарары. Маскируя его, снизу поднимались верхушки крупных деревьев.

Тугаев заметался по высоте, но она всюду круто обрывалась. Его смутило, что при подъеме он не заметил особой крутизны, и эта мысль сбивала с толку: откуда он вышел, куда идти? Но он хорошо помнил, что на откосе больших деревьев не было — значит, на его условном пути они могли быть условной вехой. И тогда, опираясь на палку, он стал спускаться в провал.

Чем ниже сходил он по мшистому обрыву, напряженно поглядывая по сторонам, тем сумеречней становилось в этой потайной лесной трущобе. Внизу тени совсем уплотнились, ветер не доставал их, все молчало в сонной и величавой тишине.

Была минута, когда Тугаеву хотелось присесть наедине с этой очищающей душу тишиной, и минута, в которую он почувствовал себя странником, вторгшимся в недозволенные пределы. Он боялся кашлянуть, неосторожно ступить, и еще он понял, что это был просто страх перед тем неизвестным, что могло здесь внезапно его ошеломить.

Взгляд его невольно притягивали следы зверья на снегу, зияющие чернотой логова, из глубины которых выползали, точно шупальца, обнаженные корни деревьев. Вдруг казалось — в черноте этой загорались алые огоньки или виделось рыжее тулово, вблизи оказывавшееся валуном.

Сосны смыкались верхушками, клочки неба летели в вышине. Низкорослые ели еще кутались в истлевающие лохмотья снега, под нижними их ветвями таилась укромная мгла. Изредка треск нарушал безмолвие или птица, вспугнутая Тугаевым, шумно взлетала из-под его ног, и сам он ошалело шарахался в сторону. И лес, в котором он отдыхал у поленицы, казался ему отсюда устроенным парком, где можно прогуливаться, посвистывая. Несмотря на усталость, Тугаев ощутил гордость за эту прекрасную русскую природу, в которой все могуче и цепко и нет удержу ее ненасытному жизнелюбию.

На исходе седьмого часа лес, будто испытал его выдержку, уступчиво пораздвинулся, обнажил впереди просвет. Вскоре лесное воинство стало быстро редеть. Точно обозы, отстающие от армии, начали отрываться от него отдельные рощицы, кустарники, и наконец широченный горизонт, завешенный изморосью, размахнулся во все стороны перед Тугаевым. Он скинул шляпу с головы и ладонью обтер мокрый лоб.

Было еще светло, просто лес подшутил над ним, напустив раньше времени сумерки. Теперь-то он должен дойти, наверняка должен! Еще, правда, совершенно не представлялось, куда он вышел, и усталость валила с ног, но утешительно было сознавать, что наперекор ей и всему пройдены незнакомые, трудные километры.

Ветер потеплел, сник. Широко отставляя палку, Тугаев спускался в котловину, огражденную вдаль цепью лесистых холмов. По открытым косогорам перемежались рваные холстины снега и темной стерни с разбросанными кое-где горстками навоза. Из овражков поднимались кустарники, хлопотливо сбежали ручьи... Картина была пестрой, и лишь в отдалении, у холмов, тянулась однообразная полоса вылинявшего снега. Там, на взгорье, Тугаеву померещились строения, и он упрямо месил расползавшуюся под ногами стерню.

Еще через десяток минут сбоку выдвинулся редкий лесок. Какое-то рыжее длинноватое пятно привлекло в нем внимание Тугаева; оно неясно колебалось, перечеркнутое штриховкой кустарника. Тугаев остано-

вился и, пристально вглядываясь, стиснул палку. Лось? Медведь? И у него вдруг захватило дух: лошадь!

Обыкновенная крестьянская лошадка переминалась в кустарнике с ноги на ногу и мотала головой. Вот она медленно пошла, выволакивая на наст розвальни, и темная фигурка сбоку метнулась в них. Тугаев рванулся вперед, вскинул руку и как-то дико, неожиданно для себя, взвыл:

— О-о-э-эй!

Фигурка в саях задвигалась. Лошадь мерно вышагивала по насту.

— Эй, товарищ! — крикнул отчетливой Тугаев и, не глядя под ноги, побежал к леску.

Возчик оглянулся на зов, потянул вожжи.

— погоди! Пстой! — задышался Тугаев, нагоняя розвальни.

— Ну-ну, стою... Что такое?

Бородатый старичок торопливо соскочил на землю. Удивленно и не без участия рассматривал он Тугаева — должно быть, разбирало любопытство при виде странного пришельца из леса.

— Ты отдышись-ка, мил-ай, вот что, — сказал он, придерживая Тугаева за рукав.

Глотнув поглубже воздух, Тугаев повторил не первый за этот день вопрос: далеко ли до Гор?

— А вон они, Горы, — живо отозвался возчик и махнул кнутовищем на холмы. — Реку проскочить, и все тут... Вам только вернее было бы через мост: Жимолоха, коли не знаешь, ненадежна.

— Слышал, но ведь это еще дальше... Может, подвезешь, отец? Страшно спешу.

— Али случилось что?

— Нет, ничего не случилось... Лектор я, понимаешь. Из города. Машина в дороге отказала, а народ в Горах ждет. Вот сейчас ждет...

— Лектор, вона как! — уважительно произнес старичок и кнутовищем сдвинул на лоб шапку. — Не с руки мне, дорогой товарищ. Ежели, скажем, через мост — пожалуйста, но все равно не успеть... Небось и завтра соберутся, никуда не денутся...

Был он низенький, подвижный, весь заросший клочковатыми волосами, как подобает лесовику. Старая шинелишка опоясана ремнем, на голове облезлая меховая шапка, которую он то и дело сдвигал кнутовищем. Глаза из-под глубоких глазниц смотрели ясно, с живинкой, и Тугаев, вглядевшись в них, почувствовал почему-то, что все превратности этого дня будут обязательно преодолены. И он уже спокойней повторил:

— Подвези, отец. Заплачу.

Нечаянно сорвавшееся слово смутило его: не вспугнуть бы эту полагающую живинку. Но старичок несердито отмахнулся:

— Еще бы платить!.. Данилычу, если возьмется, никаких плат не надо. Раз лектор — дело общественное. Но ведь и то сказать: Жимолоха-то, знаешь какая?

Говоря так, он непрерывно двигался — оправлял упряжь, сбивал сено на розвальнях — и все посматривал на широкую полосу снега, стелившуюся у подножья холмов.

— Это и есть Жимолоха? — спросил Тугаев.

— Она, товарищ, она...

Уже отлично понимая словоохотливого возчика, Тугаев тяжело плюхнулся в розвальни. Старик ухмыльнулся и, бормоча что-то насчет семи бед и одного ответа, встал в передке на колени, натянул вожжи. Взвился кнут, зашуршали полозья. За леском открылся пологий спуск к реке, и дальше, за снежным ее покровом, Тугаев увидел промокшие серые дома, беспорядочно сползавшие по откосу. «Ну, вот и Горы», —

вздыхнул он облегченно, словно приехал домой, и с робкой надеждой взглянул на часы: восьми еще не было.

Снег лежал на реке ржавыми пластами. Ветер вылизывал гребешки мутно отсвечивавшего льда, рябил проступавшую местами воду — она была белесой, поверхностной и не казалась страшной. Поодаль от берега чернела, как шрам, узкая полоса разводья.

Перед спуском лошадь остановилась и, повернув голову, выпятила на хозяина большой, влажно блеснувший глаз. И точно отвечая тревожному ее взгляду, по реке прокатился глухой утробный шум, как будто где-то в отдалении рухнула стена.

— Ну-ка, где наша не пропадала! — весело выкрикнул старичок и, истопо перекрестившись, стеганул лошадь по крупу.

Розвальни легко скатились на лед. Возчик присел на ноги, сдвинул шапку со лба, чтобы лучше видеть.

— Вы по какой же части будете, товарищ лектор? По международной?.. А вопросик можно?

— Почему же нельзя, — ответил Тугаев и за весь день впервые, пожалуй, улыбнулся.

5

Дом Ковылевых притулился у подножья холма, внизу, у самой Жимолохи.

За зеленым штакетником — сверху, кажется, ничего не стоит перескочить его — весь двор как на ладони: покосившиеся пристройки, стол, вбитый в землю, неказистые яблоньки. Слева от штакетника — крутой спуск к реке, мелеющей здесь среди прибрежных камней, справа — молодой ельник, переходящий в лес. Край холма, край деревни.

От ворот ковылевского двора взбегают на крутогорье три тропы. Прячутся в кустах и за другими дворами, спадают в ложбинки и снова проглядывают на облезлых боковинах холма.

Тропы — страницы семейной хроники Ковылевых.

Самая широкая — общая, исписанная ногами всех. Она ведет прямо на верхушку, к дому с дверями и окнами на все стороны света. Она доставляет Ковылевым вести и все, что нужно для жизни, связывает их с соседями и — по выходе на дорогу — со всем миром.

Еще года три назад по тропе этой вышагивал, поблескивая вскинутым на плечо топором, сам хозяин дома Илья Кузьмич Ковылев, бригадир горских плотников. Не одну постройку в Горах и окрест возвели его надежные руки. Но по весне как-то, разгорячившись, смахнул Илья Кузьмич ватник с плеча, и не успели врачи скрутить пневмонию — осиротел дом у Жимолохи.

Другая тропа, что поуже, давно и исправно служит Марии Степановне, хозяйке. Трижды в день отмеривает она триста метров до коровника и триста обратно. Дождь ли на дворе, лютый ли мороз — нельзя нарушить распорядок, и без лишних слов несет доярка свою хлопотную службу.

А что сказать о третьей, совсем неброской тропке? Десять лет кряду выводила она Валю Ковылеву на ближайшую дорогу к новинской школе. Бывала и легкой, и опасно скользкой — Валя старалась не оступить, а отец внушал, что эта-то тропка и приведет ее в будущем к той единственной, не похожей на другие дороге, с которой откроется перед нею и станет доступной вся жизнь... И вот уже, кажется, пришло время, а все не видать той дороги, и дичает, зарастает осотом одинокая тропка. Много ли натопчет меньшей Ковылев — Витюшка, всего второй год бегающий в школу?

С того дня, когда Валя послала документы в город, в университет, она привыкла сидеть в горенке у окна, подобрав под себя ноги. Днем дома никого нет. Тихо. На подоконнике сонно мурлычет Ефим — большой черный кот с белым нагрудником.

Ефим спит, а Валя бодрствует. Внимает чужим, книжным судьбам. Вышивает. Сквозь волнистое стекло смотрит на реку, на дальние пропадающие дали, за которыми чудится город. И как будто выжидает: не взмахнет ли крылом над теми далями ее синяя птица, тайна ее судьбы и счастья?

Был однажды день, когда показалось, что взмахнула, призывно и трепетно влетела в дом. Это неважно, что ее предвестие явилось в образе прозаического почтальона из Новинки, подкатившего к крыльцу на замызанном велосипеде. Письмо, доставленное им, было поистине необыкновенным: приемная комиссия университета извещала, что Валя допущена к вступительным экзаменам.

Тогда вся ее жизнь всколыхнулась, просветленная, как волна на восходе солнца, все перемешалось от радости, и, может быть, поэтому не успела подготовиться как следует. Горько было вспоминать беспокойные сборы в дорогу (не она ли это наконец?), придирчивые вопросы экзаменаторов, тревожные волнения у дверей приемной комиссии — и все лишь для того, чтобы спустя несколько дней не найти своей фамилии в списке принятых. Нет, не ее, знать, приветила синяя птица, не ее осенила своим широким крылом!

И вот дни, похожие один на другой, как рейки штакетника, и, как он, замыкающие ее мирок. Иногда Валя заходила к матери на ферму, помогала раздоить коров, чтобы уж не очень скучать. Наведывалась в контору к Лиде — обменяться новостями о подругах и платьях. Вечерами — кино на верхушке, танцы под радиолу и под водительством мешковатого Яши, ухаживание горских парней, о которых не хотелось думать всерьез.

За домом, за яблоневым садом темнели леса. Росла и опадала листва, снега вздымались до горизонта и никли, теряя блеск, а она все ждала чего-то, все смотрела в волнистое стекло окна...

Утром, как всегда, раньше всех проснулась Мария Степановна. Спала она в первой половине дома, где стояли печь и обеденный стол, на узкой койке под полатями.

Бывало, в этот же час спускался с полатей Илья Кузьмич и, прежде чем умыться, раскуривал у окна папиросу. Илья Кузьмич ничего не умел делать тихо — гремел кружкой, всегда задевал за что-нибудь размашистыми локтями, и пол ходил под ним ходуном.

— Тише ты, — шикала жена.

— Тише, тише, — сердился Илья Кузьмич. — Чай, и ребятам пора... Балуешь их, Марья, вот что. — А сам старался бесшумно опускать стволлик рукомойника.

Вполголоса поругивались они, говорили о семейных делах, о детях, и теперь нескладные те беседы и шиканья вспоминались Марии Степановне как счастливая, невозвратная пора.

Сунув босые ноги в шлепанцы, Мария Степановна сполоснулась под умывальником, затопила печь. Скрип двери в горенку заставил ее обернуться: на кухню вышел Ефим; мурлыча и высоко задрав хвост, стал обтираться у ног хозяйки.

Тусклый рассвет вползал в окно, от рамы стекала к полу струя хлопка. Как только заметно развиднелось, Мария Степановна заглянула в горницу: время было поднимать Витюшку. И его, еще сонного, зевающего, предупредила, чтобы не шумел.

В переднем углу на никелированной кровати спала Валя. Русые волосы ее разметаны по подушке, под темными ресницами блуждают сонные видения. Мария Степановна подоткнула одеяло в ногах дочери, поправила на окне занавеску и следом за пыхтящим Витюшкой, которому осторожность никак не давалась, тихо вышла на кухню.

Когда она после утренней дойки вернулась домой, Витюшки давно уж и след простыл. Валя поднялась, успев прибрать постель и комнату. Она сидела на кухне с Ефимом на коленях и медленно, раздумывая, выбирала со сковороды ломтики жареного картофеля.

— Встала? — спросила мать.

— Как видишь...

Мария Степановна озабоченно присела к столу, но тут же поднялась, выдвинула для чего-то чистое ведро из-под лавки, заглянула в него и поставила на место. Похрустывая ломтиками картофеля, Валя видела, как мать бралась то за ухваты, то за чашки и не снимала резиновых сапог, как делала всегда после возвращения из коровника.

— Ты что не посидишь? — спросила Валя.

— Опять на ферму бежать. — сказала Мария Степановна, не глядя на дочь. — Ганюшина, вишь, заболела. Половина ее группы не раздоена.

— С чего бы это она? Вчера в клубе была здорова и невредима.

— Не знаю. С непогоды, может.

— Так давай я схожу.

— Ты кушай, кушай, — заторопилась мать. — Невелик труд, и сама управлюсь... Вот разве за сахаром сбегаешь, и чаю пачку бы.

— Нет, давай на ферму. — У Вали дрогнула и опустилась нижняя губа. Она поднялась, швырнув на пол обескураженного Ефима. — Давай деньги, и в магазин схожу!

— Что ты -- так вдруг? — испуганно проговорила мать. — С Ганюшиной я уже договорилась. Мне-то ведь сподручней... А ты не торопись, потом и в магазин сходишь.

Сложные, противоречивые чувства волновали Марию Степановну, не давали ей покоя. Она щадила дочь и не могла разобраться — правильно ли поступает. Опыт и здравый рассудок подсказывали ей, что без работы, от ничегонеделанья Валя зачахнет, а сердце противилось: как можно после десятилетки идти простой дояркой или полеводом? Для чего же тогда годы учебы, тревоги из-за отметок, учебников, школьного снаряжения, для чего в глухие зимние утра приходилось отрывать девочку ото сна?

Говорили, правда, что со временем даже скотники будут с образованием, а на фермах появятся машины, в которых без грамоты не разберешься. Мария Степановна верила в это, но прежде всего она знала, что труд есть труд и навоз в коровнике есть навоз — от этого никуда не денешься. И много ли наконец надо умения, чтобы овладеть хотя бы той же электродойкой? Со своими тремя классами она без особых усилий давно и хорошо освоила доильные аппараты, и дело у нее шло успешней, чем у Валиных сверстниц, пришедших на ферму из десятилетки.

— Не торопись, покушай, — повторила Мария Степановна и платком протерла уголки глаз. — А коли хочешь, ко мне забегай.

Она положила деньги на стол и, поцеловав дочь, запешила на ферму. А Валя, посидев немного у окна, пошла в магазин.

С утра над Горами сеялась непроглядная свиная муть. Муторно было в небе, муторно на земле. Напористый ветер валил Валю с ног, хлестал звучной, пахнувшей льдом каплейю. Поворачиваясь к нему то спиной, то боком и не забывая обходить лужи, иссекаемые мелкой рябью, Валя медленно взбиралась на верхушку.

Народу в магазине было мало. Валя сунула покупки в авоську, спрятала ее под пальто, чтобы не замочить, и опять вышла на улицу. Домой возвращаться не хотелось, идти на ферму в такую погоду — тоже. Подумав, она завернула за угол, в контору.

Она не ожидала встречи с Михаилом Петровичем — в этот час он обычно выезжал в бригады — и, увидев его, нерешительно остановилась у порога.

— Ходи, ходи, невеста, да сквозняка не устраивай, — с непонятной, как всегда, усмешкой сказал Михаил Петрович.

Он сидел за одним столом с управляющим отделением, который при входе Вали хмуро повел бровями, но глаз от бумаг не поднял. Управляющий что-то вычитывал из бумаг, а Михаил Петрович, опираясь на палку, перелистывал записную книжку. В глубине комнаты шелкала на счетах Лида Симакова. Уходить ни с чем было бессмысленно, и, кивнув мужчинам, Валя подседа к Лиде.

— И вовсе она не болеет, а так вот — дурачков ищет, от своей группы хочет избавиться, — говорил управляющий, сердито топорща небритую губу. — Сама же запустила скотину, а теперь другим хочет подкинуть.

— Да, надои у нее пустяковые: четыре килограмма на корову. Себе в убыток, — согласился Михаил Петрович и с досадой прилепнул записную книжку. Лицо его стало расстроенным и по-стариковски усталым.

— На вечер пойдешь? — спросила Валя, наклоняясь к подруге и в то же время прислушиваясь к разговору мужчин.

— Конечно. Куда же я?

Лида смахнула костяшки, и одновременно с их шелканьем Вале послышалась фамилия Ганюшиной. Она бегло взглянула на Михаила Петровича: отставив больную ногу, он неловко засовывал в карман свою потрепанную книжку.

— И черт ее что, — вполголоса ворчал он. — Опять же говорит: кормов нет. А вчера же смотрю: сено у нее коровы топчут, концентраты тут же под ногами...

Звонкий шлепок прервал его слова. Это управляющий ударил ладонью по столу:

— За корма взыщем, Петрович. И людей найдем. Свои не хотят — со стороны позовем. Придут!..

Лида взяла журнал учета и линейку. Разлиновывая лист, тихо спросила Валу:

— У тебя нет ли мулине? Голубенького?

— У меня? Голубенького? — рассеянно переспросила Валя.

Хлопнула входная дверь: на пороге показался Яша Полетаев с развернутым в руках куском обоев. Он был без пальто и шапки — значит, пришел не с улицы, а от себя, из клуба, но щеки его пунцовели, точно нахлестанные ветром, а в походке и в небрежно скинутом на лоб вихре чувствовалась старательная молодцеватость.

— Последнее, — сказал он и, искоса поглядывая на Валу, шагнул к Лопатину.

Михаил Петрович многозначительно кашлянул и подхватил край свертывающегося куска обоев. По белой изнанке его изгибались, ускользая от глаз, цветные строчки объявления.

— Куда это?

— Трактористам.

— Вот и ладно... Да ты мне никак показывал его? Давно бы повесить надо!

— Сейчас бегу, — смутился Яша.

Лида хмыкнула в кулак, управляющий забарабанил пальцами по

столу, а Михаил Петрович снова кашлянул. Все поняли, что Яшу привело в контору не объявление о лекции, а нечто более для него важное.

— Ничего, ладно написано,— сказал Лопатин, стараясь сгладить неловкость и приободрить Яшу.— Давай, главное, комсомолию мобилизуй. А после лекции и танцы, пожалуй, можно... Ты чего лыбишься? — строго спросил он Лиду, сдерживая сам улыбку.

— Что вы, Михаил Петрович! Я ничего...

— Помогли бы лучше Якову людей собрать.

— Обойдусь,— обиженно сказал Яша, и конец узорчатого платка упал с его опустившегося плеча.

Улучив минуту, когда управляющий и Лопатин заговорили опять о делах, Валя быстро вышла из конторы. Но как только повернула за угол, на ослизлую дорогу, убавила шаг.

Перед спуском к дому она услышала за спиной топот ног, плеск воды; разорванный ветром возглас пронесся над ухом:

— ...ля-а!

Догадываясь, что зовут ее, она не оглянулась.

— Валя! — слышалось совсем рядом и уже не громко, а робко, неуверенно.— Ты что же в библиотеку не зашла?

От бега или волнения Яша тяжело дышал и, не глядя, шлепал по грязи.

— Не можешь осторожней? — сказала Валя, подбирая хлопающие, как паруса, полы пальто.

— Я достал «Пармский монастырь». Помнишь, просила?

— Ты мог сказать об этом в конторе... И вообще это глупо — бегать на виду у всех!

— Ты хочешь сказать...— Яша распрямился, побледнел и, тяжело переставляя ноги, отступил на полшага.

— То, что слышал. Разве непонятно?

Секунду они испытующе смотрели друг на друга, пока Валя не спохватилась, что надо идти. Но едва повернувшись, она поскользнулась и вскрикнула. Яша бросился на помощь. Он наклонился, крепко охватив плечи Вали, и она близко увидела его мальчишески припухлую губу и какие-то необыкновенные, испуганно сияющие глаза.

— Медведь, чуть не уронил,— сказала она и улыбнулась.— Никому не давай Стендала: я вечером зайду.

Опустив ее руку, Яша долго стоял на пригорке.

6

Уже с утра все в Горах было подготовлено к приезду лектора: люди оповещены, объявления вывешены, клуб выскоблен, а лектора все не было.

Погода смущала Михаила Петровича. Он был не в духе, словно предвиделось что-то неладное.

В пятом часу дня он позвонил в райком партии и тут узнал о поломке машины, в которой Тугаев добирался до Гор. Дальше выяснилось, что райкомовская «победа» уже час как доставлена в Березово, а лектор, по словам Павлуши, пересел на попутную машину.

— Куда бы ему запропасться? — дивились на дальнем конце провода.

— Вам оттуда видней,— кричал Михаил Петрович и, прикрыв трубку ладонью, хрипел Лиде Симаковой: — То-то, понимаешь, у меня все под ложечкой ныло!..

Телефонный звонок встревожил райкомовских работников, и позже они несколько раз справлялись, не прибыл ли Тугаев? Крепко встре-

вожился и Михаил Петрович. Он звонил в Моторное и Малкино, в «Новинский».— на центральную усадьбу, и всюду отвечали, что никакого лектора не видели.

— Неужто пешком добирается? В такую-то сумятицу? — недоумевал Лопатин, все чаще поглядывая на подступавшие к Горам дороги — с вершушки они просматривались далеко.

На всякий случай он решил выслать вперед мальчишеские дозоры, благо недостатка в охотниках не было. И вот уже по всем направлениям побежали отчаянные горские огольцы, для которых ветер был не ветер и дождь не дождь. Прошло еще минут сорок, и один из дозорных, размазывая по лицу капли дождя, явился с докладом, переполошившим всех, кто был в конторе. Знакомый шофер из «Новинского», заметив его на дороге и узнав, в чем дело, рассказал о своей недавней встрече с ореховским трактористом, а тот будто сказывал, что еще днем видел в лесу человека, который страшно торопился в Горы.

— Может, это и есть лектор. В шляпе и с чемоданом был. А идет, говорит, по ореховской поворотке.

— Он не он, а кой черт занесло туда лешего? — ругнулся Михаил Петрович и стал звонить в Ореховку, но и там ничего не добился.

Хозяйничавший весь день ветер к вечеру опустил поводья, а муть и вовсе рассеялась. Небо облегло. Потеплело.

— Все бы ладно, да поется нескладно, — вздыхал Михаил Петрович, глядя из окна на двигавшихся к вершушке односельчан. Всем, кто знал о случившейся с лектором передрыге, он наказал помалкивать, чтобы не расстраивать раньше времени народ.— Еще, может, и подъедет. А в крайности картинку прокрутим, и то ладно!

В клубе сталолюдно и шумно. Раньше всех, как водится, заявила мелкота — мальчишки в нахлобученных по уши шапках, расцвеченные лентами девчурки. Парни дымили в проходе и подтрунивали над девушками, которые быстро прошмыгивали в зал, роняя по пути смешок, а то и дерзкое словцо. Старики неторопливо счищали грязь с сапог, проходили в контору или раскуривали на крыльце неистребимую махру. С новинской стороны, где пролегал подъезд к вершушке, урча и чихая, подкатила полуторка; из-за бортов посыпались касимовские свинарки с детишками и мужиками, служившими при них, свинарках.

Между тем наказ Михаила Петровича не помог: слух о пропавшем лекторе просочился в народ. Любопытство к событию усилилось после того, как в конторе появился еще один отсыревший дозорный. Ничего не прибавив нового, он лишь возбудил общее беспокойство. Нетерпеливые толклись на крыльце, совмещая здесь перекур с гаданьем: будет ли лекция или придется не солоно хлебавши расходиться?

— Не толпитесь, товарищи, дайте другим пройти, — увещевал их Лопатин.

— А я-то спешил, Петрович, как бы не опоздать, — говорил седобородый старик, похожий в роговых очках на ученого.— Зря, выходит?

— Погоди, дядя Семен, время еще есть.

Дядя Семен, старейший совхозный полевод, поднес к губам самокрутку. Строгие очки ступевались в дымке.

— Погодить можно. Только бы приехал...

— Куда ему по такой мокроте торопиться, — сказала женщина в шерстяном, низко повязанном платке. Это была Ганюшина, за минуту перед тем поднявшаяся на крыльцо.— Сидит небось где-нибудь, чаек попивает.

— Ты, баба, вроде бы больная, а туда же! — насупленно смерил ее глазами Михаил Петрович.

Сплюнув шелуху от семечка, Ганюшина отбрыкнулась:

— У меня болезнь ходячая — не обязательно в постели валандаться.

— А то позвала бы, коли скучно, — вставил кто-то под общий смех.

— Доктора ей хорошего — сразу вылечит!

Из сеней вышел кузнец Федя Барсуков — добродушный задира и шутник, без которого не обходился ни один вечер.

— Кому здесь доктора? — крикнул от порога. — К вашим услугам!

— Евдокии вон банки поставь!

— Слышь, Федя... Ты, может, и лекцию прочитаешь?

Федя откашлялся, полистал воображаемый блокнот и сделал вид, что отпивает из стакана воду.

— Получается?

— Давай, давай!

— Верно, Михаил Петрович: меня бы подрядили. Полбанки на кон, такую лекцию отгрохаю — закачаетесь!

— Сам-то смотри не накачайся!

— Ишь, черт, куда его понесло! — вскрикнула Ганюшина, и все повернули головы к реке, на которую она смотрела.

По дороге через Жимолоху трусила каурая лошадка, только что спустившаяся с противоположного берега. В передке саней стоял на коленях шуплый, издали чуть приметный возчик. Нахлестывая лошадь, он упрямо и бесшабашно гнал ее по ржавому снегу к темневшему впереди разводью. И сразу же внимание всех, кто находился на крыльце, переключилось на непутевого ездока.

— И куда прет, дурной, чего надумал!

— Ореховский, видать, или наш?

— Правей, правой держи, дьявол!

— А ну, не галдеть! — зыкнул Михаил Петрович, как будто шум мешал ему лучше видеть. Изогнувшись над перилами, он пытливым взглядом всматривался в розвальни: кто там едет?

Ближе к середине реки поверх льда широкой полосой разливалась вода. Ступив в нее, лошадь пошла медленней. Возчик легко соскочил с саней — у ног венчиком взлетели брызги, — взял каурую под уздцы. На крыльце враз выкрикнуло несколько голосов:

— Ореховский, Данилыч!

— Этому все нипочем!

— Чудак! Сейчас под лед сиганет!

Подведя лошадь близко к разводью, возчик почесал кнутовищем висок, осмотрелся и неторопливо свернул в сторону, на белесую целину. Розвальни запрыгали по ледяным гребешкам, вдоль черной расселины во льду. За спиной возчика на санях приподнялся человек в шляпе и в очках, блеснувших тусклыми искорками. Михаила Петровича словно жаром обдало: «Господи, неужели ж он? Да кому еще тут!» Он по-новому, тревожно окинул взглядом реку и берег, соображая, где лучше саням проехать и не понадобится ли помощь.

— Данилыч! — кричали вразнобой с берега. — Держи правой! Дуй напрямки!

— Ладно вам разоряться, и сам знаю, что делать, — пробурчал в ответ Данилыч и, обернувшись к Тугаеву, который пытался встать на колени, сказал: — Это вы верно надумали, товарищ лектор: сойти не мешает.

— Сойти обязательно, — сказал Тугаев, чувствуя, что от неподвижности замерзает. Не пристало к тому же показываться людям, к которым едешь по делу, в образе истерзанного ненастьем бродяжки.

Данилыч придержал лошадь, и Тугаев выбрался из саней.

Найдя узкое место разводья, Данилыч остановился у самой кромки. Он постучал кнутовищем по закраине льда, оглядел ноги лошади и не сильно пригнул ее голову, все что-то приговаривая, словно давал знать скотине, что от нее требуется. Тугаев тоже подошел к кромке.

Разводье здесь было не шире двух санных полозьев — просто щель, которая поодаль переходила в озерцо. Пузырчатый лед на сломках мерцал блеклой зеленью, вода казалась неподвижной и как будто вспученной.

— Ступай вперед, — сурово сказал ему Данилыч. — Далеко не отходи!

Тугаев перешагнул щель, как лужу на дороге, и, пройдя несколько шагов, оглянулся.

Данилыч стоял уже по эту сторону разводья. Он потягивал лошадь за уздцы и легонько ударял по ее ногам кнутовищем. Кося глазом понижу, лошадь понимающе переставила через щель передние ноги и, всхрапнув, двинулась дальше. Почти в то же мгновение она осела крупом; задняя нога, скользя по кромке, сорвалась в воду, хрустнул лед, Данилыч рванул узду. На берегу взвизгнули женские голоса, но не успели они умолкнуть, как розвальни выбрались на целину.

Люди на крыльце опять загомонили, чествуя Данилыча и подавая ему советы. До горских холмов оставалось недалеко, но здесь, у самого берега, тянулась узкая полоса полой воды.

— Яков! Лидушка! Кто там! — спохватился Михаил Петрович. — Бегите вниз! Похоже, и впрямь лектор...

— Полбанки за вами, Михаил Петрович, — крикнул Федя-шутник и, перемахнув через перила, затопал под откос.

За ним, надевая на ходу пальто, побежал Яша Полетаев.

— Восемь уж скоро, а ты еще не готова, — сказала Мария Степановна, входя в горенку, где за столом сидела дочь.

— Сейчас. Вот только оборку закончу.

Расстелив на столе кофточку, Валя пришивала к вороту широкую кружевную ленту. С верхушки нежно и томно стекали в горенку звуки радиолы. Прислушиваясь к любимым вальсам — они прокручивались точно по заказу, — Валя рассеянно вдевала иглу в ткань.

— Ты иди, мама, не жди... Мне лекцию что-то и слушать не хочется.

Мария Степановна вернулась на кухню, но сейчас же опять приоткрыла дверь.

— Видать, не начали еще: народ у клуба стоит. Пойду пока хлев проверю.

Она накинула на голову платок и вышла во двор. С крыльца снова взглянула на верхушку: люди кричали там что-то и смотрели вниз, на Жимолоху.

Мария Степановна проверила скотину, закрыла хлев и, подобрав оброненные картофелины, хотела уже возвращаться в дом, когда увидела сбегавших по откосу Федю и Яшу. Разбрызгивая грязь, они стремительно пронеслись мимо ворот ковылевского дома. «Подрались, что ли?» — подумала Мария Степановна и вышла за калитку. Дойдя до угла ограды, она остановилась перед спуском к реке и прижала руку к груди.

По льду Жимолохи брела запряженная в сани лошадь. Впереди, держа ее под уздцы, вышагивал сморщенный старичишка, в котором Мария Степановна без труда признала возчика из Ореховки. Сбоку от саней тяжело переставлял ноги человек в очках и в сдвинутой набок шляпе. В левой руке его мотался чемоданчик.

У полыньи лошадь стала. Данилыч смело ступил в воду, крикнул, бултыхнувшись по колено.

— В сани становись, товарищ лектор! Повыше, к передку! — скомандовал он Тугаеву и взмахнул на каурую вожжой: — Н-но, голуба!

Тугаев вскочил в сани, вцепился руками в передний брус. Лошадь вошла в полынью; подоспевший Федя ухватился за постромки и, гикая, помог Данилычу вывести ее на берег. На пригорке Данилыч снял шапку и обтер рукавом потный лоб. Тугаев отряхнулся — брызгами ему обдало лицо и грудь.

— Ну вот и отлично, — сказал он, выбираясь из саней и осматриваясь. — Здравствуйте, товарищи... Верно, лектора ждете?

Яша пожал протянутую руку Тугаева — она была мокрой и холодной, как ледышка, — спросил, не доверяя себе:

— Так вы действительно лектор? Из города?

— Разве не похож? — Тугаев попытался засмеяться, но в горле запершило, и, перехватив его ладонью, он закашлялся.

— Д-да, — протянул Федя. — Подлечиться бы с такой дороги — самый раз!

Слышавшая все Мария Степановна подошла ближе. Она с откровенным любопытством рассматривала приезжего лектора. Жалкий, перемазанный в грязи, такой же неказистый, как и доставивший его Данилыч, он и вправду не походил на тех, что бывали в Горах раньше. И она вздохнула сокрушенно: «Какой уж с него лектор!»

— Как народ? — спросил Тугаев, откашлявшись. — Собрался?

— Ждем вас, — сказал Яша.

— Тогда нечего время терять... Где у вас клуб?

Яша отвел глаза в сторону. Мария Степановна всплеснула руками: — Что вы, родненький, и лица-то на вас нет! Зайдите в дом. Обогрейтесь, почиститесь.

— Обязательно, — подхватил Яша и бережно взял под руку Тугаева. — Смотрите: на вас все мокрое.

Тугаев пожегся, улыбнулся.

— Если ненадолго... Не разойдутся? — И повернулся к Данилычу: — Большое тебе спасибо, отец... А ведь, пожалуй, мы с тобой сильно рискнули?

— Где риск, там и везенье, — весело, будто ничего не случилось, откликнулся Данилыч и похлопал себя по ляжкам. — Дозволь и мне, Марья Степановна, обсушиться. И я, чай, хочу товарища лектора послушать.

Причмокнув на лошадь, он подогнал ее к штакетнику, закинул вожжи на столбик. Мария Степановна открыла калитку, все вошли в дом.

Кухня была опрятной и светленькой. Но прежде чем осмотреться, Тугаев увидел светловолосую девушку, стоявшую поодаль, у печи, с платяной щеткой и какой-то одежкой в руках. Она искоса, быстро поглядывала на него, и этот быстрый взгляд из-под насупленных бровей, придававший ее лицу неуловимое выражение пытливости и каприза, живо напомнил Тугаеву начальный путь в Горы — он возник в памяти, как давнее воспоминание.

— Валя?.. Вы? — неуверенно и вместе с тем как-то радостно спросил он, шагнув к девушке.

Мария Степановна удивленно взглянула на гостя и потом на дочь. Смутьившаяся Валя повела было плечом, но в ту же минуту по очкам и желтому чемоданчику узнала знакомого попутчика.

— Ой, как вы... — произнесла она растерянно и запнулась, почувствовав бестактность этих слов.

Скрывая смущение, она приняла от Тугаева пальто, тяжелое, с одеревенелыми от влаги складками, а матери сказала:

— Третьего дня мы вместе ехали, мама, из Березова.

— Третьего дня! — воскликнул Тугаев. — А кажется, прошло сто лет! Как вы добрались, Валюша? Удачно?

— В тот же день, через Малкино... А вас, верно, подвел этот... райкомовский Павлуша?

— Прокатил с ветерком, как видите! — засмеялся Тугаев.

По-хозяйски расположившись на лавке, Данилыч сразу же принялся снимать сапоги, приговаривая:

— Первое дело — ноги обсушить! Нога всякому делу слуга. Присаживайтесь, товарищ лектор!

Тугаев скинул сапоги. Сбившиеся мокрые портянки плюхнулись на пол. Ноги были холодные, красные, со сморщившейся и чистой, как после бани, кожей.

— Сейчас утюжок поставлю, — сказала Мария Степановна и сунула в плиту растопку. Вспыхнуло пламя, на полу заиграли розовые блики.

Не дожидаясь, пока это сделает мать, Валя достала из загнетка утюг, оберла его тряпочкой и поставила на конфорку. Лицо ее оставалось озабоченным и серьезным.

— Много народу собралось? — спросил Тугаев, переводя взгляд с Феи на Яшу.

— Полно будет, — сказал Яша. — К нам ведь с лекциями редко приезжают.

— Из одного Касимова полная машина прикатила, — вставил Федя.

— Да слушайте, товарищ лектор... Может, на завтра перенести? Отдохнули бы немного...

Тугаев, ощупывая брюки, приподнял на Яшу подбородок:

— Вы кто будете?

Яша назвал по всем правилам: имя, отчество, фамилия, должность.

— Так вот, Яшенька, или Яков Матвейч: откладывать нельзя. Касимовские-то небось не близко живут? Сегодня, обязательно сегодня, и даже сейчас!.. А пока народ предупредите, займите чем-нибудь. И, пожалуйста, насчет моего вида — ни слова. Ничего лишнего!

Яша кивнул головой; сузив глаза на Валю — за эти минуты ему ни разу не удалось перехватить ее взгляд, и сейчас она тоже смотрела в сторону, — бочком, нерешительно вышел из дома.

— Беда, мокрые, — сказал Данилыч, заметив, как Тугаев, поеживаясь, прощупывает брюки. — Жалко, в холостой дом попали: сейчас бы подменить, и вся недолга!

Тугаев улыбнулся:

— Мне думается, он недолго будет холостым... А это ничего, обойдусь!

— Как же обойдетесь, — вмешалась Мария Степановна. — Давайте и брюки прогладим.

— Нет, нет... Разве потом. Никаких задержек!

Федя хлопнул ладонями по своим брюкам, сказал Тугаеву:

— Мы с вами, кажись, одного роста. Возьмите мои.

— А вы?

— До дому в пальто добегу. Там оденусь.

Как только зашел разговор о брюках и холостом доме, Валя ушла в горенку. Мария Степановна хлопотала у плиты. Распахнув пальто, Федя снял брюки, потрусил их и, передавая Тугаеву, сказал:

— Не откажите в любезности. Они чистые.

Тугаев, поглядывая на хозяйку и на дверь в соседнюю комнату, стал торопливо переодеваться.

Из углов комнаты напоздали мышинные тени. Валя подошла к окну, выходящему на Жимолоху. Неожиданное появление в доме озобоченных и спешащих людей выбило ее из настроения праздной мечтательности, навевая звуками радиолы. Она смотрела на тревожно посеревшую и взбугрившуюся реку, на противоположный берег в темно-синих наплывах теней и прислушивалась к чему-то смутному в себе. Ветер под окном устало раскачивал метелки яблонь.

С комода мягко спрыгнул Ефим. Распушив хвост, замурлыкал, затерся у ног. Лучше нельзя было угодить молодой хозяйке, и Ефим не сомневался, что она сейчас же заговорит с ним, возьмет на руки, но Валя, не взглянув, оттолкнула его.

Темнело. Неясный, беспокойный шум проникал снаружи — то ли людские голоса с верхушки, то ли Жимолоха урчала подо льдом. И такие же неясные, беспокойные мысли отягчали Валу, тянулись без конца и начала, как ниточка из спутанного клубка. Это было похоже на то ощущение, которое она не раз испытывала и раньше, выжидая у окна свою синюю птицу, но теперь оно обострилось, стало тревожней.

Почему, собственно, она не идет в клуб? Ведь уже и оборка пришита, и мулине для Лиды положено в сумочку, но вот пришли эти люди, и клуб, танцы, встречи с подругами — все оттеснилось на второй план, поблекло. Свежо, неотступно стояли перед ее глазами хозяйственный Данилыч, разбитной Федя и более всего усталый, под конец заморенный лектор, о котором она за эти дни успела забыть. Только что встретившиеся, незнакомые или мало знакомые друг другу, они сообща и деловито хлопотали об одном, равно всех интересовавшем. Каждый был при своем деле, на своем месте, и даже этот приезжий издалека человек чувствовал себя здесь запросто, обыденно, будто не в первый раз. Может быть, в этой-то обыденности и заключалось то главное, значительное, что скрывалось от нее за семью печатями? Тогда в чем же эта значительность — неужели все в тех же килограммах молока, тоннах силоса, о которых не переставая твердит Михаил Петрович? Для чего все эти хлопоты? Так ли необходимо из-за одного дня, часа, из-за одной встречи с людьми поднимать всех на ноги, волноваться, рисковать здоровьем?.. Потирая в раздумье руки, Валя смотрела на Жимолоху, а ниточка все тянулась, тянулась и никак не могла вытянуться.

Скрипнула дверь — Ефим скользнул на кухню. В просвете Валя увидела мать. Застелив стол байковым одеялом, она гладила портянки. Ближе к столу сидел на лавке освещенный лампой Данилыч. Он натягивал на ногу сапог, кричал от удовольствия и рассказывал Марии Степановне, как встретился в поле с Тугаевым. Сидевший чуть дальше, в тени, Тугаев добродушно — видно, уже согрелся — посмеивался над собой и Данилычем.

Когда портянки были выглажены, Валя спросила: «Можно?» — и вышла на кухню. Пахло потом, опаленной материей. Данилыч свертывал папиросу. Тугаев, поднявшись, притопывал ногой и жмурился, как Ефим на солнце:

— Теперь, пожалуй, никакая повертка не страшна!

Валя улыбнулась. В широких брюках Федя, надетых поверх сапог, он показался ей плотным, крепким.

— Пора! — сказал он и потянулся к вешалке за пальто.

— Господи, — засуетилась опять Мария Степановна, ставя на стол чайник, покрытый испариной. — Звать-то вас как, не знаю.

— Степан Федотыч.

— Хоть бы стаканчик чайку выпили, Степан Федотыч. Никуда не денется народ.

— А мы потом наверстаем, мамаша,— сказал Тугаев и посмотрел на Валю:— Вы идете?

— Все пойдем,— ответила за Валю мать.— Выпейте хоть пустого, все потеплей с дороги.

Данилыч без лишних церемоний налил два стакана, один взял себе, другой подал Тугаеву. Валя надевала пальто. Уступая настойчивой просьбе, Тугаев наскоро, обжигаясь, выпил чай и следом за Данилычем и Валей вышел во двор. Мария Степановна осталась прибрать плитку.

На верхушке ярко горели огни в окнах, мелькали тени, гремела на все стороны радиоло.

— Это и есть клуб? — спросил Тугаев Валю.

— Видите, совсем недалеко,— ответила она, пропуская его вперед, в калитку.

Данилыч свернул к лошади, а Тугаев и Валя пошли вверх по откосу. Валя забегала вперед, выбирая по обочинам твердую почву и надеясь, что Тугаев последует ее примеру. Но он шел прямо по тропе. Было неловко видеть, как он, дыша натужно, с усилием переставлял ноги в хлюпающей глине, и, преодолевая робость, Валя взяла его под руку.

— Идемте сюда. Здесь посуше... Вы что — по ореховской поворотке добирались к нам?

— Да...— Тугаев перевел дух, усмехнулся:— Кстати, что это за нелепое словечко — «повертка»?

— У нас все так называют, давно... Какой же чудак вез вас по поверткам? Там машины почти что не ходят.

— В том-то и дело — никто не вез.— И Тугаев рассказал о своем злочинении с Павлушей, обещавшим вмиг доставить его в Горы.

— Надо было ожидать — форсит много,— не без удовлетворения сказала Валя.— А дальше, в лесу, как?

— А дальше поблуждать пришлось... В овраги какие-то забрел...

— За Ореховкой? Так это Ямы! — Валя приостановилась в изумлении.— Этой зимой там, говорят, трех волков убили. И как это вы...

— А я бы их палкой, палкой! — засмеялся Тугаев.

— Мне это непонятно,— медленно произнесла Валя.— Вы столько, наверно, за этот день изнервничались. Одна поворотка чего стоит — пешком, в незнакомой глуши... И все для того, чтобы только лекцию прочитать?

— Разве этого мало?

Валя смолчала.

— Впрочем, вы, может быть, правы,— вздохнул он.— Ведь еще неизвестно — удастся ли лекция...

У клубного крыльца стояло несколько человек. Заранее отпустив руку лектора, Валя быстро прошмыгнула мимо них. Навстречу Тугаеву шагнули Федя и за ним, приволакивая ногу, Михаил Петрович.

— Лопатин. Секретарь местной парторганизации,— сказал он и подал гостю обе руки.— Ну, наконец-то! Живы? Здоровы? Подсушились?

— Отлично! Отлично! — восклицал Тугаев, всматриваясь в незнакомые лица и пожимая всем руки.

Из сеней на крыльцо косо падал голубой от табачного дыма луч света. При входе в клуб Тугаева обдало густым настоем запахов, в который вносили свою лепту табак и сапожная мазь, пот натруженных рук и косметика.

Разноголосый говор, взрывающийся там и тут выкриком или смехом, мелькающие лица, платки, шапки, тепло человеческого коллектива, уплотнившегося на небольшой площади,— все сразу же ввело Тугаева в привычную атмосферу собрания. Мускулы его подтянулись. Улыбаясь

и кивая в обе стороны, он медленно продвигался в узком проходе к помосту, где возвышались фанерная трибунка и покрытый кумачом стол. Здесь Михаил Петрович посадил его рядом с собой и забарабанил карандашом по графину.

— Товарищи! Давайте начнем!

Едва немного утихло, Тугаев вышел к трибунке, положил на нее записную книжку и, негромко откашливаясь в кулак, начал говорить. Шум в зале нет-нет и прорывался: то заплачет ребенок на руках у матери, которая не могла оставить его дома, то в сенях хлопнет входная дверь. Впереди возилась мелкота, занявшая места поближе в надежде на обещанную картину, кто-то звучно сплевывал семечки... И Вале стало неловко перед лектором, раз даже показалось, что он с укоризной взглянул на нее. Ее особенно раздражали подруги, продолжавшие бесцеремонно шушукаться, и неожиданно громко она прикрикнула:

— Да тише вы, девчата! Как не стыдно!

На нее зашикали. Михаил Петрович вскинул от стола бачки, и самой стало стыдно: зачем подала голос, будто больше всех ей нужно? Заливаясь краской, Валя пригнула голову...

А Тугаеву все было знакомо: и пестрое смешение людей на скамьях, и ненадежная легкость трибуны с обшарпанными краями, и этот прорывающийся шумок — все шло своим чередом, как бывало не раз. Он уверенно набирал голос, и, когда Валя минутой позже подняла голову, она не узнала его: от усталого, измученного человека, который недавно входил в их дом, не осталось и следа. Щеки Тугаева порозовели, глаза под стеклами очков и все лицо — даже, кажется, широкий поблескивавший нос — светилось в щедрой, не без лукавства улыбке. Опуская время от времени очки на трибунку, где лежали записи, он свободно и просто говорил о событиях, волнующих народы, перекраивающих мир. Мелькали названия государств, фамилии, цифры, изредка шутка высекала одобрителный смех на скамьях.

Валя плохо слушала, а когда Тугаев кончил лекцию и раздались аплодисменты, ей вдруг показалось, что она пропустила что-то важное и что Тугаев глядит на нее с укором. Не желая выделяться безучастием, она тоже захопала в ладоши.

Круглые настенные часы показывали без пяти минут десять. Ребягишки впереди угомонились, кое-кто дремал. В душном, уплотнившемся воздухе дышалось тяжело, но никто не уходил.

Валя с интересом прислушивалась к вопросам, которые задавали из рядов лектору. Они были разные — о войне и мире, о событиях в Конго и производстве мяса в стране, а дяде Семену почему-то вдруг захотелось уточнить: верно ли, что Фарук, бывший египетский король, дает уроки танцев? Все засмеялись, кто-то крикнул: «Тебе что, дядя, пушай трудится!» Тугаев не переставая улыбался, чиркал карандашиком по записной книжке и без задержек отвечал на все, о чем его спрашивали.

Дело подходило к концу. Распарившийся и довольный Михаил Петрович — все получилось как нельзя лучше — поднялся из-за стола и от лица всех горских жителей душевно поблагодарил лектора. Не успел он объявить перерыв, как со ступеней вскочил взлохмаченный Данилыч, стукнул кулаком по трибунке:

— Товарищи! Минутку, товарищи!

— Тебе что, старый? — оторопело спросил Михаил Петрович.

— Погоди, дай народу сказать... Я вот давеча на Марфину делянку ездил, — возвышал голос Данилыч. — Вертаюсь домой, значит. Гляжу — человек из лесу бежит...

Тугаев дернулся плечом:

— Зачем это? Не надо!

— Нет, товарищ лектор, и вы погодите. Раз дело общественное — народ должен знать...

Глаза Данилыча горели в глубоких впадинах, бороденка прыгала. Поднимающиеся уже люди сели снова, заулыбались. Михаил Петрович щипал бачки: несмотря на признательность ореховскому возчику, нельзя было поручиться, что он не отмочит чего-нибудь из ряда вон выходящего.

Но все обошлось благополучно. Путаясь в обстоятельных и многословных периодах, Данилыч рассказал, как подозрительно отнесся сперва к Тугаеву, но, убедившись, что перед ним добрый и немало претерпевший человек, а главное — по общественному делу, которое не терпит отлагательств, решил — куда ни шло! — перебросить его через Жимолуху.

— Вот мы сегодня с вами будто на ракете кругом облетали, видней все стало. Не зря, значит, торопился товарищ лектор... А что бабы говорят — с ума Данилыч спятил, дай бог каждому так пятить!..

— Верно, Данилыч, верно, спасибо тебе за услугу. Не струхнул, — сказал, оттаивая, Михаил Петрович.

Он ударил в ладони, зал ответил веселыми хлопками, и удовлетворенный Данилыч скатился с помоста.

До начала киносеанса был объявлен десятиминутный перерыв. Люди шумно обменивались впечатлениями, теснясь у выхода, над головами поплыли дымки папирос.

Не отставая от подруг, но и не участвуя в их общем разговоре, Валя медленно подвигалась к двери. Раза два мимо нее пробежал Яша. Как всегда на клубных вечерах, он мелькал всюду, возбужденный и раскрасневшийся, вероятно, от сознания ответственности. Сейчас он с помощниками открывал окна и, поторапливая всех, приводил в порядок помещение.

Валя остановилась с подругами в уголке фойе, где не было особой толкотни. Она водила пальцем по стеклу витража, и, точно переводная картинка, в отблескивавшем стекле показалось вдруг смутно улыбающееся лицо; чье-то горячее, сдерживаемое дыхание щекотнуло висок. Валя подняла голову: за плечом стоял Яша. Быстро поглядывая по сторонам, он протягивал ей обернутую в газету книгу.

— Что это?

— «Пармский монастырь», — шепотнул Яша, словно речь шла о конспиративном предмете. — С предисловием достал.

— Спасибо.

Полистав книгу, Валя открыла сумочку. Яша задышал совсем близко:

— Сейчас «Балладу о солдате» прокрутим, а потом, может, и танцы успеем... Останешься?

А из зала кто-то зычно кричал:

— Яша! Яшка, давай радиолу!

Тугаев еще некоторое время находился в клубе. Валя видела, как он беседовал с касимовскими свинарками и прижимал к груди отвороты еще, должно быть, не высохшего пальто. Потом, уже в сенях, Михаил Петрович уговаривал его о чем-то; подошла к ним Мария Степановна и тоже заговорила — убеждающе, ласково, а Тугаев признательно наклонил голову. «У нас, наверно, заночует», — подумала Валя. Тут раздался звонок, и она поспешила с подругами в зал.

Погас свет. Под глухое стрекотанье аппарата на квадрате полотна ожила, в чаду и пыли, военная страда. Снаряды с неистовой яростью перепыхивали поле, среди черных разрывов полз танк с паучьей меткой,

и парнишка в окопчике смятенно, без кровинки в лице, следил за ним. Вот он, Алеша Скворцов, подбивает танк; вот, неловко подобравшись, просит у генерала разрешения на побывку; ни наград, ни отличий — по-видать бы мать, починить крышу. И уже мелькают попутные машины, железнодорожные станции, вьется, бежит вдаль изрытый проселок... Валя смотрела картину второй раз, но по-прежнему чутко внимала Алешиным превратностям в пути, нескладным людским судьбам. Жаль было солдата-инвалида и его молодую красивую жену, жаль беззащитную Шурочку и еще что-то жаль — уже в себе, что томительно и неустроенно ютилось где-то на донышке сердца. Она не расслышала, как в звуки картины ворвался посторонний голос:

— Ковылева! Валя! На выход!

— Тебя кличут, — толкнула ее Лида.

Пригибаясь и прочерчивая тенью экран, Валя подошла к двери. В призрачном свете перед нею блеснули белки глаз и зубы Феде-кузнеца:

— Беги домой. Мать зовет.

— Что такое?

— А ничего... — Федя наклонился ниже, сказал потише: — С лектором чего-то плохо... И Михаил Петрович просит.

Валя, раздумывая, взглянула на экран — там Шурочка в отчаянии выбрасывала из вагона свой узелок — и, вздохнув, пошла домой.

Тугаев, Михаил Петрович и мать были на кухне. Мать нарезала хлеб, Лопатин, в пальто и без шапки, опираясь на палку, стоял возле стола, за которым сидел лектор.

При неярком свете лампочки лицо Тугаева показалось Вале энергически возбужденным, но, приглядевшись, она поняла, что оно горело лихорадочным румянцем. И так же, как в клубе, перед началом лекции, ее поразил изменившийся вдруг вид Тугаева, его невесть откуда взявшаяся бодрость, так и теперь она была удивлена новой, резкой в нем переменной.

— Не хотелось тебя вызывать, Валюша, — сказала Мария Степановна, — да вот Степану Федотычу недужится, и аптекарша уехала... Где-то у тебя стрептоцид, никак же найду.

— Так он в швейной машинке. В ящичке.

— Давай его сюда, невеста, живо. — взглянул Михаил Петрович на Валу и припал перед Тугаевым на палку: — А то бы в Новинское за врачом, а? Тут недалече.

Тугаев мотнул головой: «Ничего не надо. Пройдет».

— Вы, Валюша, уж не сердитесь... Оторвали вас...

— Да нет, что вы... — Обиженная всегдашним обращением Михаила Петровича, особенно в присутствии Тугаева, Валя прикусила губы.

Но почувствовав сейчас же, что ее обиду Тугаев может принять на свой счет, вспыхнула и, снимая на ходу пальто, задевая им Михаила Петровича, быстро прошла в комнату. Лопатин, посмотрев ей вслед, мигнул Тугаеву:

— Ничего, это у нас бывает...

Спустя минуты три Валя вернулась на кухню — подобранная, серьезная, в простом домашнем платье. Положила на стол перед Тугаевым пакетик с таблетками, придвинула стакан с чаем.

— Запейте, пожалуйста... Но лучше бы перед сном принять.

Тугаев поблагодарил, потянулся за пакетиком; пока открывал его — в сенях затопали шаги, кто-то постучал в дверь.

— Да! — крикнула Мария Степановна, и на кухне показался Федя.

Скинув одной рукой шапку, он сунул ее под мышку другой, застрявшей неподвижно в кармане, произнес от порога с вкрадчивой почтительностью:

— Еще раз хозяевам и гостям!.. Не помешал?

— За брюками, что ли? — спросила без обиняков Мария Степановна.

— Брюки не убегут.— Федя, хитровато щурясь, выплыл из полутени.— За ваше самочувствие беспокоимся, товарищ лектор.

— Надо бы лучше, да некуда,— неясно усмехнулся Тугаев.— Присаживайтесь.

Михаил Петрович подозрительно поглядывал на спрятанную в кармане руку кузнеца.

— Ты куда Данилыча пристроил?

— Данилыч у дяди Семена, как у Христа за пазухой. Лекцию продолжают, и вот по части лечения тоже.— Выпростав вдруг застрявшую в кармане руку, Федя с видом фокусника вывернул ладонь, и на столе появилась поллитровка.— С вас не вышло, Михаил Петрович, так за нами не постоит!

Михаил Петрович побагровел. Скрипя протезом и палкой, надвинулся на Федю, прохрипел неудающимся шепотом:

— Баламут!.. Видишь, человеку плохо?

— Так это ж лекарство...

— Сразу два, и оба, кажется, уместны,— оживился Тугаев, будто в самом деле не слыша басовитого шепота. И тяжело, всем корпусом повернувшись к Вале: — Что говорит по этому поводу медицина?

— Медицина не рекомендует,— серьезно сказала Валя.

— А вы, хозяйшечка?

— Смотрите, вам видней.

— Вот именно,— осмелел Федя.— Маслом кашу не испортишь,— и из другого кармана выложил на стол консервы.

— В таком случае уважим человека,— сказал, блестя зрачками, Тугаев.— По стопочке, думаю, никому не повредит, а нам с Федей особенно.

То ли лампочка над столом засветилась ярче, то ли оживление Тугаева передалось всему — на кухне стало светлее, уютней. Федя снял пальто и, расчесывая волосы, все еще храбрясь, но уже не с прежней лихостью, сел на лавку, к столу. Не раздеваясь, присел и Михаил Петрович; слова Тугаева, видимо, примирили его с появлением нового лекарства, и он даже дал Феде старинный нож с костяной ручкой — открыть консервы. Мария Степановна принесла из буфета стаканчики. Федя разлил, поспешно поднял свой:

— За ваше здоровьишко, товарищ лектор!

— За добрую встречу, и пусть она будет не последней,— сказал Тугаев.

Валя хотела было пригубить из приличия, но, заметив на себе сторожкий взгляд Михаила Петровича, назло емухватила большой глоток. закашлялась. Мария Степановна сунула ей вилку с треской; опустив голову, Валя беззвучно жевала. Несмотря на некоторую приподнятость настроения, разговор за столом не клеился. Лишь ненадолго вспыхнул он, когда из клуба вернулся Витюшка и, отвечая на вопросы старших, уписывая щи, захлеб рассказывал о дорожных приключениях Алеши Скворцова.

Выпив стаканчик, Тугаев с трудом отдышался, вяло потыкал вилкой в тарелке. После нескольких бессвязно оброненных фраз в глазах его пропала живость, на лбу выступил пот. Он уронил голову на грудь, и тогда Михаил Петрович не сказал, а только губами и бровями повел: «Хватит!» — и, отставляя палку, поднялся. Федя второпях пропустил вторую стопку и тоже поднялся.

Бесшумно передвигаясь и все поглядывая через щелку в комнату, где уложили Тугаева (там горела, прикрытая журналом, настольная лампочка), Мария Степановна убрала со стола. Валя осторожно перемыла посуду, умылась сама и, откинув байковую шторку, легла на узкую и жесткую койку матери. Точно заждавшись этой минуты, Ефим радостно мурлыкнул и, вспрыгнув, свернулся в ее ногах.

Покуда мать штопала у стола чулки, Валя полистала читанный уже однажды «Пармский монастырь». Тогда перипетии давней и неведомой жизни увлекли ее далеко от Гор — к сияющему озеру Комо, к древнему замку Сансеверина, где виделись люди необыкновенных чувств и поступков. Теперь, бегло просматривая оживившие сцены, она не могла возродить яркости прежних впечатлений. Лениво листались страницы, глаза рассеянно скользили по строчкам, и чуть ли не каждую выхваченную наугад фразу подстерегала беспокойно блуждающая мысль.

«Блестящая кавалькада выехала навстречу коляске, в которой Джина возвращалась из Милана» («Хорошо, красиво, но ведь ничего этого нет и не будет, да и что тебе?»). «Сансеверина устраивала прелестные вечера в замке» («И, наверно, танцы под радиолу, и герцогиня в капроновом платочке», — грустно подшучивалось рядом). «Моя душа находилась тогда вне своих обычных рамок. Все это было лишь сном, Джина, и сейчас исчезло перед лицом суровой действительности...»

— Тушить или считаешь еще?

Валя, хмуря от напряжения брови, взглянула поверх книги. Мать снимала кофточку, позевывала.

— Туши. — И сунула книгу под подушку.

В темноте выделилась верхняя занавешенная часть окна. Молодой месяц путался там в голубоватом кружеве облачков, вырывался и никак не мог вырваться на простор.

Верхушка безмолвствовала, но на ближнем склоне еще слышались приглушенные голоса, сдержанный смех. И еще слышалось что-то глухое, подспудное — словно животное терлась шершаво о стену или, казалось, волокли напролом вязанку хвороста. Вале был с детства знаком этот невнятный тревожный шорох: то воды Жимолохи, полнясь от избытка, подтачивали ледяной заслон, и, уже непрочный, колеблемый ими, он готов был вот-вот расплзтись на куски.

Широко открытыми глазами смотрела она на летящее ночное небо и все старалась припомнить какую-то важную мысль, на которой будто только что останавливалась: о чем была она, летучая и призрачная, как это голубое кружево? Она попыталась вернуться к страницам и образам «Пармского монастыря», но они ничего ей не подсказали, ни о чем не напомнили. И тогда уже без всякой цели — просто спать не хотелось, и беспокойство, смутное, как бормотанье Жимолохи, овладело опять — она стала перебирать впечатления дня.

Они проходили замедленно и быстро, без выбора, без порядка, и все же в какой-то скрытой, не зависимой от ее желанья закономерности. То виделось, как мать приходила утром с фермы и, озабоченная, хваталась невпопад за все; то возникало в потаенной усмешке лицо Михаила Петровича или вдруг живо представляла себе Тугаева, бредущего по ореховской поворотке. Мокрый ветер валит его с ног, непролазный осинник встает на пути, разверзаются Ямы; он падает, поднимается, но все идет вперед, все вперед... Ей пришло на память, как однажды летом блуждала она с матерью и подругой в этих страшных Ямах, где жизнь словно замерла на тысячу лет, как чудились под елями звериные морды и шорохи, и каким лазоревым, струящимся теплом и светом показалось ей небо, когда выбралась на взгорье — порвав юбку, рассылав ягоды. Она была

летом, и не одна, а он шел один-одинешенек — в распутицу, незнакомой дорогой. «Я бы их палкой, палкой!» — вспомнилось ей...

Утром ее разбудило звяканье посуды. Небо в окне поглубело, стало глубоким и ясным. Сизый рассвет смывал ночные тени, вещи приобрели свой обычный вид. За столом сидел Витюшка — ел что-то, наклонив тарелку, постукивая ложкой.

Валя быстро поднялась, задернула шторку, увидев Михаила Петровича, выходящего из комнаты. В полупшепote Лопатина и ответах матери, в движениях и шорохах на кухне угадывалась смутная тревога. Наскоро одевшись, Валя вышла из-за ширмы, кивнула Михаилу Петровичу. Мать чистила щеткой пальто Тугаева.

— Как? — спросила ее Валя.

— Врача из Моторного вызвали.

Валя прошла к умывальнику. Долго и старательно умывалась.

— Беги, оголец, на верхушку, — сказал Михаил Петрович Витюшке, когда тот, оставив тарелку, вытирал рукавом губы. — Как врач приедет, скажешь, чтобы сюда шел. Быстро!

Витюшка кубарем скатился со скамьи, а Михаил Петрович, мягко опуская палку, прошел в горенку.

Валя вытерлась, причесалась, рассеянно глядела в окно на рейки штакетника и как будто что-то припоминала.

— Что ж ты? Садись есть, — сказала мать.

— Не хочу. Потом, — сказала Валя и наклонилась над скамьей. Она достала резиновые сапоги, в которых хаживала еще в школу, натянула их на ноги, неловко подвертывая чистые холщовые портянки.

— Куда это ты?

— Ты же не была на ферме? Нет?

— Что ты... погоди уж... — сказала мать и опустила голову, потому что глаза ее говорили: «Сходи, голубушка, сходи...»

Из горенки опять вышел Михаил Петрович. Вале не хотелось, чтобы он видел ее сборы. Надевая ватник, она повернулась к нему спиной, но все казалось, что он наблюдает за каждым ее движением. Она ясно видела на себе этот дотошный колючий взгляд и волновалась, не попадая руками в рукава. «Если сейчас еще назовет «невестой», скажет что-нибудь — брошу все, уйду. Пусть...»

— Увидишь Ганюшину, невеста, скажи, чтобы в контору зашла, — неторопливо и как будто посмеиваясь сказал Михаил Петрович.

Валя, вспыхнув, взглянула на него. Но Михаил Петрович не смеялся и не улыбался, а задумчиво и совсем не глядя на нее теребил бачки. И Валя поспешно, чтобы вдруг не разреветься, выскочила на улицу.

Влажный, парной воздух обнимал землю. Над дальними лесами, за туманами, поднималось разжиженное солнце. За ночь лед на Жимолохе заметно осунулся, побурел. Всюду проступали озера воды. На быстрине, где еще вчера была узкая щель, лед потрескался, большие глыбы его наползая одна на другую, отваливали от целины.



А. КОВТУН

★

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ДНЕВНИКИ

Шестнадцатого октября 1941 года мы оставили Одессу. Армия, погруженная на корабли, уходила в Крым. Мы знали только конечный пункт нашего плавания — Севастополь. Какая судьба ждет дальше Приморскую армию, никто из нас не знал. Не знал, пожалуй, и сам командарм, генерал Иван Ефимович Петров.

Одесская эпопея закончилась успешно. Увести из осажденного с суши города целую армию морем — разве это не замечательный пример оперативного решения армейской оборонительной операции? Военные историки не раз будут возвращаться к этому событию и задумываться, как удалось такой смелый замысел осуществить. Даже мы, как ни были утомлены, как ни были опечалены, а все же сознавали, что такой отход приносит советскому оружию честь, а врагу бесчестье: ведь у него было безусловное превосходство сил и положения.

Одной из последних покинула город группа офицеров штаба 25-й стрелковой дивизии. Спускаясь по лестнице к причалу, где нас ожидала шлюпка с крейсера «Красный Кавказ», мы задержались, чтобы еще раз взглянуть на красавицу Одессу.

На море виднелись силуэты кораблей, уже уходящих за Воронцовский маяк. Посадку войск на суда надо было кончить затемно. Матрос-проводник торопил нас, указывая на восток, где появилась светлая полоска.

И вот мы в море. Стало совсем светло. Караван транспортных судов, перевозящих армию, охраняли боевые корабли. Но казалось, что и войны нет, — такая кругом тишина. И вот что странно: после непрерывных боев под Одессой эта тишина как-то угнетала.

На палубе, в матросских кубриках — всюду, где нашлось местечко, на крейсере «Красный Кавказ» расположились солдаты 25-й Чапаевской дивизии. Бойцы приуныли. Ни песен, ни даже разговоров. Все оглядывались туда, где в синей дымке виднелись очертания покинутого нами города.

Настало утро, ясное, в небе ни облачка, и не слышно было шума вражеских самолетов, не упускавших под Одессой ни одного летного часа. Лишь к полудню откуда-то со стороны Очакова прилетел фашистский самолет-разведчик, покружил и ушел, а вскоре появились и вражеские бомбардировщики, началась борьба кораблей с авиацией. Разрывы вздымающих фонтаны бомб, стрельба зенитных пушек и пулеметов вернули нас в войну.

На траверзе юго-восточной части Тендровской косы в воздухе появились наши истребители, и противник вышел из боя.

Вечерело. Нас встретили торпедные катера. Значит, скоро Крым, скоро Севастополь.

В Севастополь прибыли в ночь на 18 октября. К разгрузке приступили немедленно. Наши корабли были расставлены всюду, где только можно было пришвартоваться.

Ночь была темная, нигде ни огонька. И порт и город нам были незнакомы. Как добраться до сборного пункта? Известно было только, что сбор чапаевцев в парке, где памятник Тотлебену и панорама Севастопольской обороны. Но как туда пройти? Карт не было. Группа штабных офицеров решила идти в город: быть может, кого-нибудь встретим и спросим. Наверно, никогда не забуду эту ночь, хотя ничего особенного не случилось.

Медленно поднимаемся по шоссе в город. Нигде ни души. Где-то в створе гулко раздаются четкие шаги — видимо, проходит патруль. Невдалеке скрипнула калитка. Бросаемся туда, стучим. Нам открывает пожилой мужчина. Мы просим рассказать, как пройти в парк Тотлебена, к панораме. Он зазывает в дом. Здесь еще не спят. Хозяин дома говорит:

— Все равно будете бродить до утра, так не лучше ли отдохнуть здесь?

Противиться этому предложению мы не стали. Рано утром, бодрые после нескольких часов сна, отказавшись от чая, мы пошли по указанной нам тропинке.

В парке уже собирались полки. Шли переклички, построения, а кое-где раздавали и завтрак. Начальник штаба дивизии подполковник Васильев, которого мы нашли возле панорамы, приказал мне и майору Пустовиту развернуть штаб в районе железнодорожного вокзала, а начальнику связи майору Калашникову установить связь с полками и штабом Черноморского флота, где разместился и штаб Приморской армии.

Седьмого ноября я, назначенный к тому времени начальником отдела разведки, в штабе армии познакомился с боевым приказом 001 за подписью Петрова, Кузнецова и Крылова. Этот знаменательный приказ заложил основу организации всей обороны Севастополя: оборонительный район делится на три сектора, каждый сектор в свою очередь разбивается на три участка — назначены коменданты секторов, состав сил и рубежи обороны. Все начинает принимать систему. Первоначальная разрозненность отрядов и батальонов уступает место единому, твердому руководству.

Руководство сухопутной обороной Севастополя приказ возлагает на Приморскую армию во главе с Петровым. И это правильно: идея защиты Севастополя Приморской армией у Петрова возникла еще в боях под Курман-Кемельчи. Фактически Петров начал руководить обороной Севастополя уже 3 ноября.

Прибывшие мне в помощь работники штаба Харлашкин и Швецов сообщили, что бывший начальник штаба армии Шишенин улетел на материк и на его место назначен Крылов. Это известие обрадовало и меня и всех, кто знал работников штаба. Кто будет начальником оперативного отдела — неизвестно. Но главное — армией будут руководить Петров и Крылов.

Девятого ноября от командиров, приехавших из штаба, я узнал, что из Ставки верховного главнокомандующего получена шифровка, в которой определяются главные задачи Черноморского флота: оборона Севастополя и Керчи. Командующим Севастопольским оборонительным районом назначается командующий флотом вице-адмирал Октябрьский. Сухопутная оборона возложена на командующего Приморской армией:

генерал-майора Петрова. Командующий войсками Крыма вице-адмирал Левченко, местопребыванием которого Ставка определила Керчь, своим приказом назначил командарма Петрова заместителем вице-адмирала Октябрьского по сухопутной обороне.

Вероятно, такое решение наиболее целесообразно в сложившихся условиях: оборона Севастополя во многом зависит от флота, так как сухопутных коммуникаций, обеспечивающих боевую деятельность армии, нет. Став во главе всей обороны, командующий флотом будет за нее нести полную ответственность. Петров в свою очередь, став заместителем Октябрьского, сможет распоряжаться частями морской пехоты и артиллерии береговой обороны, чего не мог бы делать, оставаясь только командующим Приморской армией. Ставка, по-видимому, учитывает, что возможное здесь нарушение единства командования может привести к печальным последствиям, и приняла те меры, которые считала обеспечивающими его.

Днем ознакомился с боевым приказом, который окончательно устанавливает организацию обороны. Образуется четыре сектора вместо трех. Командантами их назначены командиры дивизий Приморской армии: I сектора — командир 2-й сд полковник Новиков, II — командир 172-й сд полковник Ласкин, III — командир 25-й сд генерал Коломиец и IV — командир 95-й сд генерал Воробьев. Отдельные разрозненные отряды и батальоны береговой обороны, кораблей, школ и училищ вливаются в сухопутные части для укомплектования полков и бригад. Период организационной неразберихи закончился.

Намеченный Манштейном прорыв к Севастополю с Мекензийского направления не удался. Если бы наши разрозненные отряды с первого же дня действовали не только отважно, но и организованно, немцам не удалось бы продвинуться так далеко. Героизм одиночек не утратил, конечно, значения и в современной войне, но не он решает исход операций; координированные усилия — вот что главное в эффективном использовании сил. В первые дни боев приходилось наблюдать именно героизм одиночек: матросы жертвовали собой, нанося урон врагу, но это лишь в отдельных точках и ненадолго улучшало положение. Когда же удалось объединить усилия, враг был остановлен.

Начиная с десятого ноября во всем секторе шла ружейно-пулеметная перестрелка. Противник вел оборонительные работы. В эти же дни началась дуэль снайперов. И здесь опять подтвердилось то, что я по опыту узнал еще под Одессой: кто в этот день первым произвел выстрел, тот и становится хозяином поля. Не просто, конечно, выстрел, а выстрел прицельный, чтобы враг, если он и не убит и не ранен, чувствовал, что за ним ведется наблюдение. Тогда он уже не высовывается из окопов.

С наступлением темноты чапаевские полки пошли занимать позиции. К утру смена была окончена и штаб дивизии с комдивом генералом Коломийцем временно занял мой НП. Днем был устроен обед, после которого я уехал.

В разговоре с чапаевцами я спросил, как выходила дивизия к Севастополю. И тут вскрылась одна любопытная деталь, которой я не знал. По словам командиров, 31 октября в штабе 95-й сд Петров созвал военный совет, на который пригласил командиров и комиссаров дивизий и начальников родов войск и служб управления своей армии. Открывая совещание, Петров сказал, что он созвал всех, чтобы обсудить обстановку и посоветоваться, куда идти и как идти.

— Общая обстановка сложилась так, — сказал Петров. — Противник занял Джанкой и развивает наступление на юг, стремясь не дать 51-й армии закрепиться. Перед фронтом нашей армии он особой активности не проявляет, но зато на нашем левом фланге стремится к Севастополю. Перед нами два пути: один на Севастополь, другой на Керчь. Путь на Керчь еще не закрыт, есть сорокакилометровый проход, через который армия в течение ночи может пройти и занять оборону на Керченском полуострове; но я думаю, что с этой задачей справится одна 51-я армия. Севастополь — база Черноморского флота. Его необходимо удержать по крайней мере до того, как командование флота оборудует базу на кавказском берегу. Но на Севастополь отход возможен только с боями, кратчайшим путем и немедленно, пока противник не подтянул в район Бахчисарая значительных сил... Давайте сначала решим, куда идти, — закончил Петров. Потом он добавил: — Мнение каждого высказавшегося будет записано. Каждый из нас против своей фамилии поставит название города, за отход к которому он высказывается.

За отход на Керчь высказались командиры и комиссары 95-й сд, 42-й кд, комиссар 40-й кд и начальник штаба 95-й сд. Остальные высказались за отход на Севастополь. Когда высказались все, Петров сказал:

— Итак, отходим на Севастополь. Зайдем рубеж обороны по реке Альма. Отход начать с наступлением темноты. Маршруты дивизий вот на этой карте.

Выспаться по-настоящему и сегодня не удалось. Ранним утром меня разбудили: Крылов приказал немедленно прибыть к нему. Штаб находился на Старой батарее, что против Константиновской. Расспрашивать, зачем вызывают, не в моих правилах. Еду. Дорога идет через Севастополь. Оставляю машину у шлагбаума, а сам направляюсь к казематам, где расположились оперативный и разведывательный отделы, связь, штаб артиллерии. Кабинет Петрова и Крылова тут же.

К этому времени в штабе произошли перемены. Он как бы объединился со штабом береговой обороны, и руководящие командиры береговой обороны стали заместителями начальников в штабе армии — все затем, чтобы ликвидировать чересполосицу в командовании.

Разыскиваю Крылова. Увидев меня, Николай Иванович поднялся, пожал мне руку и предложил идти к Петрову. Мы пошли.

Сразу заметно было, как усилился у Петрова его давнишний контузионный тик — дрожание головы. Я понял, что где-то что-то обстоит неблагоприятно.

— Вот и хорошо, что приехали, — сказал Петров. — Немцы начали наступление по Ялтинскому шоссе на Балаклаву. Каково там положение, мы точно не знаем. Надо уточнить наш передний край и выяснить, что сделано, чтобы не сдать противнику Балаклаву. Ознакомьтесь на месте и детально информируйте меня или Крылова, а если нужно будет — примете необходимые меры на месте.

Крылов, как всегда, увел меня к себе и со всей скрупулезностью ввел в обстановку. Он обещал сразу же подбросить какие-либо силы, если они у него появятся. Еще раз повторил, что любой ценой надо удержать Балаклаву.

До Балаклавы добирался на грузовике. При въезде в Кадыковку попал под минометный огонь. Одна мина зацепила борт, но все обошлось благополучно.

В Балаклаве разыскиваю помещение школы НКВД, прикрывающей город. В кабинете начальника полно народу. Получить от него вразу-

мительные данные о положении не удалось. Я требую, чтобы он сейчас же отправился со мной на НП. Оказывается, никакого НП у него нет. Поехать со мной отказывается под предлогом, что он получил приказ эвакуироваться, в порту его ожидают транспорты и т. п. Пришлось, воздействуя авторитетом Петрова, чуть не силой потащить с собой этого «командира» к дерущимся войскам.

Как только мы взобрались на высоты, примыкающие к Балаклаве, перед нами как на ладони открылось все поле боя. Вдоль морского берега немцы пробирались к Генуэзской башне, стоящей над входом в бухту. Левее их натиск сдерживали несколько групп наших бойцов. Враг оседлал предпоследний гребень высот перед Балаклавой и местами просочился в лошину, чтобы, прикрываясь кустарником, попытаться овладеть последним гребнем.

Оказывается, что ни батальон школы НКВД, ни соседний с ним батальон ВВС не оказали должного сопротивления противнику на прежнем рубеже и отошли, а в штаб армии о том, что делается на направлении Варнутка — Балаклава, не доносили. Надо полагать, это и заставило Петрова послать меня именно в Балаклаву.

Продвижение врага можно было если не ликвидировать, то хотя бы локализовать только контратакой. Но где взять силы? С командного пункта какого-то отряда докладываю Петрову и получаю ответ: «А вы организуйте контратаку по-одесски».

Начальник школы НКВД, видимо, и сам понял серьезность положения — как говорится, «дошло до него». Он немедленно вызвал подразделения, занятые на подготовке к эвакуации, и присоединил к ним всех, кто был на КП батальона. Мы начали атаку. Руководство ею пришлось мне взять на себя. Она удалась, из лошины немцев выгнали, но в это время пришлось донесение, что немцы взяли Генуэзскую башню. Пришлось приказать начальнику школы подготовить контратаку там, а самому взяться за организацию обороны.

Темнеет. Это хорошо. Здесь ночью немцы наступать не будут, за ночь можно много сделать.

Вхожу в связь с частями, ведущими бой у деревни Камары и у Итальянского кладбища; и деревня и кладбище пока у нас, но положение шаткое.

Поздно ночью приехал Петров. Он пригрозил начальнику школы, что если тот и завтра будет думать об эвакуации, а не защищать рубежи, то его расстреляют. Это произвело должное впечатление. Петров пообещал нам «кое-что подбросить».

Его приезд был очень полезен для меня. Морские командиры часто относятся несколько свысока к тем, кто носит армейскую форму. Но то, что по всем вопросам Петрову докладывал я и все распоряжения он давал мне, подняло мой авторитет в их глазах, и мои распоряжения стали выполняться с некоторым даже рвением.

Всю ночь не удалось и прилечь, зато к утру создали некоторую оборону до самого моря.

Часов около двух ночи со мной связался Крылов и предупредил, что на Балаклавском направлении вводятся резервы I и II секторов, а 40-я кд и 514-й сп с утра 14 ноября перейдут в наступление с задачей вернуть утраченные позиции. Он просил вывести их в исходное положение.

Подход частей кавалерийской дивизии Кудюры и 514-го стрелкового полка оказался очень кстати. Как только окончательно рассвело, противник перешел в атаку между селом Камары и Итальянским кладбищем, но был отражен. Здесь немцы опоздали с атакой: начни они вчера, эта позиция была бы у них. Но и на других участках немцы также ата-

ковали безуспешно. Правда, и нам не удалось полностью восстановить положение — противник подбрасывал подкрепления и контратаковал раз за разом. К вечеру ему даже удалось вернуть потерянную днем высоту.

Полковник Новиков установил прямую связь со мной со своего НП, расположенного в хуторе бывшем Максимовича. Это большое дело, учитывая недостаток в кабеле! Появилась возможность связываться с штабом обороны I сектора, а через него — с Крыловым. Через Новикова я доложил о наших неудачах. Крылов обещал принять меры. Действительно, часов около двух ночи он позвонил и, пользуясь кодом, сказал, что к нам выдвигается полк из армейского резерва. Мне приказано было немедленно выехать для встречи этого полка.

Ночью мы могли бы основательнее закрепитьсь, но вот беда: моряки с пренебрежением относятся к шанцевой лопате, они окапываются неумело и нехотя. Кажется, в мирное время их мало обучали этому крайне необходимому делу. А жаль!

Я снова в Балаклаве — так приказал Петров. Разбираюсь во всем, что произошло, для доклада Крылову и получения дальнейших указаний. Время близится к полуночи. Сквозь затемненные шторами окна слышна ружейно-пулеметная стрельба. Сажу в кабинете начальника школы и делаю эти записи. Иногда выхожу на балкон и наблюдаю за светом ракет. По ним определяю передний край.

Крылов приказал выехать на НП полковника Новикова. Утром 16 ноября там будет Петров и выслушает мой доклад. В ожидании говорил с начальником штаба Комарницким о положении на всем нашем фронте. Несмотря на неудачи I сектора, настроение у всех приподнятое: оборона становится все тверже. Сегодня перед рассветом в районе Калымтай нашей разведкой взяты пленные 22-й дивизии немцев. Значит, перед Севастополем уже четыре пехотные дивизии немцев — 22-я, 50-я, 72-я и 132-я, кавалерийские части румын. По показаниям пленных, к ним скоро подойдут маршевые батальоны и еще одна дивизия, какая — они не знают. Что ж, под Одессой против нашей армии враг выставил четырнадцать пехотных и две кавалерийские дивизии, но до эвакуации, выполненной нами по приказу Ставки, Одессу так и не взял. А ведь наших войск там было всего три стрелковые дивизии, одна кавалерийская и полк морской пехоты...

Петров приехал рано. Выслушав доклад, который я делал в присутствии комдива Новикова, комиссара Хацкелевича и начальника штаба Комарницкого, он предостерег всех от преждевременной уверенности. Противник сосредоточил новые силы и снова не сегодня-завтра перейдет в наступление. У немцев прибавилась еще 46-я дивизия и до дивизии румын. Не надо забывать, что наши части, отошедшие в Керченском направлении, эвакуировались на Таманский полуостров и у противника на том участке Крымского фронта положение упрочилось.

И действительно, уже во время нашего разговора началась артиллерийская стрельба, а вслед за тем с переднего края сообщили, что противник перешел в наступление на высоты перед Балаклавой и на Балаклаву. Когда первые атаки были отбиты, Петров уехал к Ласкину, во II сектор, где, по переданным из штаба сведениям, до двух батальонов фашистов начали наступление в долине Кара-Кобя.

Обычно ночью фашисты наступательных операций не ведут, но в ночь на 17 ноября они изменили своему правилу и продолжали атаковать последний гребень перед Балаклавой, одновременно пытаясь мелкими группами просочиться в Кадыковку. Вначале им удалось кое-где

овладеть восточными скатами высоты, и одна группа автоматчиков взобралась даже на гребень, но быстро организованной контратакой мы их вышибли и завязали бой за следующую высоту.

Бой не затих к утру и продолжался весь день, охватывая полностью фронт I и II секторов. В районе села Камары немцы бросили на прорыв до сорока танков, но наша артиллерия мощным сосредоточенным огнем быстро ликвидировала их атаку, вынудив уцелевшие танки удрать с поля боя.

Днем особенно хорошо действовал пограничный полк под командованием Рубцова, вошедший в состав I сектора и занявший место батальона школы НКВД: это он отбросил автоматчиков противника, забравшихся на последний гребень высот перед Балаклавой.

Около 16.00 Крылов вызвал меня к телефону и приказал выехать в 31-й полк к Мухамедьярову, чтобы ознакомиться детально с положением полка, а затем в штаб 161-го полка Капитохина, который включается в состав I сектора.

Мухамедьярова я знал еще до войны. Он и войну начал, командуя тем же полком.

Стройный, лет тридцати пяти, с несколько широкоскулым лицом, черными глазами и черными волосами, всегда подтянутый, он сразу производил хорошее впечатление, которое при большем знакомстве лишь укреплялось. Отличительной его чертой было спокойствие: даже в самые трудные минуты он не терял присутствия духа. И сейчас, когда немцы бросали на полк свежие силы, он хладнокровно отражал атаку за атакой, находясь сам на наиболее ответственном участке. К моему приезду атаки были отражены, и он с уверенностью утверждал, что незначительное продвижение противника на левом фланге будет ночными действиями ликвидировано.

На мой вопрос, как доложить Петрову, Мухамедьяров ответил:

— Доложите, что положение будет восстановлено.

— Может быть, вам надо чем-нибудь помочь?

— Нет, обойдусь сам. Так и доложите.

Здесь опасаться было нечего.

Капитохина я застал в штабе полка. Он только что вернулся из батальонов — проверял их готовность на случай ночного боя. Полк пока стоял во втором эшелоне I сектора и задачи на завтра не имел. Марш в этот район прошел без происшествий. Батальоны полностью сосредоточились и приводят себя в порядок. Установлена связь с частями, стоящими впереди, разведка организована.

Разговаривая с Капитохиним, я тоже почувствовал, что на этого старого, опытного командира можно положиться, хотя его я видел в первый раз: полк входил в состав 95-й дивизии, в которой я почти никого не знал.

В отличие от вчерашней ночи на фронте стояла тишина, то есть обе стороны вели редкий артиллерийско-минометный огонь, а даже более интенсивную артминстрельбу мы считали «тишиной», если нет ружейно-пулеметной стрельбы: частный ружейно-пулеметный огонь — признак активности противника. В эту ночь фашисты не наступали. Это дало нам возможность привести в порядок части и относительно спокойно готовиться к следующему дню.

Зато с утра возобновились яростные атаки фашистов на высоту 212,1. Стоит им только овладеть этим гребнем, как Балаклава падет: сидя в Балаклавском ущелье, мы не сможем удержать ее и нам придется уходить на противоположный гребень.

Все напряжение, которое даже самый привычный к боям человек испытывает перед началом активных действий, оказалось напрасным. Командующий армией рассчитывал начать контратаки с утра 20 ноября. Но случилось непредвиденное. После полуночи комендант II сектора Ласкин получил данные, что противник израсходовал свои резервы и поэтому приступил в районе Камары к оборонительным работам. Откладывать контратаку до утра — значило встретить более подготовленную оборону. Медлить было нельзя. Петров тотчас же отдал приказ о переходе 514-го полка в ночную контратаку, а полку Капитохина — быть в готовности к очистке Кадыковки от прорвавшихся туда групп автоматчиков.

Контратака была короткой и успешной. Фашисты и в мыслях не имели, что после такого утомительного дня мы решимся на ночной бой, и были застигнуты врасплох. 514-й полк очистил Камары, захватил пленных. Капитохин в свою очередь быстро расправился в полосе за Кадыковкой с просочившимися туда автоматчиками, часть которых засела в церкви.

Таким образом, задача утреннего наступления была выполнена ночью, и Петров его отменил. Мне Петров приказал проверить положение во II секторе.

Коменданта II сектора полковника Ласкина я еще ни разу не видел, он прибыл к нам со 172-й дивизией. По телефонным разговорам я не мог составить представления о нем. Явившись к нему, я увидел сравнительно молодого человека, очень подвижного, подтянутого, с открытым лицом, серьезным и вдумчивым взглядом.

Для обхода переднего края Ласкин прикомандировал ко мне штабного командира, а сам остался на своем КП. Мы отправились туда с наступлением темноты. Позиции жили полной жизнью. Всюду шли окопные работы, рылись траншеи, землянки. Кое-где расстилали спираль Бруно и устанавливали минные поля. Солдаты оживленно обсуждали прошедшие бои, и нигде не было заметно какого-либо уныния. К сожалению, мне некогда было задерживаться на одном месте, чтобы поговорить с солдатами. С тех пор, как мы ушли из Одессы, почти ни разу мне это не удавалось...

Закончив обход ясно выраженной, почти законченной траншеи переднего края, мы к рассвету вернулись в штаб. Впечатление от ознакомления с обороной было самое хорошее. К нашему удивлению, полковник Ласкин еще не ложился. Оказалось, что он так же, как и мы, обходил отдельные участки, контролируя ход работ.

Днем после доклада Крылову я спросил, какие поручения мне будут даны теперь. Крылов ответил, что мне надлежит возвратиться в штаб I сектора и проверить, проведена ли смена 383-го полка и остатков 40-й кавдивизии. Остальное узнаю в штабе Новикова.

Новикова к моему приезду на НП не было. Его начальник штаба капитан Комарницкий сообщил, что смена войск закончена вовремя и на фронте сектора весь день, кроме артминометного обстрела, противник никакой активности не проявлял.

— Фашисты понесли большие потери и выдохлись, — заключил свое сообщение Комарницкий.

— Вы свои выводы докладывали Крылову? — спрашиваю его.

— Да.

— И что ответил Крылов?

— Крылов ответил, что противник производит перегруппировку и

если не сегодня, так завтра еще раз попробует прорвать нашу оборону. Чтобы не дать ему закрепиться на занятых позициях, предполагается с утра двадцать первого ноября войсками II сектора начать наступление в общем направлении Камары — высота 386,6.

Утром 21-го противник опередил нас. Сосредоточив более дивизии, он сам начал атаку и к десяти часам занял высоту 440,8. Однако наша подготовка не пропала даром: группировка II сектора перешла в контратаку и, вынудив немцев ввести в бой свои последние резервы, отбросила атакующих.

Противник больше не предпринимал попыток прорвать фронт обороны на Балаклавском направлении. Донесения нашей разведки, работающей в тылу врага, говорили об его огромных потерях. Значит, мы получим относительную передышку, которую должны будем использовать, чтобы создать мощный оборонительный пояс вокруг Севастополя, пополнить полки дивизий и закончить их формирование, выделить резервы. Севастополь из морской крепости превратится в сухопутную. То, что не успели сделать до войны, нам надлежало сделать сейчас, в ходе боев.

Вечером позвонил Крылов и предложил мне завтра выехать в штаб армии. Надо полагать, что будет положен конец моему неопределенному положению. Ведь я сейчас не знаю даже, где числюсь и какую занимаю должность. Вот уже почти месяц я — своеобразный «командир для особых поручений» штаба армии и Петрова лично. Правда, коменданты секторов, командиры дивизий и полков теперь меня знают и отношения у нас хорошие.

Вот мое положение и определилось.

В кабинете Крылова находился Петров. Едва я доложил о прибытии, Петров обратился к Крылову и сказал:

— Думаю, что Ковтуна надо взять в оперативный отдел штабс-арма. Он больше оперативный работник, нежели разведчик. Как вы смотрите на это?

Николай Иванович ответил, что он и сам хотел просить о моем назначении в оперативный отдел. Потом спросил меня — не возражаю ли я против этого? Я не возражал, и назначение состоялось.

Днем знакомился с отделом и к вечеру уже вступил в исполнение обязанностей. Комиссар отдела — батальонный комиссар Костенко из пограничных войск — человек из тех, о которых говорят «душевный». Моими подчиненными стали Безгинов, Харлашкин, Швецов, Садовников и Никитин из штаба береговой обороны. Садовникова я знал раньше. Он в 1940 году служил в нашей дивизии, заочно окончил академию Фрунзе и был взят в штаб корпуса, откуда попал в штаб армии при его формировании под Одессой. С Швецовым и Харлашкиным я тоже встречался под Одессой, когда командовал полком. Остальные были мне незнакомы. Что ж, поживем — узнаем друг друга.

Итак, мой послужной список украсился еще одной должностью. Но справлюсь ли я с нею? Ведь мне никогда не случалось работать в больших штабах, да и в армию я вернулся после четырнадцатилетнего перерыва, а за это время многое изменилось. Говорят, что всякая новая война начинается теми методами и тем оружием, каким закончилась предыдущая война. Но это не так: в период между войнами военная мысль не застывает. Споры о том, является ли военное дело искусством или это ремесло, по-моему, не имеют смысла: ведение войны — безусловно искусство, но оно базируется на научных основаниях и на отличном владении ремеслом.

Вот в этом-то и вопрос... Некоторый практический опыт я успел приобрести и, кажется, не лишен интуиции, когда попадаю в сложную неясную обстановку. Но достаточным ли будет мой запас военно-научных знаний?

Прошло четыре дня. Покамест мои силы особым испытаниям не подвергались. «На фронте ничего существенного не произошло. Потери: убитых 8, ранено 19. Противник продолжает вести оборонительные работы». Такого рода сводки мы посылаем два раза в день. Составление сводок лежит на обязанности Садовникова. До того, как приступить к их написанию, он подолгу сидит у телеграфного аппарата «СТ» и добивается сведений от штабов дивизий. Идет уточнение переднего края противника и своего. Когда и откуда противник вел артиллерийский огонь? Каковы результаты нашего ответного огня?

Наш передний край определен точно, офицеры отдела на месте уточнили его конфигурацию. Повсюду идет напряженная работа по отрывке траншей — нелегкий труд в каменистых севастопольских грунтах! По ночам работают поисковые партии, стараются добыть «языка». Сегодня это удалось: взят пленный, артиллерист 24-й дивизии, прибывшей из-под Харькова.

Ежедневно бываю в войсках.

Понемногу в штабе устанавливается распорядок работы и отдыха. Крылов твердой рукой налаживает жизнь.

Представился члену Военного совета Кузнецову. Перед войной он был секретарем Измаильского обкома партии. В военных вопросах дилетант и больше бывает во втором эшелоне (всего в трех километрах от первого), где размещены политическое управление с седьмым отделом, ведающим пропагандой в рядах противника, и управление тыла.

Петров всегда ложится в одиннадцать—двенадцать часов ночи, а в шесть утра уже на ногах. Крылов сидит до трех-четырёх часов утра. Мы поделили сутки между собой. С часу ночи до девяти утра дежурю я. В шесть-семь утра докладываю Петрову, что было ночью на фронте, получаю указания и довожу их до войск. В девять часов начинает работу Крылов, а Петров уезжает в войска. Мне с этого времени можно отдыхать до обеда. Под вечер собираемся в кабинете Петрова или Крылова, обмениваемся мнениями.

Конечно, «кабинет» — это условное понятие. Для работы приспособили небольшие казематы без дневного света, в которых когда-то хранились пороховые заряды и отсиживалась артиллерийская прислуга. Такой же отсек занимает штаб артиллерии. Вместе с Крыловым находится и генерал Моргунов, а со мной — его начальник штаба полковник Кабалюк. Остальные отделы штаба армии размещаются в других зданиях.

Вот в этих казематах и находится центр сухопутной обороны Севастополя. Отсюда идут все распоряжения.

Какая энергия у Петрова! Нет того дня, чтобы он не был в войсках. Его можно встретить и в штабе полка, и в батальоне, и среди бойцов в первой траншее. Вместе с армейским инженером полковником Кедринским он руководит на местах возведением оборонительных сооружений.

Работы подвигаются успешно. Саперы по ночам создают перед передним краем минные поля. В портовых мастерских налаживается производство мин, ремонт оружия.

В городе и порту взят на учет цемент и строятся разборные огневые точки. Потом мы установим их на рубежах. Весь город работает на оборону.

Авиация противника почти ежедневно бомбит порт, но ущерб от нее невелик. Длинные зимние ночи позволяют приходить из Новороссийска минометам и даже транспортам. Подвозят грузы, пополнение, увозят раненых, эвакуируют гражданское население и ценности.

Иногда корабли эскадры, приходя в Севастополь, ведут огонь по противнику. Вместе с начальником оперативного отдела флота капитаном 1-го ранга Жуковским намечаю цели для огня большого калибра: предположительно в начале декабря флот должен подойти к нам.

Береговые батареи у совхоза имени Софьи Перовской и на мысе Феолент включились в общую артиллерийскую группу и ведут огонь по приказанию полковника Рыжи, командующего артиллерией Приморской армии.

Уже совершенно определилась система огня в обороне. До семидесяти пяти процентов огня всей нашей артиллерии можно на восьмой минуте сосредоточить в любой точке перед передним краем.

Особо большой урон наносит противнику артиллерийский полк Богданова. Его наблюдатели и разведчики находятся на переднем крае и довольно точно определяют места скопления противника и его артиллерийско-минометные позиции. Стоит только немцам открыть огонь, как Богданов обрушивается на них и заставляет умолкнуть.

Долго не проявлявший активности противник после небольшой артиллерийской подготовки вновь попытался прорвать оборону на Балаклавском направлении. В бой были введены горно-стрелковая и стрелковая дивизии. Главные усилия немцы сосредоточили против полка, сформированного из пограничников. Пограничники — народ стойкий. 1 и 2 декабря они отражали атаку за атакой и не отошли ни на один шаг.

Нас удивило сперва, что немцы начали атаки именно здесь. Однако секрет открывался просто. Ночью 30 ноября Рубцов организовал разведку. Была послана группа в составе взвода, которая ночью перед рассветом ворвалась и заняла часть первой траншеи. Это заставило фашистов предпринять ряд контратак, чтобы восстановить положение. Ценой больших потерь в двухдневных атаках им удалось вернуть свою траншею.

Мы заинтересовались пограничниками, ходившими в разведку. Один из них оказался старым знакомым — Иваном Богатырем. О нем шла слава еще под Одессой. Он производил впечатление очень спокойного, даже несколько апатичного человека, притом на редкость сильного; вот уж у кого кличка действительно была «по шерсти».

Одновременно с атаками на пограничников немцы начали усиленно нажимать на Камары и Итальянское кладбище, расположенное на горе Гасфорт. И здесь им удалось сбить боевое охранение, и только. Контратаку Петров запретил — игра не стоила свеч.

День 4 декабря прошел спокойно, если не считать обычной перестрелки и действий снайперов.

Снайперам в обороне всегда найдется применение. В Севастополе первой начала свою работу Людмила Павличенко. Мы знали ее еще по обороне Одессы, где она вступила в ряды чапаевцев.

Я попросил Потапова, начальника отдела разведки штаба армии, информировать меня о противнике.

Потапов, вечно жалующийся на болезнь, пришел согнувшись, держа левую руку на животе, с папкой в правой. В его информации мало было хорошего. По данным разведки всех видов, немцы подтягивают к Севастополю дивизии с Керченского полуострова, освободившиеся в ноябре.

Кроме того, подошли и румынские части. Учитывая, что пять немецких и две румынских дивизии имеют полный или почти полный состав, разведывательный отдел считает, что противник значительно превосходит нас численностью и огневыми средствами.

Единственное светлое пятно в докладе Потапова — это развертывание партизанского движения в Крыму под общим командованием Мокроусова; в партизанских отрядах есть, кроме русских и украинцев, также татары и болгары. Но и к этому радующему сообщению примешались вести, вызывающие недоумение и злобу: среди татарского населения Крыма нашлись предатели, из них немцы формируют части, и одна из них уже охраняет немецкий аэродром в Симферополе.

После ухода Потапова я долго разговаривал с Крыловым. Обсуждали последние данные разведки. Конечно, немцы что-то замышляют: не век же им сидеть в обороне, дожидаясь, пока им нанесут с какого-нибудь направления удар... Но что?

Прошло десять дней декабря. На фронте затишье. Все в обороне притаились. Только снайперы с обеих сторон ведут активную борьбу. Немецкая авиация стала показываться реже. Теперь и у нас появились авиационные новинки: с Большой земли прилетело несколько ПЕ-2. Это все же помощь, так как у нас оставались только истребители старых марок. Появились у нас и танки — правда, немного, всего батальон английских «матильд». Броня у них слабая, но они все же лучше тех Т-38, что были в разведбатальоне Антипина.

Полностью привели в порядок бронепоезд. Его стоянка — туннель возле Инкермана.

Понемногу создали вторые эшелоны дивизий и полков, теперь у нас есть глубина обороны и резервы, выкроенные из наличных сил. В армейском резерве стали 40-я кавдивизия Кудюры и полк Капитохина 95-й дивизии. Зарылись в землю и войсковые тылы.

Полковник Ермилов, начальник тыла армии, ежедневно докладывает командиру о состоянии запасов, а мне дает копию сводки по тылу, откуда я черпаю данные для своей сводки и для боевых донесений. Все грузы Приморская армия получает из Новороссийска, где находится армейская база. Доставляет Черноморский флот.

Петров требует накопления запасов, особенно артиллерийских снарядов, расход которых велик. По заданию Крылова оперативный отдел произвел подсчет расхода боеприпасов за дни боев. Получилась какая-то ерунда: артиллерийских снарядов мы израсходовали сорок девять тысяч, а винтовочных патронов сорок семь тысяч. Начали перепроверять данные, но итог подтвердился. Это заставило дать указания войскам, чтобы при отражении атак они усиливали ружейно-пулеметный огонь, не полагаясь на заградительный огонь артиллерии; был установлен контроль за вызовами огня, и на этот контроль ушли работники штаба артиллерии и моего отдела.

Вот поистине безотказные работники! Никому так не достается, как оперативникам. Нет такого вопроса, которым бы они не занимались. Они всегда должны быть в курсе всего, что делается и на фронте, и в войсковом и армейском тылу. Особенно отличается Швецов. Если он в войсках, то проверит все от боевого охранения и до солдатских кухонь. Ему никогда не надо напоминать, что делать и как делать. Я им очень дорожу и привязался к нему. Плотный, крепко сбитый, среднего роста, с черной шевелюрой, круглолицый, глаза серые, веселые — он и внешне очень приятен. В свободное время — любитель повеселиться, не прочь пропустить и чарочку-другую. Но в работе быстр и строг, от его глаз не укроет-

ся никакая мелочь, если она имеет касательство к обороне. Особенное его достоинство — всегда правдив. Ему я поручаю наиболее ответственные задания.

По тому, что я записывал в прошлый раз, видно, что работы за несколько дней затишья было у нас много, даже очень много, но шла она сравнительно ритмично, давала войскам и штабам время для отдыха. Перечитав, я вижу, что самый характер записей, хоть речь в них идет о войне, изобличает человека, настроенного как бы на мирный лад. Но в тот же вечер 15 декабря из 8-й бригады морской пехоты по телефону сообщили: на переднем крае противника шум, движение, вероятно, происходит смена войск. Не прошло и двух часов, как чапаевцы подтвердили, что и перед ними у противника что-то происходит. Дав указание частям усилить наблюдение, а артиллеристам быть готовыми к открытию огня, я пошел с докладом к Крылову, отдыхавшему в своем каземате.

В шесть утра, как обычно, встал Петров. Я доложил ему, и он сам начал переговоры с командирами соединений. Часов около восьми он пригласил к себе Крылова и меня.

— Немцы готовят какую-то пакость, — сказал Петров. — Ночью они, возможно, уплотняли боевые порядки перед нашим левым флангом. Нужно быть начеку.

Крылов доложил об отданных ночью распоряжениях.

Пришел полковник Рыжи, также вызванный Петровым. Артиллерийская разведка обнаружила новые батареи противника, ставшие на огневые позиции в долине Альмы и в районе Шули, Черкез-Кермен.

Становилось уже несомненным, что немцы готовят общий штурм. Но когда?

Пришли Потапов и мой однофамилец Ковтун Борис, ведающий разведкой. Их данные, сверенные с данными разведупра флота, подтверждали прибытие новых частей противника. Число дивизий определялось уже в девять—одиннадцать. Петров при нас связался по телефону с вице-адмиралом Октябрьским, доложил ему обстановку и свой вывод о готовящемся штурме Севастополя. На какой-то вопрос Октябрьского (вопроса мы не слышали) Петров ответил, что надеется на успех.

После этого Петров нас отпустил, приказав тщательно проверять все данные о противнике, усилить наблюдение, подготовить части к отражению возможных атак, привести в готовность дивизию Кудюры.

До полудня к Петрову то и дело приходили начальники отделов и управлений. После Петрова они всегда заходили ко мне, и поэтому я всегда был в курсе всех событий. Бочаров — начальник политотдела армии — получил указание начать политическую работу, подготавливающую морально к трудностям, неизбежным при отражении штурма; Соколовский — начальник санитарной службы армии — о подготовке к приему большого числа раненых; Ермилов — об ускоренном подвозе запасов.

Пообедав, Петров уехал в войска. Меня Крылов отослал спать, так как я больше суток не ложился ни на минуту.

По всему было видно, что близится штурм, — противник производил пристрелку артиллерии, ставил воздушные репера, усиливал обстрел бухты, гоняя с места на место наши морские бомбардировщики МБР.

Уйдя в спальный каземат, я решил сначала записать события дня. Кто знает, что будет завтра? Темень уже заполняла комнату. Пришлось опустить шторы и включить свет.

Зашел Костенко. Разговор начался с новых данных о противнике, но незаметно переключился на внутриштабные дела, на взаимоотношения со штабом флота.

Нашу связь со штабом Черноморского флота нельзя было назвать тесной. Фактически всей сухопутной обороной ведали мы. А мы еще ни разу не видели у нас командующего СОРа (так сокращенно именовался Севастопольский оборонительный район). Вся связь с ним осуществлялась через капитана 1-го ранга Жуковского. Нечего греха таить, задевало самолюбие армейцев и то, что по приказу Ставки командующий ЧФ имел право награждать моряков орденами. Нас же, полевую армию, никто не награждал. Наши реляции отсылались на Большую землю, а оттуда ни слуху ни духу... За бои под Одессой в армии еще никто не был награжден, а были достойные и звания Героя Советского Союза. Костенко собирался писать об этом в Москву, в ЦК. На этом закончился наш разговор, и я наконец улегся спать.

Сегодня, 16 декабря, около двенадцати ночи снова начали поступать сигналы о необычном поведении противника перед 8-й бригадой и чапаевцами. Непрерывные телефонные звонки разбудили Крылова, и он спросил, в чем дело.

Было уже четыре часа. Значит, я не заметил, как подошло то время, которое моряки называют «собачьей вахтой».

Настроение было несколько тревожное. День, однако, прошел без значительных событий, если не считать более напряженной работы по проверке готовности частей.

Двадцать пятое декабря. Долго не садился за свои записи. Было не до того, настолько захватили события, начавшиеся с утра 17 декабря. Уже девять дней идет упорная борьба. Несмотря на то, что фашисты местами имеют успех, мы уверены, что Севастополь отстоит.

Второй штурм Севастополя Манштейн предпринял именно в это время, чтобы преподнести рождественский подарок Гитлеру. Но вот первый день рождества на исходе, а до овладения Севастополем им далеко. Как ни было тяжело, но мы выстояли.

Попытаюсь восстановить события по памяти.

Атаку фашисты начали на рассвете 17 декабря по всему фронту, но через несколько часов вырисовался замысел охватывающего удара: справа на Чоргунь и слева на Бельбек. К концу дня наибольшего успеха гитлеровцы достигли на участке IV сектора, нанеся внезапный удар по позиции 8-й бригады. Сейчас трудно судить, почему сектор в целом и бригада в частности допустили эту внезапность: ведь именно от них мы получили накануне первые сигналы о движении в боевых порядках противника. По какой-то неустановленной причине немцы сравнительно легко овладели передним краем и начали продвигаться вглубь, угрожая выйти во фланг чапаевцам. Фланги III и IV секторов оказались разоб-щенными.

Ночью, когда наступило относительное затишье, Петров принял решение с утра 18 декабря контратаковать противника и восстановить положение. Однако наличных сил для этой цели не хватало, и скрепя сердце Петров выделил часть армейского резерва, главным образом для сектора Воробьева. Ему были приданы 40-я кд и полк прибывшей 388-й стрелковой дивизии. Начавшееся с утра сражение заметных результатов не дало. Правда, и Новиков и Ласкин вернули свои позиции. Но на участках III и IV секторов наши части вынуждены были отойти на рубеж Мекензия, Камышлы, Эфендикой. Предпринимать дальнейшие контратаки на фронте III и IV секторов Петров не решился, а потребовал от их командования прочно закрепиться на новом рубеже. И Крылов и я согласились с доводами Петрова, что новые атаки могут обессилить войска, чему пример сегодняшний день. Необходимо расстроить немцев

упорным сопротивлением и нанести им сильный удар, когда они уже понесут потери в живой силе.

Потери наши значительны. Сегодня пал смертью храбрых командир 40-й дивизии Кудюра. Он выехал на рекогносцировку, но в том месте, где по данным 8-й бригады находились ее войска, оказались немцы. Петров приказал похоронить Кудюру на Малаховом кургане, а мне отдал распоряжение проанализировать боевые действия 8-й бригады и доложить выводы. Неправильная информация о положении своих войск говорила о том, что ни командир бригады, ни его штаб не знали истинного положения на своем участке. Это было несомненно так. Но непрерывные бои не позволили нам немедленно навести порядок. Немцы продолжали развивать наступление, и перед нами стояла задача — удерживать рубежи. Центр удара шел в полосе бригады. Противнику к вечеру 19 декабря удалось разобщить ее с соседом слева — 90-м полком 95-й дивизии. Создалась угроза изоляции левого фланга. Спасти его можно было только отводом частей на новый рубеж, сокращая фронт IV сектора.

Отвод на новый рубеж левого фланга, несмотря на сложность обстановки, прошел сравнительно удачно, боевые порядки значительно уплотнились, и положение на IV секторе пока стабилизировалось. 388-ю дивизию подполковника Овсиенко, которую предполагали использовать для контратаки, пришлось поставить в оборону этого сектора.

Теперь вся тяжесть отражения упорных атак легла на III сектор, главным образом на чапаевцев. Огромное превосходство противника в живой силе и средствах усиления оказало свое действие. Можно лишь восхищаться стойкостью чапаевцев, удерживавших катившуюся на них лавину. Но их ряды поредели, и там, где не было уже защитников, враг вклинивался в нашу оборону. Создавалась угроза выхода фашистов к истокам балки Мартыновской и ко второму кордону Мекензия.

В этот день мы получили подкрепления. Подошла морем 79-я Особая курсантская бригада. Заканчивала погрузку в кавказских портах и частично находилась в море 345-я дивизия. Только бы они прибыли вовремя!

Разгрузившуюся с кораблей 79-ю бригаду Петров встретил сам, ввел в обстановку. С утра 22 декабря она уже включилась в контратаку на Камышловском направлении и, действуя совместно с чапаевцами, сломала наступательный порыв немцев. Зато противник вновь вклинился в оборону IV сектора и все там же — на участке 8-й бригады... Левофланговая группировка сектора снова оказалась под угрозой окружения, надо было отводить ее немедленно на новый рубеж. Работники нашего оперативного отдела, посланные в 8-ю бригаду и в штаб сектора, передали, что там царит неразбериха. Положения своих войск штабы по-прежнему не знают, задания до войск своевременно не доводят. Зная упорство и настойчивость Швецова, я предложил ему включиться в работу на месте и постараться наладить порядок в штабе бригады. Вечером при докладе Петрову мы с Крыловым обрисовали положение в IV секторе, и по его приказанию была составлена директива. Петров ее подписал, но отсылку отложил, сказав, что он сам с утра съездит туда, чтобы убедиться во всем лично, и уж оттуда позвонит, отсылать ее или задерживать.

Убеждаться лично — особенность Петрова, хорошая черта для военачальника, особенно для крупного. Отгородившись от подчиненных частей и полагаясь только на доклады своих помощников, всегда можно допустить серьезные промахи. А промахи на войне — это лишняя, ничем не оправданная кровь, это бесцельно загубленные жизни.

За примерами ходить недалеко. Командир 388-й дивизии, прибывший с ней, выпустил из рук управление дивизией, растерялся, и пришлось его заменить. Сейчас дивизия приводится в порядок в районе Инкермана. Вероятно, такой же была причина неразберихи в штабе IV сектора. В ответ на это сообщение Петров по своей привычке хмыкнул в нос и сказал:

— Завтра выясню.

В шесть утра Петров приказал мне немедленно выехать на Северную сторону, встретить части 345-й дивизии, подходившей на транспортах с Кавказа, и сосредоточить полки у Инкермана в готовность к действиям. К счастью, туманное и дождливое утро исключало возможность действий авиации противника.

Прибывший с первым транспортом командир дивизии подполковник Гузь тут же на пристани был ориентирован в обстановке и, не ожидая окончательной разгрузки, выехал на рекогносцировку в точку, где должен был встретиться с Петровым, оставив руководить разгрузкой и сосредоточением дивизии начальника штаба подполковника Хомича.

Уезжая рано утром для встречи дивизии, я не мог знать, что произойдет на фронте в ближайшие часы. Не знал этого и Петров, когда приказал сосредоточить дивизию в районе Инкермана. Мы считали, что она, выгрузившись полностью, будет собрана в кулак для мощного контр-удара. Но события опережали наши планы. Прибывший с рекогносцировки в Инкерманскую штольню, где было указано место штабу его дивизии, Гузь поставил задачу разгрузившимся частям — немедленно занять рубеж обороны между 79-й курсантской бригадой и IV сектором, хотя дивизия не только не успела сосредоточиться, но и полностью выгрузиться. Ожидать сосредоточения всех частей не было времени.

Доложить об этом удалось только Крылову. Петров находился в штабе Воробьева, откуда звонил Николаю Ивановичу, чтобы директива рассылалась комендантам секторов, потому что, ознакомившись с положением дел в IV секторе, он убедился, что там нет должной организации огня, задачи до войск доводятся несвоевременно, штаб не знает положения в частях и занимаемые ими рубежи.

Ночь. Петров в своем каземате спит на топчане, подложив два кулака под голову. Крылов прикорнул на диванчике в своем отсеке, а я, по установленному распорядку, бодрствую, обзванивая штабы секторов, отвечаю на запросы и попутно делаю свои записи в ожидании Садовникова, сидящего над составлением очередной и невеселой оперативной сводки.

Скоро придет Потапов с разведдонесением. Вместе с ним проанализируем данные о противнике, и к подъему Петрова на карте, лежащей на столе, будет нанесено соотношение сил по секторам и участкам. Так нагляднее.

Двадцать шестого декабря неожиданная новость: приехал новый командарм. Об этом событии я постараюсь сделать запись поподробнее.

Я был на своей вахте (привыкаю к морскому языку!), то есть дежурил с двух часов ночи. Сидел над картой и обрабатывал ее — определял количество батальонов, орудий, танков, авиации и писал на карте данные.

Часов около шести утра в помещение вошел генерал-лейтенант, спрашивает, кто я. В свою очередь называет себя:

— Назначен командармом. Фамилия — Черняк. Генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.

Я был, конечно, удивлен. Он спросил, где Петров. Узнав, что отдыхает, но скоро встанет, не велел будить.

— Что это вы делаете? — подошел он к карте. Внимательно посмотрев мою работу, спросил: — Академию кончали?

— Нет.

— Сразу видно. Кто же теперь так делает соотношение сил? Надо сопоставлять количество дивизий, а не батальонов. Вы работаете, как при Кутузове.

Молчу.

Он еще раз прочитал таблицу.

— У вас столько дивизий, а вы не можете удержать рубеж обороны! Нет наступательного порыва. Но я вас расшевелю.

Его замечание меня удивило: нельзя же наши дивизии равнять с немецкими — там полные полки трехбатальонного состава, а у нас половина полков двухбатальонного состава и неполные батальоны, иногда воюют и отдельные подразделения...

Он оборвал меня. Приказал приготовить доклад о состоянии армии.

Все же я разбудил Петрова. Он вышел и представился Черняку. Я ушел в отдел и, подняв Садовникова, приказал готовить материалы новому командарму.

Вскоре меня вызвал Петров. Он был удручен — вероятно, также и тем, что был оставлен заместителем Черняка. Мы тоже были растеряны: не видя ошибок в его действиях, не могли понять — за что же его понизили?

Петров приказал готовить приказ о вступлении Черняка в командование армией. Сел в машину и уехал в войска, сказав, что будет у Воробьева.

Вскоре пришел к нам в отдел и Крылов; Черняк из его кабинета связывался с командирами дивизий. Моргунов сидел над составленной мной картой и что-то чертил.

После обеда Черняк дал распоряжение готовить приказ о наступлении.

Как же так? Не успел приехать, не был в войсках, не знает, что делается на фронте, — и вдруг наступать...

«Ну, хорошо, — думаю, — пойдет наступать. А чем? Ведь мы с трудом сдерживаем атакующего противника... Где возьмем силы? А какие будут потери... Не пахнет ли здесь авантюрой?»

Поделился мыслями с начальником штаба артиллерии Васильевым, с Костенко. Они были такого же мнения.

Вечером Черняк бегло просмотрел представленные мной материалы и занялся с Крыловым приказом на наступление. Потом предупредил, что с утра поедет на Мекензиевы Горы — там он намечал полосу для наступления, — и ушел.

После его ухода приехал Петров. Выслушав, что произошло в его отсутствие, покачал головой и смолчал. Потом ушел с Крыловым в свой каземат. О чем они там говорили — не знаю. Закончив печатанье приказа на наступление, я сел за свои записи.

Началась для нас плохая полоса. Беда за бедой... Двадцать девятого декабря случилось большое несчастье: был тяжело ранен Крылов. Мы узнали об этом на следующий день. Накануне он поехал к станции Мекензиевы Горы, по району которой немцы повели сильный артогонь. Он хотел сам выяснить, в чем там дело.

Стемнело, а Крылова нет. Обзвонили штабы, где он мог быть. Последнее сведение: был в 79-й бригаде и уехал.

Петров все спрашивал — вернулся ли Крылов?

И вот телефонный звонок. Крылов звонил мне из комнаты, где иногда отдыхал,— в доме, что стоит метрах в ста от блиндажей. Голос спокойный. Потребовал, чтобы я немедленно зашел к нему, но никому об этом не говорил.

Бегу. Вхожу в комнату. Он сидит в бекеше на диване, облокотившись на валик. Увидев меня, сказал:

— Я ранен.

Я вызвал начсанарма Соколовского и, пока он ехал, помог снять бекешу. Вся спина в крови. Соколовский раздел Крылова, вместе положили на стол. Осмотрев рану, Соколовский сказал:

— Счастлив ваш бог, ранение незначительное. Но надо сейчас же в госпиталь. Машина со мной.

Крылов спросил:

— А может, ограничимся перевязкой?

— Нет, надо в госпиталь, чтобы не была внесена инфекция, в ране есть мех от бекешки.

За мной прибежал посыльный. Петров стоял у входа в каземат.

— Где вы пропадаете? Ни вас, ни Крылова. Узнали, где Крылов?

Я замялся.

Вдруг он увидел на моей гимнастерке кровь.

— Откуда на вас кровь? — тихо спросил он, а затем, почуяв что-то неладное, срывающимся голосом закричал: — Что вы от меня скрываете? Где Крылов? Что он, убит или ранен?

Я ответил, что Николай Иванович ранен, рана несерьезная, у него Соколовский, сейчас отвозит в госпиталь. Петров ушел в домик, где я оставил Крылова, и долго не возвращался.

Все бывшие на КП офицеры окружили меня, расспрашивая, что случилось. Но я сам почти ничего не знал. Из отрывочных фраз Крылова мне было известно только, что он решил понаблюдать за противником, попал под минометный обстрел, почувствовал, что его ударило в спину. Поняв, что он ранен, сам выбрался из кустарника, дошел до машины и поехал в штаб. Чтобы не тревожить всех, вызвал меня. Вот и все.

Вернулся Петров расстроенный. Я его не расспрашивал — знал, что он расскажет сам.

Действительно, через некоторое время Иван Ефимович вышел из своего каземата, зашел к нам в комнату, сел на стул и сказал, что рана Крылова очень тяжелая. Операцию делал армейский хирург профессор Кауфман. Осколок мины величиной с половину спичечной коробки пробил лопатку, вошел вглубь и не дошел до сердца около сантиметра. Чтобы его извлечь, пришлось делать несколько разрезов между ребрами.

Потом он спросил, в каком состоянии я нашел Крылова, когда пришел к нему.

— Ну и сила же у человека! — сказал Петров. — С таким ранением самому добраться до машины, приехать и ничего никому не сказать...

К Крылову не пускают, можно лишь звонить в госпиталь узнавать о его здоровье.

Я был потрясен случившимся. Ведь Крылов для меня был больше, чем ценным начальником, — он был другом, лучшим другом и учителем. Редко можно встретить человека, к которому так тянешься всей душой, которому хочешь подражать.

Приказ Черняка на наступление выполнен не был. Не успел приказ дойти до войск, как Черняк перестал быть командующим, и командармом вновь стал Петров. Что получилось там, в верхах, — не знаю, но утром была получена шифровка Ставки верховного главнокомандующего, по которой назначение Черняка отменялось. Он назначался заместителем

командующего флотом по сухопутным войскам. Первыми распоряжениями Петрова после получения шифровки был приказ, отменяющий наступление, и приказ на продолжение оборонительных боев.

Несмотря на огромные потери, Манштейн продолжал штурм, прорываясь к Северной бухте. Это были критические дни обороны...

Уверенность гитлеровцев в том, что на этот раз им удастся овладеть Севастополем, была настолько велика, что с наступающими частями шел назначенный Манштейном комендант города со своей командой. Этот комендант попал к нам в плен и вошел в город под конвоем советских солдат.

Пленным не всегда можно верить, особенно когда они говорят о тех, к кому попали в плен. Но думаю, что пленные на этот раз не льстили и не лгали, заявляя, что такого сопротивления у них никто не ожидал. Действительно, как ни тяжелы были бои, никто у нас не поддавался унынию, и все верили, что город мы отстоим. Пленные подтвердили наши данные об огромных потерях, которые несли фашистские войска.

Угрожающим было по-прежнему положение на правом фланге IV сектора, где немцы вновь продвинулись, овладев высотами 64,4 и 49,6. Это значило, что они выбрались из Бельбекской долины по обе стороны Симферопольского шоссе и будут стремиться к станции Мекензисвы Горы. Вернувшись оттуда, Петров приказал назначить комендантом IV сектора и командиром 95-й дивизии полковника Капитохина, а генерала Воробьева отозвать в распоряжение штаба.

Тридцать первого вечером, в канун Нового года, Петров сказал, что уезжает к командиру 79-й бригады Потапову, в штабе которого назначил совещание командиров и комиссаров дивизий III и IV секторов, чтобы обсудить положение и наметить план дальнейших действий. Мне оставаться в штабе и, если случится что серьезное, звонить ему.

— Крылова нет, — сказал он, — теперь основная тяжесть ложится на вас. Надеюсь, что справитесь. А как дальше быть — подумаем.

Петров тяжело переживает ранение Крылова. Он не хочет, чтобы его эвакуировали, потому что прекрасно знает, что тогда Крылов больше к нам не вернется. Врачей, желающих эвакуировать Крылова в тыл, он подзревает в том, что они хотят избавиться от трудного больного, а заодно и от ответственности за его жизнь. В приказах мы по-прежнему ставим подпись Крылова.

Петров уехал на КП к Потапову, в домик дорожного смотрителя на шоссе, недалеко от спуска в Инкерман. Потапов занял этот домик с первого дня прибытия, и его КП мы иначе не называем, как «домик Потапова». В критические дни штурма домик зачастую находился в сфере автоматного-пулеметного огня, однако Потапов не менял своего КП, и это имело известное значение для настроения личного состава бригады. Поведение Потапова вселяло уверенность в бойцов: КП на месте — значит, все обстоит благополучно.

Вот в этот домик и поехал Петров. Его не смущало, что вся местность там простреливается. Хоть бы доехать ему благополучно, все-таки там безопаснее, хотя и там пули, случается, оббивают штукатурку в комнате.

Звонок. Слава богу, Петров у Потапова.

«С Новым годом, с новым счастьем». Для нас, обороняющих Севастополь, новогодний день был действительно счастливым. Штурм Манштейна закончился провалом. Мы нанесли тяжкий урон наступающим частям и, кроме Мамашайского плацдарма, вернули почти полностью все свои рубежи. В этом огромную помощь оказал нам десант, высадившийся на Керченском полуострове и в Феодосии. Немцы вынуждены были снять часть сил с нашего фронта и спешно перебросить их туда.

Еще утром 30 декабря фашисты продолжали нажимать на IV сектор. Трехдневные бои на этом участке, где гитлеровцы ввели в действие три дивизии, позволили им еще несколько продвинуться на стыке III и IV секторов. Ночью их автоматчики просочились чуть ли не на КП подполковника Гузя, но их быстро ликвидировали.

Незадолго до наступления Нового года Петров вернулся от Потапова. Мы начали вспоминать, где и как встречали новый 1941 год. Незаметно перешли на 37—38 годы. Этот период мы называли «лихолетьем». При воспоминании о нем у Петрова невольно вырвалась такая фраза (я ее запомнил хорошо):

— Да, странно получается. Нам выражали недоверие. Крылов был уволен из армии и работал грузчиком на Каме. А мы защищали и защищаем нашу родину.

Перед этим мы откровенно рассказывали друг другу о тех гонениях и репрессиях, каким подвергались сами и наши друзья в 37—38 годах. Меня, например, сняли с должности секретаря райкома партии, объявив мне политическое недоверие. На партийной конференции в 38 году, когда меня снова выдвинули в состав пленума райкома, отвод заявил начальник райотдела НКВД, открыто сказав собравшимся, что вскоре он меня арестует; почему он этого не сделал — так и не знаю. Крылова уволили из армии. Петрова сняли с должности начальника училища как «потерявшего бдительность» и политически сомнительного человека. Теперь мы в Севастополе. А где те, кто обвинял нас во вражеской деятельности?

Таков был наш новогодний разговор. Между тем начали поступать донесения из частей. Действия их были очень удачными, особенно в дивизии Гузя. Задача, поставленная дневным приказом и уточненная вечерним совещанием, успешно выполнялась. Новый комендант сектора Капитохин твердой рукой навел порядок.

Спокойно проходила смена двух полков 172-й дивизии, которые перебрасывались на Бельбекское направление, потому что Петров считал нужным вновь прибывшую, свежую, но еще не обстрелянную 386-ю дивизию поставить в оборону на II секторе, а испытанные и закаленные в боях полки 172-й дивизии, хотя и утомленной и менее численной, готовить для борьбы на Мекензиевых Горах; нельзя ведь было повторять печальный опыт с 388-й дивизией. Решение Петрова было совершенно верным. Что и говорить: рота, неоднократно бывшая в бою, может сделать больше, чем батальон недостаточно обученных и к тому же еще не обстрелянных солдат.

К утру 1 января немцы были почти всюду отброшены за Бельбекскую долину и перешли к обороне. Вечером Петров приказал штабу готовить приказ на наступление 2 января, чтобы окончательно их сбить.

Звонил Хомич, начальник штаба 345-й дивизии. Дела у них идут хорошо: немцы отходят поспешно — можно сказать, удирают. В занятых блиндажах, очевидно офицерских, солдаты находят даже елки с зажженными свечами и празднично убранные столы с винами разных стран.

Да, ни рождественский, ни новогодний подарки Гитлеру Манштэйну поднести не сумел. Севастополь как стоял, так и стоит. Мы его не отдали.

Но одни ли мы защищаем Севастополь? Говорить так было бы неправдой. Севастополь защищают и армия, и флот, и гражданское население. Когда создалась угроза Севастополю, был создан Городской комитет обороны во главе с секретарем горкома партии Борисовым. Гражданское население делает минометы, мины, гранаты, ремонтирует военную технику. Эту поддержку мы чувствуем каждодневно, и не бывает

доклада Ермилова, в котором бы он не говорил о помощи, которую оказывает ему Городской комитет обороны. Нам не надо отрывать солдат для таких работ, как мойка, ремонт и шитье белья и обмундирования, — это делают жители города, рабочие и работницы.

Итак, второй штурм провалился. Потеряв больше половины того, что им удалось занять в первые дни, фашисты прекратили действия живой силой. Но они продолжали с прежней интенсивностью огневой бой, причиняя потери нашим войскам, еще не успевшим полностью зарыться в землю на новых позициях.

Штаб армии работал с предельным напряжением. Едва стемнеет, все штабные работники, кроме дежурных, шли в передовые части. Политаппарат и тылы армии, дивизий, полков в полном составе трудились ночь напролет, чтобы обеспечить войска на следующий день, чтобы все, что необходимо солдату, было ему доставлено.

В тяжелые дни штурма я познакомился с писателем Хамаданом. Он приезжал с Петровым на запасный КП. Интересовало его буквально все: и события в целом, и отдельные люди. На вопрос, почему он вникает в такие детали и заносит их в записную книжку, Хамадан ответил, что собирает материал, чтобы правдиво описать Севастопольскую эпопею. Хоть бы ему удалось это! Мы, сухопутчики, особенно в этом заинтересованы. У моряков был Леонид Соболев, давно связанный с флотом, отдающий все внимание ему и теперь. И другие побывавшие в Севастополе писатели и журналисты любят больше писать о моряках — вероятно, мы, сухопутчики, представляем собой менее живописный материал. Сказывается здесь и традиция гражданской войны, память о выдающейся роли революционных матросов в установлении и защите советской власти. Но ведь и о кавалерии и пехоте тех времен в литературе рассказано немало, а в Севастополе сухопутные войска почему-то оказались забыты прессой.

Отъезжали Петров с Хамаданом торжественно, под гром артиллерийской канонады: Богданов громил обнаруженные артиллерийские батареи противника где-то в районе Дуванкой, а немцы, конечно, отвечали.

Вечером первого января у нас на КП появились необычные гости: приехала группа Военно-инженерного управления Генерального штаба. В ее составе два моих знакомых — генерал-майор Хренов и полковник Ляошеня. С первым я был знаком по Одессе, а второй преподавал нам военно-инженерное искусство в Академии имени Фрунзе. Их послала Ставка верховного главнокомандующего с задачей в кратчайший срок создать мощный пояс инженерных заграждений вокруг Севастополя

Вечером объехал с Гузем штабы полков его дивизии. В одном из них произошла интересная встреча. В полку, которым я командовал под Одессой, был полковой инженер. Во время атаки у хутора Красный Переселенец противник прорвал фронт 2-го батальона. Собрав все, что было на КП, мы организовали контратаку. Контратакующую группу вел полковой инженер. В ходе боя он был ранен в руку, но не покидал цепи. Ему удалось остановить продвижение противника, но надо было еще восстановить положение. К этому времени на НП приехал Петров, командовавший в то время 25-й дивизией. С его разрешения мы с комиссаром полка Никитой Балашевым повели в контратаку свой последний резерв и противника отбросили с большими для него потерями. Инженера направили в медсанбат, а оттуда эвакуировали на Кавказ.

Теперь, через несколько месяцев, мы снова встретились, но в новых ролях. Я был ему рад и рад был тому, что оценен по заслугам этот до-

стойный офицер: он был теперь начинжем — начальником инженерной службы дивизии.

Немцы, отступив на свои старые позиции, закрепились основательно: предпринятая чапаевцами 2 января атака не удалась. По правде сказать, мы, продолжая выполнять нашу основную оборонительную задачу, для наступления можем выделять ограниченные силы. Поэтому и цель, которую мы преследуем подобными атаками, состоит только в том, чтобы приковать силы противника к Севастополю и не давать ему безнаказанно снимать войска для переброски на Керченский полуостров. Чтобы лучше выполнить эту задачу, Петров решил прекратить частные атаки, а основательно подготовиться и с утра шестого начать более серьезное наступление.

Передний край по-прежнему идет по высотам над Балаклавой, на Камары, Итальянское кладбище, дальше на север — к истокам Мартыновской балки, Камышлы и поворачивает к морю севернее Любимовки. Общая длина переднего края составляет почти тридцать семь километров. Дивизия Ласкина перебросена на Мекензиевы Горы и заняла участок между 95-й дивизией и бригадой Потапова. По Инкерманским высотам и Сапун-Горе создается новый рубеж обороны.

Части приводят себя в порядок. Войска нуждаются в пополнении, а его нет; необходимо мобилизовать, как говорится, внутренние ресурсы. Подполковник Семечкин — начальник отдела комплектования — днями носится по частям, сокращает тылы, высвобождая людей для строя. Но и их мало.

Не совсем ладно обстоит дело с питанием. Один из транспортов попал под бомбежку на стоянке в бухте. Все пошло ко дну. Ермилов организовал команды, которые вытаскивают из воды мясо и мешки с мукой.

Появились первые обмороженные, есть и случаи цинги. Но за все время боев мы не имели ни одного случая дезертирства, симуляции болезни или перехода на сторону противника. Настроение войск прекрасное. Политотдел армии развернул огромную работу, подводя итоги декабрьских боев. Армейская газета продолжает освещать события прошедших дней. Лозунг прежний: «Севастополь врагу не взят!»

Наконец-то мы получили подробные сведения о разгроме немцев под Москвой. До этого мы знали лишь то, что удавалось поймать в эфире радистам и сотрудникам армейской газеты. Теперь у нас есть официальные данные, доставленные через Новороссийск. Их размножили и передали дивизиям. Всюду идут митинги. Крепнет вера в скорую победу.

Идет деятельная подготовка к наступлению у нас. Зная, что 30 декабря была освобождена Феодосия, мы предполагаем, что Крымский фронт будет развивать удачно начавшуюся операцию. Наше наступление будет иметь ограниченную цель, но и оно в какой-то степени окажет содействие керченцам.

Петров посвятил меня в подготовку десантной операции на Евпаторию: ночью первый эшелон отправится туда и начнет высадку. Все данные позволяют верить, что успех в Евпатории обеспечен. Собственно, этим объясняется и день, назначенный для нашего наступления. Все увязано: захват Евпатории и наш удар. Конечной целью нашего наступления мы пока ставим выход на рубеж Аранчи, устье реки Кача. Дальше будем наступать навстречу евпаторийскому десанту.

Наступление начали 6 января в назначенное время. Атаке предшествовала артиллерийская подготовка, но немцы оказали упорное сопротивление, и наше продвижение было незначительным. Лишь местами мы ворвались в передний край противника, а сломить оборону на участке прорыва не смогли.

Темнота приостановила бой. Войска готовятся с утра седьмого продолжать атаки. Подтягиваются свежие части, подвозят боеприпасы.

С первых дней обороны твердо вошло в нашу жизнь правило, что ночь принадлежит «тылу». Пользуясь затишьем и плохой видимостью, «тыл» должен обеспечить подвоз горячей пищи, боеприпасов, вывезти всех раненых... Всю ночь по дорогам и тропинкам пробираются «тыловики» к переднему краю.

Поздно вечером позвонил из штаба флота Жуковский и сообщил, что высадка первого эшелона десанта в Евпатории прошла удачно. Евпатория в наших руках. Второй эшелон приступил к погрузке для следования к Евпатории. Это известие нас взволновало: ведь если за победой под Москвой и успехом под Ростовом последует освобождение Крыма — это может означать решительный перелом в ходе так неудачно для нас начавшейся войны.

Как плохо, что с нами нет Крылова! Если Петрова мы считаем душой обороны, то мозг обороны — Николай Иванович Крылов. Никто из нас так, как он, не умеет воплотить и облечь в форму четкого приказа идеи Петрова и так незаметно внести свое, новое, что дополняет и уточняет замысел командующего...

Кончается первая неделя 1942 года. Мы неплохо закончили 1941 год. А что будет у нас дальше?

Дни становятся длиннее, ночи короче. Даже в долгие ночи обеспечение Севастополя материальными ресурсами стоило потерь и в транспортных судах, и в миноносцах. Наши медсанбаты и госпиталь переполнены ранеными: для быстрой эвакуации нет достаточных средств, путь от Новороссийска не близок... А что же будет, когда ночи станут совсем коротки? Многое, что на Большой земле осуществляется сравнительно просто, здесь превращается в труднейшую проблему. Мы здесь, в Севастополе, слишком зависим от глубокого тыла, с которым нет надежных коммуникаций. Ермилов, при всех его достоинствах, не всегда в состоянии решить целый ряд вопросов. База-то в Новороссийске, в «доме с орлом» (так называют в Новороссийске и в армии дом XVIII века, украшенный на фронте одноглавым орлом).

Решен вопрос о выдаче ста граммов водки: подвалы Шампанстроя вскрыты и солдатам дают шампанское. Но как быть с картофелем? Местных ресурсов нет, сидим на одной крупе. Сложно и положение с топливом для обогрева блиндажей. Кто-то придумал неплохую вещь: обыкновенные кирпичи пропитывают керосином, затем их кладут в печи и поджигают; пока керосин выгорит, кирпичи нагреваются и держат тепло. Керосин-то легче доставить с Кавказа, чем уголь или дрова.

Даже в войне сталкиваешься с бюрократизмом, непониманием некоторыми начальниками самых простых вещей.

Каким-то образом в Севастополе остался некий железнодорожный начальник. Он ничего лучше не придумал, создавая себе видимость деятельности, как прислать армии счет на огромную сумму за рельсы, взятые на возведение оборонительных сооружений. В своем письме он возмущался тем, что мы самовольно берем рельсы и используем не по назначению, и заявлял, что пошлет жалобу в Москву на наши «незаконные действия». Над присланным счетом мы, конечно, только посмеялись. Занес же я этот случай в свои записи только потому, что очень уж меня удивило — какой степени может достигнуть чиновничье пренебрежение к реальности. Даже в таких условиях может действовать привычка заботиться о собственном служебном благополучии, прикрываясь высокими словами о защите государственных интересов. Что им, таким чинушам, до человеческих жизней — только бы им жилось спокойно.

Мы вступили в подчинение Закавказскому фронту и теперь сводки адресуем не в Москву, а в штаб Закавказского фронта. Пришел запрос о состоянии армии. Необходимо готовить уйму материалов, в их числе много ненужных для дела. Приходится почти весь отдел переключить на эту работу, хотя нашей энергии едва достает на то, что требуется для ведения боевых действий. Пишут все отделы, пишут много, а оперативному отделу, помимо своего материала, надо обобщить труд остальных. (Только политотдел посылает донесения самостоятельно, без нас.)

Днем полковник Кабалюк, начальник штаба береговой обороны, сообщил, что на этих днях подойдет флот и будет вести огонь. Просил уточнить цели.

— Огонь, — сказал Кабалюк, — будут вести «на параллельном курсе».

Значение этого термина, как и многого в морской терминологии, было нам не совсем понятно. Нам разъяснили, несколько сострадав нашей невежественности («Теперь понятно вам?»). Среди моряков есть немало любителей щегольнуть при нас своим специфическим языком. Правда, это если не зеленая молодежь, то обычно не самые умные люди.

Разведчики, действующие в тылу противника, и партизаны доносят, что с нашего фронта в направлении на Симферополь, Феодосию передвигаются войска. Противник часть сил из-под Севастополя перебрасывает против войск десанта. А мы сейчас ничем помочь не можем: наступление прекращено до особого распоряжения.

В Евпатории получилось что-то непонятное. Второй эшелон в составе батальона Тарана так и не был высажен. По данным, полученным от моряков, Таран якобы отказался высаживаться под предлогом, что людей качало в море и они не способны к боевым действиям. Капитан 2-го ранга Буслаев также посчитал высадку бесполезной и ушел обратно в Севастополь. Кто там прав и кто виноват — разберется командование флота.

Наши радисты перехватывали донесения первого десанта, в которых он просил помощи и требовал, чтобы корабли подошли к пристани. Почему Буслаев не сделал этого — непонятно.

Вечером немецкое радио сообщило, что десант в Евпатории уничтожен.

Что с Крыловым — понять нельзя. Врачи говорят: возможно, что через месяц встанет в строй. Чтобы быстрее шла грануляция, применили стягивание краев разрезов лейкопластом. Однажды меня впустили к Крылову, я пробыл у него часа два. Рассказал ему, что происходит на фронте, попросил совета по ряду вопросов и вместе с ним в его палате посмотрел кинофильм (в госпитале есть узкоплечный аппарат). Теперь к Крылову опять не пускают. Довольствуемся тем, что нам говорят врачи.

Перед сном к нам зашел Петров. После ранения Крылова он стал заходить чаще. Разговор начался с истории войн. Он задал вопрос: кто такой Эпаминонд, чем он знаменит? Все молчали.

— Эх вы, офицеры штабные, — проговорил Петров. — Еще небось академию кончали... — И начал рассказывать о замечательных полководцах, о Ксенофонте, написавшем «Анабасис», об Александре Македонском, о Гасдрубале и Ганнибале, о битве при Каннах, о Евгении Са- войском...

Он-то академию не кончал, а знает много, очень точно и как-то необыкновенно живо.

Петрова любят все. И нельзя не любить такого человека. Человек твердой воли и настойчивости, он в то же время прост. Внимательно выслушает всех, но если серьезно продумал свою мысль или мнение, то упорно их отстаивает. Вспыльчив, но никогда не накажет без причины. Совершенно не злопамятен. Сам правдив и к человеку, хоть раз солгавшему, относится с подозрением. Нет такого уголка в обороне, где бы он не побывал лично.

Сидел он у нас на этот раз допоздна. Мы поняли, что Петров тоскует по Крылову и ищет его в нас, в ближайших помощниках раненого начальника штаба.

Вчера я побывал с Петровым у Ласкина на Мекензиевых Горах. Укрыв машину в лоштинке, пошли на передний край. Как только спустились в ход сообщения, чтобы по нему добраться до первой траншеи, как всюду разнеслось: «Петров приехал!» — и в траншее моментально столпились бойцы.

— Как живете, товарищи? — спросил Петров.

Он всегда обращался к подчиненным «товарищи», не допуская фамильярности (которой, к сожалению, многие грешили), и никогда не пользовался наигранно-своими выражениями «друзья», «орлы» или «здорово, братва».

— Живем, даром хлеб жуем, — ответил кто-то из группы окружавших.

— Как это — даром? Не понимаю.

— Сидим на месте, то туда, то сюда. Как будто прижились. Так можно век провоевать. А нам домой охота.

— Не время еще. Подойдет время, сам вперед пошлю.

— Товарищ Петров — виноват, товарищ командующий. Правда, что под Керчью никак не соберутся наступать?

— На это ответить не могу. Там не был. Не знаю. Только вот такие вопросы — соберутся или не соберутся, да когда соберутся — военным людям, как мы с вами, задавать не следует.

— Так я ж не кому-нибудь, а вам, вы же старше и вроде свой. Я как сын отцу... — смущенно стал оправдываться совсем еще молодой солдат.

— Вечно ты, Трофимов, с вопросами, — недовольно заметил ему сержант.

— Ничего, пусть спрашивает. На что можно ответить — отвечу, а что нельзя — не скажу. Такая уж у меня должность, не все могу говорить.

Разговаривая так, Петров шел уже по траншее, а впереди и сзади шли бойцы. Петров становился в ячейки для стрельбы, наблюдал в сторону противника, прицеливался, осматривал блиндажи, проверял оружие и незлобивым, действительно отеческим тоном делал замечания, а солдаты тут же, немедленно старались исправлять недоделки.

— Ну, ладно, — сказал Петров, — больше быть у вас нет времени. Дел у меня, сами понимаете, даже больше, чем у вас. На свободе заеду к вам еще.

И чувствовалось, что ему действительно самому хотелось еще побыть здесь.

Вспоминаю мое первое знакомство с Петровым. Это было в августе под Одессой. Румыны рвались к городу. Сафронов, командовавший тогда Приморской армией, решил отбросить их контрударом на Маяки. Для этой операции предназначались 25-я и 95-я стрелковые дивизии и 2-я кавалерийская, которой командовал Петров. Общее руководство было возложено на начальника оперативного отдела армии генерала Воробьева.

На полях, заросших кукурузой, я встретил майора Лукашука. Когда-то он был старшиной эскадрона, а теперь командовал 7-м полком, в кото-

ром я когда-то, до ухода в запас, был начальником штаба, а затем одновременно и командиром полка. Это было давно, в 1926 году. Разговорились и не заметили, как подошел генерал. Лукашук доложил ему, кто я, и я также представился. (В то время я был начальником разведки дивизии.)

Контрудар начался неудачно. Что было причиной тому — не знаю. По-видимому, отсутствие должного руководства. Войска залегли. Мне хотелось самому увидеть рубеж, какого они достигли. Выехал на машине из кукурузы и наткнулся на лежащую цепь. Полагая, что это какой-либо второй эшелон, прямо на машине поехал вдоль цепи. Ни одного выстрела. Остановился у края цепи, вылез и спросил бойца, почему они здесь лежат.

— Как почему? — удивился он. — Да вот румыны.

— Где?

— Вон там. — И он указал рукой вперед.

Действительно, метрах в шестистах — семистах копошились люди. Но никто не вел огня.

Я как можно спокойней пошел к машине, развернулся и уехал. И тут произошло следующее. Подъезжая к кукурузе, вижу, как из нее по нашему следу выходит «пикап» и на подножке в бушлате защитного цвета и генеральской фуражке стоит человек. Выскочив из машины, я руками показываю, чтобы он вернулся в кукурузу. Он понял.

Въехав в кукурузу, подошел к «пикапу» и, узнав Петрова, доложил ему, откуда я еду. Вышли на край кукурузного поля, я показал свои цепи и цепи противника. Петров после этого пригласил меня тут же, у «пикапа», перекусить. Так состоялось наше первое знакомство.

Через несколько дней после этого Петров принял 25-ю дивизию, а я стал в ней командиром полка.

На фронте затишье. Продолжаем готовить доклад Закфронту. Сообщаем о соотношении сил во время второго штурма и сейчас.

У нас к началу штурма было батальонов полевой армии и береговой обороны — 35; у противника батальонов немецких — 45 и батальонов Антонеску — 9, всего 54.

Кавалерийских эскадронов у нас было 9, танковых батальонов — 1; у немцев конницы не было, а танковых батальонов было 7.

Авиации у нас было 54 самолета разных марок, больше У-2 и МБР; у немцев около 300 самолетов.

В артиллерии противник имел превосходство с соотношением примерно 3 к 1.

В конце операции к нам поступило три дивизии, то есть еще 27 батальонов, немцы же получили 9 батальонов — следовательно, некоторое преимущество даже в счете батальонов по-прежнему оставалось у немцев. Однако преимущество их было гораздо большим, принимая во внимание, что численный состав батальона у противника и у нас не одинаков: у немцев и румын батальон имел до 600 человек, а у нас редко достигал 350. И вот, несмотря на преимущество в численности войск, на подавляющий перевес во всех видах техники, не говоря уже о снабжении, штурм Манштейна провалился.

...А никто по-прежнему о нашей Приморской армии, о ее людях не пишет — конечно, кроме наших дивизионных и армейской газет. Их корреспонденты бьвают всюду, несут потери в боях наравне со строевым составом. О невнимании с их стороны к бойцам и командирам нет и речи — удерживаешь, чтобы не перехваливали. Но то, что пишут они, читаем только мы. А ведь хочется, чтобы читали наши семьи и друзья в тылу; да что таить: хочется, чтобы о нашем тяжелом военном труде знали и те лю-

ди нашей страны, которые нас никогда не видели и о нас не слышали. Хамадан уже уехал на Большую землю, может быть, он о нас вспомнит.

Возвращаясь мыслью к пережитому, вспоминал начало войны. Для меня она не была такой неожиданностью, как для большинства. Мне пришлось узнать о ее близости, еще когда я служил в Бессарабии.

Мы знали тогда почти все основное, что касалось подготовки к нападению на нашем участке. Не знали только, когда оно произойдет, и ошиблись в дне. Рассчитывали, что оно будет приурочено к 28 июня, то есть ко дню возвращения нам Бессарабии, а началась у нас война в 3 часа 30 минут 22 июня.

Десятого января Петров встал раньше обычного, вызвал меня и спросил, не приходил ли Воробьев. Генерал Воробьев будет замещать Крылова до выздоровления. Я не мог претендовать на эту роль и сам не взял бы ее, если бы и предложили: моя теоретическая подготовка слабовата. Главное — я не могу спорить с Петровым, так как не умею обосновать свое мнение с точки зрения оперативной науки, и это дало однажды повод Петрову, привыкшему додумывать свою мысль в споре с Крыловым, сказать мне, что я всегда поддерживаю взгляды начальства... Что делать? Быть может, кому-нибудь другому я бы и возражал. Петров для меня слишком большой авторитет, и его суждения воспринимаются мною как единственно верные.

Но куда Воробьеву до Крылова! Он не раз приводил в пример работу штаба под Одессой при командарме Сафронове. Там, по его словам, он два раза в день докладывал командарму о положении на фронте. Утром — все, что произошло за ночь; вечером — что произошло за день. Получал указания командарма, доводил их до войск.

— А здесь у вас, — говорит он, — и командарм и начальник штаба все время теребят войска, выезжают на позиции, сами принимают сводки...

И это правда.

Уходя из дивизии в армию, Петров сказал, чтобы мы, если что кому нужно, звонили ему непосредственно. Увы, на наши звонки никто не отвечал. Однажды Петров приехал на наш НП:

— Что же никто никогда не позвонит?

Мы рассказали, что нам не отвечают. В следующий приезд Петров объяснил, в чем дело. Оказывается, до него был установлен такой порядок, что к командарму никто не мог звонить непосредственно. Телефонисты на коммутаторе включали строго ограниченное число лиц, а остальным не отвечали.

— Я поломал это бюрократическое изобретение, — сказал Петров.

И действительно, вечером того же дня мы ему позвонили, и он ответил.

Но не о таких порядках мечтал Воробьев. Если Крылов не сторонился черновой работы и часть ее делал сам, то теперь все легло на мои плечи.

Съездил к Крылову. Ему стало хуже. От лейкопласта вместо ускоренного заживления получилось нагноение. Теперь грануляция будет идти без стягивания кромок разрезов лейкопластом. А пока поднялась температура. Я умолчал о Евпатории.

Радиосвязь с евпаторийским десантом полностью прекратилась. Неудача постигла нас и в Судаке: судьба высаженного там полка неиз-

вестна. Хорошо, если он ушел в горы и присоединился к партизанам. Мелкий десант, высаженный для отвлекающей операции в Коктебеле, весь погиб тут же, на берегу.

К Севастополю подошли боевые корабли флота для огневого удара по фашистским позициям. Цели уточнены, и мы все с нетерпением ждали открытия огня «главным калибром».

Орудия заговорили около полуночи. Это была действительно артиллерийская симфония! Все офицеры выскочили на бруствер нашего КП и смотрели в море. Там, как зарницы в жаркую июльскую ночь, вспыхивали огни. Над головами нарастал шум летящих снарядов. Потом докатывался разноголосый хор выстрелов в самом низком регистре, а еще через две-три минуты с вражеской стороны долетали веселящие нам души разрывы снарядов. Да, мощная вещь «главный калибр»! Мы впервые слышали и видели огонь морского флота. Обстрел длился, вероятно, около получаса (никто не следил за временем), возможно, и больше, но во всяком случае не меньше.

Каков же результат этого мощного огня? Стало необразимо тихо. Даже ракет не видно, а их-то мы видим всегда в огромном количестве: немец, как автомат, пускает ракеты с начала темноты до рассвета, освещая полосу перед передним краем.

Возвратились в помещения и сразу к телефонам — узнать результат. Пока добиваемся данных, идут жаркие споры. Появились пессимисты — это сухопутные артиллеристы. Их доводы парируют морские артиллеристы. Спор сугубо специфический, остальные только прислушиваются и лишь изредка решаются вставить слово.

Трежит телефон. Спорщики смолкают, и только нетерпеливое «ну как?» врывается в тишину. Дежурный молча записывает, а через его плечо спешат прочесть. Доносят, что районы целей накрыты, а потери противника не определены. Уточняют утром. И снова спор. Одни доказывают: раз район накрыт, то задача выполнена. Им возражают, что попадание в район — это еще не попадание в цель. Спор начинал мешать работе, пришлось его прекратить, попросив особо ретивых спорщиков уйти. Но еще долго доносились снаружи их голоса.

К Крылову сегодня не пустили. Снова ухудшение. Профессор Кауфман на ходу бросил:

— Сепсис.

Он спешил на операцию, и останавливать его нельзя было.

Утром 12-го Петров приказал мне выехать на ЗКП в Сухарной балке, организовать наблюдательный пункт: 16 января будем проводить частную операцию в направлении Заланкой. Между прочим сообщил, что на НП приедет адмирал Октябрьский, хочет посмотреть сухопутный бой. 14-го на НП приехали основные работники всех отделов, а главное — штаба артиллерии: ведь им «открывать бал».

13-го и 14-го на фронте было по-прежнему тихо. Машинистка Люба, прикрепленная к Садовникову для оформления сводок, так наострилась на их печатании, что уже сама заранее готовит данные о погоде, соседях. И как только Садовников доходит до этих пунктов, она допечатывает без него... Какие странные рефлексy бывают у человека! Чтобы разбудить Любу, надо ее трясти. Но стоит Садовникову крикнуть: «Люба, сводка!» — как она моментально вскакивает и бежит к машинке.

16-го на «артиллерийском рассвете» началась подготовка. Давно — если не считать ночной стрельбы кораблей — не было такой канонады с нашей стороны.

Началась атака. Местами мы вклинились в немецкую оборону, но развить успех сил опять не хватило.

Бой затих только к вечеру. Мы вправе считать его удачным: прорыв не удался, но силы немцев прикованы к нам. По достоверным сведениям, немецкая дивизия, двигавшаяся к Феодосии, была остановлена в районе Карасу-Базара.

Войска Крымского фронта перешли к обороне на ак-монайских позициях. Это перешеек шириной километров в восемнадцать, между Азовским и Черным морями. По нашим сводкам, фронт накапливает силы, подтягивает тылы и готовится к дальнейшему наступлению.

Что с Феодосией — неизвестно. Не то мы ее держим, не то немцам удалось выбить нас. Фронт не балует сводками: радиосвязь перегружена, шифровальщики тоже, а другой связи у нас нет.

У Крылова все эти дни не был. Созвониться удалось один раз. Положение у него по-прежнему тяжелое.

На запасный командный пункт приезжал адмирал Октябрьский с командирами из своего штаба. Правда, непосредственно наблюдать бой оттуда нельзя было, и им пришлось знакомиться с ходом действий по донесениям. Адмиралу некогда было, и он вскоре вернулся в свое расположение. Его штабники оставались до вечера и, кажется, поглядывали на нас иронически: «Эх, пехота, царица полей!» Наше объяснение, что основная цель активных действий достигнута, по-видимому, показалось им не слишком убедительным.

В море слышны взрывы: катера-охотники бомбят глубинными бомбами фарватер, очищают от возможных подводных лодок противника — значит, к нам придут какие-то суда. Возможно, придет и почта. Письма к нам идут долго. А письмо солдату — это огромная бодрящая сила.

Ранен Щеглов, начальник «Смерш» 25-й Чапаевской, — человек, которого очень ценил и уважал Петров за прямоту, за храбрость, за честность. Ранен на передовой, где бывал часто, не в пример иным работникам «Смерш», предпочитающим «бороться с крамолой» в штабах и во вторых эшелонах. С Щегловым были дружны многие офицеры дивизии, его хорошо знали в полках. О его ранении позвонил Борис Варшавский, начсандив, мой товарищ. Завтра заеду в медсанбат проведать.

Разные бывают огорчения: от одних печаль или горе, от других больше досада. Неприятность с одним нашим комдивом. Ему за пятьдесят. Он приблизил к себе какую-то девицу, а она с его шофером где-то самовольно «реквизировала» овец и еще что-то. По сути дела — грабеж. Их арестовали — будут судить.

Немцы разбомбили домик, где иногда отдыхал Петров. Его, к счастью, там не было, и никто не пострадал. Бомба, вероятно, была полутонная.

Заграждения у нас сооружаются с величайшей энергией, создаются противопехотные и противотанковые минные поля. Вся тяжесть организации работ ложится на нашего армейского инженера полковника Кедринского — его называют «советский Тотлебен». Саперы работают с остервенением, так что привезенные московской инженерной группой средства заграждения уже на исходе. Городской комитет партии всеми силами помогает нам, мобилизуя местные ресурсы. Наша отчетная карта заполняется все новыми и новыми заграждениями. В ожидании доклада командующему или после него инженеры заходят ко мне, и мы делимся впечатлениями. Полковник Ляшюня прямо очарован Петровым:

— Невероятно! И откуда он столько знает?

Мы с Кедринским улыбались — для нас-то это было не ново.

— И какая сила убеждения! Именно убеждения, а не власти, приказа. Для него приказ — форма. Ему важно убедить человека, что надо сделать именно так,— продолжал Ляошеня.

— Видите ли,— ответил Кедринский,— Петров понимает, что приказу другая цена, если его выполняют люди, убежденные, что он правильный. К сожалению, не всегда это возможно на войне: и времени нет разъяснять, и не все замыслы можно раскрывать. Приходится действовать сами знаете как: выполняйте — да и все тут. Но Петров никогда не упустит случая, если дело позволяет, растолковать, что и почему он требует. Потому-то ему верят, как никому, даже когда он просто приказывает.

— Да, да! — с жаром подхватил Ляошеня.— Вот верно! Видели бы вы, как он выслушивает, что советуют саперы... Настоящий интеллигент. И настоящий демократ. Настоящий советский генерал,— заключил он.

И я подумал: вот человек не первой молодости, опытный военный, сколько людей перевидал, высоко образованный инженер, а немного узнал Петрова — и сразу отличил его от других. Значит, моя вера в него, любовь к нему не преувеличены.

Крылову стало лучше, и мы часто ездим к нему. Он интересуется всем, расспрашивает, дает советы. Заживление раны и разрезов идет медленно. Делали «освещение разрезов».

Среди личного состава дивизии, прибывшей с Кавказа, оказались и малодушные.

Причина некоторого снижения морального уровня пришедших недавно частей ничуть не загадочная. Это поспешно сформированные, пестрые по составу части, и люди в них не успели сжиться. Не успели они и обстреляться, привыкнуть к фронтовой обстановке, как сразу попали в тяжелые бои. В ходе боя они себя показали не очень хорошо, но там их поддерживала общая атмосфера патриотического воинского порыва и взаимной выручки. Когда же началось томительное однообразие фронтовых будней в очень трудных бытовых условиях и распространились слухи о неудаче в Евпатории, тогда худшие, самые слабовольные и эгоистические среди них, совсем пали духом, потеряли веру в победу и пошли на подлость.

Был у Петрова начальник отдела кадров с материалами о награждении. Среди представленных — Онилова Неонила (все ее звали Нила или Нина). Петров приказал ее вызвать, чтобы проверить, действительно ли она стоит этой награды: ее представили к Красному Знамени.

И вот она сидит в комнате, где я работаю. Ждем Петрова. Ниже среднего роста, в ватных брюках и телогрейке. На лице — неотмытые пятна смазки. Обмундирование замызганное. Сидит и на вопросы отвечает довольно односложно: да, нет. О случае, описанном в реляции, говорит неохотно. Производит впечатление неухоженного подростка, только глаза необыкновенно живые. Потом мы убедились, что, когда речь идет не о ней самой, она говорит куда живей и складней.

Приехал Петров. Он поговорил с ней минут пятнадцать — двадцать, отпустил, вышел ко мне и сказал:

— Представление я утвердил. Вот замечательный солдат! Присвоил ей звание сержанта. А я-то, грешным делом, сперва подумал, не приятельница ли какому-либо начальнику.

После случая с опростоволосившимся комдивом Петров стал особенно строго проверять награждения женщин. Но как он уважал тех жен-

щин, которые участвовали в войне, не щадя своих сил и не ища для себя привилегий или выгод!

У нас на узле связи была женщина, «старшая» по должности, работница одесского телеграфа. В работе — виртуоз, в поведении — сама скромность, в деле — олицетворенная преданность родине. Она была привлекательна, и наша молодежь стала за ней ухаживать, но все получали афронт. Когда она дежурила, связь бывала всегда идеальная. Случилось однажды, что дежурный по связи офицер выбыл из строя, и временно она заменила его. Петров присвоил ей командирское звание. Это была первая женщина-командир в Приморской армии, не считая медиков.

Когда нет серьезных событий, невольно вспоминаешь даже мелочи и заносишь их в дневник.

Вот еще одно событие малого масштаба.

Под вечер как-то раз мне сообщают, что какой-то майор настойчиво добивается меня. Накинув шинель, выхожу — и что ж? Возле штаба стоит майор Рыдченко из артиллерийского штаба 25-й дивизии. По службе в дивизии я его знал, и знал — как говорит, кажется, Швейк или еще кто-то у Гашека — с самой плохой стороны. Страшно заносчив, самолюбив. У нас перед войной была с ним стычка. Оба мы были капитанами, потом ему присвоили звание майора. В это время был издан приказ об отдании чести. Утром при входе в штаб я его встретил и отдал честь. В мой отдел ход был через общую комнату штаба артиллеристов, я куда-то вышел, а потом вошел опять и пошел прямо в свою комнату. Он остановил меня, поставил по команде «смирно» — он же майор! — и давай отчитывать, почему я не спросил разрешения пройти, почему не отдал честь и т. д. С самого начала войны он вечно сидел в штабе артиллерии и не бывал на огневых позициях. Полковник Гроссман, командующий артиллерией 25-й дивизии, жаловался, что Рыдченко «не в меру трусоват». И вот, оказывается, Гроссман наконец не выдержал и отправил его в распоряжение штарма с соответствующей аттестацией... Я думал, что Рыдченко будет просить, чтобы его направили в другую дивизию. Но что я услышал! Рыдченко просил, чтобы я помог ему уехать из Севастополя на Большую землю, а там он устроится где-нибудь в тылу, у него есть какие-то знакомства в Москве. Я едва сдержался, чтобы не дать пощечину этому прохвосту. Повернулся, чтобы уйти. Он хватался за мою шинель и со слезами упрашивал...

Вот же тип! О таких в аттестации в мирное время пишут: «Волевой». А на самом деле отъявленный трус. Как хорошо, что под Севастополем таких почти нет.

Я все-таки позвонил полковнику Рыжи и, не высказывая своего мнения, передал просьбу Рыдченко. Он сказал:

— Ладно, направлю его в один из артполков поближе к фронту. Пусть, подлец, искупит свою вину. Его счастье, что Гроссман от него просто избавился, другой бы под суд отдал.

Вообще стало почти аксиомой, что на войне больше отличаются незаметные в мирное время и, на первый взгляд, ничем не выдающиеся люди, те, о которых говорят: «Этот с неба звезд не хватает. Просто хороший рабочий вол».

Зачем я все это записываю? Прежде всего я привык за время войны думать с карандашом в руках. И мне хочется, кроме того, побольше удержать в памяти из того, что я вижу в эти месяцы великих испытаний, доставшихся на долю нашему народу. А потом, может быть, моя рукопись попадет когда-нибудь в руки писателю и пригодится ему.

Только бы Петров не узнал о моем дневнике — еще засмеет...

Закончено инженерное оборудование нашей обороны, и московские «гости»-инженеры вместе с Хреновым уезжают.

Все шло хорошо, но в последний день их пребывания у нас погиб армейский инженер Кедринский.

На фронте была обычная перестрелка и редкие огневые артиллерийско-минометные налеты. И надо же было так случиться, что, как только Кедринский вышел из штабной землянки 25-й дивизии, начался минометный обстрел, и его тяжело ранило. В медсанбат его доставили в шоковом состоянии, он скончался.

Кедринский пользовался у нас большим авторитетом. Прекрасный человек и одаренный, высоко эрудированный командир школы Карбышева.

С конца января Приморская армия подчиняется Крымскому фронту. Переходим на связь с Керчью.

Петров готовит частную операцию в Бахчисарайском направлении все с той же опостылевшей нам ограниченной целью — тревожить и сковывать противника. Но вот что странно. Уже начало февраля, а на Керченском полуострове фронт Козлова все еще в прежнем положении. Зарылись на ак-монайских позициях, и дальнейшее движение прекращено. Идет накапливание сил? Но ведь и противник накапливает силы.

По достоверным сведениям Феодосия взята немцами. Жаль: имея Феодосию в своих руках, мы могли бы нанести удар на север, на соединение с Козловым... Нет, кажется, что-то «не сработало» в штабе Крымского фронта.

В сводках по-прежнему «без перемен». Готовим слет снайперов.

Нас известили, что наконец-то есть решение по нашим одесским режиссиям. Но кто, чем награжден — еще неизвестно. Во всяком случае не позднее годовщины Красной Армии будем иметь приказ у себя (если судно, везущее его, не будет потоплено).

Появилось время читать художественную литературу. Достал «Последний из удэге» Фадеева. Эту вещь я читал и раньше, но сейчас перечитываю с прежним удовольствием.

С Фадеевым я был знаком. В 1934 году он вместе с Довженко и Солнцевой был на Дальнем Востоке. Довженко готовил «Аэроград». Приехали в Николаевск-на-Амуре и гостили у меня дней десять. Я был тогда управляющим Амургосрыбтрестом. Мои гости часто разговаривали о литературе. Иногда в этот разговор вступал и я и просил Фадеева, чтобы он окончил «Последнего из удэге»; он обещал, что допишет. Возникли споры и о фильмах, поставленных Довженко. Мне казалось, что в его творчестве есть излишняя условность. Внимательно слушал я его сценарий «Аэроград» — из простых смертных я, кажется, был первым слушателем этого сценария — и тоже кое-чего не мог понять в художественном замысле. Юлия Александровна Солнцева крепко поддерживала суждения Довженко, а Фадеев иногда спорил, склоняясь к моей точке зрения. Жаль, тогда еще не было у меня обыкновения записывать. Прошло много лет, и теперь не могу вспомнить наши споры.

При отъезде меня приглашали, когда буду в Москве, непременно заходить. Но сколько раз после этого ни бывал в Москве, все не решался — а вдруг не будет той сердечности и простоты, как там, когда встретились в Николаевске-на-Амуре...

Крылову значительно лучше.

Чапаевцы после случая с Кедринским сменили свой КП, переехали в Инкерманский монастырь, полагая, что противнику стало известно расположение командного пункта.

У Ласкина теперь работает начальником оперативного отделения мой старый друг майор Пустовит. Ему, как и мне, не удалось закончить академию: он должен был перейти на последний курс, а я на второй, помешала война — мы ведь «заочники». По работе в штабе дивизии знаю, какой это работоспособный человек. Ровный характер и аналитический ум. Его можно было бы назвать «Крыловым в миниатюре» — с моей точки зрения, большая похвала; я хотел бы, чтобы обо мне так сказали. А внешне — типичный украинский «дядько з села». Прицепить ему усы — и образ закончен.

Говорили мы с ним, встретясь сейчас под Севастополем, о довоенной жизни в Полтаве, в Запорожье, в Одессе и меньше всего о нашем теперешнем положении.

Седьмого февраля утром зашел Петров, поздравил: меня наградили орденом Красного Знамени за одесские бои. Это первый полученный мною орден. По словам начальника отдела кадров, часть представлений, посланных ранее, где-то затерялась, а теперь он уже достоверно знает, что и часть севастопольских наградных материалов пошла на дно Черного моря.

Петров тоже в числе награжденных. Пошел и я к нему — поздравить. Поздравительными телеграммами — не только Петрову, но всем, чьи имена появились в приказе, — завален штабной стол. Поздравлять Крылова мы поехали целой делегацией. Он был очень рад и награде и нам.

На фронте по-прежнему — «без перемен» и потери. Ох эти потери! Какое бы ни было затишье на фронте, а раненые и даже убитые каждый день.

Удивляет подчинение нас Крымскому фронту: ведь связь с ним еще более проблематичная, чем с Закавказским. Очевидно, преследовалась цель координации действий. Но этого можно было бы достигнуть и без номинального подчинения. Сколько времени прошло, а из Крымского фронта у нас никого не было. Получили приказ прислать (морем) донесение о состоянии армии. Пишем доклад на имя члена Военного совета Мехлиса.

В штабе фронта, по слухам, сменил начальник штаба Толбухин. Вместо него назначен генерал Вечный — постоянный сотрудник «Красной звезды», когда ее редактором был Мехлис. Если судить о его знании оперативного искусства по написанным им статьям, то впечатление хорошее. Но каков он будет, когда начнет претворять теорию в практику?

Активизировались поиски разведчиков. Бригада Горпищенко в ночной схватке захватила «языка». К сожалению, по дороге он отдал богу душу.

Установилась довольно регулярная связь с партизанами. Они пробиваются через линию фронта к нам, и мы знаем, что творится в городах Крыма. В Симферополе «мэр города» — один из бывших в почете при советской власти...

У партизан в эти февральские дни тяжелое переживание: среди них оказался предатель. Теперь он под тайным надзором. Чтобы немцы не догадались, что он раскрыт, партизаны решили его ликвидировать во время очередной стычки с карателями, предварительно вложив ему в сумку фальшивый оперативный приказ штаба Приморской армии, и этим вдобавок ввести немцев в заблуждение относительно наших планов. Что ж, против такого способа избавления от предателя возражать

не приходится — пусть хоть своей заслуженной казнью, своим мертвым телом будет полезен родине, которую предал при жизни¹.

Мы ждем, когда Крымский фронт начнет активные действия на Керченском полуострове. У них накопилось целых три армии, что-то около двадцати трех дивизий — значительно больше, чем у немцев. Есть и танки, даже тяжелые КВ. Наши ретивые «стратеги» почти ежедневно спорят у карты, куда Козлов нанесет главный удар — на Симферополь или на Джанкой. Однако Крымский фронт все еще не движется с места. А Крым ведь накануне распутицы; если сейчас не наступать, то потом придется ждать, пока подсохнет грязь.

У нас, кроме действий поисковых групп, все та же снайперская дуэль, подкрепляемая иногда артиллерийским огнем.

Сидеть в обороне — вещь довольно неприятная. Вечно настороже и не знаешь, где противник начнет свои действия. Оборона — это потеря инициативы; французская доктрина о превосходстве оборонительных действий несостоятельна: это почти то же, что и черчиллевская фраза «выбомбить из войны», сказанная им в конце 1941 года. Ни обороной, ни действиями одной авиации войны не выиграешь.

Двенадцатого февраля исполнилось сто дней с начала обороны Севастополя. В связи с этой датой корреспонденты центральных газет, лишь недавно появившиеся в Приморской армии, атакуют Петрова, требуя от него статью в «Правду» и «Известия». Ему некогда. Вызвал меня, дал основные вехи, и к вечеру статья была готова. Он внимательно прочитал статью, сделал кое-какие поправки и предложил мне ее подписать. Отказываюсь. Он настаивает. Спасибо корреспондентам: они добились, чтобы статью подписал сам Петров, так будет внушительнее.

Сто дней, а кажется — вечность. Черноморская крепость стоит как стояла, и мы по-прежнему хозяева Черного моря, и я верю, что мы отстоим ее. На этих днях в долине Черной речки, памятной всем, целый день шел ужасный бой. Сколько раз противник бросался в атаку, но на наш передний край его не допустили. После этого боя атакующую бригаду, пожалуй, отведут на укомплектование — половина, если не больше, выведена из строя.

От многих товарищей пришлось слышать догадку: не решили ли немцы, пока фронт в Ак-Монае пассивен, расправиться с нами, чтобы развязать себе руки? Атаки горнострелковой бригады — не начало ли это новой операции с решительной целью? Может быть, нового штурма? Ведь боями на Черной речке дело не ограничилось. Немцы начали добиваться захвата горы Гасфорт с Итальянским кладбищем. Взяв эту гору, они могли бы полностью просматривать Федюхины высоты вплоть до Сапун-Горы. Часовня и кладбищенские стены разрушены артиллерийским огнем. Кости иностранцев, принимавших участие в Крымской войне 1854—55 годов и погибших здесь, были позднее выкопаны из земли правительствами их стран и замурованы в часовнях и стенах отдельных национальных кладбищ: черепа в часовнях, остальные кости в нишах, размещенных в стенах. Кости итальянцев, погибших под Севастополем еще в первую оборону, рассыпались теперь по территории кладбища.

Частые атаки противника на Черной речке, под Итальянским кладбищем, у Сахарной головки, у Камышлы длились до сегодняшнего дня.

¹ Позднее я узнал имена фактических исполнителей нашего задания. Ими были: командир одного из партизанских отрядов Северский и работник штаба отряда Махнев. Они точно выполнили свою задачу, и наш приказ, дезориентирующий противника, оказался на столе командующего 11-й немецкой армией Манштейна.

Потом все затихло. Изредка где-то прострочит пулемет да разорвутся одна-две мины.

А может быть, случаи перехода отдельных наших солдат к противнику дали ему повод начать бессмысленные атаки? По опыту разведчика знаю, как рисуют перебежчики состояние войск, из которых они ушли. Если их показания брать за чистую монету, то армия разложена, никто не хочет воевать, все ждут случая, чтобы сдать в плен и т. п.

Петров доволен результатами боев. Атаки мы отразили, даже не прибегая к резервам дивизий, одними войсками первых траншей. Это ли не удача? Отлично действовал артиллерийский полк Богданова. Слава его растет с каждым днем, солдаты с гордостью называют себя «богдановцами».

Я знал, что Николай Васильевич Богданов счастливо сочетал в себе личную храбрость со способностью в критические минуты не терять самообладания и принимать меры, дающие выход из, казалось бы, безвыходного положения. Это он в декабрьском штурме, когда немцы ворвались на огневые позиции его батарей и когда кое-где расчеты, бросая орудия, уже начали отходить, кинулся во главе своих разведчиков в рукопашный бой, отбил позиции и сразу же начал вести орудийный огонь, заставив немцев удирать во всю прыть. Не ограничившись этим, Богданов сгруппировал вокруг себя пехотинцев, потерявших командиров, перешел в контратаку, вернул сданные врагу траншеи и восстановил положение на всем участке фронта. Вполне заслуженно Военный совет армии представил Богданова к званию Героя Советского Союза. Поступок действительно геройский.

Крылов и полковник Рыжи представлены к званию генерала. Мы ждем с нетерпением дня, когда им его присвоят. В армии у нас мало генералов — Петров, Новиков, Воробьев, Коломиец. Есть и все еще не аттестованный в новом звании комбриг — Монахов. Остальные имеют звание на одну, две и даже три ступени ниже положенного по должности. Правда, командиры, находящиеся в таком положении, не особенно опечалены этим, они даже несколько этим бравируют, особенно перед теми, кто, имея более высокое звание, занимает подчиненное по отношению к ним положение.

Как ничто, война отличает настоящие военные таланты от плац-парадных шаркунов. В этом отношении показателен быстрый рост Крылова.

С 13 по 15 февраля ездил по дивизиям. Был у Монахова, у Новикова, у Скутельникова. После боев настроение солдат отличное, особенно в полку Рубцова. Солдаты со смехом рассказывают перипетии боя. В штабах пишут репортажи на особо отличившихся. Саперы восстанавливают нарушенные заграждения, но только по ночам: днем даже выглянуть из окопа нельзя — у противника снайперов тоже хватает!

Новиков обосновался в Георгиевском монастыре, его называют епископом. У него прекрасный штаб и хороший комиссар — полковник Хацкелевич. Сработанность полная. Все офицеры — кавалеристы; дивизия теперь 109-я стрелковая, родилась из 2-й кавдивизии, которой под Одессой одно время командовал Петров. Стоит ли говорить после этого, каким уважением и любовью пользуется здесь Петров, его называют «наш генерал».

В дивизии Монахова дело обстоит хуже: здесь постоянно необходим в помощь комдиву зоркий глаз.

Снова и снова думаю: как меняется оценка людей в зависимости от обстановки! Первый раз я встретился с Монаховым за неделю до начала войны. Тогда он был начальником управления боевой подготовки Одес-

ского военного округа, комбригом и по всем правилам делал разбор полевого командно-штабного учения дивизии. Вторая встреча — под Одессой во время войны. Он принял вновь сформированную 42-ю дивизию и чувствовал себя очень неуверенно во фронтовой обстановке.

Конечно, война вскрывает не все способности людей, а только те, которые нужны для ее ведения. Но и эти способности весьма разнообразны. В мирное время при назначении людей на руководящую работу часто играют роль привходящие факторы, ничего общего не имеющие с деловой оценкой. Даже в нашем социалистическом обществе это еще не вполне исключено. А жаль. Во время войны за это дорого платят тысячи подчиненных.

Уже несколько дней, как московская инженерная группа уехала. Генерал Хренов — в Керчь, он будет там руководить инженерным оборудованием обороны, остальные — в Москву.

Петров вызвал меня, чтобы подготовить материалы для представления к награде руководителей группы.

— На генерала Хренова напишу сам. Вы пишете на полковника Ляошеня. Он достоин ордена Красного Знамени, — сказал он мне.

Проводив группу и побывав у вице-адмирала Октябрьского, Петров зашел к нам. Вместе с ним пришел и его ординарец Захар. Еще до того, как Петров вошел, из маленького коридорчика мы услышали голос Захара. Он делал выговор своему командарму:

— Иван Ефимович! Белье надо сменить. Другая неделя пошла. Ей-богу, уйду в полк. Все одно тут с меня толку нету...

— Отстань, Захар. Будет время, переоденусь. Понимаешь, некогда.

— Некогда... Сегодня чтобы обязательно.

— Ладно, не ворчи. Через часок зайду.

Захар прибыл вместе с Петровым под Одессу. Это был человек приземистый, крепкий, годами старше Петрова. На груди у него орден Красного Знамени, полученный еще в гражданскую войну, когда он был коноводом Петрова. После гражданской войны он уволился из армии, а в 1941 году снова пошел служить, хотя по возрасту не подлежал мобилизации. Разыскал Петрова и стал у него ординарцем. Научился управлять машиной и нередко заменял шофера. У них крепкая дружба. Наедине это просто два чудесных товарища. Но стоило подойти к ним кому бы то ни было третьему — и Захар превращался в самого дисциплинированного подчиненного, ни словом, ни жестом не показывая личной близости к командиру. Для Петрова же Захар был не только другом, не только боевым товарищем-ординарцем, но и заботливой нянькой. Недаром Петров доверил воспитание своего горячо любимого сына Юры не кому другому, а малограмотному Захару, в чей ум и благородство верил. Свою жену Петров на фронт с собою не взял: его вообще тяготила мысль, что женщины попадают в тяжелые условия фронтового быта и подвергаются опасностям, и тревога за жену мешала бы ему со всей полнотой отдавать все мысли войне. Но когда его сын, которому пошел восемнадцатый год, написал отцу, что хочет вступить в ряды армии, Петров не стал его отговаривать. Юра приехал в Севастополь в декабре. Петров поместил его у себя. Находясь при штабе, он узнавал организацию войск, обучался военному делу — некоторые предварительные знания и навыки допризывника у него были и раньше, — знакомился с людьми нашей армии. Способный юноша все схватывал, что называется, на лету. Молодые командиры, с которыми он подружился, вскоре полюбили его за скромность и за открытый, дружелюбный характер. Но главным его воспитателем и учителем стал Захар, которого Юра уважает и слушается не меньше, чем отца. Сейчас первый этап обучения

кончен, Петров сделал сына своим адъютантом, используя чаще всего для поездок с его поручениями в штабы дивизий.

Время для наступления на Крымском, точнее — на Керченском, фронте надо считать уже упущенным: до конца марта — начала апреля вряд ли можно там на что-либо рассчитывать.

Близится годовщина Красной Армии. Готовимся к ней деятельно, но... все дни похожи один на другой.

У кого-то я читал, кажется, у Кассиля, такую фразу: «Дни склеены синдетиконом». Вот и у нас сейчас такие дни. Единственная радость — это то, что Крылову и Рыжи присвоено звание генерала, а Богданову звание Героя Советского Союза.

Интересный человек Николай Кирьянович Рыжи! Преданный родине человек, умный, талантливый, но оригинал, со странностями. Как-то его спросили, почему он не вступает в партию. Его ответ удивил.

— Хочу,— сказал он,— узнать, могут ли и беспартийные получить звание генерала.

И действительно, получив звание генерала, он подал заявление о приеме в партию.

Из того, что защитников Севастополя начали замечать и отличать, мы поняли, что наши действия приносят заметную пользу общему делу обороны страны. Как-никак мы на долгое время приковали к себе целую армию противника.

В оккупированном фашистами Крыму массовые расстрелы не редкость. Моряки рассказывали о расстрелах в Керчи, о грудях тел, закопанных там в противотанковом рву. Полковник Кабалюк получил письмо от жены, не успевшей эвакуироваться из Керчи при ее первом захвате. Он читал нам выдержки из этого письма: о предателе в Керченском порту, пославшем на смерть сотни советских людей, об открытии домов терпимости, куда сгоняли жен советских командиров, о расстрелах жителей.

Был у Крылова. Опасность теперь миновала, и выздоровление, хотя и медленное, обеспечено.

Двадцать первого февраля к концу дня к нам зашел Петров. Высказал опасение, как бы противник не вздумал в день годовщины Красной Армии начать активные действия, предполагая, что наша бдительность в праздничной обстановке будет понижена. Я быстро набросал по этому поводу распоряжение войскам. Посидев еще некоторое время и поговорив по вопросам, никакого отношения не имеющим к войне, Петров ушел.

Экс-командарм генерал Черняк отозван в распоряжение штаба Крымского фронта. Говорят, его назначили командующим 44-й армии. Не завидую я этой армии — от его сумбурного оперативного мышления хорошего не жди. Впрочем, быть может, я сужу пристрастно, на основании личных впечатлений. Буду рад, если он окажется хорошим командиром. Желаю ему доброго пути и удачи.

Вечером 22 февраля было торжественное заседание где-то в городе, совместно с горкомом партии и горсоветом. Я не мог там быть: когда все уходит, мне приходится оставаться. В дежурку кое-кто зашел, и мы выпили по «бокалу» шампанского в честь праздника: бокалом у нас была головка зенитного снаряда.

Ночь, против ожидания, прошла спокойно, если не считать деятельности разведчиков противника, прощупывавших нашу оборону. Раненых

всего три-четыре человека. С утра также ничего существенного не было. После доклада, позавтракав по-праздничному, ушел к себе, предварительно рассортировав массу поздравительных телеграмм.

Рассматривая поздравления, адресованные ему, Петров обратил мое внимание на телеграмму командира полка связи:

— Вот хороший человек, не злопамятен.

Я сразу понял, о чем идет речь: это ведь его Петров посулил расстрелять на Мекензиевых Горах, когда мы тщетно пытались связаться по радио с идущими к нам дивизиями.

Сижу один в аппаратной. Вспоминаю, как встречал и проводил праздник в 1941 году.

Это была моя первая встреча праздника в армии после четырнадцатилетнего перерыва в военной службе. Мы стояли в Болграде, городке при железнодорожной станции с названием, уходящим в глубь веков, — Троянов вал. Годовщина Красной Армии совпадала с годовщиной 25-й Чапаевской дивизии. На празднество съехалось много народа, приехала и Попова — знаменитая чапаевская пулеметчица Анка. Празднество прошло торжественно, весело, я бы сказал, красиво.

И вот сейчас позвонил Пустовит; поговорили обо всем, вспомнили Болград. Где наши товарищи, танцевавшие на праздничном балу? Убиты и умерли от ран Васильев, Добычин, Панченко, Савченко, ранены Минин, Сидорин. Где-то Захарченко, Машковский? Вспомнили, повздыхали. Что поделаешь — война есть война, и на ней, как говорится, стреляют и даже убивают.

Хоть бы Хамадан приехал с Большой земли. От него можно почерпнуть самые правдивые сведения. Но его все нет. Однообразие нашей жизни и гнетущая неизвестность относительно того, что делается на Керченском полуострове, отбивают желание писать. Хотел было забросить свой дневник. Только слово, данное Хамадану, что буду записывать севастопольские события, удерживает от этого.

Дни стали заметно больше. Приходящие к нам корабли входят в бухту с рассветом. Вчера мы смотрели, как моряки ставили дымовую завесу вокруг небольшого каравана судов, входящих в порт. Завесу ставили катера и самолеты. Зрелище восхитительное. Оно казалось бы театральной феерией, если бы не разрывы в бухте снарядов, методически посылаемых немцами.

Немцы, надо полагать, знали о подходе судов. Нет сомнения, что у них есть резиденты в Севастополе. Наши пеленгаторы засекали работу чужой радиостанции, и один раз контрразведка чуть было не накрыла вражеского радиста. По данным пеленга, рация работала в районе спуска с Сапун-Горы, но, когда приехали туда, обнаружили пустой домик. Поиски шпиона продолжаются. Найдут ли? Один он или несколько их? Предателя, шпиона распознать трудно, если он не обнаруживает себя диверсионными актами. Тем труднее распознать своевременно в ином «твердокаменном патриоте», бьющем себя в грудь, мелкого человечка, способного пойти на сделку с врагами, если сила будет на их стороне.

На эти мысли навело письмо, полученное мною от товарищей, работавших со мной на гражданской службе в Пирятине Полтавской области накануне моего призыва. Писал бывший инструктор райкома партии, работавший со мной, когда я был секретарем райкома. Теперь он в армии на политике.

Когда киевская группировка войск была окружена в районе Пирятин — Прилуки, два руководящих работника райкома не ушли к партизанам, а остались на месте и зарегистрировались у немцев как члены

партии. Ну как их назвать после этого? Села Приходьки, Деймановка, Шкураты находятся в лесах, и это же в пяти минутах ходьбы от Пирятина... Сдаться на милость победителя, да еще какого — фашиста! Немцы их расстреляли, но мы не можем их считать погибшими за родину.

Там же, в Пирятине, партизан гражданской войны Палтон, арестованный в 1937 году по наветам разной сволочи и освобожденный перед самым началом войны, организовал партизанский отряд и не побоялся начать борьбу. А вот главный агроном земотдела, всегда и всюду выступавший как самый строгий и бдительный охранитель политической чистоты, способствовавший, как видно, аресту своего начальника коммуниста Люльки, с приходом немцев стал градоначальником Пирятина. Как только попал в критическое положение, так и открыл свое истинное лицо. Но, если вспомнить все его поведение в прошлом, разве нельзя было понять, что он если и не враг, то фальшивый друг и уж во всяком случае никак не коммунист?

Чтобы освободиться от невеселых размышлений, съездил к Крылову и действительно вернул себе обычное хорошее настроение.

Он уже может сидеть, обложенный подушками. Это достижение. Рассказал ему, что делается на фронте, а он мне дал ряд советов по вопросам службы. Его указания очень ценны, каждая беседа с ним обогащает мои военные знания. Вот бы кому в академиях преподавать — таким людям, как Петров и Крылов, какая была бы польза! Под их руководством и я прохожу неписанный курс обучения.

На дворе тепло, весна.

Как-то раз, когда случилось быть на Северной стороне, стояли мы на берегу моря с командующим артиллерией 95-й дивизии полковником Пискуновым. Волны набегали на берег, над волнами носились чайки, солнце грело. Не хотелось уходить.

— Какая красота, — сказал я.

Но Пискунов, посмотрев еще раз на море, сказал со вздохом:

— Море, море, как я тебя любил и как теперь ненавижу...

Да, конечно, море не слишком-то благоприятный тыл. Немало трудностей и бед было у нас и еще будет оттого, что нет обеспеченной связи с базами, с госпиталями.

Вот и март начался. Нет уже на свете Ониловой. В одном из боев, геройски сражаясь, погибла эта отважная пулеметчица Чапаевской дивизии. Ее имя должно стоять рядом с легендарной Анкой.

Петров навещал О니лову в госпитале и был на ее похоронах со всеми старыми чапаевцами. Когда она лежала в гробу, ее чуть пожелтевшее лицо казалось живым. Не могу забыть и сейчас этого лица. До чего печально на него глядеть.

Жители города, которых не успели эвакуировать, начали полевые работы. В районе Кадыковки они подвергаются иногда минометному обстрелу. Что заставляет их выходить на поля, рискуя жизнью? Забота о своем пропитании? Но ведь март едва начался, до урожая далеко, и кто знает, что случится до того времени с ними самими и их семьями... Но они верят, что вернется мирная жизнь, что она будет лучшей, чем была. И к этому присоединяется то убеждение, которое и до войны поддерживало советских людей в самые тяжелые времена: «Не нам, так нашим детям...»

На этих работах, как всюду, впереди коммунисты. Они организовали самоотверженную работу на предприятиях, в поле и в море. Городской комитет партии стал боевым штабом, сплывающим население города.

Восьмое марта, день женщин. Мне хочется записать еще хоть кое-что о наших армейских женщинах. Их у нас много. Основной персонал медсанбатов и госпиталя — женщины и полковых медицинских пунктов, конечно, также. Много связисток: телефонистки, бодистки, машинистки, делопроизводители в штабах. Как ни тяжело им, они несут службу наряду с мужчинами, не уступая им ни в точности исполнения, ни в храбрости. В то же время почти все эти труженицы — скромные люди. Скромнее нас, мужчин.

Помню, под Одессой ко мне пришли три девушки, студентки Одесского университета, с просьбой зачислить их в полк. Я отказал. Тогда они заплакали: что же им делать? Их родные места, Беляевка и Маяки на Днестре, заняты немцами. Куда им идти? Допустим, они эвакуируются, а дальше что? На вопрос: «А что же вы умеете делать?» — сразу приободрясь, бойко ответили:

— Я ворошиловский стрелок.

— Я прошла курсы санзащиты.

— Я работала в кружке радистов.

Положение у них было действительно ужасное. Дал приказ зачислить их в полк, послал в третий батальон.

Потом я был свидетелем гибели одной из них — той, которую зачислили санитаром в батальонный медпункт. Ее звали Ниной. В бою при отражении атаки она вытаскивала раненых с поля боя, была ранена в грудь, но девичья стыдливость в ней была так сильна, она так стеснялась обнажить свое тело перед мужчинами, что забилась в угол наскоро отрытого блиндажа, не сказав никому о ране. Когда увидели, что с ней, было поздно ей помогать. Пришлось после этого случая проводить специальную работу среди женщин, особенно молодых, разъяснять им неправильность такого отношения к товарищам по боевому труду. Война есть война... За время моего командования полком в нем было ранено и убито не менее шестидесяти женщин.

С большой благодарностью вспоминаю девушку, секретаря Аккерманского комитета комсомола. На моем КП у высоты 80,0 западнее Дальника под Одессой она оказалась случайно. Их было три, и все три — секретари уездных комитетов комсомола: Измаильского, Болградского и Аккерманского (Болград-Днестровского). Мне приказано было перебросить их через линию фронта в тыл противника для выполнения особого задания. Перебросили ночью. Через трое суток они вышли на участок полка. Часа в четыре утра их доставили в штаб, и они доложили, какие части стоят перед полком. А часов в восемь утра противник нас атаковал, я заспешил на КП. Девушка из Аккерманского уезда попросилась со мной, выставляя убедительный довод: она хотела показать на местности расположение артиллерии противника. И вот, не знаю, то ли румынские наблюдатели заметили нас, то ли это была обычная стрельба по площадям, но только мы попали под минометный огонь. Я лег, слева плечом к плечу легла она. Но когда мина ударила рядом, я был только контужен, а у нее весь левый бок, левая половина лица, левая нога — все было в ранах. Ее отвезли в Одесский госпиталь. Потом мы узнали, что из нее вынули двадцать семь осколков и она осталась жива. Где-то она теперь?

Петрова пригласили на праздник 8 марта в медсанбат 25-й Чапаевской дивизии. Его машина была полна подарков. Вечеринку устроили в Инкерманских подвалах. Девушки нарядились в свои платья, сняв военную форму. И им и нам, гостям-поздравителям, было как-то удивительно по-семейному уютно.

Здесь у меня произошла интересная встреча. В 1934—1936 годах

я был директором МТС в Пирятине и часто бывал в ближайшем к городу селе Тарасовке, у председателя колхоза по фамилии Скорина. Среди его детей была девочка лет тринадцати — четырнадцати — обычная крестьянская девочка, учившаяся зимой, а летом пасшая гусей и работававшая на свекле. И вот я встретил ее здесь, в медсанбате, уже девушку, и не узнал. Но она меня узнала — наверно, изменился меньше, чем она. Ушла она в армию из Одесского медицинского института, что с родными — не знает ничего.

— Вот встретила вас,— сказала она,— и вы теперь для меня словно отец.

В тот же вечер она поделилась со мной своей тайной: ей признался в любви наш Борис Варшавский и просил ее руки. Зная Бориса, я ответил:

— Если это с твоей стороны серьезно, то не возражаю.

У нее оказался чудный голос, и на вечере с удовольствием слушали, как она пела душевные украинские песни.

Недавно к нам прибыл новый член Военного совета армии — дивизионный комиссар Чухнов. Их теперь у нас два. Кузнецов остался вторым членом Совета и по-прежнему размещается вместе с тылами армии. Чухнов же поместился здесь, на КП, рядом с нами, и почти ежедневно бывает в отделе. Сам он по образованию химик, окончил Военно-химическую академию. Его теперь часто можно видеть с Петровым. Как и Петров, он бывает в войсках. Теперь на нашем КП частыми гостями стали политработники из дивизий, бригад, полков. Благодаря Чухнову как-то незаметно усилилась связь штаба с политотделом армии.

Непосредственное общение с солдатской массой там, на переднем крае,— характерная черта всего стиля военно-политической работы Чухнова. А с таким человеком не надо на войне пуд соли съесть, чтобы его узнать,— солдат сразу разглядит.

Удивительно простой и скромный, он скоро стал так же близок нам, как Петров и Крылов. Простота и ровность в обращении с подчиненными — признак высокой партийной воспитанности. Сейчас нам не надо ездить в тыл для подписи приказа, как при Кузнецове. Повезут приказ, а мы ждем, когда последний вернется, ждем и нервничаем. Каждая минута задержки приказа штабами — это потеря времени войсками, а они-то и есть исполнители. К сожалению, не все штабные командиры это понимают...

Девятого и десятого марта немцы вновь предприняли ряд атак, отбитых нами сравнительно легко. Объектом атак были Сахарная головка и участок 25-й дивизии. В отражении участвовали бригада Горпищенко и чапаевцы.

В эти дни чапаевцы понесли тяжелую утрату. Погибли на передовой начальник политотдела Бердовский и заведующий учетом партдокументов капитан Белов. Петров приказал похоронить их останки на Малаховом кургане, там, где был похоронен и командир 40-й кавдивизии полковник Кудюра.

Еще одна печальная весть дошла до нас в эти дни. Через партизан мы получили сведения, что до них добрались лишь единичные люди из евпаторийского десанта, весь остальной его состав уничтожен. В самом городе Евпатории немцы провели жестокую карательную экспедицию, расстреляв большое число жителей, заподозренных в помощи десанту.

Не знаю, откуда эти слухи, но с каждым днем в городе и у партизан все настойчивее говорят, что немцы готовят новый штурм Севастополя и предполагают высадить в районе Французского кладбища воздушный

десант. Выехал на рекогносцировку местности, провел целый день, обследуя каждый километр. С точки зрения тактической целесообразности, такое предположение реально и местность в треугольнике — Французское кладбище, мыс Феолент, Севастополь — позволяет применение десанта. А наших войск там только флотская химрота да 35-я батарея береговой обороны на мысе Феолент. Доложил Петрову. Было принято решение — в этом районе разместить один полк 95-й дивизии с задачей на уничтожение воздушного десанта, если он появится.

После того как командарм дал общие указания командиру полка, я, восприняв науку Крылова, детализовал задачу, предварительно нанеся на карту возможные варианты. На следующий день вместе с комполка выехал на местность, наметили расположение батальонов и штаба. Вернувшись к себе, приказал Богомолу установить с ними связь.

Вечером поехал к Крылову поведать и посоветоваться.

Николай Иванович внимательно выслушал меня, признал решение правильным, но подметил промах в одной существенной детали, ошарашив меня этим: об изменении надо ведь докладывать Петрову. Когда я заикнулся об этом, Николай Иванович, усмехнувшись, сказал:

— Не все учел, так сознавайся и проси разрешения внести изменение.

Так я и сделал, сославшись на Крылова. Поправку Петров согласился принять, но сделал при этом укоризненное замечание. Я не обиделся: мой просчет, мой и ответ. Да и беда невелика — дело касалось детали, а не решения в целом. Решение-то верное!

Однако как хорошо, что Петров не позволил эвакуировать Крылова в тыловой госпиталь.

Занялся противодесантной обороной. Вечерами, усталый, едва успеваю просмотреть очередные сводки, подписывать их и сдавать на передачу во фронт.

Каждый день заезжаю к Крылову и докладываю ему о ходе работы. Николай Иванович поручил разработать проект инструкции всем нашим родам войск по борьбе с воздушными десантами. Надобность такой инструкции Крылов обосновал тем, что мы сейчас думаем лишь об одном возможном месте выброски или высадки десанта, а противник может выбрать другое место — например, на плато Сапун-Горы, на Федюхиных высотах или в долине Черной речки. Теперь сижу и думаю, с чего начать. Примеривал на карте, разбивал нашу территорию на сектора. Но это только начало. Главное, как и чем вести борьбу в наших условиях, как не допустить выброски или высадки компактной массы войск, уничтожая их в воздухе. Подумаю еще день-два и сяду за проект.

«На фронте без перемен». На море все чаще и чаще наблюдаем авиацию противника, охотящуюся за нашими судами. У противника безусловное превосходство в воздухе. Наши силы настолько мизерны, что о борьбе за изменение этого положения не может быть и речи. Боевые части авиации с Большой земли работают на Керченский плацдарм. Зато из Краснодара к нам начали прилетать транспортные самолеты — каждую ночь семь ЛИ-2 привозят грузы и увозят раненых.

Эта мера вызвана все возрастающими трудностями в транспортировке морем.

Корабли уже не успевают работать в темное время, им приходится простаивать в Севастополе целые сутки, подвергаясь и артиллерий-

скому обстрелу, и авиационным нападениям на стоянке. Идти в светлое время все опаснее — противник почти непрерывно наблюдает за тем, что появляется в море. Уже не только бомбардировщики и истребительная авиация, но также самолеты-торпедоносцы и даже торпедные катера противника контролируют пути на Новороссийск, Туапсе, Батуми. Моряки как-то рассказывали, что одному боевому кораблю пришлось вести огонь по самолетам-торпедоносцам не одной зенитной артиллерией, но и орудиями главного калибра.

Крымский, точнее — Керченский, фронт молчит. Говорят, что на Керченском полуострове в это время года даже танки не в состоянии побороть грязь. Хоть бы скорей просохло.

Надо думать, Крымский фронт готовится к активным действиям — предположительно в апреле. Чтобы не дать противнику отвести от нас часть своих сил на Керченский полуостров, мы также готовим операцию отвлекающего порядка. Впервые применяем оперативную маскировку. Показываем ложное сосредоточение сил на Ялтинском направлении, используя для этой цели макеты танков, радио, ложную переброску войск. С помощником начальника связи армии Казимировым разрабатываем тексты переговоров между радистами, в которых как бы случайно проговаривается то один, то другой. Имитируем появление новых штабов якобы прибывших с Большой земли частей. Разворачиваем для этих «штабов» радиосвязь. Для большей убедительности создаем видимость подвоза войск, сосредоточение их в районе Балаклавы, пользуясь одним батальоном того полка, что поставлен для возможной борьбы с десантами, и восемнадцатью автомашинами. Между Севастополем и Балаклавой, на подъезде к Кадыковке, есть один перевал, просматриваемый со стороны противника. Это мы и решили использовать. На рассвете будем перевозить на машинах этот батальон, создавая впечатление, будто это последние машины уже прошедшей части. Потом батальоны пешим порядком возвратятся в свое расположение по другой дороге, а пустые машины — обычным путем, чтобы немцы видели порожняк. Это надо будет повторить три-четыре раза.

Разработанный план утверждается. Завтра приступим к осуществлению. Операцию же намечаем провести на левом фланге, на участке 25-й дивизии и 79-й бригады. Штабы Коломийца и Потапова получили указания и разрабатывают свои планы.

Практическое проведение оперативной маскировки начали вечером 18-го. Петров решил лучше еще раз тщательно проверить подготовку, нежели допустить где-либо промах. Мои работники буквально падали от усталости: ведь все проведение маскировки ложилось на оперативный отдел, отдел связи и начальника инженерной службы.

Вчера вечером задействовала радиостанция, изображавшая штаб вновь прибывшей дивизии. Она «осторожно» входила в связь. Вместо радиста у рации сидел командир с тщательно разработанным конспектом переговоров. На рации ЗКП сидел сам Казимиров. Присутствовал и я. Кажется, первая проба — удачная.

Рано утром сегодня производили «подвоз» войск. Как только прошла последняя машина, немцы открыли артиллерийский огонь по видимому им месту, но было поздно. Я ехал за последней грузовой машиной, остановился у домика перед перевалом и чуть было не попал под артиллерийский налет. Хорошо, что шофер развернул машину с разрывом первого снаряда, и мы двинулись на Севастополь. Отъехав метров четыреста—пятьсот, оглянувшись назад, увидели, что, не сделав он этого вовремя, нам бы несдобровать.

Шофер рассмеялся. Когда выходишь целым из такой переделки, всегда очень весело.

На основной командный пункт армии начали залетать снаряды противника. Стали появляться над КП и самолеты. Неужели немцы раскрыли, где расположен центр управления обороной?

Крылов все еще в госпитале. Ему разрешили понемногу ходить. Когда ему доложили, что немцы нет-нет да и забросят на КП несколько снарядов, он предложил подумать о новом месте для КП, назвав при этом Херсонес. Надо послать туда группу командиров для рекогносцировки.

За несколько дней оперативная маскировка была налажена. В радиосеть включили и второй «штаб дивизии». Теперь начинается ответственный период: надо дать понять немцам, что к нам идут новые войска с танками, чтобы радисты «случайно проговорились» о танках и о том, откуда они прибыли. Еще и еще раз проверяем конспект переговоров вплоть до места и длительности пауз.

В районе перевала целую ночь работают тракторы, утюжат полосу вдоль дороги. Прислушиваемся издали. Впечатление точно такое, как от движения танков. Передний край противника усиленно освещается ракетами. Чувствуется, что немцы насторожились. Но о переброске к ним войск мы данных не имеем — еще ни один из источников разведки об этом не сообщил. Значит, пока цель не достигнута. Ничего! Если и дальше всё пойдет хорошо, немцы обязательно ослабят фронт на севере.

Перевал немцы держат под особым наблюдением и часто открывают огонь. Несколько машин мы пустили по спуску с Сапун-Горы и у подножья повернули их на Балаклаву. Немцы также заметили их и обстреляли.

План частной операции утвержден командармом. Теперь только установить «Д» и «Ч», то есть день и час начала операции.

Менять артиллерийские позиции нам не приходится: у нас все батареи могут с тех мест, где стоят, вести огонь в любом направлении. Это значительно упрощает дело и помогает маскировать намерения.

Все мероприятия мы держим, конечно, в строгой тайне. Никто, кроме ограниченного круга лиц, не знает ничего. В штабах дивизий и 79-й бригады знают только по четыре человека — командир, комиссар, начальник штаба и начальник оперативного отделения. В штабе армии несколько больше — человек двенадцать.

Сообщили, что в районе Французского кладбища снарядом разбит артиллерийский склад, правда, небольшой, но все же... Вместе с работником штаба артиллерии выехал на место, чтобы определить, что нами потеряно.

Когда получаешь первое донесение, оно почти всегда оказывается или слишком пессимистичным, или не в меру оптимистичным. Так и сейчас. По телефону передают «склад», а там два-три десятка ящиков.

По пути осмотрел Французское кладбище. Небольшой двор, внутри часовня. Изгородь каменная, в ней ниши, а в нишах кости. Снарядом повреждена часть стены, и мы видим в ней штабеля костей, уложенных очень аккуратно, — почему-то и здесь, как на Итальянском, почти все большие берцовые. На стенах часовни фамилии генералов, офицеров и женщин, погибших во время штурма Севастополя.

Вокруг Севастополя много кладбищ. Есть Итальянское, Французское, Английское, Греческое, а на Северной стороне наше русское Братское кладбище с часовней в старорусском стиле. Эти памятники-клад-

бища убедительно говорят о славе русского оружия, о стойкости русского солдата, о его преданности родине.

У нас весна в разгаре. Цветут сады, зеленым ковром покрылись лощины, плато. Нет только нигде озимых, их никто не сеял. Песчаное побережье ярко блестит на солнце. Только бы и радоваться этой благодати! Но сегодня, 27 марта, умер от ран Костенко. До чего нелепо! Сколько бывал в боях и оставался невредим. Ранен он был на моих глазах осколком бомбы, сброшенной «мессершмиттом» метрах в трехстах — четырехстах от штаба.

Наша оперативная маскировка приближается к концу: осталось ввести в действие третий «штаб дивизии» и показать, что группировка закончена. Макеты танков — каждый день по два — устанавливаем на новых местах. Не связано ли участвовавшее появление «мессершмиттов» с нашей маскировкой? Не ведут ли они тщательную разведку с воздуха?

Но мы все еще не имеем данных о перегруппировке войск противника, на что мы его провоцируем. Молчит наземная разведка. А что, если враг разгадал нас?

На другой день после гибели Костенко и я чуть было не стал очередной жертвой артиллерийского налета.

После дежурства я пошел в домик, где мы иногда отдыхали от казематов. Спал там часа три-четыре. Проснулся от взрывов. Вскочил с кровати — и к телефону; он стоял на столе у противоположной стенки. Только взял трубку, как раздался звон разбитого стекла и что-то шлепнулось на постель. Она задымилась. Плеснул воды и вытащил из постели большой осколок, еще горячий: он пробил одеяло и застрял в матраце. Не встань я и не пойдя к телефону, лежать бы мне с пробитой грудью.

С осколком пошел в штаб. Меня окружили командиры и настойчиво просили доложить Петрову, что необходимо сменить КП.

На Херсонесском мысу место уже подобрали — отвели под КП четыре подземных хранилища для боеприпасов. Они были пусты, но надо было их оборудовать и проложить связь — без связи ехать на новое место нельзя. Да и без Крылова ехать на новый КП нет охоты. С переездом решили повременить.

Получили отрывочные сведения о неудаче, постигшей наши войска под Харьковом. Что там идет какая-то наступательная операция, об этом мы слышали; высказывалось даже мнение, что наши войска могут зажать немцев в Крыму, выйдя к перешейку. Немецкому радио, сообщавшему, что группа наших войск под Харьковом окружена, мы не верили. По карте отыскивали места, куда дошли наши войска. И вот...

Ну что за невезение! Керченская операция, начавшаяся столь удачно, застопорилась, под Харьковом полнейший провал. Не может же быть, чтобы мы по-настоящему не научились бить фашистскую сволочь! Бисмарк сказал: русские долго запрягают, но потом ездят быстро. Уже давно пора от долгой запряжки перейти к быстрой езде.

По имеющимся сведениям, Козлов предполагает начать наступление на Керченском в середине апреля. Мы готовы действовать для отвлечения сил. Первый сигнал — и мы начнем.

Вечный действительно сменил Толбухина. Ни того, ни другого я лично не знал. Но все, кто сталкивался с Толбухиным, были о нем прекрасного мнения как о начальнике штаба и удивлялись, чем он не подошел Козлову и Мехлису.

Первое апреля... С каким наслаждением мы в детстве и в юности встречали этот день! По старому обычаю в этот день можно обманывать,

не обижая. Не лгать, а беззастенчиво врать. Ложь — это хитро сплетенная неправда, преследующая какие-либо корыстные цели. Лгут днями, месяцами, годами. Лгут иногда всю жизнь. Это очень тяжкая вещь. Ну, а вранье — это что-то фантастическое, пустое и смешное. И первого апреля мы врали, выдумывая сногшибательные новости. А вот теперь никто из нас об этой забаве и не вспомнил.

Чарующая весна на Черноморье. Погода с утра стоит изумительная. На небе ни облачка и, что еще лучше, ни одного самолета. Пулеметные очереди на переднем крае перекликаются как бы нехотя. Сидеть в казематах без дневного света в такие дни мучительно. Кто-то сказал, что на подходе к бухте показались корабли, и все обрадованно высыпали наверх. Только телефонистки да дежурный из моих помощников остались на своих местах.

Наблюдаем, как по проделанному в минных заграждениях проходу лавирует миноносец, а за ним транспорт. Море спокойное. Время штормов отошло. Волны небольшие. Птицы вьются за кормой, быстро опускаются на воду и тут же взлетают, держа в клюве блестящую рыбешку. Мирная картина, почти идиллическая. Но вдруг в воздухе резкий звенящий свист — и в море вздымается фонтан, за ним другой, немного позже доносится звук не то выстрела, не то разрыва. Немцы встречают огнем входящий караван. Засуетились наши катера. Быстро снуют по воде, а за ними тянется полоса белого дыма, превращающегося в низко сидящее прямо над водой облако. В воздухе застрекотал мотор нашего самолета, и с него спускается такое же белое облако. Корабли скрыты в белом непроницаемом дыму, мы их не видим. Обстрел продолжается.

Уходим назад, в казематы. Пропала охота любоваться и природой и морем.

Богданов открыл ответный огонь. Началась артиллерийская дуэль. Учащенно заработали пулеметы, в концерт включились винтовки и минометы. Разгорелся огневой бой.

Сегодняшний приход кораблей используем для мнимого ввода «третьей дивизии». Вечером развернем работу радики. Пусть немцы думают, что дивизия прибыла сегодня на кораблях, по которым они вели огонь.

Петров повеселел: через несколько дней выйдет из госпиталя Крылов. Хотя Петров об этом и не говорил, но, видно, и ему надоело ничегонеделанье Воробьева. Даже заходить к нам стал реже. Воробьев все что-то пишет. Он в мирное время писал не то что-то по теории военного искусства, не то исторические обзоры. Как-то раз он спросил: не стоит ли нам совместно заняться фундаментальным описанием Севастопольской обороны? Я отмолчался: время ли нам сейчас этим заниматься? Пусть это делают те, кому по штату положено.

Мы все здесь, в штабе армии, с нетерпением ждем Крылова. Ждут его и штабы частей.

Ключуло! 3 апреля получили наконец первые сведения разведки: немцы начали вчера рокировку в сторону Итальянского кладбища—Балаклавы. Долго они проверяли нас, а все-таки оперативная маскировка сыграла свою роль. Сегодня наши наблюдатели тоже дали сведения, подтверждающие данные разведки. Теперь окончательно подтвердить эти сведения могут партизаны, но их что-то долго нет. Быть может, связные попались? Перейти линию фронта при позиционной обороне не так-то легко.

С получением первых данных Петров приказал отправиться на ЗКП. Проверяю связь. Опрашиваю штабы III и IV секторов. Предупреждаю,

что связь отныне надо держать со мной через ЗКП, а через КП только с Петровым. Со мной оперативная группа. В нее входят артиллеристы, разведчик, связист, инженер и, конечно, мои помощники. Мы полностью готовы к операции. Ожидание всем осточертело, скорее бы! Сидящий в обороне часто чувствует себя петухом, перед носом которого провели мелом черту, и он, глядя на нее, не может шевельнуться, словно приклеенный.

Инициатива пока у гитлеровцев. Вырвать бы ее! Ждем, что это делает Козлов, и тогда мы на коне. А пока нам надо быть исключительно прозорливыми, чтобы разгадывать планы врага. Петров в этом отношении вне сравнения. Кто знает, что стало бы с Севастополем, не будь во главе сухопутной обороны Петрова. Мы ожидали, что к годовщине Красной Армии ему дадут звание Героя. Но почему-то не дали. Даже не присвоили очередного звания генерал-лейтенанта. Почему?

Не положено подчиненным обсуждать приказы и поведение старших, а тем более самых высоких начальников...

Утром 4-го неожиданно приехал на запасный КП Петров. Ознакомился с обстановкой на фронте III—IV секторов. Когда мы остались вдвоем, он назвал «Д»; «Ч» он установит накануне «Д». Мы начнем на день-два раньше, чем Козлов. Цель — дезориентировать противника. Моя задача — в оставшиеся дни лично проверить готовность назначенных в операцию войск.

Оставив за себя Швецова, я направился в дивизию. Первой была моя родная Чапаевская. До вечера побывал в 54-м и 31-м полках. В 54-м полку вместе с командиром полка обошли передний край. Командира полка интересовала цель моего визита. Ответил, что инспектирую готовность обороны. Не знаю, поверил он или нет. В штабе дивизии еще раз просмотрел материалы. Ганиев, начальник штаба, упорно добивается: когда же начнем? Ответил, что не имею никакого представления.

— Зачем же вы переехали на ЗКП? — задал он коварный вопрос.

Пришлось ответить: имеем, мол, данные, что немцы что-то думают предпринять на участке дивизии.

Поздно вечером доложил Петрову по телефону, отправил всех спать, а сам сел записывать события дня.

Ожидать — не то же, что выжидать: мы выжидаем время для начала действий.

Длительное сидение в обороне — в особенности в пассивной обороне, как вот уж больше месяца сидим мы, — до какой-то степени всегда размагничивает войска. Как они поведут себя в наступлении? Будут ли так же упорны в достижении цели, как в обороне?

Находясь в войсках, разговаривал с командирами, солдатами. Солдаты расспрашивали о новостях с Большой земли и как обстоит дело под Керчью. Некоторые говорили, что пора и нам что-то делать, а то еще дождемся, что «он» нас ударит. Да и не такая сласть тут сидеть не голодному и не сытому, ни настоящего дела и ни отдыха, а людей тем временем и ранят и убивают. Ругали на все корки немцев и Гитлера, вспоминали свое довоенное житье. Не прошло еще года, как началась война, а мирная жизнь кажется бесконечно далекой и прекрасной. Все трудное, все тяжелое как-то позабылось:

— Эх, а ведь как жили, как жили!..

Нет ничего радостнее для военного человека, давно оторванного от своего дома, как встреча с земляком. Вот такая встреча произошла у меня с солдатом в 172-й дивизии на переднем крае, в блиндаже, куда мы с сопровождающим меня командиром зашли перекусить. Солдат было

трое. Поговорив с ними о житье-бытье в траншеях, я обратил внимание на особенность произношения одного из них. Так выговаривать слова мог только черниговец из-за Десны.

— Откуда родом? — спрашиваю его.

— С Корюковки. Может, знаете?

— Корюковка? Выходит, земляки. Когда-то там служил.

— Военным? У нас армии там не было.

— Нет, на гражданке. В лесничестве.

— Позвольте узнать фамилию.

Называю. Он не знает. В свою очередь спрашиваю его.

— Менский.

— Менский знал много. Знал Гришу. Знал еще Христину, его двоюродную сестру. Только давно это было. Да Менских там целый куток был.

— Знали Христину? Так то ж моя тетка. Вот где привелось встретиться... — И, задумавшись, проговорил: — Что теперь там?

Остальные внимательно прислушивались к нашему разговору, к тому, как мы спрашивали друг друга, и видно было, как они завидовали нам, землякам, встретившимся в далеком от родных мест Севастополе.

В 172-ю дивизию, когда я был там, приехал Петров. После разговоров в штабе все пошли к переднему краю, который проходил по гребню высоты, спускающейся в Бельбекскую долину. В самой долине в плодовых садах шла линия боевого охранения. Позиции немцев располагались по гребню высот с другой стороны, они легко обнаруживались даже невооруженным глазом, в бинокль же легко рассматривались и детали оборонительных сооружений.

Петров решил проверить готовность артиллерии дивизии к открытию плановых огней. Указав цель, он приказал стрелять. Начальник артиллерии дивизии, находившийся тут же, взял телефонную трубку и прокричал:

— «Тигр»!

Петров вынул часы. Не прошло и трех минут, как в указанной точке начали рваться снаряды. Петров переменял цель. Командующий артиллерией вновь отдал команду, и так же быстро разрывы начали появляться в новом месте. Немцы всполошились, их артиллерия стала отвечать. Мы спустились в траншею. Постреляв несколько минут, противник прекратил огонь. Петров поблагодарил артиллеристов за готовность и уехал. Мы с Ласкиным ушли в штаб. Я воспользовался случаем поговорить с Пустовитом. Все меньше остается чапаевцев, с кем мы начинали войну: одни убиты, другие ранены и эвакуированы на Большую землю. В штабе 25-й дивизии все новые люди, и Пустовита Петров перевел оттуда к Ласкину.

Несколько раз авиация налетала на Севастополь, наши подбили пару самолетов.

У нас появились ИЛы. Но противник по-прежнему господствует в воздухе.

Приближается «Д». Он зависит от готовности Козлова. Хоть бы там не оттягивали и не переносили сроки.

Наконец-то дождалось! Сейчас 9 апреля, около двадцати четырех часов. Пока пишу, наступит 10 апреля, а с рассветом мы начнем.

Командиры получили все указания. Артиллеристы начнут свой концерт около семи часов утра. Артподготовка будет длиться пятнадцать минут. Огни спланированы. В то время, когда пишу эти строки, задача доводится до солдат.

К началу открытия огня буду на НП у Капитохина, от него прекрасно можно наблюдать бой из бетонированной пулеметной точки. На ЗКП останется Швецов. Петров позднее тоже будет у нас, но предварительно заедет к Потапову и Коломийцу: главный удар наносится там. На основном КП штаба остается Воробьев. Так распределено наше участие. Чухнов также будет в войсках.

Телефонные разговоры об операции запрещены. Но звонки раздаются и по другим, повседневным делам.

Зашел шофер и спросил, можно ли ему лечь спать. Но лучше сейчас же ехать к Капитохину, отдохнем у него. Так надежнее. Меня подымут вовремя, и не нужно будет спешить. Еще раз проинструктировал Швецова — и в путь.

Как я ни устал, но решил записать события сегодня же.

В шесть часов сорок пять минут генерал Рыжи дал команду начать артподготовку. Огонь был действенным. В 7.00 чапаевцы пошли в атаку. Немцы не ожидали нас на этом участке, и первая траншея была взята легко. Будь это на равнине, легко были бы взяты и последующие, но вторая траншея находилась за гребнем и артогонь по ней не принес желаемых результатов. Здесь сопротивление мы встретили организованное, каждый шаг вперед доставался с большим трудом. Хребтом мы овладели, частные контратаки врага отбивали с большими потерями для него. Но и наши попытки продвигаться дальше также стоили нам больших жертв. В некоторых ротах выбыла половина личного состава. Мы, конечно, могли бы двигаться и дальше, потому что во второй половине дня сопротивление немцев ослабело. Но продвигаться, не закрепляя взятое, — это авантюра. К тому же разведка донесла, что немцы подтягивают резервы — значит, наутро надо ждать контрудара. Получив эти сведения, Петров приказал закрепиться на достигнутых рубежах.

Это абсолютно правильное в нашей обстановке решение вызвало кое-где в штабах более или менее открытое недовольство: раз обозначился успех, надо его развивать! Но никто из судящих так не задумывался: а что же дальше?

Главная цель — сковывать противника. Назавтра Петров отдал приказ активизировать действия, если противник не начнет сам контратаковать, но не вырываться далеко вперед. В течение ночи вести разведку усиленными разведгруппами. Действовать дерзко. Артиллеристы должны помогать огнем разведгруппам. Противник ни в коем случае не должен знать, что цель у нас ограниченная: ведь 12 апреля должен начать наступление Крымский фронт!

Часов около семнадцати я встретился с Петровым на участке 54-го полка чапаевцев. Наблюдали вдвоем бой, находясь в зоне ружейно-пулеметного огня. Я боялся за его жизнь. Но сказать это Петрову — значит нарваться на ругань и, чего доброго, подзадорить его на еще большую неосторожность.

Удивительный все же он человек! Начальники в большинстве любят, чтобы их сопровождали подчиненные, а Петров этого недолюбливает. Вот и сейчас: он в полку, а командиру дивизии велел остаться на своем НП.

Кажется, записал все или почти все. Если что вспомню еще, запишу завтра. Спал за сутки часа два, устал.

С утра 11 апреля еще ничто не указывало на подготовку немцев к контратаке. Кое-где наши подвинулись, но действовали осторожно.

А часов в одиннадцать противник открыл чрезвычайно сильный огонь и вслед за этим густыми цепями ринулся в атаку за танками. Хорошо, что для нашей операции Петров избрал лесисто-горный участок, на котором нельзя массивно применять танки. В горах, покрытых лесом, танки лишены маневра и становятся хорошей мишенью. Единичные машины для нас не представляли угрозы. Да и самолетам не так легко распознать линию боевого соприкосновения, а бомбардировка тылов не оказывает в ходе боя на действия войск заметного влияния.

Наши мелкие отряды, продвинувшиеся с утра, начали откатываться к рубежу, оборудованному ночью. Слишком уж наседали на них немцы, подавляя численностью. Дело доходило до рукопашных схваток. Надо отдать справедливость людям 79-й бригады Потапова: доводя бой до рукопашного, они всегда выходят победителями. Только засыпая минами и снарядами, противник мог их потеснить. Дрались врукопашную и чапаевцы.

Атака сменялась атакой. Как хорошо, что за ночь мы укрепились на достигнутом рубеже, а то пришлось бы плохо.

К вечеру, когда бой приутих, немцам не удалось нас сбить с занятых позиций. Начнут ли они действовать с утра?

Принимаем все меры к тому, чтобы укрепиться еще сильнее: саперы под обстрелом опоясывают передний край минами. Несут жертвы, но работают упорно. Надо спешить, чтобы сделать губительными самые подходы к нашим позициям.

В небе — сотни ракет, бросаемых с земли, и «фонарей» с самолетов. Наши работы немцы видят прекрасно. Однако попыток к разминированию не предпринимают, и это несколько нас успокаивает.

В отражении контратак сегодня особенно отличился Карпов. Его пулемет скосил, говорят, до сотни врагов. Можно этому поверить: потери гитлеровцев огромны. Кое-где, как показали взятые ночью пленные, их командование вынуждено сменить части, сражавшиеся днем, вторыми эшелонами. Мы своей части не сменяли, но изготовили к действию наш армейский резерв.

За прочность обороны мы спокойны. Но занятый вчера рубеж невыгоден для нас — он отделен от основного широкой долиной; если его и удерживать, то только боевым охранением. В этом духе Петров и принял новое решение: в течение ночи отвести основные силы на главную полосу, а на занятом рубеже оставить усиленное боевое охранение. Возможно, что принятие этого решения обусловлено было также полученным извещением, что Крымский фронт не может начать наступление, поскольку почва еще не просохла и танки не могут действовать. Это известие было для нас и неожиданным и тяжелым: мы сделали все, что могли в наших условиях, и вот тебе — опять конфуз. Хороши были бы мы, если бы начали развивать наступление! Нас допустили бы хоть к Бахчисараю, а затем так стукнули бы, что вряд ли удалось бы зацепиться и за старые рубежи. Мы могли тогда потерять и Севастополь... Прав, тысячу раз прав Петров, что не внял голосу горе-стратегов и остановил наше наступление.

Мои помощники следят, как выполняются распоряжения Петрова, и докладывают обо всем каждые два часа. Звонки ко мне непрерывные. Сутки кончаются, а я не могу ни на минуту покинуть свой блиндаж. И так будет до утра.

Садовников приносит сводки. Много работаю над ними: надо все изложить правдиво, без прикрас.

Надо поговорить об этом же и с корреспондентами армейской газеты, ведь наши журналисты из самых лучших намерений могут так разукра-

сать события, что они превратятся в фантастический успех... А на современного солдата босвые эпизоды в духе Кузьмы Крючкова производят обратное действие.

Леонченко, заместитель начальника разведотдела по войсковой разведке, доложил интересные данные из опроса пленных. Они утверждают, что на станцию Дуванкой прибыло какое-то новое оружие. Что именно — они не знают, но оно уже там. По слухам в их частях — это огромные артиллерийские орудия, каких еще не бывало; эти орудия после их установки будут обстреливать наши «форты».

Откуда у противника данные о наших «фортах»? Их у нас нет и не было: к великому сожалению, Севастополь не имел заранее подготовленного инженерного оборудования для защиты с суши... Ну что ж, форты так форты. Мы бы и сами не прочь их иметь.

Леонченко ушел, позвонил Петров. Доложил ему все. Он высказал мнение, что немцы контратаковать больше не будут, но все же предупредил, чтобы мы были готовы и, если что случится, немедленно ему звонили. Дежурный по связи будет знать каждую минуту, где он находится. У Петрова есть эта привычка — обязывать дежурного по связи следить за каждым его шагом, и сам он всегда ставит дежурного в известность, где находится.

К сожалению, были у нас еще такие начальники: сядет в машину, никому не скажет ни слова и уедет. Разыскивай его потом по всему фронту, теряй время — самое дорогое, что есть на войне. Найдешь наконец, доложишь и слышишь в ответ: почему не доложил раньше? А кто виноват? Он сам, точнее — его барское пренебрежение к подчиненным.

Двенадцатого апреля получил разрешение возвратиться в шторм. Немцы, как предугадал Петров, не решились повторять контратаки. С утра постреляли немного, мы были насторожились, но все обошлось. До обеда непрерывно связывались с частями: всюду тихо.

После обеда поехал в шторм и по дороге навестил Крылова. Завтра с утра надо приниматься за итоговую сводку и за окончательную редакцию инструкции о действиях против десантов с воздуха. В общих чертах она уже доложена Крылову. Необходимо уточнить формулировки, чтобы исключить возможность различных толкований. Лаконичность в изложении — вещь прекрасная, но только в том случае, когда она не оставляет ничего неясным. Если же она превращается в «дышло», которое «куда повернешь, туда и вышло», — лучше дать более пространное изложение.

Жизнь вошла в норму. Постоянная, но редкая стрельба из винтовок, пулеметов, минометов и артиллерии, убитые, раненые, контуженные. Но ни атак, ни контратак.

Семнадцатого апреля в штабе появился Крылов. Ходить ему трудно, быстро устает. Еще бы — столько времени пролежать! Здоровый человек и то разучился бы ходить. Походка неуверенная, одышка. Лицо осунулось, обрюзгло. Зашел, посидел, поглядел на карты с обстановкой, почитал кое-что из дивизионной почты и ушел.

Днем все выходят на солнышко. Погода стоит чудесная. Морской воздух буквально пьянит. Вечерами доносится пение.

Люблю пение и сам пою. Но сейчас больше всего поют не песни, а что-то странное, «фокстротистое». Только и слышишь: «Вам возвращаю ваш портрет» или «Луч луны упал на ваш портрет». И в старых русских и украинских песнях есть много любовных. И там была тоска, но другая — как бы это сказать, более человеческая. Может быть, потому там больше участвовал и мужской и женский человеческий характер. А эти более откровенно эротические, — странное дело, в то же время

и более условные. И по ритму они как будто более энергичные, а все-таки, несмотря на внешнюю четкость, какие-то расслабленные. Нет, не в моем это вкусе, но ничего не поделаешь...

Весна. Кое-где у военных завязываются романы — девушек-то много.

Как хорошо, что я уже вышел из этого возраста. Преимущество, однако, спорное. Вот, например, обнаружил у себя большой недостаток: вечерами плохо вижу, часто прибегаю к лупе, когда смотрю на карту. Впрочем, наверное, сказались сидение месяцами при искусственном свете, работа над картой в полумраке. Сказал об этом Соколовскому. Посоветовал очки и обещал подобрать.

Когда-то в Пирятине парикмахер, у которого я постоянно брился, говорил: «Волосы в ушах — признак старости». Мне тогда не было еще и сорока лет. Теперь вот уже и очки. Старею.

Отработали с Крыловым инструкцию. Еще раз поразился способности Крылова оттачивать фразы: казалось бы, яснее и проще не изложишь, а он посидит, подумает, внесет исправление — и удивляешься, до чего все стало проще и понятнее. Вечером доложил окончательный текст Ивану Ефимовичу. Он приказал нам как авторам ее подписать, а сам утвердил. Копию пошлем вверх.

Решили понемногу перебазираться в Херсонес. Сперва переедут второстепенные отделы, а за ними и вся оперативная группа.

Петров поставил условием, чтобы в отсеке, где он будет находиться, размещались член Военного совета, Крылов и оперативный отдел. Следующий отсек — штаб артиллерии и связь. Остальные располагаются в двух отсеках, находящихся метрах в двухстах от нас. Сегодня, 19 апреля, вечером началось «великое переселение». Мы уйдем последние. Это будет дней через пять, не раньше. Жалко покидать насиженное, обжитое место, но и оставаться нельзя. Немцы нащупали, пристрелялись и могут, в выгодное для них время нанеся мощный удар по КП, лишит войска управления.

Технически мы могли бы переезд совершить в одну ночь, но это невыгодно. Если у противника в Севастополе есть своя агентура, наш переезд был бы сразу замечен. А в том, что у него в Севастополе есть «свои люди», сомнения нет. Говорят, в городе арестован какой-то старик, который через подростков, шныряющих по всем углам, собирает сведения о войсках и флоте.

Пленный, захваченный ночным поиском разведчиков 79-й бригады Потапова, снова говорил о новом мощном оружии. Что за оружие, пленный не знает; но офицеры им говорили, что как только его применят, Севастополь падет. Нас больше интересовала группировка, нумерация частей и численность войск противника, но пленный этого не знал. Знал только, что приходит какое-то пополнение, роты имеют почти штатный состав. Нет еще и двух месяцев, как он сам прибыл из Германии. В Германии воздушные тревоги каждую ночь.

Проверял готовность пехоты и артиллерии к отражению высадки и выброски воздушного десанта, уже в соответствии с преподанной инструкцией делал тревоги. Убедился, что войска быстро изготавливаются. Можно быть уверенным, что с воздуха нас не застигнут врасплох. Доложил о проделанной работе. Петров усомнился: не слишком ли я оптимистичен? Но свой доклад я подкрепил данными о времени, затраченном на приведение батарей в готовность к ведению огня, на посадку частей в автотранспорт и на следование их к месту «выброски». Тогда он поверил.

О морском десанте противника не могло быть речи — море у побережья было под нашим контролем. Правда, там дальше, в сторону Анатолийского побережья, низко летают над прекраснейшей зеленоватой гладью немецкие самолеты-торпедоносцы, ищущие затерянное в море судно, чтобы потопить его. Открытое море нам пока враждебно — там господствует враг.

К 25 апреля на старом командном пункте осталась лишь небольшая группа связистов, КП превратился в контрольную станцию. Сто семьдесят дней пробыли мы там, управляли отражением двух штурмов, привыкли к нему — и расстались.

Воробьев назначен начальником штаба в 44-ю армию, к генерал-лейтенанту Черняку. Мы знали, что в 44-й армии начальником штаба был Рождественский, образованный и в оперативном отношении грамотный офицер. Было совершенно непонятно, чем вызвана эта замена.

О Воробьеве у нас никто не жалеет, он у нас не пришелся ко двору. Таким командирам, как Петров, нужны помощники, быстро схватывающие его мысли и настойчиво проводящие их в жизнь. А Воробьев был бы на месте разве в штабе Фабия Кунтатора, если бы у того был штаб. Впрочем, может быть, он будет на месте и при не в меру быстром Черняке, не умеющем отличать войну на учебной карте с воображаемым противником от войны, где льется кровь и противник противопоставляет нам свои замыслы и волю.

Вновь начали разрабатывать план наступления для содействия Крымскому фронту. Судя по соотношению сил, все там должно быть прекрасно.

Переезд на новый КП не изменил принятого распорядка. Изменилось только одно: теперь мы втроем — Петров, Крылов и я — завтракаем вместе и довольно рано. Завтрак подают к Петрову. Наши «кабинеты» отделены один от другого дощатой перегородкой. По распоряжению Крылова для удобства переговоров, передачи документов друг другу в перегородках прорезаны окна с задвижкой. Спим мы в этих же кабинетах. Дневной свет видим, когда выходим наружу.

Наш КП располагается в тоннелях, пробитых в известковых горах. Над нами толща до пятидесяти метров, если не больше. Вход в каждый тоннель прикрыт, кроме массивной железной двери, бетонированной стеной. Никакая авиабомба не может разрушить эти сооружения. Для вентиляции устроены шурфы, прикрывающиеся заслонками, как в водопроводных колодцах. Все было бы хорошо, если бы не известковая пыль. От нее не спасешься. Работаю теперь в очках — хоть они немного защищают глаза.

Выходы обращены к котловине. В ней когда-то было греческое кладбище — возможно, времен колоний на Понте Эвксинском. В сплошной горизонтальной известковой плите, которую представляет собой все кладбище, выдолблены прямоугольные углубления в рост человека. На глубине сантиметров семидесяти—восемидесяти в стенках сделаны ниши, в которых свободно может лежать поместиться даже рослый человек, — вероятно, туда клали умерших. Сейчас эти исторические могилы служат прекрасным убежищем от авиации. Чтобы разбить толщу плитняка, нужно прямое попадание бомбы порядка тонны, а то и больше.

Так старинное сооружение, сделанное для мертвых, явилось прекрасной защитой живым.

В ожидании миноносца Воробьев живет в штабе флота.

Дни стали большими и затруднения для судов, старающихся прийти в Севастополь, огромны: когда им удастся войти в порт, там они под-

вергаются налетам авиации и артиллерийскому обстрелу. «Червона Украина» стала жертвой такого налета. Флот, которым могло бы располагать командование, количественно уменьшается — «естественные потери». Линкор «Севастополь» укрылся не то в Туапсе, не то в Поти или в Батуми: слишком большая цель в море для нынешних условий.

Подвоз необходимых нам материальных средств и эвакуация раненых начинают осуществляться подводными лодками, но их тоннаж незначителен, и их тоже слишком мало для нормального обеспечения Севастопольского флота и сухопутных войск.

Нужных результатов не дает и доставка грузов на ЛИ-2 из Краснодара — ведь выделено на это всего лишь семь самолетов. Главное их достоинство — это быстрота эвакуации раненых, но количество эвакуируемых не более семидесяти человек в ночь. Сейчас этого достаточно, но если начнутся серьезные бои, армейские лечебные учреждения, прежде всего медсанбаты, будут изо дня в день все больше перегружаться, как это было в декабрьский штурм.

Получили известие, что Козлов начнет действия в первых числах мая, когда можно будет полностью использовать технику. У Козлова тройное превосходство над противником в численности. Конечно, плохо, что своим промедлением Крымский фронт дал возможность противнику произвести перегруппировку и укрепиться. При преодолении такой заранее подготовленной обороны, если у обороняющегося достаточно авиации, танков и огневых средств, потери наступающего бывают гораздо больше, и, следовательно, превосходство в живой силе один к трем не может считаться подавляющим. Все же это превосходство. Против нас стоят пять дивизий и горнострелковый корпус, то есть почти столько же, сколько и там, против Крымского фронта.

Завтра Первоймай. Нами приняты все меры на случай, если противник попытается проверить, не слишком ли мы заправдновались.

Второго мая исполнится полгода обороны черноморского города русской славы. В шестьдесят три тысячи убитыми и ранеными обошлась осада противнику. А Севастополь как был, так и остался нашим. Мы тоже несем потери. Но они значительно меньше, и заметно, что враг перестал быть самонадеянным.

Военный совет армии решил наградить специальными грамотами участников обороны Севастополя. Сегодня вечером на торжественных первомайских собраниях их будут вручать. Жалко, что не смогу там быть: опять несу службу.

Крылов почти выздоровел. Но одышка осталась — стоит быстро пройти десяток шагов, как уже тяжело дышит. Работы же много, и отдыхать по-настоящему ему не приходится.

Петров с присущей ему прямоотой относит «керченское сидение» только на счет качеств возглавляющих фронт начальников. Он говорит: «Нам приказано оборонять Севастополь — мы обороняем. Им приказано наступать, а они засели в обороне».

Садовников снова ходит унылый и пишет сводки: «без перемен». Понемногу собираю материал для Хамадана.

Май. На моей родной Черниговщине весна, а здесь лето. Дни жаркие. Не будь рядом моря, можно бы задохнуться от жары. Ночи короткие, морские караваны очень редки. Мы начинаем острее чувствовать недостаток боеприпасов. Отдан строжайший приказ экономить их. По одиноким самолетам-разведчикам не ведем зенитного огня, бережем для отражения массированных атак с воздуха; никаких передвижений войск у нас нет, по суше никто к нам на помощь не подойдет, оборонительные

рубежи немцам известны так же, как и нам: что нового может дать им разведчик? Зачем расходовать на него сотню-две снарядов, которые с большим трудом и опасностями доставляют из Новороссийска? Другое дело «юнкеры»: их подбить или по крайней мере лишить прицельного бомбометания — дело важное. Здесь и снарядов не жалко.

2 мая. Херсонес.

Вот и прошли праздники. Ничего особенного за эти дни не было. Фрицы вели себя довольно спокойно. Необычным было одно явление. Когда полностью рассвело и солнце стало показываться из-за гор, наши наблюдатели, а затем и солдаты первой траншеи увидели кое-где из немецких проволочных заграждений красные полоски материи вроде лент. Зачем это сделали немцы, мы не знаем. То ли некоторые из них так выразили свою тайную солидарность с нами, то ли они иронизировали над нами, над нашим трудным для празднования положением...

Самолеты противника нас не бомбили. Зато всюю угощали листовками геббельсовского ведомства.

Петров, Чухнов и Крылов поздравили работников штаба с праздником, ознакомились с поздравительными телеграммами и разъехались в войска.

Первый мой Первомай на фронте. Будет ли он и последним? Вряд ли... Правда, в первомайском приказе верховного главнокомандующего поставлена задача — закончить войну...

Меня всегда поражала близорукость людей, для которых цитата, пусть из самого авторитетного источника, — безапелляционная и неподвижная догма, а не мысль, которая требует еще и твоего самостоятельного размышления, особенно если ты коммунист.

От недумавшего человека нельзя ждать объективного анализа, пусть он выучит наизусть тысячу брошюр. В первый день войны я столкнулся с таким человеком. Это был инструктор политотдела дивизии старший батальонный комиссар Финк. До официального сообщения по радио он вообще не хотел верить, что это война, хотя и 54-й и 31-й полки уже вели бои: первый под Кагулом, а второй на Дунае у Рени. А когда мы обменялись мнениями по поводу сообщения, он заявил, что немецкие солдаты не будут стрелять в наших красноармейцев, что немецкий рабочий класс не допустит, чтобы душили наше первое в мире рабочее государство, что вообще через три месяца мы будем в Берлине и там произойдет социалистическая революция и т. п. Когда ему ответили, что если он не понимает, что происходит в Германии, где уже восемь лет у власти фашисты, и не понимает даже того, что делается у него под носом, то лучше бы молчал, он закричал:

-- Ты не веришь в победу, ты пораженец! Скажи откровенно, — обратился он ко мне, — сколько будет длиться война?

— Не менее двух лет, а то и больше, — ответил ему я, повернулся и ушел.

А вслед мне неся крик:

— Пойду доложу комиссару, какую ты ведешь агитацию!

Недавно я его встретил в штабе дивизии и спросил, как выглядят берлинские бульвары, на которых он рассчитывал прогуливаться еще в прошлом году. Он сник и ничего не ответил. Выдохся бедняга.

Люди, подобные Финку, часто впадают из одной крайности в другую. У них нет устойчивости и трезвого взгляда на вещи, без которого, насколько я понимаю, Ленин не мыслил себе большевика. А эти как только сорвутся со своего «оптимизма», так сейчас же становятся самыми унылыми пессимистами.

Поскорее бы приехал Хамадан. Сдать бы ему записи и копии сводок, а там пусть улетает на Большую землю. А то случись что со мной — пропадут.

Внимательно слушаем радио: наши радисты, долго помудрив с антенной, добились теперь приличной слышимости, особенно в момент чтения сводки.

Козлов не наступает. Сколько он будет готовиться? Так можно полностью потерять инициативу. О внезапности не может быть и речи. Этот важный элемент успеха уже потерян.

Авиация по-прежнему беспокоит нас налетами, сбрасывает бомбы на порт. Корабли стали приходиться к нам совсем редко, поступление раненых превышает эвакуацию.

Седьмого мая получили первые сведения о том, что Крымский фронт зашевелился: не то вел разведку боем, не то прошупывал оборону противника передовыми батальонами и как будто имеет успех. Если действовали передовые батальоны — значит, завтра с утра надо ждать решительного наступления.

В связи с этим в нашем штабе оживление. Все снова у карты — гадают, где намечил прорыв Козлов, ждут этого «завтра».

У нас «без перемен», но авиации противника не видели совсем. Наверное, ушла под Керчь.

На Керченском фронте творится что-то непонятное.

Как будто бы 44-я армия начала какие-то действия, но наступление это было или только проба сил — не разберешь, настолько отрывочны сведения. Наша радиоразведка сообщила, что немцы дают сводки об отбитых ими по всему фронту русских атаках. А сегодня, 10 мая, в вечерней передаче немцы сообщили, что они прорвали фронт Керченской обороны и успешно продвигаются вперед. Называют пункты, якобы захваченные у нас, и будто бы ими взято много пленных...

Командиры дивизий, начальники штабов звонят по телефону, всех интересует, как обстоит дело на Керченском полуострове. Но что я могу им ответить, если у меня нет не только исчерпывающих, но вообще каких-либо данных?

От этого становится тоскливо.

Теперь мы знаем, что немцы вчера не солгали: на ак-монайских позициях получился скандал. Немцы сами перешли в наступление, главный удар нанесли по армии Черняка, и она не выдержала. Немцы вклинились в оборону. Идут тяжелые бои. (Воробьев за это ответственности не несет, он только вчера уехал из Севастополя.)

Вот и дождались. Тянули, тянули с наступлением, готовились, накапливали силы и допустили, чтобы противник сам начал наступление, прорвал фронт обороны да еще где — на участке 44-й армии, армии Черняка, который хотел учить нас наступлению под Севастополем!

Неужели немцы подтянули еще откуда-то силы? Из-под Севастополя они не уводили ничего. О всяком прибытии войск противника в Крым нас ставят в известность партизаны, а от них о подходе в Крым новых дивизий мы никаких сведений не получали.

На что же рассчитывает Манштейн? Под Севастополем он, имея полуроторное превосходство, не решается штурмовать. Почему же действует там с меньшими, чем у Козлова, силами? Хорошо, если это авантюра, которая кончится крахом. Козлов, Вечный — если они действительно генералы, а не случайные люди на высоких постах — сумеют организовать не только отражение атак, а сами рванут вперед и на плечах противни-

ка выйдут к Перекопскому перешейку, очистят Крым, уничтожат окружение Севастополя. Мы им в этом поможем крепко.

Но, может быть, это случайные люди на высоких постах? Среди людей, поднятых на гребень в злой памяти 1937—1938 годах, были и достойные люди, но немало было и таких, которым никогда бы не быть в военном руководстве, если бы не зияли пустоты после напрасной гибели цвета нашей армии. Теперь, в час испытаний, видны их настоящее лицо, ум, способности.

Сведения о положении на Керченском полуострове плохие. Немцы продолжают продвигаться. Фронт трещит и откатывается. Вся оборонительная полоса 44-й армии Черняка в руках противника. Держится еще командующий 51-й армии генерал Львов — знающие его говорят, что он самый серьезный и одаренный из всех командармов Крымского фронта.

Немецкое радио полно бравурных маршей, и между ними передают победные репортажи. Передачи ведутся специально для нас, чтобы сломить нашу волю к сопротивлению. Но нас «психологией» не возьмешь.

О действительной линии фронта в Керченском направлении мы не знаем ничего. Нам думается, что Козлов на правом фланге создаст сильную группировку под командованием Львова и нанесет сильный контрудар в направлении Феодосии, тогда вся немецкая группировка прикажет долго жить. Ведь правый фланг по тем сведениям, что есть у нас, твердо стоит на месте. Пока прорыв противнику удался только в полосе Черняка.

Только бы Козлов не начал проводить стратегию Тришкина кафтан — не стал латать прорванный фронт 44-й армии за счет других армий. О широком наступлении тогда вопрос отпадает. Керчь превратится во вторую Севастополь.

У нас перестрелка. Ежедневные неудачные поиски разведчиков — враг удвоил осторожность. Но мы знаем из других надежных источников, что противник не решается снять с нашего фронта ни одного солдата. Против нас он держит те же дивизии, что и раньше.

Керченский фронт разваливается. Черт знает что там делается! Говорят, виной всему Черняк. Он позволил прорвать немцам фронт его обороны и начал постыдно отступать, а еще «герой», носит Золотую Звезду.

Мы с трепетом ожидаем, что предпримет Козлов. Контрудара по флангу все нет, а всякий лишний потерянный день губителен для фронта в целом. Черняк назвал нас неучами. Может быть, по оперативно-тактическим канонам еще не наступило время для нанесения ответного удара? Там, у Козлова, все «теоретики». Был один образованный практик, Толбухин, так и его выжили...

Линию фронта к утру 14 мая мы получили по немецкой «воздушной почте». С утра 15 мая они засыпали нас листовками с обозначением линии фронта и с красноречивым призывом — сдавайтесь. Наверно, проведенная на листовках линия фронта далеко не точна. Но не это важно. Важно то, что фронт ничего не делает для парирования удара, а штопает прорывы. Почти половина полуострова уже захвачена немцами. Если Львов не будет наносить контрудара, ему надо отходить, иначе его окружают у Семи Колодезей.

Мы активизировали свои разведывательные операции. Петров приказал любой ценой взять пленного. Но немцы очень осторожны, а нам нужен именно немец.

В ночь с 14 на 15 мая Рубцов все же добыл «языка»: его пограничники перехитрили немцев. Снова отличился Иван Богатырь. Подтверди-

лось, что против нас стоят прежние силы и отсюда никого никуда не отсылали. Пленный вновь показал, что под Севастополь ожидается новое оружие, что оно уже в Дуванкое, но что это за оружие — не знает. Еще он сказал, что от офицеров слышал, что, как только очистят Керчь, начнут наступать против Севастополя. Такой приказ дал якобы Гитлер.

Будем надеяться, что и новый штурм провалится. Вот только плохо с подвозом. Боевой флот работает на Керчь. А без охраны транспорты к нам не идут.

На Керченском полуострове дела все хуже и хуже. Петров неофициально распорядился беречь снаряды и готовить зенитную артиллерию к отражению танков.

Мы не можем себе позволить такую роскошь, как стрелять по предполагаемой цели; основой артиллерийского огня становится старый, но для нас еще не устаревший девиз: «Не вижу — не стреляю».

Все же почему на Керченском полуострове создается катастрофическое положение? Что они там, потеряли голову, что ли, и мечутся из стороны в сторону?

Козлов, Мехлис, Вечный... На них возлагали столько надежд — и не только мы, в Севастополе, а, очевидно, и Ставка. А они так позорно все проваливают. До каких же пор будет так, что самое большое доверие оказывается людям, не способным к настоящему делу?

У нас — деятельность поисковых групп с обеих сторон. Саперы вновь занялись усилением оборонительных сооружений. Мы прекрасно понимаем, что в случае потери нами Керченского плацдарма немцы начнут новый, еще более яростный штурм Севастополя. Ведь Севастополь сковал целую армию, а главный немецкий штаб вряд ли позволит, чтобы целая армия зря сидела в Крыму. После разгрома под Москвой у них не так-то много войск для летней кампании. А ведь ясно, что Керченская операция — это начало летней кампании. За Керчью последует удар и на нас.

О возможности соединения с Крымским фронтом уже не может быть речи. Мы пересматриваем свои планы отражения возможных штурмов, проверяем глубину обороны и, пока есть время, принимаем все меры к лучшему инженерному оборудованию своих позиций.

Солдаты тоже понимают сложность складывающейся ситуации, правда, не так отчетливо, должно быть, как мы. Но и у нас, штабных, еще теплится искра веры в поворот к лучшему под Керчью. Только как бы она скоро не погасла от действий «керченских полководцев».

Весь день 16 мая все наши штабисты были в войсках. Был там и Петров (только Крылов не может еще выезжать). Проверяли на местах готовность к отражению штурма. Готовимся к худшему: до нас докатились сведения, что в Керченском проливе принимаются меры к эвакуации — чего? Армейских ли и фронтовых учреждений или боевых частей? Этого мы не знаем. Но ясно, что фронт окончательно и непоправимо развалился.

С 18 мая бомбардировщики начинают появляться над нами не единицами, а группами — этого давно не было. Бомбят город. Наши летчики часто вступают в воздушные бои.

Сведения из Керчи удручающие. Наших прижали к морю и разрезали на несколько групп. Две армии деморализованы. Во время воздушной бомбардировки погиб генерал Львов, талантливый советский полководец. Бои идут на ближних подступах к Керчи. И вся эта катастрофа произошла в течение нескольких дней. Вероятно, Манштейн знал хорошо,

какие военачальники противостоят ему, раз так смело начал Керченскую операцию ограниченными силами...

Нам уже не на кого надеяться, только на самих себя.

В очередном штурме Севастополя будут участвовать все войска Манштейна. Это ясно и младенцу.

Появились новые листовки: немцы ставят условия капитуляции, угрожая расправой. Петров решил ответить нашей листовкой. Над ней работают в политотделе армии.

Что-то будет?

С подвозом и эвакуацией дело дрянь.

Снова слухи о новом оружии у врага. Откуда они? «Солдатское радио»? Городские сплетни? Первые сведения мы получили от пленных, а теперь об этом говорят все. Похоже на то, что немцы намеренно, с провокационной целью, распускают слухи.

У противника появился змейковый аэростат с наблюдателем. Наша артиллерия его обстреляла, но он спокойно опустился.

Артиллерия противника два раза в день ведет огонь по Северной бухте, воспрещая вход судам. Судов-то, правда, почти нет. Зато почти каждый такой налет выводит из строя самолеты морской бомбардировочной авиации; они, бедняги, только и могут, что переходить с места на место.

В Керчи, кажется, все кончено. Наши радисты перехватили сегодня открытый разговор на русском языке: «Давайте баржи на Еникале»... Кто говорил, кому — неизвестно.

Как-то там наш Воробьев? Доехал ли, принял ли штаб у Черняка? А может быть, ему не удалось добраться: какой-то из наших миноносцев был потоплен противником...

Бои идут в самой Керчи. Там есть гора Митридат. Бои будто бы идут за овладение ею. Мы не знаем Керчи и спрашиваем полковника Кабалюка. По его словам, это уже в самом городе.

Связи с фронтом нет, сносимся с Москвой непосредственно.

Приехал, точнее — прилетел Хамадан из Краснодара и находится у Петрова. Завтра можно будет с ним поговорить. Он расскажет о положении на фронтах. Мы так мало знаем. Разве по сводкам Информбюро можно составить себе точное представление о том, что делается на фронте, какое хочет иметь военный человек? А положенной нам специальной информации мы не имеем.

Побывал у Ласкина, Скутельникова, Новикова. В частях настроение крепкое, но все удивляются, почему у Козлова все провалилось. И, конечно, возмущаются:

— Эх! Нам бы эту силу, что была у Козлова! Крым был бы очищен.

Это мнение не только солдат и офицеров в ротах, батальонах, полках, бригадах, на батареях, а всех старших начальников в дивизиях и армии.

Если следовать «теоретическим» выкладкам Черняка, то при двойном превосходстве противник, стоящий против нас, вряд ли сможет наступать. У нас с моряками семьдесят батальонов, а у немцев с румынами восемьдесят семь батальонов. Но это грубый, примитивный подсчет живой силы, не отражающий подлинного соотношения. Всего, в круглых цифрах, численность наших войск (включая морские силы) равняется ста шести тысячам человек, а у противника двести три тысячи, но нельзя забывать также о еще большем преимуществе противника в артиллерии, танках и авиации: в современной войне эти факторы играют огромную роль. Да еще сумел ли Козлов подорвать боеприпасы и технику? Не достались бы они немцам!

Мы на пороге огромной, неумолимо надвигающейся отчаянной борьбы за Севастополь. Наша задача — выстоять во что бы то ни стало. Эх! Нам бы керченскую технику и запасы артиллерийских снарядов, хотя бы без пехоты армий Крымского фронта. Мы были бы на коне.

Как ни крепись, а подумаешь обо всем этом — и настроение все-таки гадкое, гадкое до тошноты.

Сколько же дней мы в Севастополе? Подсчитал — двести один день. Двести один день почти постоянного напряжения.

Двадцать четвертого мая в немецких окопах происходило торжество. Наше боевое охранение слышало даже музыку, несущуюся из траншей противника. Ночью громкоговорители разносили по всему фронту выступления предателей, сдавшихся под Керчью, призывы сложить оружие, не проливать лишней крови и тому подобную дрянь. Не потребовалось даже команды — наши солдаты сами открывали огонь с каким-то остервенением.

Наша листовка коротка. В ней, в сущности, одна мысль: вы дважды штурмовали и дважды провалились, попробуйте еще, если не жалко солдатских жизней. А не хотите умирать — сдавайтесь. Петров своей рукой добавил: «Войну вы проиграли. Мы победим». Листовка была отпечатана, и наши самолеты разбросали ее на территории, занятой противником. О ней знали все солдаты армии и одобряли ее.

С Хамаданом мы пока перекинулись двумя-тремя фразами. Он крепко ругает союзников: все обещают, но мало делают. До него мы как-то мало думали о союзниках, а теперь мысль о них прочно засела в наших головах. От него же я впервые услышал о Трумэне и о той его речи, где он сказал: «Если мы увидим, что немцы бьют русских, будем помогать русским. Если же русские будут бить немцев — будем помогать немцам». Негодяйство.

Получили первое распоряжение за подписью Буденного и Захарова из Краснодара. Отныне мы входим в подчинение Северо-Кавказскому фронту. Это еще раз подчеркнуло, что Крымского фронта нет.

Двадцать пятого мая жара невыносимая. Кажется, что все солдаты — и наши и противника — попрятались в блиндажи, спасаясь от жары. Море спокойно. Даже шум прибоя какой-то заглушенный, тихий, как журчанье ручейка. Только чайки с пронзительным криком носятся над водой. В войне тишина гнетет.

Обзвонил все части. Ответ один: тихо.

Вечером сидели вдвоем с Хамаданом. Я читал ему свои дневники. Он считает, что они пригодятся для описания Севастопольской эпопеи. Вокруг них можно нарисовать хорошую картину. Упрекнул за то, что я больше записываю объективные факты и события, то, что будет отражено в документах, и слишком кратко характеризую людей. Но, во-первых, документы если и сохранятся (не следует забывать, что лишь часть их мы можем доставлять на Большую землю), то передадут планы и результаты их выполнения, а не ту скрытую, никому не ведомую внутреннюю работу отдельных людей и коллектива, которым изо дня в день приходилось стоять перед сложнейшими дилеммами. Во-вторых же, по роду моей службы я встречаю людей так много и на такое короткое время, что если бы стал эти встречи записывать, получился бы синодик — одни имена, несколько беглых впечатлений и внешних примет. Да я и не претендую на то, чтобы эти дневники опубликовывать такими, как они есть, сказал я Хамадану. Я хочу отдать их ему, а он пусть ими распорядится, как считает лучшим. Авторского самолюбия у меня по отношению к дневнику совсем нет.

Как странно, что в тот же день мне пришлось убедиться, что авторским самолюбием я обладаю, и даже немалым, когда речь идет о труде, которому сейчас полностью отдана моя жизнь.

Под вечер через окошечко Крылов передал мне один документ и сказал:

— Почитай внимательно.

Это была инструкция по борьбе с воздушными десантами. Читаю — и что же? Слово в слово перепечатана наша инструкция и за другими подписями прислана нам же для исполнения... Ну хоть бы фразу изменили, хотя бы слово! Нет — изменили только фамилии составителей. Кто-то в штабе Северо-Кавказского фронта сделал это и как свой труд преподнес на подпись командующему. Нехорошо. Разве нельзя было сделать и так: «Препровождаю разработанную штабом Приморской армии инструкцию для исполнения?»

Я прямо так и сказал Крылову. Он согласился, но сказал:

— Важно одно — война, и бог с ними, со всякими штуками... Притом это ведь не литературный труд, а военный документ, в некоторой степени обезличенный.

Рассказал я об этом и Хамадану. Он записал и сказал, что, если ему удастся после войны написать документальную вещь, он в ней опишет и этот случай, показывающий, что и в трудную годину — и где? среди самих участников войны! — встречаются лица, способные ловить рыбу в мутной воде.

Это обещание дало мне какое-то удовлетворение. Потом самому стало смешно: стоит ли принимать к сердцу эту мелочь в такие дни, когда здесь у нас решается судьба Приморской армии, кораблей Черноморского флота, личная судьба многих тысяч советских людей, да и моя собственная? Но уж очень я не люблю людей, рассчитывающих, что «война все спишет». А в такие дни — особенно.

Двадцать седьмого мая с семи часов утра авиация противника тремя группами, по тридцать самолетов в каждой, начала нас бомбить и продолжала наносить бомбовые удары в течение всего дня. Одна группа сбрасывала бомбы на город, вторая — на участок фронта, расположенного по Ялтинскому шоссе, а третья — по шоссе из Бельбека в Севастополь.

Если на город бомбы сыпались в беспорядке, то на фронте ясно обозначалась полоса бомбометания. Ширина полосы — два-три километра. Замысел противника ясен: началась авиационная подготовка.

Группы менялись. Как только отбомбятся одни, на смену им подлетают другие. Выстраются в круг и давай один за другим сбрасывать бомбы. Весь свой груз каждый самолет сбрасывает в два-три приема. От дыма разрывов и пожаров, от поднятой в воздух пыли солнце потускнело, заволочлось пеленой. За день было двенадцать—тринадцать налетов, в общей сложности свыше тысячи самолетов-вылетов, на нас сброшено до десяти тысяч бомб.

Весь день мы ждали атаки, но ее не было. Только авиация.

С наступлением вечера авиация прекратила налеты. Город горел. Многие улицы стали непроезжими из-за завалин.

Оборонительные позиции пострадали не очень сильно. Наблюдая бомбежку, мы считали, что первая позиция и под Камарами, и под Бельбеком уничтожена. Но каково было удивление, когда узнали, что только несколько бомб упало в траншеи и потеря в людях на переднем крае незначительна. Солдаты сами, без напоминаний, быстро исправили повреждения и были готовы к отражению атаки.

Больше пострадали тылы дивизий и полков. Они располагались по

окраинам города, в балках, и часть их попала под удар. Их потери — до двухсот человек и столько же примерно лошадей. Разбиты кухни, кое-где разнесены продовольственные склады.

По всей видимости, для авиации противника в Керчи больше работы нет, она переключилась на нас. По подсчетам авиаторов, в налете приняло участие не менее авиационного корпуса.

Старый наш КП весь в воронках. На Херсонес не было сброшено ни одной бомбы. Хорошо, что ушли вовремя.

Связь местами перебита. Связисты упрямо восстанавливают ее.

Работники штаба разъехались в дивизии и полки проверять на месте степень нарушения боевой готовности. Донесения успокоительные.

Я тоже выезжал под Итальянское кладбище в полк Шашло и вместе с командиром полка прошел по передней траншее до Камаров. Солдаты охотно показывали места прямых попаданий. Многих засыпало песком, но солдаты отрывали товарищей, восстанавливали траншеи и пулеметные гнезда, чтобы встретить врага. Оборона нарушена не была.

Петров и Крылов после объезда частей, стоящих в полосе авиабомбометания, запросили остальных командиров дивизий об обстановке. Всюду тихо, нет и намек на подготовку к штурму.

Почему же немцы не атаковали нас? Почему не было артиллерийского огня? Эта загадка не давала нам покоя.

Что же это, один из способов устрашения? Но мы не побежим от авиационных ударов. Пройти к нам можно только по трупам атакующих.

Зарево горящего города на фоне темной ночи ужасно. Ведь там люди, наши друзья, самоотверженные помощники. Там дети.

Наша авиация бессильна что-либо сделать против такой армады, прикрываемой «мессершмиттами». Зенитный огонь тоже.

Такого воздушного нападения не было ни разу за всю оборону Севастополя. Даже в дни штурмов появлялось по двадцать—тридцать самолетов два раза за день. А сейчас свыше тысячи самолето-вылетов за день.

Двадцать восьмого мая на рассвете атаки не было. Артиллерия также молчала. Ждем.

Снова с семи часов утра над нами появляется воздушная армада, разбивается на три группы и начинает бомбить те же места. Разрывы за разрывами. Смена групп идет, как на параде. Горит все, что может гореть. Рушатся дома, улицы завалены. Через город уже почти нет проезда. Тушить нечем, никто и не тушит. Обработка переднего края идет в тех же полосах, что и вчера. Немцы, очевидно, решили авиацией уничтожить все живое, что есть у нас.

Жертвы среди населения. Но в войсках потери еще меньше вчерашних: за весь день поступило в госпитали и медсанбаты около восьмидесяти военных. Для целой армии такие потери ничтожны.

Небо хмурое, но не от туч, а от дыма и пыли. Днем пожаров почти не видно, только темные клубы дыма. Вечером же все становится багровым.

Вечером во время перерыва в работе я вышел из штольни.

Севастополь пылал. Это был огромный костер, растянувшийся на несколько километров. То там, то тут вспыхивали и врезались в ночную тьму столбы пламени, рассыпаясь искрами: где-то проваливалась крыша или этаж дома и огонь вырывался в открывшееся пространство.

Единственный язык, на котором война называется ее собственным именем,— это румынский. Война по-румынски «разбой». Разбой и есть.

Подошел Хамадан. Он тоже наблюдает и что-то черкает в блокноте при свете электрического фонарика. Черкнет несколько слов и загасит фонарь, и так несколько раз, пока голос часового не прекратил его волхования над блокнотом.

Петров в войсках. Дежурный по связи следит за каждым его шагом. Уже поздно. Поодиночке заходим в свою штольню, и каждый занимается своим делом.

Мы с Садовниковым редактируем сводку в Москву.

Потапов-разведчик приходит с новыми данными о противнике. Его данные важны. Из разных источников сообщают, что с Керченского полуострова перебрасываются войска и артиллерия в Симферополь. Отмечено движение на Алушту и на Бахчисарай. Тянут не только свои орудия, но и взятые у нас. Везут снаряды. Через Владиславовку на Старый Крым прошли танки. Есть в их числе и наши, вполне исправные.

Потапов ждет Крылова и Петрова, чтобы доложить им последнюю разведсводку.

Данные неутешительные, что и говорить. Впрочем, вряд ли могло быть иначе в главном. Вот только свое же оружие...

Ясно вырисовываются два направления штурма — Ялтинское и Бельбекское. Факт подтягивания сил на Алушту говорит сам за себя. Не исключено, что из Бахчисарая через Ай-Петри тоже подбросят сил на Ялтинское направление. Ну, о Бельбекском нечего и говорить — там до рога прямая.

Потапов рассказывает и то, что ему удалось разведать «с той стороны» о керченской катастрофе. Трудно поверить, как немцам удалось сделать прорыв. После разведки боем, когда у нас обозначился успех, дальнейшее продвижение Черняк почему-то прекратил. Дело было к вечеру. За ночь командир немецкого полка собрал все, что мог, и утром начал контратаку. Получил успех. Командир немецкой дивизии поддерживал действия своего полка — и пошло. Все начало сыпаться.

Наши же, вместо того чтобы силами Львова нанести контрудар, забрали у него дивизию за дивизией для закрытия образовавшейся бреши. Так и растаскали его армию, а в результате — провал.

Вот что значит, когда во главе войск ставятся неумные люди, хотя и с безупречной биографией! Народу хорошо служат не те, у кого бабушки вне подозрений, а те, кто действительно предан народу и обладает необходимыми знаниями и способностями.

Как жалко, что не было там Толбухина. Он бы не дал делать глупости. И у нас в штабе, и у моряков говорят, что Толбухина «съел» Мехлис ради выдвижения Вечного, а при Вечном фактическим командующим фронтом был Мехлис. Пользуясь доверием Сталина, он своим авторитетом давил на Козлова, а у того не хватало смелости давать отпор, боялся потерять высокое начальствование. Возможно, что это и так. Не знаю. Вина Мехлиса за керченский позор все равно очевидна, он — член Военного совета фронта.

Как бы то ни было, а за ошибки и Козлова и Мехлиса придется отдуваться нам. Перспектива не из лучших.

Двадцать девятое мая. Третий день нас атакует авиация. Пехота же ни с места. Сегодняшние налеты, точнее — не прерывающийся ни на минуту налет, хуже прежних. Уже не три, а четыре группы, сменяемые резервными, непрерывно находятся в воздухе. Сто двадцать самолетов каждый час посылают на нас до девятистот бомб.

Англичане кричали на весь мир о своей бомбардировке Кёльна, но по сравнению с налетами на Севастополь это пустяки. Сегодня на нас опять было сброшено свыше десяти тысяч бомб. Нет места в городе, где бы что-нибудь уцелело. Изломан, искорежен лес на Мекензневых Горах, вдоль шоссе из Бельбека на Инкерман.

На Ялтинском направлении сплошные воронки. Немцы с присущей им методичностью бомбят намеченные полосы. Но все же наши потери незначительны: за день выведено из строя меньше ста человек.

Бомбят Северную сторону. Бомбят вокруг Южной бухты, бомбят порт. Корабли не могут войти. Разгрузка подводных лодок идет на мысе Феолент. Там же принимаем ночью грузы с ЛИ-2 и эвакуируем раненых.

Откуда у немцев столько авиабомб? Наши авиаторы установили, что немцы используют захваченные ими склады с Керченского полуострова. Нашими авиабомбами нас же бомбят. Вот еще одна страница из книги деяний керченского командования. Не могли даже взорвать!

Этими изнуряющими бомбардировками думают сломить нашу волю к сопротивлению, чтобы взять Севастополь малой кровью. Но солдаты наши от них стали как звери. Пусть только поднимется пехота — несдобровать немцам!

Пока мы находимся в траншеях, Севастополь будет стоять неприступным. Из Севастополя нас не выбомбишь.

Ночью на фронте восстанавливается все, что было разрушено за день. Нет большей стойкости, чем стойкость русского солдата. И героизму русского солдата нет равного. Ему надо только честного и дельного начальника. Тогда он сделает и невозможное.

Тридцатое мая. Опять весь день гнусное завывание фашистских стервятников, разрывы бомб. Пробовали подсчитывать количество самолето-вылетов. Насчитали до полутора тысяч. Сколько же бомб они сбросили сегодня — никто не скажет. По минимальному определению, больше двенадцати тысяч. За четыре дня немцы сбросили свыше пятидесяти тысяч бомб.

Фашистская пехота не движется, носа не показывает. Но сегодня впервые раздались одиночные артиллерийские выстрелы. Генерал Рыжи считает это пристрелкой новых артиллерийских частей, ставших на огневые позиции.

— Не сегодня-завтра ждите наступления, — сказал он.

Пристреливаются для артиллерийской подготовки. Сколько же еще будет длиться авиационная подготовка?

В ночной сводке в осторожных выражениях (как-никак донесение идет в Ставку!) донесли в Москву о применении противником против нас бомб, захваченных в Керчи. Нельзя же замалчивать сведения, имеющие серьезное военное значение.

Тридцать первого мая авиационная обработка Севастополя продолжалась с неослабевающей силой. Наша зенитная артиллерия почти не ведет огня. Она меняет свои позиции, занимая новые с учетом борьбы против танков. Все это делается ночью, когда прекращаются налеты. Враг учуял эти передвижения — в воздухе появились одиночные самолеты, сбрасывают осветительные бомбы.

Каждое утро мы ожидаем штурма. Неужели немцы не решаются, боясь его начать?

Когда же кончатся эти бесконечные бомбежки? 1 июня снова с утра до вечера в воздухе стоял непрерывный гул моторов, завывание пикировщиков, визг летящих бомб и разрывы.

По нашим подсчетам, немецкие дивизии из Керчи уже должны были сосредоточиться под Севастополем. Сколько их?

Кое-что Манштейн, конечно, оставил там. Одну, две, три? Сколько? Если даже три, то против нас теперь стоят до девяти немецких дивизий и одна-две румынские горнострелковые бригады. А у нас не возмещены

потери не только последних дней, но и месяцев. И запасы — все шло ведь раньше на Керченский полуостров. А дать нам необходимое сейчас — задача весьма трудная.

Ермилов вертится как белка в колесе. На Большой земле запасы он накопил, но чем и как их доставить? Не лучше дело и с эвакуацией раненых. Соколовский в отчаянии: рано или поздно будет штурм, ему надо иметь побольше свободных мест. Как быть?

Приходится и мне подолгу с ними ломать голову в поисках выхода.

Часто ночью, прерывая краткий сон, то Петров, то Крылов спрашивают, что делается на фронте. Даже у этих мужественных, крепких людей нервы напряжены. Дело не только в ожидании штурма — шесть дней непрерывного воздействия авиации в таких масштабах тоже даром не проходят. Помня, что одна из целей противника — вымотать наши силы перед боем, стараемся держаться «режима», принуждаем себя спать.

Прочел по этому поводу дружескую нотацию товарищам из штабов дивизий и полков. Они тоже почти не спят. А у немцев по ночам все спокойно, только дежурные бросают в небо одну за другой осветительные ракеты. Интересно, как там спится? Думаю, не лучше нашего: ведь знают, что во время штурма из них не выживет по крайней мере каждый второй.

Бедняги саперы: им за ночь надо восстановить минные поля, уничтоженные дневными авиационными бомбардировками, положить сотни, тысячи противотанковых и противопехотных мин к рассвету, к часу возможного штурма.

Политотдел также весь на ногах. Происходит прием в партию, выдача партийных билетов. Идут партийные и комсомольские собрания, митинги. Лозунг один: Севастополь врагу не отдадим!

Утром 2 июня со всех сторон стали сообщать, что немцы начали артиллерийскую подготовку. Они ведут огонь по всему фронту.

Петров, Крылов и я — все мы трое принялись детально выяснять, какие места подвергаются самому интенсивному обстрелу, какой огонь. Надо же знать, где враг думает нанести главный удар. Как мы и ожидали, основную массу огня противник сосредоточил на Ялтинском и Бельбекском направлениях.

С 30-й батареи доносят, что по ним стреляют невиданными еще снарядами. При попадании одного снаряда треснул трехметровый бетон. Петров вызывает к аппарату командира батареи Александра и требует более точных данных.

Войскам дана команда быть готовыми к отражению штурма.

Прошел час, другой, третий, огонь не ослабевает. В артподготовке участвуют все калибры.

Четвертый час на исходе. И вдруг все смолкло.

Нигде не появилось ни одного вражеского солдата. Атака и не началась.

Звонит Александр. Говорит, что один снаряд из тех, о которых он докладывал, не разорвался. Но данные о снаряде вызывают недоумение: длина снаряда около двух метров, диаметр шестьсот пятнадцать миллиметров. Не верим. Не может быть. Александр требует к себе кого-нибудь из штаба. Едет Харлашкин. Через час он звонит, что действительно снаряд точно такой, как доложил Александр.

Теперь понятно, о каком новом оружии говорили пленные: огромная мортира со снарядом громадной пробивной силы! С батареи доносят, что найдены осколки снаряда, предположительно еще более крупного калибра, но достоверно утверждать нельзя.

Шлем специальное донесение в Москву, в Ставку, о применении немцами артиллерии невиданных калибров.

Некоторые офицеры и солдаты говорят, что видели этот снаряд в полете, но никто не думал, что он выпущен из пушки, думали — что-то вроде «скрипухи», большой реактивной мины.

После десяти часов, когда закончилась артиллерийская обработка нашего переднего края, а атака не началась, в воздухе вновь появились группы самолетов и начали бомбить прежние объекты. Это длилось до шестнадцати часов. Потом вновь заговорили пушки по всему тридцатикилометровому фронту. Основные направления подвергались особо ожесточенному обстрелу. Ну, думали мы, утром по каким-то причинам немцы не смогли начать атаку и перенесли ее на вечер; хотят измотать нас днем и использовать для штурма ночь.

По 30-й батарее снова начали бить этими сверхмощными снарядами. Выпустили пять-шесть безрезультатно и перестали.

Два часа шла эта адская стрельба и прекратилась так же внезапно, как началась. А немецкая пехота все продолжает сидеть в окопах, не высывая головы.

С наступлением темноты поднялась в воздух и наша авиация — У-2.

От аэродрома до линии фронта им лететь несколько минут, и мы видим, как с пулеметов льются трассирующие линии по расположению противника. Разрывов мелких бомб мы не слышим, но знаем, что их сбрасывают. Самолеты гуськом поднимаются, улетают, возвращаются и снова поднимаются в воздух. Прекрасная машина для ночных бомбардировок переднего края с близких дистанций! Некоторые самолеты за короткую июньскую ночь успевают сделать до десяти — двенадцати вылетов.

Артиллерийская атака (ее иначе и не назовешь) большого вреда нам не нанесла. Убитых почти нет. Разрушения исправляются быстро.

Удивляет поведение противника. Ну хоть бы вышли разведывательные группы. Нет, нигде ничего. Вот когда необходим «язык», чтобы раскрыть суть поведения противника. К сожалению, пока пленных нет.

Сколько же немцы выпустили снарядов и мин за сегодняшний день? По нашим данным, у них примерно 780 орудий полевой артиллерии. Сколько минометов, точно не знаем: ориентировочно до 800 штук. Наши артиллеристы определяют количество израсходованных за день снарядов в пределах 120—150 тысяч. Цифра убедительная. Калибры снарядов и мин от 81 миллиметра до 600.

Следующий день был точно такой же. Фашисты открыли ровно в 6.00 артиллерийский огонь. Четыре часа длилась канонада, то затихая, то усиливаясь. Но в отличие от вчерашнего дня огонь велся только по двум полосам — Ялтинской и Бельбекской; на остальных участках редкий — беспокоящий, как говорят немецкие артиллеристы, или методический, как говорят наши, — обстрел. Снова после десяти часов в воздух поднялась авиация, а в шестнадцать снова заговорили пушки. И штурма нет. Пехота сидит в окопах.

Сначала шесть дней работала только авиация, а теперь вот уже два дня к ней присоединилась артиллерия. Неужели немцы думают уничтожить нас огнем? Неужели рассчитывают взять Севастополь без боя живой силы, только артиллерийскими снарядами, минами и авиабомбами? Тогда это явный просчет Манштейна.

Среди солдат и офицеров — конечно, усталых, очень усталых — нет уныния или подавленности. Разговоры о новом методе подготовки штурма принимают почти академический характер. Был какой-то момент — у каждого свой, — когда нервное напряжение, казалось, достигало предела, а потом незаметно нервная система как-то уравнивалась. То, что должно было, по замыслу «психологов немецкой школы», стать невыносимым, превратилось в своего рода быт, правда, очень нежелательный, неудобный. Чем это объяснить? Может быть, здесь вступил в дей-

стве какой-то другой психологический закон, который не приняли в расчет немцы? Не знаю. Со своей стороны, я думаю, что нам помогает все перенести наша решимость отстоять от фашистов нашу родину хотя бы ценой жизни, уверенность, рожденная успешным отражением всех предыдущих попыток взять Севастополь, гордость своим знаменем, своей принадлежностью к воинским частям, заслужившим почет, и дружеская спайка, которая перешла за эти месяцы в Севастополе в чувство кровного родства.

Итак, несмотря на все, в войсках и штабах работают, отдыхают, живут...

Штаб артиллерии во главе с начальником штаба Васильевым занят выяснением применяемых в артиллерийском нападении калибров. Вот принесли донную часть снаряда калибра свыше трехсот миллиметров, есть и двести миллиметров с лишним — кажется, двести десять. Рыжи говорит, что немцы применяют для стрельбы по нашей полевой обороне осадную артиллерию, предназначенную для уничтожения крепостных сооружений. Огромные чудовища продолжают вести огонь по Александру. Сегодня опять один такой снаряд не разорвался. Лежит эта машина возле батарей, смельчаки садятся на нее верхом. Нас интересует, сколько выстрелов может выдержать ствол такого орудия. Морские артиллеристы — бесспорные знатоки — утверждают: не больше тридцати—тридцати пяти, потом необходима замена ствола. Сделано за два дня шестнадцать выстрелов. Значит, осталось мало. Пока, кроме трещины в бетоне при одном прямом попадании, батареи не причинено никаких повреждений. Может быть, так будет до конца.

Вечером получили из Москвы запрос: не ошиблись ли мы в определении калибра невиданной пушки. Петров приказал сфотографировать снаряд, а чтобы было наглядно, поставить рядом человека. Завтра это проделают. Пусть тогда убедятся, что мы не «порем панику», не «ошибаемся».

Это не «берта», обстреливавшая Париж в первую войну. «Берта» калибром меньше — четыреста двадцать миллиметров, — но она имела большую дальность. У этого орудия дальность, видимо, значительно меньше и меньше начальная скорость, иначе разве могли бы видеть снаряд в полете из Дуванкоя? Дано задание нашей авиации ночью поработать над Дуванкоем.

Москве, все-таки не верящей нашим донесениям, 4 июля послали морем фото. Снимки сделаны во всех положениях и измерениях. Солдат обнимает снаряд. Солдат пытается поднятой рукой достать вершину снаряда...

Начался день. Как будильник, вражеская артиллерия бьет ровно в 6.00.

Третий день одно и то же. Залпы и разрывы сливаются в один гул. Фонтаны земли и щебня в местах падения снарядов. Все сидят в укрытиях.

Обрабатываемые артиллерией прямоугольники составляют, как это теперь видно в натуре, примерно до двух километров по фронту и до четырех в глубину. Бьют по траншеям, огневым точкам, расположенным в этих прямоугольниках. Очищают путь пехоте. Особенно достается 172-й и 388-й дивизиям, расположенным в этих прямоугольниках. Со седем и справа и слева почти ничего не попадает.

Потери по-прежнему невелики, но нашу пехоту и саперов очень утомляет еженощный сизифов труд по восстановлению оборонительных рубежей: то, что за ночь мы восстанавливаем, немцы днем разрушают, и это длится с 27 мая.

По подсчетам наших артиллеристов, немцы выпустили за эти три дня до четырехсот тысяч снарядов и мин, до двадцати тысяч тонн металла, минимум двадцать железнодорожных эшелонов — почти все по площади в шестнадцать квадратных километров, больше тысячи тонн на квадратный километр!

Батарея Александера, получив еще одну положенную порцию снарядов-великанов, не пострадала. Но снаряд трехсотсорокатимиллиметрового калибра прямым попаданием покорежил ствол одного берегового орудия, принимаются меры к его замене.

Мы отвечаем вяло. У нас нет снарядов, чтобы вести артиллерийскую дуэль. Они нам будут нужны, когда противник начнет штурмовать. А сейчас что? Ну, выведем из строя пару батарей, что от этого изменится? Ничего.

Снаряды больше всего пригодятся для борьбы с танками. У нас нет самоходных установок, а восемнадцать танков «матильда» и еще двадцать разных машин устарелых систем вряд ли смогут оказать сильное противодействие немецким танкам, если они пойдут на штурм.

В море немцы преследуют самолетами каждое судно. День большой, им раздолье. Потопили еще несколько наших судов. Каких — не знаю...

Во что бы то ни стало надо достать «языка». Взявшим пленного Петров обещает награды. Но и без этого разведчики прилагают все силы, всем хочется знать: что думают предпринять немцы, какие у них силы, когда начнется штурм?

Прошел еще день — 5 июня, — кратко говоря, повторение вчерашнего. Четыре дня одно и то же «меню».

Наша авиация прошлую ночь обрабатывала Бельбекские сады и район Камышлы. Там было замечено движение автомашин, немцы ночью даже не маскируют фары. По донесениям летчиков, налет был удачным. Хочется им верить, тем более что для проверки у нас теперь средств нет.

То, что замечено усиленное автодвижение, заставляет предполагать подвоз пехоты. Не начнут ли с утра штурм? Хотя для штурма надо дать солдатам время посмотреть перед собой местность, у нас же керченская степь, а горы. Да и вывести к переднему краю — на это тоже необходимо время. Пожалуй, завтра штурм не начнут. Не успеют.

Садовников совсем запутался в подсчетах для сводки в Москву. Сидели битых два часа, пока вместе распутали. Его сводки насыщены событиями, как никогда, и вместо одной странички с трудом укладываются в три. Работа шифровальщикам и радистам!

Долго разговаривал с Николаем Ивановичем о прогнозе событий. Как ясно он все излагает, просто приятно слушать, хотя наиболее вероятные варианты различаются лишь тем, какой урон мы сможем нанести врагу, а что до нас, то...

Потом зашел Хамадан. Я дал ему почитать сводки, и он делал свои заметки. Сколько у него блокнотов! Неужели у всех писателей и журналистов столько записных книжек, неужели они все заносят туда? Я думал раньше, что писатель берет какой-либо факт и примысливает к нему все остальное, чтобы получился роман, или повесть, или рассказ. Но на Хамадане убеждаюсь, что это совсем не так делается. Необходим солидный подсобный материал, а для него бесчисленные записные книжки, куда заносится всякая мелочь, всякое обратившее на себя внимание слово.

Часам к десяти вечера по сложившемуся неписаному распорядку ко мне заходят все, кто перед этим был с докладом у Петрова. Обычно это Ермилов, Соколовский, Максимов, наш «АБТМВ» (то есть начальник службы автоброневых, танковых и моторизованных войск; его в шутку именуют «абвгд») и армейский инженер. Они посвящают меня в свои

дела. Потапов—разведчик, тот бывает и утром и вечером. Чуть что новое появится у него, он сразу же звонит мне, и случается, что я докладываю Крылову и Петрову раньше, чем приходит он. Начальник оперативного отдела обязан всегда знать, что делается в армии, и быть готовым ответить на любой вопрос командарма или начальника штаба вне зависимости от того, касается ли это боевых действий войск, службы тыла или медицинского обеспечения, связи или инженерных войск.

Ермилов крайне обеспокоен. Подвоз еще сократился. Наши запасы уменьшаются с каждым днем, особенно боеприпасы. Хорошо еще, что введен жесткий режим огня.

Шестого июня только начинало светать, как я выехал на ЗКП — он остался на прежнем месте, в балке Сухарной. Ожидаем, что сегодня начнется штурм. На переднем крае немцев замечено оживление. Местами слышен шум моторов. Это, конечно, подходят танки.

Будет ли предшествовать штурму длительная артподготовка или немцы ограничатся коротким артогнем?

Время приближается к шести утра. Сегодня пятый день с начала артиллерийской обработки наших позиций противником.

Ровно в шесть артиллерия открыла огонь.

Стою у входа в блиндаж и прислушиваюсь к тому, что делается на переднем крае: если заработают пулеметы и винтовки — значит, начался штурм. Но, кроме разрывов, ничего не слышно.

Богданов открыл огонь. Это по вновь поднявшемуся аэростату. Сделал несколько залпов и затих. Приказываю Харлашкину выяснить. Тот быстро связывается и докладывает:

— Прямое попадание.

— Куда?

— В аэростат.— И улыбаясь, добавляет: — Вспыхнул в воздухе.

Удача! Лишили немцев возможности корректировать огонь артиллерийского титана.

По батарее Александра уже выпущено более сорока шестисотпятнадцатимиллиметровых снарядов. Или артиллеристы ошиблись в количестве снарядов, которое способно выдержать это орудие, или у противника оно не одно. Вероятнее последнее.

В десять артогонь прекратился и его место заняла авиация.

Штурм снова нет.

Обзваниваю штабы дивизии. У них не наблюдается ничего, что говорило бы о предстоящей атаке. Только Пустовит докладывает, что боевое охранение заметило большую насыщенность траншей противника живой силой.

Заработали усиленно наши снайперы. Видимо, в немецких траншеях появились новые войска, незнакомые с работой наших снайперов, вот они и повели себя вольно. Жаль, Павличенко уехала в Москву.

В 16.00 снова начался артиллерийский огонь. Цели прежние.

Перед концом обстрела кое-где появились группы немцев. При поддержке артиллерии они пытались приблизиться к нашему боевому охранению, но были отбиты с потерями. Мы расценили эти попытки как прощупывание наших позиций: не бросили ли мы их? Нет, не бросили и не бросим!

Мы готовим сильные разведывательные группы для захвата пленных. Может быть, на поле лежат раненые. Мы не даем немцам приблизиться даже к убитым. Нам нужно завладеть их документами, по ним мы тоже многое можем выяснить.

Вечером позвонил Крылов и сказал, чтобы я вернулся в штаб к двадцати четырем часам.

Скоро ехать. Пока сижу и записываю, что успею, о том, что случилось за день.

Это надо записать сейчас же, чтобы не упустить.

Не успел войти в штольню КП, как дежурный закричал, чтобы я немедленно шел к Крылову. Николай Иванович что-то быстро писал. Закончив, он отдал Садовникову, стоявшему тут же, и сказал:

— Немедленно передайте лично начальникам штабов дивизий.

Садовников быстро вышел.

— Хорошо, что приехали, — сказал мне Крылов. — Важные новости. Захвачен пленный в третьем секторе. Завтра, то есть уже сегодня, в четыре ноль-ноль немцы начнут штурм. На Бельбекском направлении действуют две дивизии — пятидесятая и еще одна, номера пленный не знает. В тот же час начнут атаковать войска вдоль Ялтинского шоссе и еще где-то, где и сколько — он не знает. У пленного была записная книжка, там записано: «Двадцать седьмого мая авиация, второго июня артиллерия, седьмого июня атака». Садитесь сами на телефон и проверяйте, готовы ли войска.

Крылову не удалось и глаз сомкнуть. Весь штаб бодрствовал. Приближалось время штурма. И вот началось.

После небольшого артиллерийского налета фашисты повели одновременную атаку по всему фронту. Но уже через полчаса стало совершенно ясным, что главные усилия их все же направлены на те полосы, что обрабатывались в течение стольких дней авиацией и артиллерией. Густые цепи, сбив наше боевое охранение, лезли к переднему краю и на Ялтинском шоссе, и в Бельбекской долине. Пехоту сопровождали танки.

Первую атаку мы отбили огнем. Перед нами остались ряды трупов и несколько подбитых танков.

Но немцы откатились ненадолго. Снова бешеный огонь орудий, налет авиации и густые цепи в движении. Наши пулеметы стреляют длинными очередями. Минометы посылают мину за миной, артиллеристы едва успевают подавать снаряды.

Противник ворвался в окопы Ласкина, но был отброшен смелой контратакой. Отбивается атака за атакой и на Ялтинском направлении. Чапаевцы и Горпищенко отбросили горных стрелков от Сахарной головки. Потапов сбил прорвавшихся из Камышлы.

Но наши ряды редеют. Вводятся в бой резервы дивизий.

К часу дня немцы отошли на исходные позиции. Часть их залегла перед нашим передним краем, и их уничтожают гранатами.

Передышка.

Видно было, как противник подводит свежие силы из глубины. Наша артиллерия перенесла огонь туда. Кое-где захватили пленных, идет спешный допрос. Против Ласкина 50-я и 22-я дивизии. Против 388-й дивизии — 24-я альпийская и еще одна, не установленная.

Часа в три дня снова начался штурм, атака за атакой. Отдельные танки ворвались на наш передний край, но, подбитые, остались на месте.

Наступившая ночь прекратила это взаимное уничтожение. Наши позиции остались за нами, потеряны лишь линии боевого охранения.

Немцы не останутся на полдороге. Всю ночь готовимся к завтрашнему дню. Не только отводить подразделения на отдых, но даже установить какое-то определенное время для отдыха на позициях было невозможно — спали как кому удастся, в очередях, в перерывах между работой. Подвозили и подносили боеприпасы, эвакуировали в медсанбаты и госпиталь раненых, захороняли убитых. Наши потери в первый день штурма огромны — до двух тысяч человек. Но потери противника еще

больше: по приблизительному подсчету лежащих перед траншеями трупов, надо полагать, одних убитых свыше трех тысяч. А сколько раненых?..

Доносим в Москву о результатах первого дня: враг, потеряв огромное количество живой силы, нигде не проник в нашу оборону.

Многое важно было бы записать об этом дне. Сколько прекрасных боевых эпизодов! Но нет времени. И это записываю в перерывах между звонками, пользуясь тем, что Петров и Крылов вздремнули.

Крылов и Петров встали в половине пятого. Доложил им все, что было за короткую ночь. После завтрака отослали отдохнуть и меня. Все звонки переключены на Крылова.

Около восьми меня разбудили. На фронте шел бой. Приступ немцы начали в семь утра. Первая атака отбита. Пока все на месте. Ворвались было в траншею к Ласкину, но подоспевший резерв выбил их штыками. Батальон чапаевцев успешно контратаковал у Сахарной головки. Сейчас идут атаки в районе Итальянского кладбища, исход еще неизвестен. Прорваться к Федюхиным высотам противнику не удастся. Авиация бомбит Сапун-Гору и кордон Мекензия. Дороги патрулируются немецкими самолетами.

Наши штурмовики все время в работе. Один ИЛ подбит.

Сколько у немцев танков? Сегодня больше, чем вчера. Мы их бьем, а их прибавляется...

Новая атака началась около одиннадцати, и все на Ласкина. Капитохин ему помогает отбиваться слева, а 79-я бригада Потапова справа. Снова бой в траншеях. Рукопашные схватки следуют одна за другой.

Отбиты и эти атаки.

Атака на Балаклаву встретила сильный ответный удар Рубцова. Немцы бежали.

В сражение втянулась 345-я дивизия Гузя. Ее поставили на участке Ласкина.

Жидилов с бригадой на Сапун-Горе. Его направление Ялтинское, но здесь нажим слабее.

Чувствуется, что Ялтинское направление вспомогательное, а главное — Бельбекское. Здесь немцы ввели с утра свежую дивизию. Всего, по нашим подсчетам, ими введено в бой уже около семи-восьми дивизий, и все же сегодняшние атаки не принесли им никакого успеха.

Пленные показывают, что и 132-я и 50-я дивизии немцев разгромлены полностью, до одной трети потеряла 24-я дивизия, большие потери и у остальных. В людях немецкие потери достигают за два дня боя двадцати тысяч.

У нас медсанбаты переполнены, свыше четырех тысяч раненых уже поступило за эти два дня. Раненые морских бригад поступают в морской госпиталь — их тоже до тысячи.

Огромны потери в командном составе, и резерва для восполнения убыли командиров у нас нет; младшие командиры становятся на взводы и даже роты.

Прямым попаданием в пулеметное гнездо вражеской мины был убит лучший пулеметчик, заменивший Нину Онилову, — Карпов. Он был смертельно ранен и скончался по дороге в медсанбат.

К вечеру почувствовалось, что немцы устали. Последняя атака, начавшаяся часов в семь вечера, шла вяло и была легко отбита огнем.

Когда к ночи все затихло и войска начали приводить себя в готовность на завтра, мы, штабные, составили — на основе данных, полученных за два дня боев, — таблицу соотношения сил.

Немцы могут получать пополнение, а мы нет. Отдел комплектования в который раз «прочесывает» тыловые подразделения, чтобы пополнить

убыль в войсках. Боеприпасы у них есть в огромном количестве, наши запасы очень ограничены. Соотношение сил в технике: у них 780 артиллерийских орудий — у нас 386; у них 356 танков — у нас 18; у них до 600 самолетов — у нас 54.

Единственная наша надежда — на стойкость и мужество наших солдат, воинское умение наших командиров, их самоотверженность в борьбе за родину, за свои семьи, за народ.

Таковы итоги первых двух дней штурма.

Вот чего не ждали: 9 июня немцы прекратили атаки. Залечивают раны.

Никто, конечно, не верит, чтобы они отказались от продолжения штурма. Все спешат использовать перерыв, чтобы отдохнуть, подвезти резервы, исправить повреждения в оборонительных сооружениях и быть готовыми к отражению нового штурма.

Теперь мы — Отдельная армия. Лучше поздно, чем никогда, как по старому анекдоту.

Ночью передала свои данные разведка. Сведения настолько необычные, что невозможно им верить. Манштейн якобы обратился к Гитлеру с просьбой разрешить ему прекратить штурм Севастополя, так как два дня безрезультатного штурма вывели из строя полностью три дивизии, и он считает целесообразным вновь перейти к осаде. Верно то, что немецкие тылы забиты ранеными. Вереницы перевозящих раненых автомашин движутся на Симферополь. Может быть, сведения о просьбе Манштейна все-таки верны?..¹

Наша «мелкокалиберная» авиация всю короткую июньскую ночь засыпает противника пулеметным огнем и мелкими осколочными бомбами, не неся потерь: она по-своему неуязвима — самолеты возвращаются с пробитыми фюзеляжами и плоскостями, но полетов не прекращают. От аэродрома до передовой пятнадцать—двадцать километров, а на Балаклавском направлении и того меньше.

Побывал в частях. Всюду идет упорная работа. Солдаты с упоением рассказывают, как они отражали натиск врага. Но как поредели наши боевые порядки!

Штабы сбились с ног.

Поздно вечером Петров утверждал представления к наградам. Утром в войсках будут читать приказ о награждении отличившихся. Это дополнительное стимул к стойкости, к самоотверженной борьбе. Даже самому скромному, нетщеславному человеку хочется почувствовать, что его боевой труд не остался незамеченным, что о нем, ежеминутно стоящем перед лицом смерти, помнят другие люди.

С Крыловым работаю над организацией второго рубежа обороны, на всякий случай. Правда, этот рубеж есть уже, но надо уточнить детали с учетом ярко вырисовывавшихся направлений штурмов. Саперы по нашим заданиям производят минирование. Армейский инженер жалуется, что мин маловато.

Самолеты сбрасывают нам боеприпасы на парашютах, затем садятся и берут раненых. Семьдесят—восемьдесят человек — вот все, что они могут поднять. Один рейс за ночь.

Сводки аккуратно идут морем и самолетами в Краснодар. Когда удастся связаться по радио с Москвой, передаем шифровкой и туда.

¹ В своей книге «Утерянные победы» Манштейн пишет, что, узнав о больших потерях, Гитлер приказал прекратить штурм, но Манштейн якобы сам настоял перед Гитлером о продолжении штурма.

День 10 июня начался артогнем: вражеская артиллерия с утра громила наши позиции. Ожидали атаки, но только румыны поднялись в весьма вялую атаку против Сахарной головки. Неужели Манштейн действительно отказался от штурма и Гитлер с ним согласился?

Наши бойцы отдохнули. Сводка в Краснодар: «Без особых событий». Отдохнули и офицеры штаба.

Но вечером разведчики сообщили, что по Симферопольскому шоссе усилилось движение автотранспорта, колонна за колонной движется к Бельбеку и рассредоточиваются в садах. Даем задание авиации ночью произвести налет.

Что бы это могло значить? Подтягивают немцы резервы или смеяют бывшие в боях части свежими?

Разведка начала ночную работу. Ждем результатов. Из 79-й бригады Потапова докладывают, что после налета авиации на сады там слышен беспорядочный шум, доносятся крики. Ведь это недалеко от переднего края бригады, за горой...

Вернее всего, это подвозятся новые части.

Утро покажет, что задумал противник. Будем ждать. Если новый штурм — мы готовы; но лучше бы просто смена войск, без штурма...

Передышка кончилась. Противник начал новый штурм, введя свежие силы. К вечеру немцам удалось удержать часть первой траншеи у высоты 64,4. Это на участке Ласкина. Наши контратаковали. До самой темноты дрались за этот отрезок траншеи. Но нам не хватало сил. Так и осталась траншея за противником. Первая неудача.

Траншею немцы взяли только потому, что там не осталось в живых ни одного защитника.

Допрашиваем пленных. Твердят в один голос, что вчера им читали приказ: во что бы то ни стало взять Севастополь. Подошла новая дивизия откуда-то из-под Брянска, переброшенная автотранспортом. Наша авиация ночью нанесла большое поражение одному полку этой дивизии, расположившемуся открыто в садах.

Больше писать некогда.

Прошло три дня. Только сегодня, в ночь на 14 июня, выдалось несколько свободных минут, и я делаю заметки.

Ужасные дни. Немцы понемногу теснят нас на Северной стороне. За три дня непрерывных боев они овладели двумя траншеями Ласкина.

Капитохин вынужден загнуть свой правый фланг. Несколько танков противника прорвалось к штабу Ласкина. Зенитная батарея Воробьева прямой наводкой подбила четыре танка, остальные ушли. Сидевшая на танках пехота уничтожена. В уничтожении ее принимал участие весь штаб во главе с Ласкиным. Ранен Пустовит. Все, что можно было, мы бросили на помощь Ласкину. Дальше второй траншеи немцев не пустили.

Чапаевцы по-прежнему не подпускают румын к Сахарной головке. Скутельников уничтожил немцев, перебравшихся через Черную речку. Монахов громит альпийских стрелков возле Камаров и Итальянского кладбища. Ему помогает Новиков.

Нет у нас больше резервов. Они введены с утра 11-го. Втянулась в бой и 138-я стрелковая бригада, прибывшая из Новороссийска.

Артиллеристы просят снарядов. Даем немного — подвоза нет, разве можно брать во внимание те крохи, что доставляют семь самолетов, подвозят небольшие корабли, подводные лодки, ежеминутно рискуя быть сбитыми, пущенными на дно?

ИЛов осталось два, остальные сбиты. Наша авиация штурмует толь-

ко ночью. Днем ей подняться в воздух немисливо, будет сразу уничтожена.

Среди подбитых нами танков оказался КВ из-под Керчи. Чтобы Москва поверила, сфотографировали танк. У себя-то мы КВ и не видели.

Бронепоезд ведет огонь накоротке. Немцы следят за ним, и ему приходится прятаться в тоннеле.

Богданов жалуется: будь вдоволь снарядов, он бы уничтожил немцев перед Ласкиным.

Плохо, что нет участка, где бы немцы не штурмовали и за счет которого мы могли бы усилить и Ласкина и Гузя.

Наши потери достигают десяти тысяч. Медсанбаты и госпиталь переполнены. Эвакуируем на самолетах и подводных лодках сто—сто пятьдесят человек в сутки.

Немцы все время вводят свежие войска. А мы... Где-то в Новороссийске или в Туапсе готовится для нас бригада морской пехоты. Почему опаздывает?

Петров все время на Северной стороне. Чаще всего его можно найти у Потапова. На свой КП заскочит вечером на часок и снова туда. Это и понятно. Там решается судьба Севастополя.

Остальной фронт под непрерывным наблюдением Крылова.

Спим урывками. Все исхудали, побледили. У нас в штарме не услышишь смеха и даже громкого говора. Солдатам в частях тяжелых всех, но они как-то веселее — шутят, подтрунивают друг над другом.

Мы вынуждены оттянуть Капитохина, чтобы выровнять его позицию с Ласкиным. Немцы стремятся прорвать фронт здесь, чтобы отрезать наш левый фланг. Но пока им удается лишь вдавливать линию, а прорыва не получается. Как всегда, немцы немного продвигаются вперед только там, где не остается ни одного защитника. За десять дней кровопролитнейших боев они овладели территорией, лишь немного большей километра в глубину.

Но атаки с каждым днем настойчивее. Пять, шесть, а иногда и восемь атак за день, все с танками. И нет у нас силы для контрудара. Мы не можем, не имеем права вести артиллерийский огонь с полным напряжением. Нам никто не даст завтра снарядов, если мы их сегодня израсходуем.

Каждая атака заканчивается рукопашным боем. Штык становится главным оружием в отражении атак.

Наши бойцы дерутся с остервенением. Легко раненные, если они еще способны носить оружие, остаются в строю.

Хоть бы день передышки. Немцы не дают его.

На Ялтинском направлении противник окончательно закрепил за собой Итальянское кладбище. Здесь мы отошли на вторую траншею.

По-прежнему удерживаем Сахарную головку.

В тылах остались только повара. Ездовые, писаря, прочие тыловики — все в строю.

За короткую июньскую ночь многого не сделаешь. Едва успеваем привести себя в готовность к новым атакам, к новому бою. Скорей бы пришла обещанная бригада.

Семнадцатого июня танки снова прорвались к Мекензийскому кордону № 2. Их отбили. Несколько штук осталось гореть.

Погиб Харлашкин. Он был в это время в 95-й дивизии и, когда услышал о прорыве танков, взял противотанковое ружье и пошел навстречу: Из-за каменной изгороди начал вести огонь по танкам. Подбил два танка, но и его сразил осколок снаряда. Бывшие рядом товарищи рассказывают, что он в последние минуты боя, посылая пулю за пулей, запел

во весь голос свою любимую песенку: «У меня есть сердце». Похоронили мы его в Херсонесе. Кончилась жизнь еще одного прекрасного товарища.

Немцы жмут немилосердно, сменяя свои дивизии, а наши уставшие бойцы дерутся без смены, без отдыха. Ничего не поделаешь.

Как жалко, что мы не можем ставить заградительных огней. Отовсюду слышны просьбы, мольбы: снарядов, мин! По подсчетам артиллеристов, нам необходим ежедневный подвоз не менее шестисот тонн боеприпасов, а мы получаем сто сорок — пятьдесят.

Москва все это знает, но ничем не может помочь. Нечем перебросить.

Выводимая из строя материальная часть артиллерии не заменяется. Все меньше становится и пушек и гаубиц. Александер уже на переднем крае. У него осталось одно орудие. Матросы-батареи вместе с бойцами и командирами 90-го полка не раз отражали личным оружием попытки немцев захватить батарею, поднимаясь на поверхность из потеров.

Противник начинает атаковать и по ночам. На участке 345-й дивизии — остатков этой дивизии — было несколько ночных атак. Все отбиты. Отбиты атаки и у Горпищенко.

Коломиец доносит, что в батальоне, обороняющем Сахарную гоньку, не больше восьмидесяти человек. Усилить батальон нечем.

Бои идут за Инкерманский маяк. Немцы рвутся к Инкерману, чтобы отрезать всю Северную сторону. На Ялтинском направлении враг стремится прорваться к Федюхиным высотам и к Сапун-Горе.

Кольцо сжимается.

Девятнадцатое июня. Дела у нас все хуже. Половина Северной стороны в руках противника.

Капитохин, Потапов, остатки дивизии Ласкина сдерживают немцев. Гузь и Коломиец не дают врагу спуститься в Инкерманскую долину.

Линия обороны сокращена, но все равно остается жидкой, очень жидкой. Силы тают с каждым днем.

Вечером Петров созвал командиров в «демике Потапова» — в дорожной будке, где был штаб Потапова. Поехали туда и мы с Крыловым. Попали под сильный минометный огонь, противник довольно точно бил по шоссе, а свернуть некуда. Покуда добирались, Петров совещание закончил. Хоть возвратились вместе.

На совещании шла речь о мерах на случай, если противнику удастся отрезать Капитохина и Ласкина. Намечен был рубеж: он включал Братское кладбище и шел к морю севернее Константиновской батареи. Штаб Капитохина — в Константиновской батарее, куда через бухту дадим связь.

Вчера был в дивизии Гузя. Его штаб в штольнях у Сухарной балки. Проверял вместе с ним новый рубеж и попал в ночную атаку немцев. Они пробирались среди мелкоколосья к нашим окопам и открывали беспорядочный автоматный огонь. Цель — вызвать панику и, разумеется, воспользоваться ею. Но атака сорвалась.

Уже собрался уезжать, когда привели пленного. Это артиллерийский корректировщик, захваченный в тылу наших позиций. У него была портативная радиостанция. Возможно, такие корректировщики находятся еще где-либо. Они, пользуясь сумятицей ночных атак, пробираются к нам в тыл и работают во время дневного боя.

Доложил об этом Крылову. Было дано распоряжение тщательно прочесать тылы.

В штабе нет отбоя от разных армейских чинов, бегающих в отдел узнать, что нового. Появляются в отделе и прокурор, и председатель трибунала, и смершевцы. Раньше мы их и не видели.

Был Хамадан. Ему мы предложили улететь, но он хочет остаться еще на два-три дня.

Садовников тщательно упаковал подлинные оперативные документы штаба, чтобы вручить их Хамадану в день его отъезда. Мы доверяем ему доставить их в Москву. Из нас же никто не имеет права покинуть Севастополь, пока можно обороняться. Один он волен уехать или остаться, у меня для него лежит готовый пропуск на самолет.

Бои, бои, бои. На всем фронте с утра атаки — немецкую пехоту поддерживают танки, артиллерийский огонь и самолеты.

Прибыла 142-я стрелковая бригада, доставленная в Севастополь надводным морским транспортом.

Наши войска с трудом отбивают противника. Чуть захлебнется атака, как на нас немедленно обрушивается шквал огня — пять, десять, пятнадцать минут. И снова атака. Нелегко это выдержать, но выдерживаем.

Немцы бросают тысячи и тысячи листовок с самолетов, кричат в рупора и громкоговорители. Но именно сейчас, когда положение близко к безнадежному, у нас нет ни одного случая добровольной сдачи в плен.

Уже до полсотни тысяч своих солдат и офицеров положил враг, но нигде не вышел к бухте.

Жаль, не пришла к нам вовремя 142-я бригада, мы сумели бы нанести сильный удар контратакой на Мекензиевых Горах, когда у нас складывалась для этого благоприятная обстановка. А теперь придется посадить ее в оборону, больше ничего не остается.

За день боя немцам удалось продвинуться вглубь по всему фронту до километра, то есть до следующей траншеи. С каждым днем все тяжелее отстаивать нашу землю.

Танков у нас больше нет. Вышла из строя треть артиллерийских орудий. Пока еще действует бронепоезд, но его маневренность ограничена донельзя.

Винтовка и штык!

·Быть может, и немцы выдохнутся тоже? Нет. Разведчики докладывают, что Манштейн получает еще подкрепления с материка. К нему идут пехота и танки.

Мне позвонил начальник отдела кадров и спросил, есть ли у меня брат. Я сказал, что есть.

— Петр Игнатьевич? — спросил он.

— Да, — отвечаю, — а в чем дело?

— Передо мной лежит наградной лист, составленный на заместителя командира саперного батальона 345-й дивизии Ковтуна Петра Игнатьевича. И я поинтересовался, не брат ли.

Попросил вызвать его ко мне завтра ночью. А сам думаю: возможно ли такое совпадение? Фамилия, имя, отчество... Брат старше меня на четыре года. Если это он, то почему молчал? Ведь 345-я дивизия у нас с декабря прошлого года, а я достаточно известен среди командиров. Не может быть, чтобы он обо мне не знал или не захотел меня увидеть, если это действительно он. Буду ждать.

Хамадана снова не пришлось отправить. Не хочет ехать; еще два-три дня останусь, говорит, а там уеду.

Противник сжал оборону Капитохина. Взяв Братское кладбище, повел огонь прямой наводкой по Константиновской батарее. У Капитохина нет сил дальше обороняться. Все, что у него осталось, сосредоточено

вокруг батареи. Ему был дан приказ — с наступлением темноты присоединиться к нам. В ночь на 23-е остатки 95-й дивизии переправились через бухту на Южную сторону.

К 24 июня вся Северная сторона в руках у немцев. Батарея Воробьева дралась до последнего. Пушки подорвали.

С Сахарной головки ушло восемнадцать человек — все, что осталось от батальона. Есть ли такая награда, которой бойцы этого батальона не были бы достойны за свою отвагу и беззаветную преданность Советской родине?

У Черной речки немцы подошли к последней траншее перед скатами Сапун-Горы. Только под Балаклавой позиция удерживается нами прочно. Здесь атаки немцев имеют скорее сковывающий характер — чтобы не позволить нам снять на другой участок войска. А нам и снимать нечего...

У нас свыше двенадцати тысяч раненых. Вместе с убитыми — это полностью две дивизии, если не больше.

Комбриг 142-й расклеился. Он все время твердит: а что же дальше? Он теряет веру в себя, в свое достоинство, забывает, что не принадлежит себе, что у него есть солдаты. Это очень скверно. Зато у его комиссара и командующего артиллерией есть вера. Поговорил с ними: не лучше ли заменить комбрига? Комиссар заверил, что это пройдет, что они сами помогут комбригу привести нервы в порядок. На том и порешили.

Вчера вечером в штаб прибыл мой однофамилец. Я работал, а он ожидал в коридоре. Мне никто не доложил, что он здесь.

Вдруг ко мне заходит Петров и говорит:

— Что ж это вы своего брата не зовете?

Выскакиваю в коридор. Там стоит капитан — действительно мой брат. Веду его к себе. Он представляется Петрову. Петров разговаривает с ним, а я продолжаю работать. После ухода Петрова даю брату свое белье и посылаю в душ. Разговор отложил до конца своей работы.

Николай Иванович — вот чуткий человек! — узнав от Петрова, что ко мне зашел брат, переключил всю связь на себя.

Мы долго разговаривали с братом о семьях, детях. Наконец я спросил:

— Ты же знал, что я здесь? Почему не позвонил или не передал мне, что ты рядом?

Брат ответил:

— Ты занимаешь в армии высокое положение, и я стеснялся. Подумали бы еще, что ишу у тебя покровительства.

Выругал его. Уложил спать. Пусть выспится — за эти дни саперу спать приходилось мало.

Оказывается, Петров говорил брату, чтобы он согласился идти в Чапаевскую дивизию заместителем командира. Об этом предложении Петрова брат вскользь сказал мне утром, когда уходил назад к своим саперам. В тот же день отдел кадров отзывал его для назначения на новую должность. Но Петров, подумав, дал новое приказание — отправить его на Большую землю.

Двадцать пятое июня. Ласкин так потрепан, что его дивизия не представляет уже реальной силы. Собственно, дивизии нет, есть еще какая-то горсточка солдат, сведенная не то в роту, не то во взвод. В других дивизиях осталось больше, но малю, очень мало людей — по триста — четырехста человек.

Теперь дерутся все. Командиры дивизий и те с оружием в руках водят своих людей в атаки, чтобы отбросить рвущихся к Сапун-Горе нем-

цев. Штабы обезлюдели, осталось по два-три офицера на весь штаб дивизии. Кто ранен, кто убит, кто заменил командира, выбывшего из строя...

Все прекрасно понимают, что наше сопротивление приходит к концу. Но никто нигде не говорит об этом ни слова. Все упорнее становится борьба. Наша цель — уничтожить побольше врагов.

Правда, еще теплится надежда, что немцы выдохнутся, потому что потери их очень велики, и мы сможем постепенно восстановить положение — нет, конечно, не полностью восстановить положение, но хотя бы удержаться. А там — мало ли как еще пойдут события?

Боеприпасы приходят к концу. С учетом подачи по воздуху и подводными лодками при сохранении нынешнего режима огня нам их едва-едва хватит на шесть-семь дней боя. Чем же драться дальше?

Двадцать восьмого июня положение становится трагическим. Этого уже никак не скроешь. Немцы, захватив берег Северной, через бухту ведут обстрел города.

Взяли немцы и последнюю траншею перед Сапун-Горой. Два дня дрались они за этот километр. Остатки защитников ушли на Сапун-Гору.

Не бежали, а ушли. Ушли спокойно, под самым носом немцев, которые были после боя в таком моральном истощении, что не смогли их преследовать. Мы еще нигде, ни разу не спасались бегством.

Фронт обороны стал совсем коротким, но сил очень и очень мало для того, чтобы прочно удерживать его.

Медсанбаты в Инкерманских штольнях под обстрелом. Они надежно защищены от огня толщей инкерманского камня, но противник к ним слишком близок. А куда вывозить раненых? Некуда.

Рядом с медсанбатами штаб 25-й Чапаевской. Там и мой Швецов. Малахов курган, как в первую оборону Севастополя, занимают моряки. Сейчас там почти исключительно моряки из береговой обороны (или морской пехоты), то есть отлично обученные действиям на суше и совмещающие это достоинство с другим, очень важным: матросской спайкой.

Атаки на Сапун-Гору нами отбиваются, мы здесь еще держимся. Но долго удержаться не сможем. Наш огонь слабеет. Все, что было из боеприпасов, отдано войскам. Самолеты сбрасывают доставляемые из Новороссийска снаряды прямо на огневые позиции нашей артиллерии. Но что это? Слезы одни...

Мы можем еще продержаться день-два.

Третье июля. Новороссийск. Тяжело. Очень тяжело. Но надо закончить свои записи. Сажу в номере гостиницы и пытаюсь восстановить все в памяти.

В ночь на 29 июня немцы переправили десант через Северную бухту в районе Инкермана. Противник оказался в тылу дерущихся на фронте войск. Инкерман взят. Начались бои в городе.

Прекратилась связь с Швецовым. Немцы — у штолен Шампанстроя. Штаб чапаевцев оттуда ушел, остались медсанбаты, не всех раненых успели перевезти в город. Ночью там был большой взрыв.

Пала Кадыковка.

Утром танки подошли к Южной бухте. Мы послали броневики, чтобы поддержать оборону штаба флота. Но и наш штаб оказался под угрозой. В городе шла борьба за каждый квартал.

На рассвете мы уехали на 35-ю багарею. Связь с войсками поддерживаем с трудом, только по радио.

Спросил Крылова: что будем делать дальше? Он ответил:

— Подороже продадим жизнь. По меньшей мере шесть за одного.

Днем подошел Курганов, командир 66-го артиллерийского полка, и задал вопрос:

— Что делать с пушками? Снарядов больше нет!

— Где пушки?

— Возле Казачьей бухты.

— Топи в бухте!

Вот все, что я мог ему сказать. Он ушел выполнять.

Доложил об этом Крылову. Он молча кивнул, утверждая мое решение.

Весь день тщетно пытался связаться с Москвой.

Мы теперь помещаемся вместе с Морским штабом.

К вечеру 30 июня возле 35-й батареи появились разрозненные группы наших солдат — главным образом артиллеристы. У них нет больше снарядов. Богданов и здесь был верен себе: организовал их в боевые группы и направлял в бой как пехоту. Еще держался Новиков, держались Коломиец, Потапов, Горпищенко. Остатки дивизий Гузя, Скутельникова дрались рядом с несколькими десятками чапаевцев. Бои не прекращались и ночью. Управлять таким боем было, конечно, уже невозможно.

Пришел Хамадан. Мы были удивлены, что он не улетел, но он объяснил, что уступил место раненому. Дал ему новый пропуск на самолет и предупредил, что это последние самолеты. Завтра их не будет. Он ушел. Теперь, в Новороссийске, я уже знаю, что среди эвакуированных по воздуху его нет. Значит, погиб. Хороший был человек, честный и храбрый коммунист.

Короткая ночь прошла быстро. Спать, конечно, никто не ложился.

Бои в городе продолжались. Продолжались и на Сапун-Горе.

Я пытался связаться с Москвой, сидя в окопчике, вырытом возле 35-й батареи. Вышел из потерны Петров с сыном Юрой. Сели на камни. Вдали показались немецкие танки, пробившиеся к городу со стороны Балаклавы. Петров склонил голову на руки.

Командиры собирали вокруг себя одиночных бойцов, пришедших на батарею, сколачивали группы и уходили с ними к городу, чтобы снова драться.

Бои шли у вокзала, в парке, на окраине со стороны Балаклавы. Линии фронта уже не было. Вели бои отдельные группы.

Танки противника устремились к городу по открытой для них Инкерманской дороге. К нам пока ни один не повернул.

Петров ушел в потерну батареи.

Мне удалось связаться с Москвой и принять шифровку. Отдал ее шифровальщикам, а сам снова пошел на рацию. Через несколько минут меня потребовали к Крылову.

Крылов что-то диктовал Садовникову. Увидев меня, он сказал:

— Москва приказывает штабам и командирам дивизий эвакуироваться. Оставляем одного командира дивизии с небольшим штабом для соединения разрозненных групп в одну часть и руководства их обороной в районе мыса Феолент до возможного подхода кораблей. Пойдем к Петрову.

Петров лежал в маленькой каморке на топчане. Когда мы вошли, он повернулся к нам с неммым вопросом. Крылов быстро доложил ему приказ Ставки. Он приказал вызвать командиров дивизий.

Я вышел выполнять распоряжение командарма. Уже стемнело.

Кое-как радисту удалось связаться с штабами 25-й и 95-й дивизий. Передал приказ. У входа в потерны скопилось много людей. Увидев

раненого Скутельникова, пригласил его к Петрову. Появился Новиков. Мои помощники разыскивали Капитохина и Гузя.

Крылов дал мне разрешение на самолет и сказал:

— Спешите, скоро прилетят последние машины.

Спрашиваю:

— А вы, а Петров?

— Мы останемся последними. Если удастся, уйдем на подводной лодке.

Заявил, что остаюсь с ними.

Юрий, сын Петрова, позвал нас к отцу. Петров, увидя меня, спросил, почему я не ушел на аэродром. Ответил ему, что останусь с ним до конца. Он ответил:

— Я иного от вас не ожидал.

Сели писать последний приказ — об эвакуации. Точнее, о том, кто остается здесь.

Начальником обороны оставлен был командир дивизии генерал Новиков, энергичный и, кажется, менее утомленный, чем другие. Ему поручалось организовать борьбу. С ним оставались Садовников, артиллеристы Гроссман, Курганов и Пискунов, комиссар 109-й дивизии Хацкелевич, Хомич, все офицеры 109-й дивизии... Увидим ли мы их?

Командирам дивизий вручили пропуска на самолеты. Они ушли.

Закончив все дела, мы приготовились отправиться к берегу для посадки на подводную лодку. Я взял свой чемоданчик, переоделся в гимнастерку, на которой прикреплен мой первый орден Красного Знамени, спрятал в карманы партийный билет и записные книжки. Моряк повел нас по потернам. То подымаясь, то опускаясь по бесчисленным лестницам, вышли на поверхность земли.

Звук боя все ближе и ближе.

Солдаты молча расступались перед Петровым. Петров шел ровно, по-военному, но лицо было убитое, голова тряслась. Мы спустились к берегу. Здесь была давка. У причала стояла моторная шхуна, пробивались к ней с трудом.

Уже взойдя на шхуну, увидели у причала Кабалука. Этот рослый, сильный человек помог Петрову пройти к шхуне, но сам остался, не успел.

Шхуна отвалила и пошла к подводной лодке. В море волна. Кое-как прыгнули с высокой палубы на лодку. Юрий не сразу решился прыгнуть. Петров взволнованно прикрикнул, и юноша повиновался. Проверили, все ли здесь. Не было генерала Рыжи. Она замешкался, остался на шхуне, а она отвалила обратно к берегу. Мы решили ждать — быть может, она еще подойдет. Но ее не видно было. Командир лодки обратился к Петрову за разрешением спуститься: близится рассвет и он боится, что лодку заметят и потопят. Стоявшая рядом вторая лодка уже погрузилась и ушла. Помедлив, Петров дал согласие. Ушли без Рыжи.

В лодке из приморцев находились Петров, Чухнов, Кузнецов, Крылов, Моргунов, комиссар береговой обороны Вершинин, Богомолов, я, еще два-три приморца и Юрий. Остальные — моряки. Безгинов, Скутельников, Капитохин, Гузь были уже вывезены по воздуху.

Переход был ужасен. Днем нас обнаружили и бомбили глубинными бомбами. Не хватало воздуха. Дышали через эвкалиптовые патроны. Добавляли кислород. Крылову было дурно. Только ночью поднялись на поверхность и продули лодку.

Второй день был таким же, и только на утро третьего дня мы вошли в Новороссийский порт.

Здесь мы узнали, что одновременно с нами из Севастополя было эвакуировано триста пятьдесят три человека. Мы узнали также, что в Бату-

ми пришла шхуна из Севастополя, на борту которой находится раненый генерал, его направили в госпиталь. Судя по описаниям — Рыжи. Кабальюк так и не дождался шхуны, она больше не вернулась к берегу — ушла в море и, держась Анатолийского побережья, достигла Батумского порта.

Петров уехал в Краснодар, к Буденному. Завтра едем туда и мы с Крыловым.

Издан последний приказ по армии. Остается подвести некоторые итоги.

Больше двухсот сорока дней дралась в изоляции, оторванная от всех других фронтов, связанная со своей далекой базой снабжения крайне ненадежной, подвергающейся непрерывным атакам коммуникацией Приморская армия, перемалываемая совместно с моряками Черноморского флота, летчиками и танкистами отборные части армии Манштейна.

Только когда замолчали наши пушки, когда почти не осталось способных держать оружие в руках, когда не стало хватать даже винтовочных патронов, когда нечем было подрывать фашистские танки, враг захватил Севастополь.

Пусть ликует враг на развалинах нашего чудесного приморского города, пытаюсь скрыть, какой ценой он за них заплатил, сколько немецких семей осиротело. Недолго продлится и это веселье на трупах. Мы нанесем такой удар, от которого затрепещет и расплзется весь Третий рейх с его новым порядком.

Сколько советских людей, сколько прекрасных товарищей сложили свои головы под Севастополем! Вечная память им. Мы отомстим за них, жестоко отомстим. Мы не сомневаемся в конечной победе нашей родины, за которую они отдали свои жизни.

Автор «Севастопольских дневников», генерал-майор в отставке Андрей Игнатьевич Ковтун, проживающий ныне в Симферополе, — родился в 1900 году на Черниговщине в крестьянской семье. Участвовал в гражданской войне. Потом был секретарем райкома партии, директором МТС, руководителем крупных лесных и рыбных хозяйств на Украине и на Дальнем Востоке. Одновременно заочно получил высшее биологическое образование. Незадолго до Отечественной войны вернулся на военную службу, участвовал в первых пограничных боях на Пруте. При обороне Одессы, в звании капитана, командовал разведротой, затем полком. В героических боях за Севастополь, будучи начальником оперативного отдела штаба Приморской армии Севастопольской обороны, А. И. Ковтун по совету писателя А. Хамадана, военного корреспондента «Правды», вел регулярные, почти ежедневные записи о событиях и людях. При подготовке к печати этих записей, заполнивших четыре толстых общих тетради, опущены некоторые неизбежные повторения и подробности специального военно-технического характера.



АХМЕД ЕРИКЕЕВ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

(С татарского)

..*

Где тонут березы в сугробе лесном,
О нас повествуют метели,
И звезды зовут нас, толпясь за окном,
Чтоб вместе мы ввысь полетели.
А думы проносятся, как поезда,
С метелью и звездной гурьбою...
Быть может, мечтает в саду резеда
Пустыню украсить собою.
Мечта — не тщета, а начало начал,
Как хлеб, и вода, и работа.
О, как бы наш мир потускнел, обнищал,
Не будь ни мечты, ни полета!

..*

Дворец, что стал искусств сосредоточьем,
Воздвиг не я — воздвиг другой,
Но честно восхищаюсь умным зодчим,
Полетом мысли колдовской.

Путем космическим, путем крылатым
Не я помчался, а другой,
Но я горжусь моим небесным братом,
Прославленным молвой людской.

Стихи, что быстро обрели удачу,
Сложил не я — сложил другой,
Но счастлив я, когда смеюсь и плачу,
Строку читая за строкой.

Тебя, единственную, дорогую,
Не я целую, а другой,
Но больно мне, я гневаюсь, тоскую,
Утратив счастье и покой.

Перевел Семек Липкин.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Н. РЫЛЕНКОВ

★

ВЕТЕР ВРЕМЕНИ

Исполнилось 1100 лет со времени первого упоминания в летописи имени Смоленска — одного из старейших городов русских.

Уже одиннадцать веков назад о нем говорилось, что он — «град велик и мног людьми».

Я не коренной горожанин, но вся моя судьба связана с этим древним и вечно молодым городом.

В предлагаемых вниманию читателей заметках мне хотелось рассказать не только о самом городе, но и о тех дорогах, которые привели меня к нему, о том, что пережил я в нем и в разлуке с ним в незабываемые для моего поколения годы.

Бывает так, что первые прочитанные, а то и просто перелистанные книги определяют интересы человека на всю жизнь.

Я теперь уже затрудняюсь с полной уверенностью сказать, откуда у нас в семье в годы моего детства появились сразу две книги об Отечественной войне 1812 года в Смоленской губернии.

Одна из них — роскошно изданный губернским земством, богато иллюстрированный том В. М. Вороновского — по всей вероятности, была получена моей второй сестрой при окончании земской школы, а окончила она ее как раз в 1912 году, когда в нашей губернии особенно широко праздновался столетний юбилей памятных событий.

Другую, скромную книжечку без картинок, составленную хранителем Смоленского музея В. И. Грачевым, как я теперь думаю, купил еще раньше отец.

Пока я не умел читать, меня, конечно, привлекала только книга Вороновского. Ведь там были портреты императоров — Александра и Наполеона, а также всех генералов — русских и французских.

Я бесконечно надоел сестрам, которые читали мне подписи под картинками, но довольно быстро запоминал всех героев в лицо и мог безошибочно сказать, кто чем командовал и где прославился.

Больше всех нравился мне Кутузов, изображенный верхом на серой лошади и с плеткой, напоминавшей своими кистями метлу. Несмотря на эполеты и ордена, вид у него был весьма простецкий, а бескозырная фуражка очень походила на бабий повойник. Может быть, именно поэтому я и принял плетку за метлу, которая мне казалась чем-то вроде фельдмаршальского жезла. И я готов был драться с сестрами, пытавшимися мне объяснить, что фельдмаршалу, князю Смоленскому, незачем было брать в руки метлу.

— Как это незачем? — доведенный до слез их упрямством кричал я. — А французов чем выметать из России? Ну чем? Вот и сразу видно,

что вы девки и ничего в войне не понимаете. Если не верите мне, давайте спросим у отца.

Но обращаться за разрешением споров со мной к отцу сестры никогда не решались, зная, что тот обязательно заступится за меня, найдёт мне оправдание.

А пока я рассматривал картинки в книге о давно минувшей войне и спорил о них с сестрами — началась настоящая война. Первая большая война на веку моего поколения. Деревня сразу посуровела и опустела. С ее околиц доносились уже не девичьи песни, а бабьи вопли. Провожая мобилизованных мужиков, матери и жены выли в голос, причитая, как по покойникам: «Да на кого ж ты нас, сирот, покидаешь...» От этих воплей у меня сжималось сердце, холодело в груди, и я начинал смутно понимать, что взаврадашняя война совсем не такое праздничное дело, как на картинках.

Подходило время обжинок и обмолокот, но праздновать их было некому. «Монопольку» в соседней деревне закрыли еще в первый день мобилизации, но запасливые бабы-шинкарки потихоньку торговали водкой, и плотник Сергей Митрушкин пел, проходя вечером мимо наших оков:

Скоро я шинель надену,
Мне работа не мила.
Не строгают мой рубанок,
Не пилит моя пила.

Мой отец после перенесенного еще в ранней юности жестокого воспаления легких был освобожден от действительной военной службы, но «белого билета», дающего «чистую отставку», все-таки не получил. Под первую мобилизацию он не попал по возрасту, а когда начали подбирать и его ровесников, стало ясно, что его тоже могут взять и послать если не в строй, то на какие-нибудь фронтовые работы. Не дожидаясь этого, он пошел работать в какую-то военную организацию, заготавливавшую в лесах под Рославлем болванки для ружейных прикладов, ложки. Дома он появлялся только раз в неделю, вечером в субботу, к бане. Приходил усталый, заросший, неразговорчивый. Только со мной был еще более ласков. Но и ласковость его была какая-то грустная, словно прощальная. Возьмет меня на колени и сидит, уткнувшись в газету, весь вечер.

У моего приятеля Фильки Прокопенка в это время откуда-то появилась спешно выпущенная в Петрограде книга «Вторая Отечественная война», и он начал сильно задаваться, похваляясь ею. Мне даже полистать не давал, только издали показывал.

— Ладно, не хвались, пожалуйста, — с гордым видом отвечал я. — Вот попрошу отца, и он купит мне в Рославле такую, а может, и лучше.

— Ну, это мы еще поглядим, — подсвистывал Филька, да еще и пугал меня: — Вот придут немцы и тебя обязательно зарежут.

— Почему ж это меня, а не тебя? — огрызался я.

— Потому, что я Филька, а ты Николай, царев тезка. Дед Прокоп говорит, что немцы всех Николаев под корень вырезают, чтоб и духу не осталось, а наши, если придут в Германию, всех Вильгельмов на штыках поднимут. Вот как.

Мне это показалось похожим на правду, и я несколько дней ходил сам не свой, придумывая: куда бы мне спрятаться, если в самом деле придут немцы? Когда я рассказал об этом отцу, он только покрутил усы и рассмеялся.

— В голод намрутся, а в войну наврутся. Ты скажи своему Фильке, что у его деда кривая голова.

В конце зимы отец простудился, а весной совсем бросил работать в лесу. Чуть окрепнув после болезни, он уехал в Бежицу, куда его уже давно звали работавшие там на военном заводе приятели.

В деревне подбирали последних мужиков. Пошли в ополчение со-рокапятiletние бородачи, за ними следом отправились на фронт их безусые двадцатилетние сыновья. Дома оставались только «бракованные» вроде моего дядьки Павла. Сухорукий и одноглазый, с покорябанным оспой лицом, он выглядел теперь первым красавцем и гоголем ходил перед солдатками, повторяя свое любимое присловье: «От кривого — вся тревога». Правда, покрасоваться ему пришлось недолго. Под Рославлем лес выбили, и заготовлять болванки для ружейных прикладов стали в соседней с нашей деревней казенной даче. У нас появились постояльцы и среди них немало молодых мужиков, которых Прокоп Дегтярное Брюхо почему-то называл «неблагонадежными». Что такое «неблагонадежные», он мне не объяснил, а я допытываться не стал, ожидая от него какого-нибудь подвоха, тем более что мой отец тоже совсем недавно работал в лесу. С их приходом в деревню зачистил стражник. Приезжал обыкновенно, когда их не было дома, ходил со старостой по хатам, расспрашивал о чем-то хозяек и недовольный уезжал.

В будние дни постояльцы пропадали в лесу с темна до темна, но зато по праздникам вся деревня стоном стонала от рева гармоник, от разухабистых песен.

Солдатки куролесили с постояльцами вовсю. Куролесили на виду у молчаливых свекровей, на глазах у сразу повзрослевших и все понимавших детей. Куролесили от беспросветного одиночества, от нестерпимой бабьей тоски, от ледящего душу предчувствия дурных вестей. И даже у ревнивых свекровей не хватало духу осуждать их. Но невесело звучали слова веселых песен, и судорожными всхлипами захлебывались вдруг гармоники.

В конце лета работы в лесу неожиданно прекратились, постояльцы уехали, и деревня совсем опустела. Присмиревшие солдатки ходили опустив глаза, поджав губы, готовые из последних сил тащить и свою бабью ношу, и мужицкий воз.

Прокоп Дегтярное Брюхо все чаще и чаще хватался за живот, речи его становились все язвительнее. Когда я однажды, запыхавшись, прибежал к нему, чтобы сообщить о смерти самого древнего мужика в нашей деревне, много лет ходившего старостой, Егора Ужечки, которого мы еще совсем недавно беззлобно дразнили придуманной кем-то скороговоркой: «Ужечка — беда, пегая борода», — Прокоп вместо обычного в таких случаях: «Ну и пухом ему земля», сказал:

— Ну и грабли ему в зад...

— Зачем же теперь ему грабли? — опешив от неожиданности, спросил я.

— А чтобы он подскреб за собой весь сор-мусор, — спокойно ответил Прокоп.

Сельский староста, колченогий мужик Михайла Степаныч Бачев, чуть ли не ежедневно наряжал подводы в Рославль встречать и развозить беженцев из занятых немцами губерний. Это были главным образом горожане. Беженцы из сел, уходя от войны, двигались своим ходом — на лошадях, запряженных в фуры, с высокими решетками и брезентовым верхом.

Мой дядька Павел, большой охотник до всяких новинок, купил у одного из беженцев такую фуру, прельстившись железными осями и добротной оковкой колес. Но для наших ухабистых дорог она явно не годилась. Ход ее был слишком узким и слишком длинным, так что

она опрокидывалась почти на каждом повороте. К тому же приспособлена была фура к парной упряжке с дышлом. Поэтому ездили на ней у нас очень редко, и она все время стояла на задворке под навесом. Мы с Филькой Прокопенком по целым дням не вылезали из нее, наперебой фантазируя вслух о пройденном ею пути от войны до нас, о всех возможных в дороге приключениях.

Ходившие по дворам беженки певучим говорком, в котором понятные слова мешались с непонятными, рассказывали страшные, почти сказочные вещи о немцах, об их железных птицах, летающих выше облаков и сбрасывающих бомбы на города и села.

Солдатки слушали, скорбно покачивая головами, и делились с ними последним куском солонины, последней трубкой холста. Даже бродячие гадалки называли уже себя не цыганками, а сербиянками и не скупилась на самые ужасные подробности в рассказах о будто бы перенесенных ими бедствиях. Все знали, что они врут, но слушали их, затаив дыхание. Только Прокоп гонял их от своей избы кнутом: «Вороны, на чужой беде кормятся».

Солдатские письма приходили теперь не только с фронта, но и из Германии, из лагерей военнопленных. Истосковавшиеся на чужбине мужики сообщали, что не видят там света белого, и просили собрать хоть какую-нибудь посылочку. И мешавшие муку с лебедой солдатки для своих кормильцев, которых уже не надеялись дожидаться, пекли чисто ржаной хлеб с тмином, сушили сухари. Писать адреса на посылках ходили либо к соседнему помещику Мясоедову, либо к инспектору тюнинского высшего начального училища Максиму. К Мясоедову было ближе, но предпочитали все-таки обращаться к Максиму. Он попроще и не выматывает душу разговорами, что стыдно русскому солдату сдаваться в плен, нарушать присягу умереть за царя и отечество.

А потом стали поговаривать, что брат Мясоедова, ходивший в больших военных чинах, то ли полковник, то ли вовсе генерал, повешен как немецкий шпион.

Ранней осенью нам сообщили из Бежицы, что отец скоропостижно умер. Я от горя чуть не помешался. По целым дням сидел в сарае и плакал, забившись в угол. Филька Прокопенко утешал меня как мог.

— Ничего,— говорил он,— я тоже безбатьковщина и тебя теперь никому в обиду не дам. Пусть только кто-нибудь попробует тронуть. Пойдем, я тебе покажу ту самую книгу...— Он почти насильно затащил меня в свою избу, но я сквозь слезы ничего не видел.

Филька уже два года ходил в школу и, когда я пошел тоже, взял меня под свое покровительство, объявил самым озорным ребятам, что тому, кто обидит меня, придется иметь дело с ним.

Я никогда не забуду той долгой зимы с ее пронизывающими вьюгами и костоломными морозами, как не забуду тепла школьных классов и строгой доброты первых учителей. Особенно запомнилась мне маленькая, стриженная, похожая на мальчика-подростка учительница Ольга Михайловна Моисеенкова.

В начале года я доставлял ей немало огорчений своей непоседливостью, но, заметив мою любовь к книгам, она уже во втором полугодии приручила меня, поручив мне выбирать в школьной библиотеке сказки для первачков. Делал это я с величайшим старанием, ориентируясь по картинкам. Глядя на них, я мог тут же сочинять самые невероятные истории, ничего общего, конечно, не имевшие с содержанием книжки. Это очень сместило Ольгу Михайловну, и она многое простила мне за это.

Вернувшись из школы, мы дотемна играли — улица на улицу — в войну. На огородах за гумнами у нас были построены укрепленные позиции: вырыты в снегу «блиндажи» и окопы с ходами сообщения.

Нашей улицей командовал Филька Прокопенко, соседней — Павлик Рудый. Русскими и немцами стороны назывались по очереди, чтобы никому не было обидно. Стреляли обледелыми комьями снега, в атаки ходили с клюшками наперевес.

Главным адъютантом у Фильки была моя приятельница Федосья Сорочкина, прозванная мальчишницей. Она презирала девичьи забавы и всегда играла с ребятами. На ее обязанности было следить, чтобы никто из нас не отступал, не выходил из боя с пустяковым ранением. Я боялся ее больше, чем Фильки, и сражался до тех пор, пока от снежных комьев пальцы не превращались в грабли. Заметив это, Федосья уводила меня в «блиндаж» и командовала:

— Суй, дурак, руки мне за пазуху. Отогревайся, а то завтра мать не пустит тебя играть с нами.

— Не могу я лезть к девчонке за пазуху, стыдно, — чуть не плача отвечал я.

— Ну, тогда суй себе в штаны, дурак... — Федосья сплевывала сквозь зубы и уходила из «блиндажа».

Дома, приготовив кое-как уроки, я подсаживался к сестре Анюте и начинал напевать ей на ухо будто бы услышанные от ребят песни о войне, о подвигах солдат.

В песнях этих, которые я придумывал тут же, было столько несусветной чепухи, что Анюта не выдерживала и обрывала меня:

— Врешь, нет таких песен.

— А вот и есть. Спроси у Фильки.

— Как же! Знаю я твоего Фильку.

— Тогда спроси у Федосьи.

— У Федосьи и подавно спрашивать нечего. Она мальчишница. Ей когда-нибудь кобыла голову откусит, если будет носить шапку, а не платок. А тебе я надеру уши, чтобы ты не сочинял лишнего.

Весной в деревне начали поговаривать, что в Питере ссадили с престола царя, и вскоре начали возвращаться с фронта солдаты. Филька, который все знал, рассказывал мне удивительные и очень стыдные вещи про царицу и какого-то Распутина, а потом сообщил, что свою книгу о второй Отечественной войне он сжег, предварительно выколов глаза всем генералам. Мне он посоветовал сделать то же самое. Я из чувства товарищества согласился, но тут же раздумал. Уж очень жалко было Кутузова.

На всякий случай, чтобы не ссориться с приятелем, книгу я припрятал. Отнес в сарай и закопал в сено, а когда хватился — не мог отыскать. Так она и пропала, и я даже не успел тогда прочитать ее.

Но зато оставшуюся у меня книжку Грачева, где не было портретов ни царей, ни генералов, я прочитал от корки до корки. По этой книжке выходило, что в ту войну воевал с французами сам народ, а господа офицеры генералы только мешали ему. Один Кутузов был вместе с народом. Особенно по душе пришлись мне рассказы о партизанах, о подвигах рядового солдата Ермолая Четвертакова и отставного майора из сдаточных крестьян Семена Емельянова, отряды которых охраняли от французских «миродеров» чуть ли не целые уезды и наносили большой урон регулярным частям неприятеля. Но выше всех в моем сознании поднималась сычевская старостиха Василиса Кожина, сносившая косою головы французским офицерам.

Летом, отправляясь в ночное, я непременно брал с собой и книжку. И когда на стану у спокойно потрескивающего костра иссякали волшебные сказки, я начинал читать рассказы о похождениях партизан, которые чуть ли не голыми руками брали глупых французов, заблудившихся и растерявшихся в великих русских просторах.

И какой же гордостью за свой народ, за свою родину наполнялись наши ребячьи сердца, и какой прилив сил в душе мы чувствовали, засыпая под ветхими армячишками!

Бедь это было как раз в то время, когда на полях гражданской войны вчерашние пастухи и батраки побили царских генералов.

Когда книжка Грачева была прочитана и перечитана несколько раз и ребята уже наизусть знали рассказы о подвигах всех партизан, Ванька Терешонок похвалился, что у его старшего брата есть толстая книга с удивительным названием «Казнения русской земли».

Мы всем «станом» взяли с него слово, что он непременно выпросит ее у брата (тот, как и моя сестра, получил ее в награду за успехи при окончании школы), а если он не даст — потихоньку стащит.

Ванька предпочел последнее и назавтра притащил в кошеле книгу. Это были составленные Александром Нечволодовым «Сказания о русской земле». Я знал церковнославянскую грамоту и легко прочел напечатанное затейливой вязью заглавие. Чтения с нас хватило на все лето, но ребята упорно называли книгу по-своему: «Казнения русской земли».

Встречи с друзьями в ночном остались в моей душе как самые светлые воспоминания детства и отрочества. Уже учась в тюнинской школе второй ступени, я весной каждую субботу сразу после уроков отправлялся за двенадцать верст домой, чтобы лишний раз сводить коней в нсчное, посидеть с приятелями у костра, послушать деревенские новости, пошутить с девушками, которые, подзадоривая нас, пели:

Где девчата ноги мыли,
Там ребята воду пили.

Когда малыши засыпали, ребята постарше заставляли меня рассказывать о прочитанных книгах. И чего-чего только я не пересказывал там: фантастические рассказы Гофмана, сказки Льва Толстого, романы Тургенева, популярные книжки Рубакина. Впечатления от жизни заставляли меня обращаться к книгам, а впечатления от книг — к жизни.

Не помню уже от кого, может быть, даже от отца, я слышал легенду о том, что бежавший из Москвы Наполеон впопыхах оставил в Смоленске свои перчатки, которые будто бы до сих пор хранятся там в соборе. Но для меня перчаток было мало, и я прибавлял к ним и знаменитую треуголку и рассказывал об этом ребятам так, словно видел все собственными глазами. А посмотреть Смоленск было моей заветной мечтой. Я даже не раз видел во сне башни его зубчатой крепостной стены.

В город, с которым потом на всю жизнь связала меня судьба, в первый раз я приехал в ранней юности, поздним летом 1925 года.

До этого мне приводилось бывать только в своем очень тихом уездном городе Рославле да еще в Бежице, которая, несмотря на свои заводы, больше походила на село, чем на город. Поэтому не удивительно, что Смоленск в первые минуты ошеломил меня. Хлынувшая с поезда толпа, крики извозчиков, гудки паровозов, звонки трамваев... Мне пришли на память незадолго перед тем прочитанные стихи Брюсова:

Улица была — как буря. Толпы проходили,
Словно их преследовал неотвратимый Рок.
Мчались omnibusы, кебы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток.

Ни omnibusов, ни кебов в Смоленске, конечно, не водилось, да и автомобилей тоже было не видно, но это меня не смущало. Для деревенского юноши, приехавшего из глухомани, улица даже в таком городе, как Смоленск, была действительно как буря.

Встретил меня там на вокзале мой земляк студент-математик Иван Меркушев. Еще в трамвае я попросил его первым делом свести меня в музей и показать памятники героям 1812 года. И как же я был рад, когда оказалось, что мой приятель живет совсем рядом с Кутузовским садом, где стоит самый знаменитый из смоленских памятников. Правда, я заметил, что сам он относится к этому обстоятельству без особого благоговения, и даже рассказывал мне, что его товарищи стащили оттуда скамейку для своей студенческой комнаты. Но что с него было спрашивать — ведь он же математик, хоть и хороший парень, и любит стихи. Впрочем, я простил ему все, когда увидел большую полупустую комнату, где из мебели было только три топчана да садовая скамейка, заменявшая диван, которую его друзья предоставили мне. Мы на скорую руку перекусили и отправились в город.

Я до сих пор помню тот солнечный предосенний день, тихие, усыпанные еще не успевшей поблекнуть листвой дорожки сада, примыкающего к крепостной стене, и то необыкновенно праздничное чувство, когда, словно сбывшийся наяву сон, я сквозь поредевшую листву увидел величественную твердыню скалы с двумя бронзовыми орлами на вершине, распахнувшими крылья над гнездом.

Мы молча обошли цементную скалу и сняли кепки. Вот он — знаменитый галл, взбирающийся по отвесной крутизне, чтобы разорить орлиное гнездо, которое прикрывают готовые к смертному бою две мужественные птицы.

— Памятник построен по проекту инженер-полковника Щуцмана и скульптора Надольского. Скала символизирует Россию, орлиное гнездо — Смоленск, а два орла — две армии, соединившиеся в Смоленске, Барклая и Багратиона, — начал объяснять мой приятель...

Несколько лет спустя я написал стихи, которые начинались так:

Ты видел этот памятник? Скала,
Тяжелый меч в руке простертой галла,
А там, за выступом, — гнездо орла,
Что крутизна веков оберегала...

В тот же день мы обошли всю крепость, взобрались даже на стену у Молоховских ворот, откуда руководил обороной Смоленска генерал Раевский, и осмотрели все памятники, кроме одного, того, что стоит на валу Королевского бастиона.

— Его лучше смотреть вечером, — объяснил мне приятель.

И я не раскаивался, что на Королевский бастион мы пошли именно вечером. Сооруженный там в честь Софийского полка, участвовавшего и в обороне Смоленска, и в Бородинском сражении, памятник был скромнее других и все же произвел на меня очень сильное впечатление своей монументальной простотой, а главное, тем, что был воздвигнут по проекту рядового солдата этого же полка — смолянина Бориса Цапенко. На круглом цементном постаменте возвышался четырехгранный обелиск, окруженный шестью колоннами. На каждой из четырех граней обелиска — ниши с мемориальными досками, рассказывающими о героических делах полка.

С Королевского бастиона открывался великолепный вид на Днепр, на залитое вечерними огнями Заднепровье, на холмистые окрестности города. На этом фоне памятник выглядел особенно величественно.

— Здесь защитники Смоленска в первый день боя отбивали самые ожесточенные атаки французов, — начал было опять объяснять мне Меркушев, но я остановил его:

— Я знаю, Ваня.

Мне уже было известно, что под Смоленском Наполеон одержал над русскими такую победу, которая предредила его поражение на Бородинском поле.

Я перешел в выпускной класс средней школы, собирался поступить в университет и успел немало прочесть о войне 1812 года.

Вороновский и Грачев сделали свое дело. Они пробудили во мне интерес к истории, и прежде всего к истории родного края.

Я зачитывался не только «Войной и миром», я знал романы Данилевского и Мордовцева.

И вот теперь, стоя на земляном валу, насыпанном еще в семнадцатом столетии, я вдруг почувствовал всем своим существом живую связь времен, ощутил пронизывающий меня сквозной ветер истории.

И это ощущение с того вечера никогда не покидало меня в городе, который поднялся над Днепром у самых истоков Руси.

В студенческие годы я по крупицам собирал в старинных хрониках и трудах современных историков все, что касалось Смоленска, которому суждено было стать «ключом государства Московского», каменным щитом, не раз прикрывавшим сердце России — Москву. А город рос, благоустраивался. В его веками складывавшуюся планировку входили новые улицы и площади, сады и предприятия, создавался своеобразный, неповторимый облик, где мирло уживались современность и старина.

И когда я поднимался на башни крепостной стены, мне казалось, что я вижу всю даль веков. Я считал своим нравственным долгом рассказать о том, чему был свидетелем мой город, всегда хранивший лучшие национальные традиции, каждый камень в нем говорил о мужестве и верности долгу.

Больше всего меня привлекали эпохи народных движений, когда с особенной наглядностью проявлялся патриотизм простых русских людей.

В «Супральской летописи» под 1440 годом записано:

«Сдумали смоляне,— черные люди,— кузнецы, кожемяки, перешевники, мясники, котельники,— пана Андрея (литовского наместника) согнати силою с города, а целование (присягу) переступити; и наредилися во зброи и со луками, и со стрелами, и с косами, и с секирами и зазвонили в колокол. Пан же Андрей начал рядити с бояры смоленскими. И бояре ему молвили: вели, пане, дворянам своим убраться в зброи, а мы с тобою; чи лепше датися им в руки? И поидоша с копии противу их на конях и бысть им ступ (бой) у Бориса и Глеба в городе; и сбиша много черных людей копии до смерти, а иные ранены, живы остались. И побегоша чернии люди от пана Андрея. И той ноши выеха пан Андрей из города с женою бояре Смоленский с ним».

А вот отрывок из «Нового летописца», относящийся к так называемому «смутному времени»:

«Во граде же Смоленське соль вся идержася, и начася в людех быти болезнь великая, от безсолия оцынжаша, мнозии же помроша, здравых же остася малое число; с ними же боярин Михайла Борисович беспрестанно из града бияшеся, яко королевским людем боящимся уже приходити под град близко, не точию на приступ. Един же Смольянин Андрей Дедешин был у Кроля в таборах, поведа Кралю едино место градныя стены делану в осень и худу; Краль же повеле тамо бити, и вскоре выбиши стены много; таже ношию пришед взяша град; а Михайла Борисович с женою и с детьми запреся в единой башне. Королевские ж люди, шведши во град побиваху, прочии же вбегоша в соборную церковь и запрошася в ней, и оттуда бияхуся; под нею же учинен был велий погреб, в нем же лежала пороховая казна, един же Смольянин виде из

церкви биющихся, зажже оный порох, и абие подьяся церковь оная от земли со всеми людтми и вси убишася».

В тревожной предгрозовой атмосфере всегда обостряется чувство истории, а в конце тридцатых годов в воздухе уже явственно пахло порохом.

Я писал стихи о родной русской природе, о милых моему сердцу полях и перелесках, но от воспоминаний детства то и дело обращался к истокам Руси. Это не было уходом от современности, как думали некоторые критики, это было вполне естественным стремлением осмыслить заново родные традиции.

Я написал поэму «Великая замятня» о восстании смоленских черных людей в XV веке и поэму «Скоморох Овсей колобок» о героической борьбе русского народа с иноземными захватчиками в начале XVII века.

Но это все было для меня только подступами к теме народной войны 1812 года — войны, которая определила весь характер русской литературы XIX века, весь ход русской истории.

На моем столе среди прочих книг лежали и книги моего детства — «Отечественная война 1812 года в пределах Смоленской губернии» В. М. Вороновского и «Смоленск и его губерния в 1812 году» В. И. Грачева, ставшие уже библиографической редкостью и с большим трудом раздобытые у букинистов.

В одной из них была запечатлена официальная, показная сторона Отечественной войны, во второй она изображалась такой, как запечатлелась в памяти народа.

В 1940 году я наконец начал поэму о старостихе Василисе, но написать успел только несколько глав. Началась вторая мировая война, Великая Отечественная война советского народа против фашистских захватчиков. И опять полчища оккупантов первое серьезное сопротивление встретили в районе Смоленска. Я ушел на фронт из горящего города. Ушел, не успев вывезти даже своих рукописей. Так погибла уже законченная поэма о приезде в Смоленск по приглашению рабочих типографии молодого Горького, из которой я помню только начальные строфы:

Будни в губернском городе старом
Ни шатко, ни валко плелась зимой.
Метель метусилась по протуарам,
Озябших лоточниц гнала домой.

А в праздник гармошки ревели ревя,
Кляня и славя свое ремесло.
Миную главные улицы, время
В город с рабочих окраин шло.

Погибли и первые главы поэмы о старостихе Василисе Кожинной.

О том, что Смоленск занят фашистами, я узнал только через месяц в районном городке Рязанской области Михайлове, где находился офицерский резерв. В тот день мой старый приятель, смоленский историк Даниил Павлович Маковский, с которым мы спали на одной кровати, прочитал мне целую лекцию о том, сколько раз занимали наш город враги и как они уходили оттуда. Правда, ни ему, ни мне от этого не стало легче. Вечером он достал где-то пол-литра водки, и мы выпили с нашими хозяевами за скорейшее изгнание фашистов.

После недолгого пребывания в резерве меня назначили командиром саперного взвода в инженерно-строительный батальон, и я приехал с эшелонам в Бордино.

«Неужели судьба России и теперь будет решаться под Москвой?» — невольно подумалось мне. Стояли на удивление погожие дни бабьего лета. В прозрачной синеве сияли золотые подмосковные рощи, над жнивьями вились серебряные нити паутины, а в небе гомон птичьих стай заглушался гулом самолетов.

Со своим взводом я под бомбежками копал на поле русской славы противотанковые рвы, строил укрепленные позиции на берегах Колочи, о которой в 1812 году писал мой земляк Федор Глинка.

Во время перекура, если не было бомбежки, я читал наизусть солдатам проникновенные стихи русских поэтов о родине, о великой любви нашего народа к отчизне. И как трепетно, как современно звучали там строфы ползу забытых поэтов, таких, как тот же Федор Глинка:

Друзья! Мы на брегах Колочи,
Врагов к нам близок стан;
Мы ему не покоряем очи,
Не слышим боли ран!..

Друзья, бодрей! Друзья, смелей!
Не до покоя нам!
Идет злодей, грозит злодей
Москвы златым верхам!

Как и почти везде в инженерно-строительных частях, в моем взводе были главным образом пожилые солдаты, нестроевики, многие из которых пришли уже на третью войну и годились мне в отцы. Я чувствовал, что обычными политбеседами расшевелить их трудно, да и неловно мне было разговаривать с ними, многоопытными людьми, языком газетных сводок. И тут мне помогла моя память на стихи. Никогда и нигде до сих пор я не встречал таких благодарных слушателей, каких видел там на берегах Колочи, где-нибудь на бруствере противотанкового рва или у недостроенного блиндажа. И когда меня отозвали из батальона, я чуть не расплакался, прощаясь со своим взводом, ставшим для меня большой семьей.

Вскоре после разгрома гитлеровцев под Москвой я был прикомандирован к штабу партизанского движения Западного фронта и получил задание подготовить книгу о народных мстителях на Смоленщине. Работая над этой книгой, я на каждом шагу убеждался, как свято хранится в народе память о героических партизанах 1812 года, как вдохновляют внуков подвиги их дедов.

Подготовленная мной книга в условиях военного времени выйти не могла, но собранные мною материалы пригодились мне потом в работе над исторической повестью «На старой Смоленской дороге».

Осенью 1943 года меня демобилизовали, и я с первым эшелоном приехал в только что освобожденный Смоленск. Приехал — и не узнал родного города. Да города-то, собственно говоря, и не было. Над руинами и пепелищами возвышались только задымленные башни старинной крепости, помнившие не одно нашествие иноземных завоевателей. И в этих башнях, в амбразурах крепостной стены, в подвалах разрушенных домов селились возвращавшиеся на родные пепелища люди.

Мне было хорошо известно, как разрушался и как снова возрождался Смоленск в давно минувшие времена. Я видел сам развалины и пепелища городов Подмосковья. Но то, что открылось моим глазам в те дни в родном городе, оказалось гораздо страшнее всего виденного и слышанного. В его заросших бурьяном развалинах было поистине что-то библейское. А люди, встречаясь на этих развалинах, обнимались и плакали от радости. Еще не зная, где приютиться, они без слов говорили

друг другу: «Ну вот, земля под ногами своя, а все остальное в наших руках...»

Я поселился в одном из немногих уцелевших домов на самой окраине города, у Чертова рва.

При фашистах в этом доме жили власовские офицеры. Все стены в комнатах были испакошены бесстыдными рисунками и циничными надписями. В ванной мы нашли целую гору пустых винных бутылок с этикетками на всех европейских языках.

— День и ночь, сучьи дети, пили. Все поминки по совести справляли, — говорил мне хромой старичок комендант.

Увидев на полу нашей кухни большое коричневое пятно, которое жена никак не могла отмыть, он рассказал мне, что перед самым бегством из города власовцы пристрелили здесь одного из своих офицеров.

— То ли не хотел уходить с ними, то ли еще что случилось, кто знает. Когда я пришел принимать дом, тут на него и наткнулся. Лежит, схватившись за грудь, одна нога в сапоге, а другая босая. Я приказал его вынести, а сам остался здесь ночевать. Комнаты у меня еще не было. Так что ж ты думаешь? Он мне всю ночь спать не дал. Чуть закрою глаза — слышу: ходит, ищет второй сапог...

Я поднес старику сто граммов водки и попросил:

— Не рассказывай, пожалуйста, жене, а то и она спать не будет.

Комендант пообещал молчать, но не удержался и назавтра же, чтобы заработать еще сто граммов, слово в слово повторил свой рассказ моей жене.

В первое время мы жили в пустой квартире вдвоем. Привозить детей еще не решались. В доме, как и во всем городе, свету не было, водопровод не работал. Воду мы таскали из оврага, еду варили в консервных банках, по вечерам сидели с коптилками. Вокруг дома шумел бурьяном пустырь с кое-где возвышавшимися над горами обломков печами. Похожие на калек, эти печи были особенно страшны в ненастные сумерки, когда в трубах надсадно гудел ветер. Случалось, что по ночам в Чертов ров приходили волки и долго, заунывно выли. Мне этот вой был не в новинку. Я слышал его не раз в детстве, в своей деревенской глуши, и мог не обращать внимания, хотя в городе он более страшен, чем в деревне. Но зато меня и во сне преследовал запах обгорелого железа, битого кирпича и холодной золы. Если я допоздна задерживался где-нибудь в редакции, жена уходила к соседям. Рядом с нами, на одной площадке, жили Твардовские — отец, мать и сестры поэта.

Никогда не унывавший и всегда что-нибудь мастеривший, старый кузнец Трифон Гордеевич знал великое множество разных занятых историй и мог часами рассказывать их, заставляя забывать о всяческих житейских неудобствах.

Фронт стоял всего в нескольких километрах к западу, и по ночам был явственно слышен гул орудийной пальбы.

Подъездные пути к городу фашисты почти непрерывно бомбили, а люди все-таки ехали и ехали. На стенных коробках сгоревших домов появились написанные известкой лозунги: «Восстановим родной город в 3—5 лет!»

Бездомные горожане подшучивали над этими лозунгами, стирали черточки между тройкой и пятеркой и еще яростнее работали, еще упорнее разбирали завалы на разбомбленных улицах, рыли котлованы для закладки новых домов.

В газетах под сообщениями с фронтов печатались очерки о женских строительных бригадах и рассказы историков о ратных и трудовых подвигах смолян в прошлом. Архитекторы при свете коптилок разрабатывали планировку нового Смоленска. В те дни я писал:

Верил каждый из нас: прорастет даже камень седой
 У истоков Руси, над волшебной днепровской водой.
 И пока не покатаются волны днепровские вспять —
 Ты на круче веков выше прежнего будешь стоять.

И вот не прошло еще и двух десятилетий, а город древней русской славы не только вернул свою былую красу, но и стал еще прекраснее, чем прежде.

Конечно, в таком большом деле, как восстановление и перепланировка города, не обошлось и без курьезов. Так, без всякой нужды была снесена украшавшая целый район возле сада «Блонье» каланча с часами.

В здании, над которым она возвышалась, до революции помещалась городская управа, а после революции — городской Совет. Во время войны дом этот сгорел, но осталась совершенно нетронутая коробка. Ее было решено восстановить под жилье. Как рассказывал мне работавший тогда главным архитектором области И. Д. Белогорцев, был уже составлен и утвержден проект восстановления дома в прежнем виде. Но как раз в то время, когда до него дошла очередь, в город приехал новый большой начальник. Приехал, как водится, со своими ближайшими помощниками. А дело было в самый разгар весны. Один из помощников по строительству пошел вечером посмотреть город и, вернувшись, сделал шефу подробный доклад.

— Не город, а прямо-таки барская усадьба, даже соловьи поют, — сказал он в заключение.

— Как — соловьи? Где? — удивился шеф.

— Да на каланче, что против сада. Свили гнездо на самой верхотуре, где были часы, и поют себе, заливаются...

— Ну, так снять эту рогатину, — приказал шеф. — Нечего тут, в самом деле, барскую усадьбу восстанавливать.

Назавтра утром вызвали областного архитектора.

— Составить новый проект.

— Не могу, — заупрямился тот, — все уже утверждено.

Тогда его послали в командировку, и каланчу сняли без него.

Правда, вскоре сняли и самого начальника, и его ретивых помощников. А соловьи в городе все-таки остались.

Когда мои друзья, ни разу не бывавшие в Смоленске, спрашивают меня, чем он примечателен, я отвечаю: удивительным сочетанием истории и современности.

На одном из немногих казенных зданий восемнадцатого столетия, каким-то чудом уцелевших в самом центре города во время последней войны, сохранился старинный герб Смоленска — пушка с поющей на ней птицей.

Этот герб — символ мужества и миролюбия, символ неистребимой веры в жизнь, в торжество разума, добра и красоты — с замечательной наглядностью выражает судьбу древнего и вечно молодого города.

Тот, кто подъезжает к Смоленску со стороны Москвы, прежде всего видит возвышающиеся на приднепровских кручах зубчатые стены его величественной крепости, воздвигнутой в конце шестнадцатого века славным русским зодчим, сыном дорогобужского плотника — Федором Конем.

Издали может показаться, что за этими стенами приютился город-музей, город-памятник, но такое впечатление обманчиво.

Музейной тишиной в городе и не пахнет, хотя памятники старины в нем встречаются на каждом шагу.

При въезде в город вдруг замечаешь, что крепостные стены как бы раздвигаются, отступают на задний план, в тень садов и парков, чтобы не мешать, дать больше простору всему новому, молодому. А в Смоленске все ново, все молодо уже потому, что он почти целиком отстроен заново после войны. Правда, пересеченная и разрезанная овражками местность обязывала строителей придерживаться исторически сложившейся планировки города, только улицы стали шире да исчезли глухие дупички.

И когда я смотрю на поднимающиеся один перед другим дома, мне кажется, что все они чувствуют за своими плечами башни крепостной стены — эти опаленные грозами скрижали веков, свидетельницы многих торжеств и бед народных.

Я люблю неторопливо бродить по утренним улицам, где чуть ли не каждый дом мне памятен со дня его рождения. Люблю вечером посидеть в городском саду, где бронзовый Глинка, подняв дирижерскую палочку, прислушивается к музыке времени. В этом саду, который когда-то был назван «Блонье», что значит «Околица», а теперь носит имя Глинки, всегда полно молодежи. Ведь Смоленск — город вузов. Здесь учатся будущие педагоги, будущие врачи, будущие энергетики, будущие спортсмены, будущие музыканты, будущие связисты, будущие строители, строители в прямом и в переносном смысле.

Как и в далекой юности, я люблю глядеть на город по вечерам с земляного вала Королевского бастиона. Я снова вижу отражающий разноцветные переливы огней Днепр, вижу залитое светом Заднепровье, вижу выросшие после войны новые промышленные кварталы, которые никак не назовешь окраиной. Передо мной все тот же город и все-таки уже не тот. Глядя на него, я думаю о нерушимой связи времен, о том, что прошлое народа всегда служит его будущему. И в лицо мне дует ветер времени.



МУБЛИЦИСТИКА

О. ГОРЧАКОВ

★

ГРУППА «МАКСИМ»

«ЧЕРНЫЙ МАРШ»

Мрошлой весной, в годовщину Дня Победы, я приехал с журналистским блокнотом и киноаппаратом в Вашингтон. В парках отцветала японская вишня. На огромном Арлингтонском военном кладбище, где покоится прах наших американских союзников по минувшей войне, кроме часового, который мерно шагал взад и вперед у мраморной гробницы Неизвестного солдата, я не увидел ни одного человека. Снимать было некого. Поблизости, у бетонных стен Пентагона, стояло не меньше автомашин, чем у стадиона перед бейсбольным финалом. Но и в Пентагоне, видимо, никто не вспоминал о великом празднике. Вряд ли размышлял над уроками капитуляции фашистской Германии, сидя в своем пентагонском кабинете, за стенами из листовой стали, председатель постоянного комитета НАТО гитлеровский генерал-преступник Адольф Хойзингер.

Зато в тот день, День Победы, в книжном киоске отеля «Уиллард», расположенного по соседству с Белым домом и Капитолием, красовались выпущенные массовыми тиражами боевики: «Секретная служба Гитлера» шефа нацистской разведки Вальтера Шелленберга, воспоминания первого аса Третьего рейха Ганса Руделя и даже «Майн кампф».

Одна из меченных свастики книг не могла не привлечь моего внимания. Дело в том, что летом сорок четвертого я участвовал в боях с эсэсовцами из дивизии СС «Викинг» в лесах под Ковелем.

И вот эта книга у меня на столе. «Черный марш. Личные воспоминания эсэсовца Петера Ноймана»¹. Эта книга написана рукой, хладнокровно нажимавшей на спуск автомата, нацеленного на детей и стариков, рукой, привычно ввязавшей петлю веревки на виселице. Эсэсовец Нойман не написал всей истории СС — от отряда личной охраны Адольфа Гитлера до «Черного корпуса» головорезов и вешателей, убивших несколько миллионов человек во время шестилетнего «черного марша» по странам Европы во имя завоевания мирового господства. Нойман рассказал лишь о себе и своих «камерадах», о своем пути под эсэсовскими штандартами по израненной советской земле — от Рава-Русской до Эльбруса.

...Их было три приятеля. Петер Нойман и Франц Хаттеншвилер — сыновья железнодорожных служащих, и потомственный завоеватель граф Карл фон Рекнер. Недавние ученики школы имени Шиллера в Виттенберге, маленьком городишке в провинции Бранденбург. Все двадцатого года рождения. У всех арийская родословная проверена до XVIII века. Они сдружились еще в 27-м отряде «Гитлерюгенд». Их клятву на верность Гитлеру принимал Бальдур фон Ширах, фюрер гитлеровской молодежи.

«Клянётесь ли вы при любых обстоятельствах и до самой смерти быть вер-

¹ Peter Neuman. The Black March. The Personal Story of an SS man. Bantam Books, New-York, 1960.

ными клятве, данной своим вождям, своей стране и своему фюреру — канцлеру Адольфу Гитлеру?» — «Клянемся!» Мальчишеские голоса тонули в грохоте барабанов, в реве фанфар. Оркестры играли «Дейчланд юбер аллес» — «Германия превыше всего». Руки сжимали кортики «Гитлерюгенд» с надписью готическими буквами: «Верен до смерти».

Петер Нойман начал свою сознательную жизнь с предательства, с отцеубийства. В 1938 году сестра Петера, Лена Нойман, выдала гестапо при содействии Петера их отца, бывшего активиста «Красного фронта». За этот подвиг «гражданского мужества» семнадцатилетний Петер был произведен в гефольгшафтфюреры — он узнал вкус власти, возглавив отряд «Гитлерюгенд» из ста пятидесяти юных фашистов.

Вскоре трое друзей поступили в училище национал-политической подготовки в Плёне, надели коричневые рубашки и нарукавную повязку со свастики, на бедре — штык в ножнах. Затем юнкерское училище «Коричневых рыцарей» — элиты СС в средневековом замке Блюторденбург под Бонном. В программе обучения — драки с овчарками-людоедами, усмирение необъезженных лошадей, полеты на планерах, вождение танков и речи Рейнгарда Гейдриха, правой руки Гиммлера. «Изумительная» весть о войне, развязанной Гитлером в Польше, застала трех приятелей в баварском замке Зонтгофен, где они заканчивали военную подготовку.

В день объявления войны комендант училища штурмбанфюрер Гризель заявил юнкерам: «Вы — будущие офицеры армий, которые завтра оккупируют Лондон и Париж!..» Юнкера проводят специальные уроки в анатомическом театре, чтобы привыкнуть к человеческой крови, к смерти. Подготовка юнкеров становится все более жестокой — за несколько месяцев тридцать два смертных случая. Если не выроешь на занятиях вовремя окоп, тебя насмерть давит танк. Слабым нет места в СС!

Взят Париж. Парад победы в Берлине. На трибуне — фюрер, Геринг, Геббельс, Гесс, адмиралы Редер и Дениц, гитлеровские фельдмаршалы...

В тот вечер, сидя на берегу Шпрее, рассказывает Нойман, он и его приятели размышляли о походе на Москву.

В мае 1941 года Петер, Франц и Карл окончили юнкерское училище СС в городке Бад-Тельце, у подножья Баварских Альп. В их петлицах — две рунические семерки, две составные части свастики — знаки СС, символ власти, разрушения и боевой удачи. На медной поясной пряжке девиз СС: «Моя честь — моя преданность». Их кредо: «Бефель ист бефель» — «Приказ есть приказ». Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер назвал их «сверхлюдьми», «цветом мужского начала германской расы». Их библией была «Майн кампф».

Двадцать девятого июня, на седьмой день войны, полк «Нордланд» дивизии СС «Викинг» по сигналу зеленой ракеты ступил на советскую землю в районе Перемышля. Разрывными пулями расстреливают Нойман и его приятели пленных красноармейцев. Таким было боевое крещение «викингов».

Дубно, Житомир, Харьков... Расстрелы пленных красноармейцев, карательные акции против украинских партизан... «Викинги» шли, как черная чума, оставляя за собой горы трупов.

«Черный марш» — книга преступника, ничего не забывшего и ничему не научившегося. Она полна ненависти и цинизма...

ТАМ, ГДЕ СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ

Но некоторые страницы «Черного марша» против воли автора-убийцы рисуют картину высокого, беспримерного героизма советских патриотов. Советские герои идут на смерть не со слепым фанатизмом, а с открытыми глазами, с таким непоколебимым мужеством, что это потрясает даже их палачей.

Один подвиг — подвиг группы советских героев — видимо, произвел на эсэсовца Ноймана такое сильное впечатление, что его не могли заслонить в памяти де-

сятки отчаянных боев, ранения и злключения, агония и смерть гитлеровского рейха. Нойман описал его очень подробно. Советские люди не знали об этом подвиге своих сыновей и дочерей. Свидетелями его были только палачи.

Сколько героических подвигов остались неизвестными, потому что очевидцами их были только убийцы! А убийцы, наскоро забросав свои жертвы землей, молчали. Их настигало возмездие на фронте, подстерегала карающая партизанская пуля. Или мина — как гаулейтера Белоруссии Кубе, как «фюрера» Харькова генерала фон Брауна.

Воспоминания эсэсовца Ноймана стали как бы показаниями «языка», первой нитью клубка...

Это произошло в ночь с 2 на 3 декабря 1942 года.

Весь день формировались на станции Пролетарская эшелоны полков моторизованной дивизии СС «Викинг» — отборных мотополков «Нордланд», «Вестланд» и «Дейчланд».

Вечером оберштурмфюрер СС Петер Нойман, командир 2-й мотострелковой роты полка «Нордланд», вместе с другими офицерами полка был вызван к командиру дивизии бригадефюреру СС Герберту Гилле.

Трижды — в октябре и ноябре — назначал Гитлер сроки взятия волжской твердыни, и трижды срывала его планы Советская Армия. И вдруг, неожиданно для гитлеровцев, советские войска перешли в наступление и 23 ноября окружили трехсоттысячную 6-ю армию генерал-полковника Паулюса.

Эсэсовский генерал объяснил своим офицерам, что в эти дни решается исход всей войны, что дивизия срочно отозвана фюрером с Северного Кавказа, чтобы вызволить из «котла» армию Паулюса. Речь идет не только о спасении армии Паулюса, а о спасении «тысячелетнего рейха». На кону — жизнь или смерть. Вермахт напрягает все свои силы, чтобы пробить коридор в «котел», деблокировать Паулюса и уйти от разгрома и поражения в войне. Ставка фюрера лихорадочно сколачивает новую группу армий «Дон» под командованием фельдмаршала Манштейна. Новая группа армий Манштейна развернулась на шестисоткилометровом фронте от станицы Вешенская до станции Пролетарская на Маныче. Главным бронированным кулаком этого грозного войска должны стать танковые полчища генерал-полковника Гота вместе с моторизованной дивизией СС «Викинг».

Спасти Паулюса, говорил Гилле офицерам «викингам», — значит спасти рейх. Тогда в войну против Советов вступят Япония и Турция, тогда начнется последняя наступление на Москву.

Важнейшее контр наступление вермахта Гитлер назвал операцией «Зимняя гроза». Молнией в этой грозе должна была стать дивизия «Викинг».

В 22.00 эшелон с полком СС «Нордланд» отправился со станции Пролетарская на северо-восток, держа путь к двум основным пунктам выгрузки — станциям Зимовники и Котельниково. Эшелон состоял в основном из товарных вагонов с личным составом полка и платформ с первоклассной техникой — с танками, бронетранспортерами и самоходными орудиями. Впереди шло несколько пассажирских вагонов с офицерами. Оберштурмфюрер Нойман вместе с командиром полка штандартенфюрером Мюлленкампом и личным представителем Гимmlера штурмбанфюрером Штресслингом ехал в броневагоне, подцепленном к тендеру.

Ночью на одном из перегонов между станциями Пролетарская и Куберле, где-то около станции Орловская, эшелон был внезапно атакован. Нойман проснулся, услышал стрельбу. Эшелон стоял — машинист и кочегар были убиты.

Нойман выглянул в окно — в полусотне метров темнела стена деревьев. Да, место для засады было выбрано умело — на изгибе железной дороги с узкой снегозащитной полосой леса вдоль насыпи. Засада односторонняя, с восточной стороны.

«Викинги» сразу же поняли, что на них напали партизаны, хотя до этого им ни разу не приходилось встречаться с ними в том степном краю.

Штандартенфюрер Мюлленкамп, определив по стрельбе, что силы нападаю-

ших невелики, приказал оберштурмфюреру Нойману и его роте окружить и взять русских живыми или мертвыми.

Рота Ноймана в составе трех взводов (гауптшарфюрера Либезиса, унтерштурмфюрера Шеанга и дружка Ноймана — унтерштурмфюрера Франца Хаттеншвилера) немедленно выступила против партизан. К роте Ноймана присоединились противотанковое отделение и отделение огнеметчиков под командованием датского фашиста шарфюрера Фаллеста.

И вот пламя огнеметов и луч прожектора, вспыхнувшего на броневагоне, ярким светом осветили залегших в засаде партизан. Один из взводов, зайдя им в тыл, отрезал пути отхода в степь. Капкан захлопнулся. Партизаны отбивались долго и яростно, но слишком неравны были силы — горстка партизан сражалась против сотен фашистов. Они схватились с гитлеровцами врукопашную, дрались прикладами, финками, просто кулаками, пока не иссякли силы.

Партизанский налет на вражеский эшелон — уже сам по себе подвиг. Нападение горстки партизан на войсковой эшелон (да еще с эсэсовским полком!) в безлесной местности, в прифронтовой, набитой вражескими войсками полосе — подвиг неслыханной дерзости.

Быть может, партизаны не знали, на какой они напали эшелон. Но все равно они сознательно шли на смертельный риск. И риск этот, как никогда, был продиктован обстановкой на фронте. Советские войска в те дни напрягали все силы, чтобы скорее покончить с 6-й армией Паулюса и соединениями 4-й танковой армии, окруженными в «котле» на Волге. Железная дорога Тихорецк—Сталинград, по которой дивизия «Викинг» перебрасывалась к Волге, — единственная в том краю стальная трасса — стала для армии захватчиков в краю зимнего бездорожья жизненной артерией. Неоценимое значение имел не только каждый день, но и каждый час задержки гитлеровского контрнаступления, задержки «Зимней грозы».

Во время рукопашной партизан-автоматчик смертельно ранил Франца Хаттеншвилера. Умирая на руках своего друга Петера Ноймана, унтерштурмфюрер плакал, визжал, звал маму... Куда девалась вся выдержка этого «сверхчеловека»!

Нойман уверяет, что он застрелил партизана-автоматчика, сразившего Хаттеншвилера. Остальные партизаны, израненные, истекающие кровью, были схвачены эсэсовцами.

И вот — морозная декабрьская ночь, заснеженная насыпь. Израненные герои — около десяти советских парней и две девушки — стоят перед спящим глазом прожектора. Зловеще гудит в телеграфных проводах степной ветер. Плышуют деревья, подожженные огнеметами. Партизаны стоят обезоруженные, истекающие кровью.

Раскроем же словно слипшиеся от крови страницы «Черного марша». Глава 12-я, страница 188. Показания Ноймана я привожу точно, слово в слово.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ НОЙМАН

«Они стоят, озаренные прожектором броневагона. Русских человек двенадцать, все в длиннополых зеленых шинелях и меховых шапках. Их охраняют автоматчики из 4-й роты.

Штурмбанфюрер Штресслинг допрашивает их. Лицо у него перекопилось от ярости. Штресслинга прикомандировали к нашему полку еще в начале кавказской кампании. Должности никакой у него нет, положение странное. Поговаривают, что он подчиняется непосредственно высшему командованию СС в Шарлоттенбурге.

Внезапно он подходит к одному из партизан и что есть силы бьет по лицу, крича на него по-русски. Парень поднимает глаза, смотрит на него с явным страхом. Но не отвечает.

Я замечаю среди террористов двух девушек. Форма у них такая, что с первого взгляда их не отличишь от мужчин. Но зато фигуры крупные, как у деревенских девок, и груди, какие бывают только у русских баб.

Стиснув зубы, Штресслинг ходит взад-вперед перед шеренгой красных.

— Значит, вам нечего сказать, а? — рычит он на этот раз по-немецки. — Вы ничего не знаете? Совсем ничего?

Вдруг он останавливается как вкопанный лицом к одному из них.

— Так я заставлю вас говорить!

Он поворачивается к оберштурмфюреру Лайхтернеру:

— Прикажите своим людям раздеть это дерьмо догола! Это освежит им память.

Многие из полка собрались перед броневагоном. Эсэсовцы смотрят на эту сцену, освещенную разящим светом нашего прожектора. Заметив эсэсовцев, Штресслинг поворачивается к штандартенфюреру, который тоже подошел к нам:

— Пожалуй, стоит расставить охрану вокруг всего поезда, штандартенфюрер. Кто их знает, может быть, партизаны опять попытаются напасть на нас. Может быть, поблизости и другие группы прячутся.

Штандартенфюрер с минуту холодно смотрит на него. Видно сразу, что Штресслинг ему совсем не нравится. Кроме того, ему следовало первому позаботиться об этой элементарной предосторожности.

— Обеспечьте охрану, Улькихай! — приказывает он наконец финну.

Тот, уходя, салютует вытянутой рукой.

Гремят команды — это Штресслинг кричит во весь голос:

— По двое на каждую свинью! Хватайте их за ноги!

Полуголые русские лежат на снегу. Их худые, израненные тела сотрясает дрожь. Они знают, что их ждет.

Обеих женщин повалили позади мужчин. Младшая лежит на животе, кажется, без сознания. Спина — в больших красных ранах. Какой-то роттенфюрер говорит, что ей здорово попало, когда ее брали в плен. Она никак не давалась в руки. Эта фурия едва не вырвала глаз одному унтеру и, как дикарка, искусила нескольких эсэсовцев.

Оборачиваюсь к Штресслингу. Он говорит с одним из русских, вернее, шипит сквозь зубы:

— Кто ваши командиры? Где они скрываются?

— Не знаю, — запинаясь, отвечает русский. Лицо — как пепел. Он весь дрожит.

Штресслинг злобно кусает нижнюю губу. О чем-то думает. Взгляд его падает на эсэсовца, охраняющего партизана.

— Кинжал! — коротко говорит он.

Эсэсовец, поняв с полуслова, выхватывает кинжал и, наклонившись, приставляет острие к горлу русского, у которого глаза становятся огромными от ужаса.

— Это ты понимаешь? — рычит штурмбанфюрер, гневно поблескивая глазами. — Нож у горла понимаешь?

Пленный точно зачарованный смотрит на острие кинжала, медленно приближающееся к горлу.

Штресслинг стоит над ним — огромный, зло усмехающийся, широко расставив ноги в черных кожаных сапогах.

— Теперь будешь говорить?

Русский не отвечает — ни слова, ни знака. Он даже не шевелит губами.

— Прирежь его! — кричит Штресслинг, потеряв терпенье.

С секунду эсэсовец колеблется, взглядом ищет подтверждения приказа и в следующее мгновение вонзает кинжал.

Карл и я обмениваемся взглядами. Год назад эта сцена, пожалуй, ужаснула бы нас. Теперь же совсем не трогает...

Штресслинг — теперь он весь полон бешеной злобы — продолжает вопрос.

Он в ярости оттого, что не может и слова выжать из красных, и ярость его удешевляется, ибо он видит, что партизаны будут верны своей решимости сжать зубы и молчать.

Пожар между тем разгорелся до опасных размеров. Ветер швыряет в нас кусками горящей коры, снопами искр.

Штандартенфюрер Мюлленкамп встревожен. Приняв, видимо, решение, он порывисто подходит к Штресслингу:

— Штурмбанфюрер! Огонь может переброситься через пути, он отрежет нас в любую секунду. Мы и так уже более двух часов здесь торчим. Вот-вот подойдет войсковой эшелон или состав с боеприпасами. Когда мы отправились из Пролетарской, там их несколько стояло. Может быть, вы позднее продолжите свой... допрос?

Штресслинг круто поворачивается к нему, лицо у него деревенеет:

— Я действую согласно самому строгому приказу, штандартенфюрер! Кажется, я уже поставил вас в известность о нем. Всюду, где это возможно, террористов надо допросить и... казнить на месте преступления! — После гяжелой, давящей паузы он резко заканчивает: — Так что я вынужден просить вас проявить необходимое... терпение, штандартенфюрер!

Не говоря ни слова, командир полка поворачивает кругом на каблук...

Пожар все приближается. Штресслинг озабоченно вглядывается в стену деревьев, затем начинает искать кого-то в толпе.

— Фаллест!

Командир взвода огнемечиков выходит из толпы и салютует.

— Фаллест! Я видел, как вы здесь отличились недавно. — По лицу Штресслинга пробежало и тут же исчезло выражение иронии. — Немедленно приведите сюда ваших людей, — резко приказывает он. — Со всем снаряжением! Быстро, Фаллест!

И вот восемь огнемечиков стоят перед нами с несколько недоумевающим видом.

— Баллоны заряжены? — Видя, что Фаллест утвердительно кивает, Штресслинг со смехом говорит: — А ну-ка, Фаллест, эти проклятые мужики замерзли, зады отморозили, погрейте-ка их!

Фаллест смотрит на него непонимающими глазами. Штресслинг и не думает ему ничего объяснять. Он подзывает к себе солдата.

— А ну, тащи сюда одну из этих свиней. Они больше не будут стрелять в нас. Вот сейчас будет потеха! Для них.

Неожиданно он замечает зевак-эсэсовцев, видит, что глаза их липнут к полураздетым женщинам в снегу.

— Похотливые свињи! — кричит он. — Это вам не бордель! Убирайтесь к дьяволу! Все убирайтесь!

Эсэсовцы отступают немного, но тут же останавливаются, смотрят во все глаза. Всех раздражает любопытство, всем хочется поглядеть, как будут умирать русские.

Солдат вытаскивает одного из пленных на свет. Он потерял сознание. Его тащат за ноги в центр луча прожектора.

— Этого явно надо погреть! — говорит Штресслинг. — Разбудите его!

Эсэсовец становится на колени и трет лицо партизана снегом. Тело русского начинает трястись. Он более получаса лежит в снегу. Уже почти готов. Без всякой помощи Штресслинга.

— Кто ваши командиры? — вновь спрашивает тот.

Партизан открывает глаза. Кажется, он вот-вот заговорит.

Но тут же голова его падает в снег. У него нет сил. Только в глазах еще теплится жизнь. И в глазах этих — выражение такой решимости, что Штресслинг понимает...

Он подзывает эсэсовца из взвода огнемечиков.

— Давай кончать. Это дело и так слишком затянулось. — Его нижняя губа искривилась в подобии улыбки. — Ему так и сяк капут, но он еще может послужить примером для остальных.

Фаллест порывисто поворачивается к нему:

— Но, штурмбанфюрер! Это невысказано! Я думал, мы их только поугаеи!..

— Что значит «поугаеи»? — гремит Штресслинг. — Посмотрите туда — вагоны вот-вот загорятся, если мы тут еще будем тратить попусту время. Или они за-

говорят, или подохнут! А раз им все равно придется подохнуть, мы должны заставить их заговорить. — Он подходит к Фаллесту. — Довольно, шарфюрер! За нами идет пять, десять, тридцать эшелонов. Все на север. Если мы немедленно не развяжем языки этим сволочам — любимыми средствами, слышите? — засады на наших людей будут продолжаться! Они задержат или совсем остановят эшелоны! А это, шарфюрер, только и нужно их проклятым командирам. — Внезапно успокоившись, он добавляет: — Часы, потерянные нами здесь, не потрачены зря — мы защищаем эшелоны, идущие на выручку наших окруженных дивизий! — И он заканчивает своим обычным саркастическим, едким тоном: — Пошевеливайтесь, Фаллест! Живо!

Командир взвода огнеметчиков стоит, словно громом пораженный. Но вот он сигналил одному из своих солдат, и тот выходит вперед, бледнея.

— Подожди минуту! — говорит Штресслинг. И в который раз спрашивает партизана: — Ну, будешь говорить?

Глаза русского закрыты. Неизвестно — слышал он или нет.

Штурмбанфюрер спокойно, с изумительной небрежностью бросает:

— Действуй!

Огнеметчик отходит на несколько шагов. Сигналил двум эсэсовцам, охраняющим пленного, чтобы те ушли с дороги.

Сжав зубы, со странным, остановившимся взглядом взваливает он на спину баллон огнемета. Еще раз смотрит на Штресслинга. Наконец он решается. Клапан давления газа автоматически приводит в действие воспламеняющее устройство.

Мощная струя огня с ревом вырывается из огнемета.

Ужас!

Сцена эта продолжалась не более нескольких секунд, но она достигла самой вершины ужаса...

Сначала русский вскричал жутким, нечеловеческим голосом и стал судорожно извиваться, взрывать ногтями снег и землю.

Его тело, сгорая, исчезало на глазах...

С пепельно-серым лицом эсэсовец отключил пламя по сигналу Штресслинга.

Его жертва еще извивалась несколько секунд на черной, выжженной земле, где растаял весь снег, еще билась в агонии смерти...

Последним своим движением русский поднес руку к обугленному лицу, на котором сгорела вся живая плоть. Затем его тело изогнулось, опало, замерло на земле.

Смерть.

В нескольких шагах от сожженного стоят в свете прожектора партизаны, потрясенные этой Дантовой сценой, только что разыгравшейся у них на глазах.

Один из них падает на колени в снег. Он шумно рыдает, воздев руки к небу.

Одна из женщин внезапно вскакивает с бешеным криком, как одержимая. Двое эсэсовцев спешат удержать ее. Ее подруга тоже в неистовом порыве набрасывается на них. Ее кое-как отрывают от эсэсовца, она разодрала ему лицо ногтями.

А Штресслинг саркастически усмехается, глядя, как пленных пинками сваливают обратно на землю.

— Хватит! — кричит он вдруг. — Мы и так потратили слишком много времени.

Заложив руки за спину, он подходит к партизанам и внимательно вглядывается в каждого. Затем приказывает эсэсовцам:

— Пулеметчики! Кончайте!

Он поворачивается и идет к паровозу.

Горят деревья. Счастье, что ветер дует не в нашу сторону. Однако пора в дорогу. Уже валяются деревья, взметая снопы искр, всего в нескольких шагах от пути.

Несколько длинных пулеметных очередей. Потом — поддужины pistolетных выстрелов. Тишина.

Партизаны уплатили по счету. С процентами...

Медленно трогается эшелон».

КТО НАПАЛ НА «ВИКИНГОВ»?

Кто они были? Как их звали? Они приняли смерть, не выдав товарищей, не предав командиров, не моля о пощаде, не сказав ни слова. Умирая, они знали: каждая выигранная минута — это залп по врагу. Они знали: враг не должен пройти.

Дерзкое нападение партизан на полк «Нордланд» не только потрепало этот эсэсовский полк, но и надолго задержало — засадой и пожаром снегозащитной полосы — всю дивизию «Викинг» и следовавшие за ней соединения. От Пролетарской до Котельникова — всего около ста восьмидесяти километров, но из-за партизанской засады эшелон с полком «Нордланд» застрял на полпути. Утром эшелон остановился в Куберле — эсэсовцы потеряли еще много времени на похороны Хаттеншвилера и других гитлеровцев, убитых партизанами. Франц Хаттеншвилер, пишет Нойман, «спит в русской земле, которую он так ненавидел» (стр. 195).

Из-за этих задержек, вызванных действиями партизан и напором наших фронтовиков, не 3 декабря, не 8 декабря (как планировал Манштейн), а только 12 декабря смог генерал-полковник Гот приступить к операции «Зимняя гроза», начать наступление из района Котельниковского на Сталинград.

Гот и бригадефюрер Гилле, не сомневаясь в успехе, непрерывно радиовали войскам Паулюса: «Держитесь! Освобождение близко». Ночами оберштурмфюрер Нойман уже видел зарево над Волгой — каких-нибудь сорок километров оставалось до Паулюса! Сотни танков, меченных черными крестами с белыми обводами, рвались к Волге. Но танковый вал гитлеровцев разбился о мужество и выдержку только что прибывших на фронт свежих войск 2-й гвардейской армии под командованием генерала Малиновского и 51-й армии генерала Труфанова, стоявшей насмерть на реке Аксай-Есауловский. Как признал гитлеровский генерал Меллентин, «битва на берегах этой безвестной речки привела к кризису Третьего рейха, положила конец надеждам Гитлера на создание империи и явилась решающим звеном в цепи событий, предопределивших поражение Германии».

Утром 24 декабря наши войска перешли в наступление на Котельниковском направлении. Вскоре Военсовет фронта — командующий генерал-полковник Еременко, член Военного совета Хрущев докладывали о разгроме десяти дивизий, и в том числе дивизии СС «Викинг».

Выполняя приказ Гимmlера, рота Ноймана отступила, оставляя за собой выжженную землю. По свидетельству Ноймана, в концлагере под Зимовниками Штресслинг и его подручные расстреляли около ста ростовских партизан. Нойман вспоминает: «Партизаны постоянно беспокоили нас, отчаянно пытались помешать нашей разрушительной работе» (стр. 201). К 17 января войска нашего Южного фронта освободили станции Куберле, Орловская, Пролетарская.

Кто-то похоронил изрешеченные пулями тела неизвестных на глухом перегоне, и целых двадцать лет наш народ ничего не знал о замечательном подвиге славных своих сыновей и дочерей.

Кто они, эти двенадцать героев? Как узнать их имена, их биографии?.. Я обратился к архивам...

Если посмотреть на карту основных районов действий советских партизан, мы увидим, что ближайшие партизанские отряды базировались километрах в восьмидесяти — ста от места засады под Орловской. Партизан в донских степях было мало, но гестапо обещало за голову каждого из них тысячу оккупационных марок, или десять тысяч рублей.

Южнее станции Пролетарская, в Сальском районе, в ту памятную зиму отчаянно дрались партизаны отряда «Степной орел». Быть может, «Степной орел» задержал эсэсовский полк «Нордланд»? Нет, по дневнику боевых действий отряда видно, что не «Степной орел» напал на эшелон.

Мы знаем: в районе Котельникова, Зимовников, Романовской бесстрашно дрались отряд «За Родину» под командованием Войцеховского. Однако проверка пока-

зала, что отряд этот перешел линию фронта в конце декабря... Еще в начале ноября 1942 года, когда в наших штабах шла подготовка к мощному контрнаступлению против гитлеровцев, Никита Сергеевич Хрущев, отводя важное место партизанам в этом решающем наступлении, создал штаб партизанского движения фронта. Учитывая, что партизанам придется действовать в неслыханно сложных условиях, в тылу миллионной армии гитлеровцев, в малонаселенных степях, битком набитых врагом, штаб подготавливал и засылал в донские степи, в гитлеровский тыл летучие партизанские группы, в первую очередь для нападения на железнодорожные и шоссейные магистрали.

По свидетельству Ноймана, для гитлеровцев на юге не было секретом, что партизанами руководит «народный комиссар Хрущев» (стр. 169). Об этом заговорили они еще в сорок первом, когда минеры полковника Старинова взорвали штаб гитлеровского генерала фон Брауна, разместившегося в Харькове, в доме, в котором жил до оставления города Никита Сергеевич Хрущев.

Шестая танковая дивизия с еще невиданными на фронте танками «тигр», на которые так надеялись Гитлер и Манштейн, прибыла из Франции с опозданием, разрозненно, с большими потерями в технике и личном составе, с деморализованными партизанской войной на рельсах офицерами и солдатами.

Скорее всего, на эшелон «викингов» напала диверсионно-разведывательная группа, перешедшая через линию фронта или выброшенная в тыл врага на парашютах. Мы знаем, что, как правило, такие группы сколачивались из комсомольцев-добровольцев и состояли из девяти-десяти партизан и двух партизанок, имели на вооружении один-два пулемета, несколько автоматов, винтовки, гранаты. Все это вполне сходится с рассказом Петера Ноймана. Все в шинелях, меховых шапках, без знаков различия...

В Пролетарский район (ныне Орловский и Пролетарский районы объединены с центром в станице Пролетарская) я послал письма-запросы. Неужели не найдутся степняки, слышавшие двадцать лет тому назад о казни партизан под Орловской? В поиски с энтузиазмом включились пионеры Орловской средней школы, Орловской восьмилетней школы, Донской восьмилетней школы колхоза «Россия».

Порой, когда на запросы приходили отрицательные ответы, когда в архивных поисках одна неудача следовала за другой, казалось, что нет, не удастся прорвать густую двадцатилетнюю пелену истории. Но тогда в памяти всплывал, ободряя, прогоняя сомнения, пламенный завет Юлиуса Фучика: «Не забудьте!.. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас... Не было безымянных героев».

ГРУППА «МАКСИМ» № 66

В областных архивах — волгоградском, ростовском, ставропольском — не оказалось никаких документов, никаких следов «двенадцати»...

В центральных военных архивах, в пожелтевших за двадцать лет архивных папках с делами и бумагами я натолкнулся на ценное свидетельство: в течение ноября 1942 года партизанский штаб на Волге послал в степной тыл гитлеровцев семьдесят три партизанские группы общей численностью около трехсот шестидесяти человек. Во главе этих групп штаб поставил местных партийных, комсомольских и советских работников, хорошо знавших свои районы.

Итак, в тылу миллионной гитлеровской армии у Волги действовали семьдесят три партизанские группы. Одной из семидесяти трех была группа, вышедшая в зимнюю декабрьскую ночь на железную дорогу в районе станции Орловская. Одной из семидесяти трех!..

Где, в каком архиве хранятся дела этих групп?

Поиск начался с книги, купленной в Вашингтоне, а разгадка тайны, которая мучила меня больше года, лежала в центре Москвы, в архиве Института марксизма-ленинизма. Именно туда были пересланы документы партизанского штаба на Волге.

Прежде всего я натолкнулся в этих документах на сведения о дивизии СС «Викинг» в разведсводках фронтового штаба партизанского движения: «Сальское направление — по реке Куберле, Зундов, Беднота... и далее по реке Маньгч — обороняется дивизией СС «Викинг»...» В разделе «Дислокация штабов противника» мелькнуло сообщение: «Пролетарская — штаб дивизии СС «Викинг»...»

Вот разведсводка № 3 за февраль 1943 года. В разделе «Зверства и грабежи; чинимые фашистскими захватчиками над советскими гражданами», читаю: «В Орловском районе были расстреляны... 11 пленных красноармейцев».

В той же сводке сообщалось: «На станции Пролетарская расстреляли около 150 человек под предлогом принадлежности их к партизанам».

Эти сто пятьдесят советских граждан, видимо, были расстреляны за нападение партизан на полк СС «Нордланд»...

Еще 31 октября 1942 года Центральный штаб партизанского движения указал своему представителю на Волге: «Для улучшения управления и связи с отрядами разделить оккупированную зону области на сектора». Орловский и Пролетарский районы вошли в сектор № 8. ЦШПД предлагал направить в этот район диверсионную группу для действий на железнодорожном участке Куберле — Пролетарская.

Двенадцатого декабря 1942 года генерал-майор Т. П. Кругляков, представитель ЦШПД на Волге, докладывал о переброске в тыл врага сорока семи спецгрупп. Из них вернулось только двадцать семь.

И вот наконец мелькнуло в донесениях партизанского штаба упоминание о группе, которая действовала на железнодорожном участке Пролетарская — Орловская — Куберле: «Самостоятельно действующая группа товарища Черняховского № 66 «Максим». Только одна эта группа действовала в конце ноября — начале декабря в районе Орловской!

Эта группа была перебросена через линию фронта 18 ноября 1942 года и вскоре вышла в район Заветного. В конце ноября командиру группы Черняховскому было приказано передислоцироваться в район Пролетарская — Куберле. И вот последние записки в деле: «Отряд вышел в тыл противника благополучно. Сведений о боевых действиях не поступало...»

Без вести пропали и многие другие группы, посланные в другие районы. В конце ноября в штабе еще надеялись узнать их судьбу: «В связи с тем, что отряды посланы на большое удаление в тыл противника, связники еще не появились...»

Сохранились карты партизанского штаба, на которых обозначена дислокация группы «Максим» в районе Пролетарская — Куберле.

В начале декабря 1942 года связь с группой прервалась. Прервалась навсегда.

В 1943 году, когда штаб свернул свою работу, никаких сведений о группе так и не поступило. После освобождения района действий этих групп штаб пытался выяснить их судьбу. То и дело встречал я в делах короткие пометки: «Группа уничтожена полностью...» О группе Черняховского выяснить ничего не удалось, она словно провалилась сквозь землю.

Но клубок разматывался... И вот папка с личным делом группы «Максим». Здесь волнует каждая строка.

Состав — пятнадцать человек. Один член партии (комсомолец), комсомольцев — десять человек, беспартийных — четверо. Вооружение — шесть автоматов, четыре винтовки, четыре карабина, пистолетов два, мин шестьдесят пять, патронов четыре тысячи пятьсот. Продовольствия — на десять дней. Пункт базирования — курганы на берегу Маньгча в районе хутсров Нижне-Зундов и Верхне-Зундов, в десяти — пятнадцати километрах от железной дороги. Задача — налеты на железную дорогу в районе Орловской. Пароль для связи: «Воронеж». Отзыв: «Винт». Пароль для явки: «Иду к родным»...

Оказывается, у группы «Максим» была рация для связи с Большой землей. Вот разгадка численного несоответствия! Идя на засаду, командир группы Чер-

няховский, конечно, оставил где-нибудь в курганах радистку с охраной. Выжил ли кто-либо из оставленных — этого мы пока не знаем.

В папке группы «Максим» — личные дела ее командиров и партизан. Все они окончили краткосрочную школу в Астрахани.

Вот они — герои-партизаны.

Леонид Матвеевич Черняховский, двадцать восемь лет, член ВЛКСМ с 1932 года. Работал до войны товароведом в сухумском санатории «Агудзери».

Комиссар группы «Максим» — Быковский Василий Максимович, двадцать девять лет. Член ВКП(б), до войны — военрук школы Заветинского района, Ростовской области, прибыл в школу из Астраханского окружного ВКП(б). У него оставался дома годовалый сынишка Таим.

Заместитель командира по разведке — двадцатилетний севастополец Володя Солдатов.

Снайперы-подрывники Степа Киселев, Ваня Сидоров и Коля Кулькин, все трое местные парни-волжане, Ваня Клепов из Баку, Коля Лунгер с Урала, бывший беспризорник Володя Владимиров из Николаева, тамбовец Паша Васильев, Коля Хаврошин из Астрахани, Володя Анастасиадзе из-под Москвы. Почти все комсомольцы, все лет семнадцати — двадцати.

В группе было три девушки — снайпер-подрывник семнадцатилетняя Нонна Шарыгина, девятнадцатилетняя медсестра Валя Заикина и двадцатилетняя радистка Зоя Печенкина.

Командный состав группы — Черняховский и Солдатов и некоторые из снайперов-подрывников были присланы в школу штабом 28-й армии. Зная путь этой армии, можно догадаться и о боевом пути Черняховского и Солдатова: в сорок первом 28-я армия вела тяжелые оборонительные бои в районе Рославль — Медынь — Брянск, рвалась к Смоленску, сражалась в окружении. Весной 1942 года 28-я наступала на Харьков, а затем отбивала контратаки 6-й армии вермахта и танков фон Клейста, отступая к Волге. Во второй половине августа 28-я остановила продвижение немецко-румынских войск к Астрахани; тогда армией командовал генерал-лейтенант В. Ф. Герасименко. Уже после гибели группы «Максим» товарищи Черняховского и Солдатова по армии наступали на Пролетарскую и Сальск, дрались за Ростов.

Бойцы 28-й армии прогнали войска 6-й армии Манштейна из Мелитополя и Никополя, освобождали Польшу, участвовали во взятии Берлина. И в военные годы, и после войны боевые товарищи «степных орлов» считали их без вести пропавшими, они так и не узнали, какое великое дело сделали герои в решающие дни и ночи под городом-героем на Волге. А родные, близкие отважных партизан, пропавших без вести в Сальских степях, ждали всю войну, не уставали ждать и долгие годы после войны.

«И БОЛЬШЕ ПИСЕМ НЕ БЫЛО...»

Уходя в ноябре 1942 года в тыл врага, пятнадцать молодых героев-партизан оставили в штабном деле адреса своих родных. Они были из Севастополя, Луганска, Баку, Астрахани...

По всем этим адресам я разослал письма, но шли недели, месяцы, а родные Леонида Черняховского, Василия Быковского и других членов группы «Максим» не отвечали. Ведь прошло двадцать лет, многие из близких героев умерли, другие давно сменили местожительство.

Удалось все же связаться с сестрой снайпера-подрывника Вани Клепова — Пелагеей Прокофьевной Егоровой, проживающей в Баку. «Писем брата, — пишет Пелагея Прокофьевна, — у меня не сохранилось, да и были эти письма из трех строк... Родился Ваня в 1922 году в селе Атаевка Широко-Карамышинского района, Саратовской области. Родители его были крестьяне — Клеповы Даниил Матвеевич и Лукерья Петровна. В 1922 году заболела мать, и его, как самого

меньшого, я забрала к себе в Баку. Здесь он поступил в 22-ю школу, окончил семь классов, потом пошел работать слесарем на Бакинский вагоноремонтный завод. Оттуда он в первый год войны был призван в Красную Армию, направлен в город Кутаиси Грузинской ССР. Примерно через месяц он проездом забежал домой, сказал, что направили его в Астрахань на учебу в школу, а какую школу — я не знаю. Через месяц он писал уже с дороги на фронт, чтобы писем я пока не писала. В этом письме он писал, что на своей территории будет месяца через три, если будет жив — сообщит сам. Больше мне о нем ничего не известно. Извещения никакого не было. Все мои старания навести справки о его судьбе были безрезультатны...»

Это все, что пока мы знаем о Ване Клепове.

Почта принесла письма и от матери медицинской сестры группы «Максим» Вали Заикиной — Марии Павловны Заикиной — и ее сестры Елизаветы Ивановны Степановой.

Валя родилась в 1923 году в крестьянской семье в селе Владимировка Владимировского района, Астраханской области. Родители работали в колхозе. Когда ей исполнилось пятнадцать лет, Валя вступила в комсомол.

«Была она живая, верткая и бсовая, но к людям относилась хорошо, — пишет ее сестра Елизавета Ивановна. — В школе училась средне. Была хорошей физкультурницей, участвовала в парадах. Много читала книг. С раннего детства узнала труд — родители работали и Вале приходилось готовить всей семье и ухаживать за хозяйством и маленькими сестрами».

Война застала Валю, рассказывает в письме сестра, в десятом классе средней школы № 1. Валя купила целую грудку новеньких учебников 10-го класса, но ей так и не удалось заниматься по ним. Валя стремилась всеми силами помочь фронту. Когда комсомол призвал юношей и девушек встать на место призванных в армию астраханских рыбаков, Валя была среди первых комсомольцев, откликнувшихся на этот призыв.

«Моя дочка Валя, — пишет шестидесятилетняя ее мать, работающая сейчас няней в районной больнице, — поехала работать из села нашего Владимировки в Астрахань на рыбный промысел и отбыла там навигацию три месяца, а после этого она прислала нам письмо, что ее посылают рыть окопы в Сталинград. Потом она как комсомолка ушла в армию. И больше писем от нее не было. Потом вызвали меня в райвоенкомат и сказали, что моя дочь в партизанах, а адрес вам дать не можем...»

Письма ее никакие не сохранились...

После окончания войны я послала розыск, и мне пришел ответ, что Заикина Валентина Ивановна погибла смертью храбрых, а где похоронена — мне не известно...

Сообщите, где похоронена Валя. Может, я смогу туда съездить...»

Где похоронены герои? До сих пор я не могу ответить родителям героев. Но уверен, что жители сел, станционных поселков на железнодорожном участке Пролетарская — Куберле укажут нам братскую могилу отважных партизан.

Отец Вали Иван Александрович Заикин умер недавно, так и не узнав, как погибла его дочь...

Валя Заикина... Это она вместе со своей подругой семнадцатилетней Нонной Шарыгиной бросилась с голыми руками на эсэсовцев, на палачей, которые напрасно пытались ее сломить, казнив страшной смертью у нее на глазах товарищей. Это произошло в ночь на 3 декабря 1942 года. Третьего декабря Вале исполнилось девятнадцать лет, но она не увидела солнца в тот день...

Особое внимание я, как москвич, обратил, естественно, на адрес снайпера-подрывника группы «Максим» Володи Анастасиадзе. Володя жил и учился до войны в Московской области, там он оставил двадцать лет назад родителей — отца Фемистокла Христофоровича и мать Александру Ивановну. Отцу и матери Володи, когда он уходил на фронт, было всего около сорока лет. Значит, сейчас им около шестидесяти. Их нужно разыскать. Но как? Володя работал токарем на

заводе под Москвой. Адрес родителей, оставленный им в личном деле, не обнадеживал: Москва, Варшавское шоссе, 124-е почтовое отделение, до востребования. Видимо, в этом районе жили и работали его родители, кто-то из них получал письма сына прямо в почтовом отделении.

Звоню в 124-е почтовое отделение. Первая осечка. Нумерация и адреса отделений, штаты работников давно изменились. Ныне разросшийся жилой район Варшавского шоссе обслуживают другие почтовые отделения.

Перелистываю старые и новые телефонные книги. Нахожу некоего гражданина Анастасиаде В. З. Инициалы не сходятся — может быть, родственник? По телефону выясняю, что у В. З. Анастасиаде родственников в Москве не было и нет, о партизане Володе Анастасиаде он никогда ничего не слышал.

И вдруг — удача. Начальник Центрального справочного адресного бюро Москвы находит в картотеке фамилии двух москвичей — Анастасиады Фемистокла Христофоровича, 1902 года рождения, и его жены Анастасиады Александры Ивановны, 1902 года рождения. Сомнений быть не может — это отец и мать партизана Володи Анастасиады.

В личном деле и в списках личного состава его фамилию, очевидно, перепутал войсковой писарь.

Адрес отца и матери Володи Анастасиады — станция Бирюлево под Москвой. Прямо из адресного бюро я еду на Павелецкий вокзал.

Карточки на подмосковных жителей Анастасиады были заполнены в адресном бюро восемь лет тому назад, в 1955 году. Живы ли родители героя? Если живы, то все эти двадцать лет они считали сына пропавшим без вести. Спустя двадцать лет я везу им трагическую весть. Скрывать правду я не имею права. Да, их сын погиб, но не пропал без вести — он умер героем, которым вправе гордиться вся страна.

Я смотрю в окно вагона. За окном тянется заснеженная насыпь, за белой насыпью — снегозащитная полоса, которая ночью кажется стеной леса. За много тысяч километров отсюда на такой же насыпи двадцать лет тому назад залег в засаде Володя Анастасиады.

Бирюлево... Двухэтажный деревянный дом. На двери нет фамилий жильцов.

— Вам Фемистокла Христофоровича? — переспрашивает моложавая седая женщина в фартуке. — Пожалуйста. Да, я его жена, Александра Ивановна. Вы, верно, с завода путевку нам, пенсионерам, принесли?

Я стараюсь изложить цель своего прихода как можно тактичнее, но при первом упоминании имени Володи в глазах у матери и отца вспыхивает тревога. Нет, не забыты горькая боль утраты и надежда на чудо. Ведь бывает такое, возвращаются без вести пропавшие и через десять, и через двадцать лет. Сейчас Володе — подумать только! — было бы тридцать семь лет.

Но это чудо уже не свершится.

«В СЕМНАДЦАТЬ МАЛЬЧИШЕСКИХ ЛЕТ...»

Мать и отец Володи рассказывают мне о своем единственном сыне.

Володя родился 6 января 1925 года в Одессе, где родители его работали на джутовой фабрике. В 30-м году отец Володи — слесарь — окончил курс механического факультета Одесского комбината рабочего образования. Харьков, Мариуполь, Харьызск, Фастов — из города в город, с завода на завод перебрасывали инженера-механика Анастасиады-старшего. В 1939 году Володя ходил в школу под Брянском, в Полпинках. В сорсковом году отца перевели на завод холодильного оборудования около станции Щелково под Москвой.

Окончив семь классов, Володя поступил в сельскохозяйственный техникум на станции Битца Курской железной дороги. Там Володя учился только год — последний довоенный учебный год.

Учился Володя хорошо. Гонял, как всякий мальчишка, голубей, искусно строил авиамодели. Был он хорошим, надежным товарищем. Отличался скром-

ностью, даже застенчивостью, сходиллся со сверстниками не сразу, с трудом, но, раз подружившись, дружил крепко.

Он был одаренный парнишка, неплохо рисовал с натуры, моментально схватывая сходство. И пел он замечательно, получал грамоты на областных олимпиадах художественной самодеятельности. Больше всех песен любил он «Раскинулось море широко» и «Орленка».

Горячий, порывистый, всему он отдавался с самозабвенным увлечением. Страстно любил Володя лыжи, не боялся самых крутых гор, раз даже сломал ногу. А драк не любил, избегал драчунов. Отец даже не раз говорил сыну: «Да ты дай сдачи, Володька!» Но Володя боялся. Боялся разойтись и зашибить драчуна — рос не по годам высоким, плечистым парнем. Девушки заглядывались на Володю. Но Володя был робок с девушками.

Когда началась война, отец и мать перешли работать на завод. В грозную осень сорок первого семья эвакуировалась на восток. В Саранске Володя пошел работать токарем в железнодорожные мастерские. Родители вернулись зимой в Москву, а шестнадцатилетний юноша уехал в Астрахань.

Володя мечтал уйти в армию, на фронт, а отец и мать не пускали его: «Куда тебе, Вовка, молоко на губах не обсохло!»

В ту первую морозную военную зиму Володя заболел воспалением легких, лег в больницу железнодорожников. Из больницы его, слабого, исхудавшего, повела к себе пожилая медицинская сестра Ольга Петровна Выборнова. Эта душевная русская женщина взяла одинокого парня к себе в комнатку в поселке имени Трусова, приютила, выходила, ухаживала за Володей как за родным сыном — собственные сыновья ее пали смертью храбрых в первых боях. Для Володи тетя Оля стала второй матерью, а ее немаленькая семья — дочери и внуки тети Оли — второй семьей.

Выздоровев, Володя вернулся к токарному станку, перебрался в заводское общежитие. В мастерских он вступил в комсомол и вновь стал обивать пороги военкомата с заявлением добровольца в руках.

Осенью 1942 года Володя Анастасиади добился своего — он был взят в партизанскую спецшколу, сердечно простился с Ольгой Петровной и ее семьей.

— В ноябре сорок второго, — спустя двадцать лет рассказывали мне его отец и мать, — мы получили от Володи две открытки. Вот они. Мы хранили их все эти годы.

Две открытки. Одна с этиодом «Двор и сад дома Ульяновых». На ней Володя набросал: «Дорогие родители! Уведомляю вас о своем отъезде из Астрахани. Отправляюсь на боевое задание. Пока все. Целую вас крепко. Ваш сын Володя».

Вторая открытка от 26 октября 1942 года, тоже со штампом волжского города-героя: «Папочка и мамочка! Скоро иду выполнять боевое задание Партии и Правительства. Пока все хорошо, жив, здоров, того и вам желаю. Ну пока все. До свидания! Целую крепко, крепко 100 000 раз».

Эта открытка пришла в Москву, радуя и тревожа Володиных родителей, когда Володи уже не было в живых — в первый день нового, 1943 года.

Больше писем не было. Шли военные годы. Отец и мать Володи терялись в догадках. В ответ на их запросы Астраханский областной военный комиссариат ответил весной 1944 года: «В числе призванных и отправленных в Красную Армию по Астраханской области не значится». Ведь Володя пошел по специальному набору в школу. В 1956 году отдел по персональному учету потерь сержантов и солдат Советской Армии Министерства обороны СССР писал: «Сообщаю, что гражданин Анастасиади Владимир Фемистоклович в числе погибших, умерших от ран и пропавших без вести сержантов и солдат Советской Армии не значится. Производить его розыск как военнослужащего без указания воинского адреса не представляется возможным».

И вот спустя двадцать лет, уже седыми стариками, узнали отец и мать Володи о том, что сын их пал смертью героя, что подвиг его можно поставить в один ряд с подвигами Зои Космодемьянской и молодогвардейцев Краснодона...

ВНОВЬ РАЗДАЕТСЯ КЛИЧ «ВИКИНГОВ»

А что стало с оберштурмфюрером Нойманом, его дружкой эсэсовцем графом Карлом фон Рекнером и другими палачами-«викингами»?

После катастрофы близ Волги «викингов» били на реке Миус, под Матвеев-Курганом, под Харьковым. Чуть не погибли они в «котле» под Корсунь-Шевченковским, откуда сумели выбраться только три роты. Одной из них была рота, которой командовал Петер Нойман. Вновь ушли от возмездия палачи, сжигавшие заживо людей огнеметами.

Но под Ковелем счастье изменило графу Карлу фон Рекнеру. То ли снарядом, то ли партизанской миной оторвало у него ногу, и санитарный самолет, вылетевший из Ковеля в эсэсовский госпиталь, привез туда уже его труп.

А Нойман, этот вываренный во стольких котлах оборотень, продолжает выполнять приказы Гиммлера: возглавив заградотряд СС, расстреливает своих же офицеров вермахта, без приказа бежавших от русских по шоссе Могилев — Минск. Одни из расстреливаемых — ветераны французской, норвежской, греческой и других бесчисленных кампаний — кричали: «Хайль Гитлер!», другие проклинали перед смертью Гитлера и СС.

В послужном списке Ноймана — чудовищные акции против белорусского населения, против белорусских партизан. А потом он опять вешал гитлеровских офицеров-дезертиров, вешал в Будапеште, вешал в Вене.

Темной апрельской ночью, когда бой за Вену приближался к концу, гауптштурмфюрер Нойман, командир сводного отряда из эсэсовцев разгромленных дивизий «Викинг», «Рейх», «Мертвая голова», страхась расплаты, сорвал с себя свои кресты и знаки различия и утопил их вместе с документами в канале. Казалось, карьере Ноймана пришел конец.

Петер Нойман сдался в плен советским солдатам. Об этом периоде жизни он говорит очень глухо. Палач скрыл свое кровавое прошлое, его вылечили в советском госпитале. Он помогал расчищать руины Варшавы, потом работал в лагере военнопленных.

После амнистии Нойман вернулся в родной Гамбург. Он не рассказывает нам в своей книге, как встретила его Федеральная Германия, но нам и без его рассказов это отлично известно. Петеру Нойману вновь повезло. В первые трудные послевоенные годы одни его приятели завербовались в Иностранский легион и потом погибли от партизанской пули где-нибудь во Вьетнаме, другие угодили в тюрьму, потому что хотели драться за личное преуспеяние теми же методами, какими дрались эсэсовцы во славу фюрера на войне. Но эксгауптштурмфюрер вернулся на родину тогда, когда Бонн открыто пошел по стопам Гитлера.

В то время вернувшихся из плена эсэсовцев и гестаповцев власти Западной Германии встречали как героев, выплачивая им в течение года оклад, равный их последнему жалованию в СС. Как военный преступник, кавалер «железного креста» обеих степеней и других гитлеровских наград, Петер Нойман мог рассчитывать на солидную пенсию.

В своей книге «Мятая совесть» честный немец, бывший полковник и кавалер «рыцарского креста» — он вылетел раненым из обреченной армии Паулюса на одном из последних самолетов — Рудольф Петерсхаген рассказывает: американский офицер, производя лет десять назад инспекцию с целью досрочного освобождения военных преступников из американской тюрьмы в Ландсберге, спросил эсэсовского офицера, за что тот был осужден на пожизненное заключение после войны.

«— Я расстрелял семнадцать комиссаров Красной Армии, господин майор! — гордо ответил эсэсовец, вытянувшись по стойке «смирно».

Американец сказал, глазом не моргнув:

: — Теперь за это вам следует дать орден!»

Много воды утекло в Рейне с тех времен, когда генералы Гитлера сидели за решеткой. Ныне они ворочают делами не только бундесвера, но и НАТО, все нахальнее тесня своих партнеров.

Может быть, и не стоило бы столь подробно говорить об эксгауптштурмфюрере СС, если бы сегодня вновь не гремел в Западной Германии воинственный клич «викингов».

Дивизия СС «Викинг» формировалась после захвата Гитлером западноевропейских стран не только из немецких нацистов-волонтеров, но и из фашистов, шпионов и диверсантов гитлеровской «пятой колонны» в Норвегии, Голландии, Дании — словом, из «сливок нордической расы». Это и побудило недобитых «викингов» ныне претендовать на приоритет, заговорить в наши дни (в своей газетке «Клич викингов» и всюду, где только можно) о том, что СС вообще и в первую голову дивизия «Викинг» явились прообразом НАТО, предтечей того самого «антибольшевистского североатлантического оборонительного сообщества», о котором мечтали гитлеры, гиммлеры, нойманы в дни кровавого заката «тысячелетнего рейха».

Ободренные поддержкой заатлантического босса, оборотни-«викинги» всерьез надеются возродить СС в рамках НАТО. Несмотря на то, что Потсдамское соглашение великих держав-победительниц запретило ветеранские организации на немецкой земле, ныне около полусотни землячеств бывших эсэсовцев, зачинателей североатлантической идеи, и около тысячи землячеств частей и соединений вермахта разжигают реваншистские страсти в Западной Германии.

Неспроста воспоминания матерого эсэсовца Ноймана вышли столькими изданиями во Франции (под названием «СС!»), в Англии (под названием «Чужие могилы») и в Америке, где книгу выпустили несколькими массовыми тиражами два издательства. Ее напечатал, чтобы пощекотать нервы своих читателей, журнал «Мейл» («Самец»). Во всех этих странах, тревожа друзей мира, растет число единомышленников Ноймана. Это молодчики «американского фюрера» Рокуэлла и бэрчисты в США, осовцы во Франции, фашисты Мосли в Англии, недобитые чернорубашечники в Италии. И, как прежде, впереди идут «викинги»: недавно газеты мира облетело сообщение о неонацистской организации поклонников «викингов» и Квислинга, раскрытой в Норвегии.

У памятника убитым гитлеровцам танковый генерал Рейнгард поклялся в выражениях, отнюдь не двусмысленных: «Вы не напрасно пали. Ваша героическая смерть будет примером для европейской армии, которая наконец освободит мир от коммунистической опасности».

Прежние начальники гауптштурмфюрера Ноймана, бывший генерал войск СС Феликс Штайнер, как и сменивший его группенфюрер Гилле, снова в фаворе, снова на коне. Но коня Штайнеру мало, ему вновь нужен танк с блестящим штандартом командующего. В своей книге «Военная идея Запада» он осмеливается даже критиковать Пентагон, нет, говорит он, американцам не удастся добиться «выигрыша войны с воздуха»; «раз бомбу могут бросить обе стороны, все надежды на нее лопаются». Штайнер призывает создавать новые высокоподвижные мотодивизии (вроде дивизии СС «Викинг», разумеется) для оккупации территории противника. Живучий фельдмаршал Манштейн в конце 1956 года ратовал за то же. А генерал-полковник Гот — и он жив, и он на коне — хочет, чтобы бундесвер имел мощные танковые дивизии, достойные атомной эпохи.

Это не пустые разговоры в духе прожектов и обещаний последнего канцлера Третьего рейха — доктора Геббельса. Боннская печать уже в 1958 году взалхла раструбила, что на том самом мюнстерском полигоне, на котором двадцать три года назад формировались танковые и моторизованные дивизии Гитлера, проходят маневры сверхмощных дивизий бундесвера...

И нойманы, и их генералы вслух, публично, на страницах западногерманского военного журнала «Веркунде» мечтают применить атомное оружие против советского народа: «Ленинград... можно было бы в кратчайший срок ликвидировать при помощи атомных атак. То же самое можно было бы сделать и с Севастополем. Осенью 1941 года при помощи атомных бомб можно было бы разделаться с «котлами» у Киева, Брянска и Вязьмы не за несколько недель, а за несколько часов... имелась бы возможность атомизировать Москву...»

Но нет, не повторится «черный марш»! Поручкой тому — мужество защитников мира. Пусть оно будет столь же высоким, как мужество героев, павших под Орловской.

Теперь мы знаем имена героев. Мы никогда не забудем их подвиг.

И мы знаем их убийц.



ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

А. ШАРОВ

★

ПРОТИВОВИРУСНАЯ БИТВА

Четверть века

В 1892 году Дмитрий Иосифович Ивановский открыл возбудителя табачной мозаики — невидимого, фильтрующегося через поры бактериальных фильтров. Кто мог тогда предположить, что этот мельчайший вирус не удивительный монстр природы, а первый вестник целого мира, грозного для человека, вызывающего опаснейшие болезни? Умирая, Мечников говорил, что для медицины наступает эпоха, когда главным станет борьба не с микробами, а с невидимыми и возбудителями заболеваний — вирусами. Пророчество его мало кто воспринял в полной мере. Уэнделл Стенли изучил чудесную особенность вирусов, которые вне клетки «мертвы, как камень», а в клетке обретают все свойства живого, поколение за поколением совершают путешествие из небытия, как бы особой формы смерти, в бытие. И это фундаментальное открытие, как казалось многим, имело лишь отвлеченный от практики, академический интерес.

Должны были грянуть серьезные события во внешнем мире, в природе, чтобы из глубины очень немногочисленных лабораторий вызвать вирусологию на поле боя за человеческие жизни. События эти произошли в нашей стране немногим больше четверти века назад.

В 1937 году на Дальнем Востоке разразилась эпидемия опасной нейроинфекции с признаками, напоминающими энцефалит. Пятая часть заболевших гибла, а у многих из тех, кто уцелел, оставались стойкие тяжелые поражения — параличи, глухота.

Возникло предположение, что болезнь вирусная, и из Москвы на помощь дальневосточникам была направлена вирусологическая экспедиция с заданием обнаружить возбудителя и переносчиков инфекции и выработать средства защиты от нее.

Возглавил экспедицию Лев Зильбер. Вместе с ним в состав экспедиции вошли Елизавета Левкович, Александра Шеболдаева, Антонина Шубладзе, Тамара Сафонова, Валентин Соловьев, Михаил Чумаков и другие смелые врачи. Может быть, главной отличительной чертой экспедиции была молодость. Молодость науки, которой они занимались, молодость края, где предстояло работать, и обыкновенная человеческая молодость: почти все участники экспедиции были людьми комсомольского возраста.

Это была экспедиция счастливая и несчастная. Счастливая — потому что за считанные дни и недели в необычайно тяжелых условиях ей удалось выделить вирус — возбудителя опасной болезни, обнаружить переносчика вируса — клеща иксодус персулькатус, и создать вакцину, предупреждающую заболевание. Несчастливая — потому что заплачено за все это было дорогой ценой. Соловьев, Чумаков и некоторые другие участники первой и последующих экспедиций и лабораторных работ заболели тяжелой формой клещевого энцефалита, а Таля Уткина,

Надя Каган и паразитолог Померанцев погибли от вируса, изученного героическим трудом их собственным и их друзей.

О памятных событиях экспедиции тридцать седьмого года я пытался рассказать в повести, названной «Первое сражение». — это ведь и было первое большое сражение, выигранное советской вирусологией.

И теперь, через столько лет, мне показалось важным и интересным проследить за дальнейшей судьбой участников экспедиции. Мне показалось, что сделать это важно и интересно особенно потому, что никто из них не изменил любимой науке. И экспедиция — первое сражение — продолжалась для них все эти четверть века, продолжается и сейчас, но фронт неизмеримо расширился, охватывая не только семейство вирусов клещевого энцефалита, но и такие болезни, как рак, полиомиелит, гепатит.

Бывают в развитии науки этапы, когда отдельные отряды ее, прежде немногочисленные, действующие изолированно, вдруг стремительно разрастаясь, вырываются на передний край борьбы человека с природой. Так было с физикой ядра, так случилось и с вирусологией за прошедшие четверть века.

Под ударом — живая клетка

После успешного окончания противоэнцефалитной экспедиции начальник ее Лев Зильбер и двое участников — Александра Шеболдаева и Тамара Сафонова — были арестованы по клеветническому навету.

То были тяжкие годы культа личности.

После освобождения и реабилитации Александра Шеболдаева и Тамара Сафонова по-прежнему работали врачами.

Лев Зильбер и в тюрьме упорно старался отогнать все «посторонние мысли» и сосредоточиться только на работе.

После окончания первого решающего этапа энцефалитной эпопеи, стоившей стольких трудов, надо было выбрать в медицине важнейшее, что может захватить целиком, без остатка, заполнить жизнь до конца.

Тогда он продумал то, что написал позднее: «Даже в тяжелых условиях первых лет войны эпидемические заболевания в нашей стране не приняли широкого распространения. Новые задачи встали перед здравоохранением... и среди них одна из главнейших — борьба против рака».

Его захватила проблема рака и потому, что она была одной из важнейших для медицины, и потому еще, что в ней он видел, хотя пока и смутно, возможность продолжения главного своего вирусологического пути.

Он не мог отложить начало работы по избранной теме до будущего, до более счастливых времен просто потому, что, раз начавшись, работа мысли не останавливается, даже если пожелаешь этого.

Он ставил в воображении эксперимент за экспериментом, без усталости спорил с воображаемыми оппонентами. Потом он шутя говорил: «Я, может быть, единственный человек, которого рак спас, дал силы жить».

Он пересматривал одну за другой все существующие теории канцерогенеза, образования злокачественных опухолей.

Одни исследователи считали, что рак вызывается зародышевыми клетками, заблудившимися среди взрослых тканей и с первых этапов развития сохраняющими свойственную эмбриону гигантскую силу размножения: под влиянием внешних или внутренних сил клетки пробуждаются и переходят в наступление.

Другие отстаивали гипотезу о том, что рак — болезнь наследственная, predisположенность к ней передается от родителей к детям.

Третьи точными опытами устанавливали, что злокачественные опухоли возникают при воздействии огромного множества химических канцерогенных — опухлеобразующих веществ и физических факторов: ультрафиолетовых, рентгеновских, радиовых лучей.

И существовала еще вирусная гипотеза. Она, эта гипотеза, была очень слаба, но ведь и сама вирусология только недавно появилась на свет.

Факты, подтверждающие вирусную гипотезу, накапливались медленно. В 1908 году Эллерман и Банг доказали, что лейкоз кур вызывается вирусом. В 1911 году Роус обнаружил вирус саркомы кур. С тех пор открытия следовали одно за другим, хотя и разделенные значительными промежутками. Вслед за вирусами, вызывающими опухоли у животных, были открыты вирусы некоторых, правда очень немногих и только доброкачественных, новообразований у человека.

...Гипотез происхождения злокачественных опухолей было много, но они объясняли отдельные виды раковых заболеваний, не давая единой теории.

Невольно у иных исследователей возникала убежденность, что такого общего объяснения, всеобщей теории происхождения злокачественных опухолей до сих пор нет потому, что ее и быть не может. Рак — ответ организма на различные внешние и внутренние воздействия, как воспаление, например, которое вызывает-ся и ожогом, и всевозможными микробами, и ушибом.

Рак — результат старения тканей, химических и лучевых поражений, наследственной предрасположенности, инфекционного вирусного заражения.

Результаты сходные, а причины качественно различные, ничем не связанные между собой.

Зильбер не мог согласиться с этим. Долгие раздумья привели его к такой гипотезе происхождения рака, где возбудители болезни — канцерогенные вещества, лучи, вирусы — заняли свои места не рядом, а в цепной реакции — друг за другом; они рассматривались как бегуны, один за другим, на разных этапах принимающие эстафету.

В саркоме Роуса инфекционное начало (вирус) удается выделить. Оно должно существовать и при других злокачественных опухолях, но, может быть, думал Зильбер, это инфекционное начало действует лишь на первых этапах болезни, когда она незрима для исследователя: может быть, оно влияет не прямо, а создает предпосылки болезни, вызывает цепную реакцию. Цепочка эта в иных случаях прервется, а в других под воздействием излучений или канцерогенных веществ приведет к разрушительным этапам болезни.

Когда-то ученик Павлова Алексей Дмитриевич Сперанский выдвинул предположение, что инфекционное начало часто присутствует лишь у истоков болезни, лишь цускает в ход механизм патологического процесса.

Микроб, думал Сперанский, иногда разрушает нервную клетку. Пораженная, погибающая, она шлет катастрофические сигналы. «Сгорающая», нервные клетки наносят изнутри удар по организму, передают тканям и органам, которыми они «руководят», разрушительные приказы, как бы организуют болезнь.

Теория Сперанского не получила пока полного экспериментального подтверждения. При известных медицине инфекционных болезнях возбудитель, по-видимому, присутствует до конца заболевания, с исчезновением его наступает выздоровление. Ложная, катастрофическая нервная информация не играет решающей роли.

Но есть в живой природе еще одна важнейшая регуляционная система — биологические механизмы, определяющие передачу наследственных свойств.

Нервная система — хранилище информации, накопленной от рождения и до смерти, регулятор жизни одного организма. Молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты — ДНК — хранилище черт рода. Может быть, при раке удар наносится именно по этой второй регуляционной системе?

...Существовало три мира в природе, которые человек мог познавать только издали, силой мысли, а не в опыте, по своей воле направляя течение эксперимента: атомное ядро, клетка и космос.

Первая половина двадцатого века открыла ворота в эти миры. Мощные телескопы и радиотелескопы, космические корабли знаменовали рождение экспериментальной астрономии, начало практического освоения космоса. Сложнейшие приборы дали возможность вторгнуться в сердце атома, в царство элементарных

частиц. Оба эти грандиозные завоевания означали революцию не только в науке, но и в жизни человечества, в практической его деятельности, в его судьбе.

И наступило время завоевания живой клетки, молекул и сложных структур, составляющих ее. Это завоевание живой клетки началось только в последние десятилетия, в последние годы, но уже ясно, что и оно несет революцию в судьбах человеческих, не меньшую, может быть, чем та, которую вызвали открытия в физике ядра.

Механизмы тончайших процессов, совершающихся в клетке, привлекли внимание вирусологов и впоследствии были взяты на вооружение вирусно-генетической теорией рака.

Что же это за механизмы?

Еще недавно клетки «кирпичики», из которых складывается все живое, казались построенными предельно просто: полужидкая текучая протоплазма, окруженная тонкой оболочкой, и в центре протоплазмы — ядро и ядрышко. Но вот новые приборы — электронные микроскопы, ультрацентрифуги, — новые методы физического и химического анализа приблизили клетку в тысячи раз. И стало ясно, насколько бедно и неточно слово «кирпичик» для изображения необычайно сложного сочетания микроскопических органелл, открывшихся глазу ученого, для описания бесконечного разнообразия процессов, протекающих в клетке.

Не «кирпичик», а законченный, прекрасный своей строгой целесообразностью живой мир.

Два рода огромных молекул, размерами своими превышающих все другие, существующие в природе, два рода длинных, слепленных из десятков и сотен тысяч атомов полимерных цепочек — молекулы белков и молекулы нуклеиновых кислот — составляют основу клетки.

Они являются химическим фундаментом жизни. Из них построены внутриклеточные системы, определяющие главные всеобщие и изначальные проявления жизни: обмен веществ и наследственность.

Обмен веществ с окружающим миром, процессы, при помощи которых клетка растет, восстанавливает израсходованную энергию, вбирает извне необходимые ей вещества, то есть обеспечивает свое индивидуальное существование.

Наследственность, благодаря которой клетка, делясь, дает начало подобным себе дочерним клеткам, повторяет себя поколение за поколением в потомстве.

Жизнь идет, клетка дышит, питается, отражает врага, вырастает до свойственного ей размера — и тогда наступает пора множиться, делиться.

Накоплено достаточно строительных материалов. Из двадцати аминокислот надо собрать множество белков, приспособленных к разнообразным процессам жизни, — полимерных цепочек, отличающихся не только тем, какие аминокислоты в них войдут, но и тем, в какой последовательности они будут соединены в гигантской белковой молекуле.

Детали подготовлены, но собрать из них действующие биологические системы можно только при помощи точных чертежей.

Нуклеиновые кислоты и играют в клетке роль чертежей, по которым создаются белковые молекулы. Играют роль матриц, по которым аминокислоты набираются в строгой последовательности; ведь так же, как одна буква, поставленная не на месте, меняет смысл слова, а слово, поставленное не на месте, смысл фразы, так и одна-единственная аминокислота или блок аминокислот, попавшие не на свое место в полимерной цепочке, меняют свойства возникающей молекулы белка.

В ядре клетки, в содержащихся в нем молекулах кислоты — ДНК, как в совершенном счетно-решающем устройстве, содержатся эти чертежи, «записанные» особым чередованием групп атомов в молекулярной цепочке, хранятся химические коды белков, составляющих клетку, обуславливающих ее индивидуальное своеобразие, неповторимость, отличие от других клеток.

Молекулы рибонуклеиновой кислоты (РНК) — матричные гены, как их именуют, синтезируясь на молекулах ДНК ядра, снимают слепок, форму, матрицу будущего белка.

Через оболочку-мембрану, окружающую и защищающую ядро, матричные РНК движутся в плазму, в тело клетки. Тут расположены сложные микроскопические образования рибосомы, «сборочные цехи» клетки.

В рибосому, куда попадает из ядра матричный ген, специальные РНК-посредники, подобно маневренным паровозам, «привезут» все аминокислоты, необходимые для синтеза белковой молекулы.

Аминокислоты располагаются одна за другой, как вагоны в бесконечно длинном составе, где второй вагон обязательно следует за первым, а одиннадцатый за десятым, как буква за буквой в строке, отлитой не ведающим ошибок линотипистом.

Аминокислоты соединяются, как зубчатые колесики в часовом механизме, сцепляются — только не механическими, а более прочными химическими связями.

Быстро идет сборка по готовому чертежу. Каждую секунду два РНК-посредника доставляют в рибосому по одной аминокислоте. Если белок состоит из ста пятидесяти аминокислот, уже через две минуты синтез его будет завершен.

Готовая молекула появляется в плазме. Из других рибосом в плазму клетки выскальзывают новые молекулы. К освободившемуся сборочному стенду спешит очередной матричный ген.

...Но сложнейшее биологическое «счетно-решающее устройство», спрятанное в ядре — святая святых клетки, — до поры заперто, как в несгораемом шкафу. Иначе создание новых белков и деление клетки происходило бы непрерывно, а не тогда, когда это вызвано жизненными потребностями клетки и организма.

Исчезнет, будет подавлен регулирующий механизм, посторонняя сила взломает хранилища наследственной информации, изуродует или подменит эту информацию — а так иногда бывает, — убыстрится, примет лавинообразный характер размножение клеток, и может развиться смертельная болезнь — злокачественная опухоль.

Ультрацентрифуга позволила исследователям «разогнать» клетку, как разгоняют в перегонных кубах сложные химические вещества, разделить ее на «детали»: молекулы белков, ДНК и РНК, рибосомы, митохондрии... Позволила разоблачить тончайшие механизмы, не повредив их.

Теперь в рибосому, изолированную от своего ядра, от естественного потока матричных РНК, исследователь вводит матричную РНК чужой клетки.

Матрица, которая подана на сборочный стенд, подменена. Станет ли рибосома синтезировать чужой белок или механизмы ее откажутся действовать в столь противоестественных условиях?

Этот отвлеченный, чисто теоретический вопрос, как и многие чисто теоретические вопросы, имеет громадное значение для самой жизни человека, в частности для раскрытия возможного механизма образования раковой опухоли. Любое знание ведет к применению, как и всякая мысль приводит в конце концов к действию, говорил один из создателей квантовой механики — Луи де Бройль.

Итак, в рибосоме — РНК, извлеченная из другой клетки. Биологи знают: живая клетка враждебна всему для нее постороннему. Известно, как оцетинивается организм антителами против чужеродных белков: это свойство спасает его от смерти, несомой враждебными микробами. Но не всегда постороннее уничтожается. Вот и в этом опыте: бывает, что рибосома принимает чужую РНК. Начинается сборка. РНК-посредники отыскивают необходимые аминокислоты. В другом порядке, в другой последовательности сцепляются аминокислоты — и на свет появляется молекула белка, несвойственная клетке, частью которой была рибосома.

Живая частица клетки не убила, а, напротив, сама создала чужеродный белок. Так бывает, и это надо запомнить.

Так бывает в опыте. Но, продумав опыт, исследователи порой убеждаются, что до них в гораздо больших масштабах такие же или сходные эксперименты проделывала природа.

Опыт с введением в рибосому клетки чужой РНК стал возможен, когда при помощи центрифугирования и тончайших химических методов ученые научились

разъединять белок и нуклеиновые кислоты, научились выделять, не повредив, из белкового тела клетки сложные и хрупкие молекулы ДНК и РНК.

Оказывается, что и это — выделение сохраняющих все свои свойства молекул, носительниц наследственной информации, из белковой оболочки и переход этих молекул в чужие клетки — ежедневно и ежечасно происходит в природе без участия человека.

Белок+нуклеиновые кислоты=жизнь. Но, как окажется, соединяясь с чужой нуклеиновой кислотой, подчиняя ей свои механизмы синтеза, клетка иногда как бы кончает самоубийством. Тогда: белок+нуклеиновая кислота=смерть.

Вторая из этих формул имеет прямое отношение к борьбе против злокачественных опухолей.

Клетка часто микроскопически мала, но если бы удалось раскрутить и вытянуть в одну нить все молекулы ДНК, заключенные в ней, то длина их превысила бы метр. А из всех молекул ДНК одного человеческого организма образовалась бы нить, которую можно протянуть от края до края солнечной системы.

От микроскопических величин — к космическим. Фронт космической протяженности, потому что это именно фронт!

Обычно молекулы ДНК надежно спрятаны в ядре, то есть в самой глубине клетки. И только сама клетка своими ключами, по своим законам, подчиняясь своим регуляторам, приводит эти молекулы в действие. Но так бывает не всегда. Нет обороны, которую нельзя было бы пробить. И на фронт ДНК обрушиваются грозные, смертельные иногда удары. Оружием, поражающим ДНК, может оказаться вирус.

По следам возбудителя рака

Проникнув в клетку, вирус взрывает ее изнутри, убивает.

Но накапливались экспериментальные факты, доказывающие, что действие вируса бывает иным. Еще в двадцать третьем году Зильбер наблюдал в опыте, что микробы из класса протеев, развивающиеся в организме морской свинки, зараженной сыпным тифом, резко меняют свои свойства.

И эти новые свойства передаются из поколения в поколение.

Возникло предположение, которое подтвердилось и было изучено многими учеными на других экспериментальных моделях, что изменение наследственных свойств протеев объясняется проникновением молекул — носительниц наследственной информации возбудителя сыпного тифа в хранилище наследственной информации протеев.

Нечто подобное может происходить и при раке, думал Зильбер. ДНК или РНК вируса возбудителя злокачественной опухоли проникают в вещество ядра и интегрируются, сливаются с ним. На следующих этапах вирус уже не действует, затаивается; поэтому-то его так часто и не удается обнаружить в опухоли.

«Мавр сделал свое дело, мавр может уйти», — скажет Николай Федорович Гамалея много позже, когда Зильбер изложит ему свою вирусно-генетическую концепцию возникновения рака.

Вирус уже не участвует в дальнейшем развитии патологического процесса. Даже найдя его и убив какими-либо лекарственными веществами, болезнь не остановишь. Опасность заключена не в вирусной частице, а в некоторой доле ее — молекуле РНК или ДНК вируса, проникшей в ядро.

Кончилась незримая стадия болезни, и надвигается второй ее этап — разрушительный.

Наследственные свойства клетки изменены. Но и теперь болезнь возникнет только, если эта клетка с измененными наследственными свойствами попадет в условия, особо благоприятные для развития опухоли.

Такие условия создают канцерогенные вещества и интенсивное облучение. Они пробуждают дремлющий рак. Под влиянием внешних воздействий измененная клетка начинает делиться все быстрее и быстрее. Теперь она чужак для организ-

ма и не подчиняется его регулирующим аппаратам. Деление принимает катастрофический, лавинообразный характер. Злокачественные клетки разносятся током крови и образуют новые колонии. Так развивается болезнь.

Вирус и канцерогенные вещества — не равноправные начала различных форм болезни, а движущая сила двух главных этапов в заболевании.

Логически такая картина развития страшной болезни представлялась убедительной, но природа подчиняется своей, часто гораздо более сложной логике. Множество стройных гипотез похоронены и забыты потому, что они расходились с наблюдаемыми фактами. «Умоначертания вымышленные» не оставляют следа в истории науки, говорил великий русский чумолог Данило Самойлович, и это же глубокое недоверие к спекулятивным, умозрительным теориям проходит через жизни и труды всех великих естествоиспытателей. Только безукоризненно точный, поддающийся повторению и проверке эксперимент мог подтвердить право исследователя идти по открывшемуся новому направлению.

Зильберу в то время дали возможность работать в организованной при тюрьме небольшой лаборатории. С громадными трудностями удалось осуществить первые из серии задуманных опытов. Белым мышам под кожу вводились большие дозы канцерогенного вещества. Через несколько месяцев у подопытных животных начали развиваться опухоли. Новообразования сразу после появления вырезались, опухолевая ткань растиралась и пропускалась через фильтр, задерживающий все клетки и бактерии. Отфильтрованная жидкость могла содержать только одно инфекционное начало — вирус, если вирус был в опухоли.

Здоровые мыши обрабатывались ничтожными долями канцерогенного вещества, которые сами по себе не могут вызвать появления новообразований, и после этого мышам вводился бесклеточный фильтрат, полученный из опухолей; канцерогенные вещества в таком малом количестве не оказали специфического своего действия, а только ослабили сопротивляемость организма.

Потянулись долгие тревожные дни ожидания. И вот у первой мышки, зараженной фильтратом, начала развиваться опухоль, потом у второй, у третьей.

Все опыты со зрелыми, росшими много недель опухолями дали отрицательные результаты: приготовленные из них бесклеточные фильтраты не вызывали новообразований.

Таким образом подтвердилось основное положение гипотезы. В только что образовавшейся опухоли присутствует болезнетворное начало — вирус, который исчезает в зрелой опухоли. Канцерогенное вещество, несомненно, способствует проявлению болезнетворности этого вируса...

Зильбер тщательно вел протоколы опытов, десятки раз проверяя каждое доказательство, отбирая самые точные и бесспорные доводы, писал, тщательно и придирчиво отбирая слова.

Вскоре после этого Льва Александровича Зильбера освободили и реабилитировали.

Предварительное изложение вирусно-генетической концепции происхождения рака было опубликовано в газете «Известия». Гипотеза оформилась новыми тщательными экспериментами, отстаивая свое право объяснять происхождение опаснейшей болезни на земле.

Она жадно копила свои факты и использовала данные, добываемые соседними, бурно развивающимися теоретическими дисциплинами — наукой о клетке, о клеточных структурах, о механизмах наследственности.

Наблюдаемые под электронным микроскопом тельца возбудителей многих вирусных болезней поражают упорядоченностью формы и целесообразной красотой, напоминающей строгую красоту кристаллов.

Исследования показали, что химически эти правильные многогранники состоят из двух главных частей: молекул ДНК — или у простейших вирусов РНК — и молекул белка. Гранулы белка окружены находящимися в центре нуклеиновыми кислотами, плотно примыкая к ним, как ягоды винограда в кисти, или, вернее, как кирпичи в сложной кладке — с той же архитектурной тщательностью.

Эти частицы кажутся упакованными сознательно, с таким расчетом, чтобы занимать меньше места и надежнее защищать ДНК или РНК, выдержать все невзгоды жизни.

Они и действительно упакованы наилучшим образом — только не сознательно, а по законам природы — для того, чтобы выдержать нелегкое путешествие из небытия (в котором находятся во все время пребывания вне клетки) в клетку, где они оживут и исполнят свое жизненное назначение: хищнически использовав механизмы клетки и убив ее, дадут начало десяткам новых вирусных частиц.

Частица вируса состоит из молекул белка и нуклеиновых кислот. На этом сходство вируса с клеткой заканчивается. Если в живой клетке мы наблюдаем два главных проявления жизни — обмен веществ и наследственность, то вирус, приспособившись к паразитированию, к заемной жизни, утерял первое из этих свойств: способность к самостоятельному обмену веществ.

ДНК клетки можно сравнить со счетно-решающим устройством, где хранятся коды всех клеточных белков. В вирусах молекулы нуклеиновых кислот, несущие наследственную информацию, на время обретают как бы самостоятельное существование.

Вот клетка, со всех сторон атакованная вирусом. В момент атаки белковые элементы вирусной частицы помогают ДНК вируса проникнуть сквозь клеточную оболочку в плазму клетки. Вирусы бактерий — бактериофаги имеют более сложную физическую структуру и химический состав, чем все другие вирусные частицы. Внешне они удивительно напоминают шприц. Атакованная клетка усеяна подобными микроскопическими шприцами. В белковой оболочке фага происходит процесс, напоминающий мышечное сокращение у высших животных, и ДНК фага с крайне незначительной примесью белка проталкивается, впрыскивается внутрь микроба.

Белковая оболочка остается снаружи: она сыграла свою роль и теперь не нужна.

Вирус проник в клетку, но его невозможно обнаружить здесь. Да вирусной частицы пока, по существу, и нет внутри микроба, есть только один из элементов ее — нуклеиновая кислота. В клетке идет нормальный синтез свойственных ей белков.

Все продолжается по-прежнему, но клетка доживает последние минуты своей жизни. Вирусные ДНК навсегда запирают центры наследственной информации и перестраивают механизмы синтеза клетки так, чтобы они вырабатывали только строительные материалы для новых вирусных частиц.

Представьте себе оркестр под руководством талантливого дирижера, исполняющий мудрую и прекрасную симфонию. И вдруг дирижер убит, место его занял самозванец; оркестр, подчиняясь прищельцу, играет уже не симфонию, а лишь в унисон, в бешеном ритме повторяет убогий мотивчик из двух-трех тактов.

Сумасшедший оркестр, исполняющий пляску смерти; клетка, пораженная вирусом, похожа на такой оркестр.

В трудные дни войны иногда металлические предметы бросают в печь на переплавку и штампуют из них одинаковые снарядные гильзы. Так и в клетке, пораженной вирусом, все идет на переплавку и штампуются новые вирусные частицы. В конце концов они разрывают опустошенную клеточную оболочку и выходят наружу, чтобы выждать срок и напасть на другие клетки.

После атаки фага в поле зрения микроскопа остаются изуродованные трупы бактерий. Но не все микробы истреблены — некоторые уцелели.

Поколение за поколением исследователи пересевают эти здоровые, внешне не изменившиеся клетки и убеждаются, что в них порой можно наблюдать новые, очень важные наследственные свойства, например, неязвимость по отношению к повторным атакам бактериофага.

Многое говорит о том, что новые наследственные свойства — результат интеграции, соединения ДНК клетки с ДНК или РНК вируса.

Но если так, если молекулы — носители наследственных свойств вируса проникли в ядро клетки, в клеточные ДНК, то, может быть, их можно выбить оттуда? Чем?

Мощным ударом со стороны — лучами.

В руках экспериментатора — культура микробов. Он облучает эту культуру. Микробы, прежде спокойно делившиеся, с абсолютной надежностью изолированные от внешнего мира, а значит, и защищенные от всякой возможности проникновения бактериофага, начинают плавиться, растворяются — лизируются, будто их все-таки вопреки всякой реальной возможности атаковал бактериофаг.

Микробы плавятся, гибнут. Исследователь тщательно изучает процесс, и тогда выясняется, что фаг проник в культуру не извне, а изнутри.

Лучи выгнали из норы, выбили молекулы наследственной информации фага, которые до того прятались в ДНК ядра микроба.

Чужеродная генетическая информация вырвалась на волю. Освободившиеся после длительного заточения, наследственные молекулы фага стали действовать, как действуют они обычно: заставили бактериальную клетку вместо нормальных клеточных белков синтезировать белки вирусных частиц.

Три дороги

Теперь это не умозрительная гипотеза, а бесспорный, подтвержденный множеством экспериментов факт: носители чужеродной генетической информации проникают в центры генетической информации клетки, живут там, передаются из поколения в поколение, участвуют в управлении наследственностью. А при другом течении событий чужеродная генетическая информация, привнесенная вирусом, вновь обретает самостоятельное, не зависимое от клетки существование.

Вирусно-генетическая концепция происхождения рака сделала из этих экспериментов свои выводы. Если раковая клетка возникает в результате соединения ДНК нормальной клетки с ДНК или РНК вируса возбудителя болезни, то, возможно, наследственную информацию вируса удастся удалить, выбить из клетки, как выбивает биолог лучами наследственную информацию фага из бактерии.

Может быть, будут найдены химические лекарственные вещества, антибиотики, неведомые точнейшие артиллерийские снаряды, при помощи которых удастся изгонять молекулы, несущие чужеродную информацию, и тем самым полностью излечивать клетку.

Мы видели, что природа часто сама осуществляет труднейшие эксперименты. Есть основания думать, что в тех очень, к сожалению, редких случаях, когда врачи наблюдали саморассасывание злокачественной опухоли, этот спасительный процесс происходил вследствие того, что какие-то естественные воздействия выбили из клеток опухоли чужеродные нуклеиновые кислоты.

Человеку предстоит подглядеть опыт, изредка осуществляемый самой природой, повторить его в эксперименте на животных, изучить и разгадать движущие силы этого важнейшего явления — удаление чужой генетической информации. Задачи трудные, и неизвестно, сколько пройдет лет, пока они будут разрешены. Но важно то, что едва народившаяся вирусно-генетическая теория вышла на дорогу, ведущую к практической медицине, к поискам новых методов борьбы за жизни людей...

Вирус активен и проявляет свои канцерогенные свойства только на первых этапах заболевания, говорят сторонники вирусно-генетической гипотезы, потом он становится «маскированным», затаивается.

Но вирус состоит и из белков, и эти белки — «чужие», особые, не встречающиеся в нормальном организме. Если невозможно обнаружить вирус иначе, то остается последний метод: выявить вирусные белки.

Начались опыты, которые продолжают долгие годы.

Неутомимая настойчивость объясняется не только теоретической важностью проблемы, но и тем прежде всего, что с результатами опытов тесно связаны надеж-

ды на возможность лечения рака, предупреждения метастазов. Если, говорил Зильбер, в опухолях нет белков, отличных от белков организма, в котором растет опухоль, не приходится ждать и защитной реакции организма. Иммунитет к опухоли возникнуть не может, и нет никакой надежды создать его искусственно. Если же это не так и опухоль содержит белки, которых нет в здоровых тканях организма, тогда иммунитет к раку возможен, и надо искать способ, которым можно его создать.

Тяжкая полоса многолетних неудач окончилась наконец. В злокачественных опухолях удалось, применив сверхчувствительные методики, обнаружить белок, не встречающийся в нормальных тканях организма.

В первый момент после того, как стали известны результаты опытов, казалось, что вирусно-генетическая теория получила еще одно важнейшее экспериментальное подтверждение.

Но пока это еще не так.

Белок, «пойманный» в опухолях, как выяснилось, не составная часть вируса: это клеточный белок, образующийся в результате изменения белкового синтеза в больной клетке.

Значит, вирус еще не обнаружен; но, несмотря на частичную неудачу, доказан факт, имеющий серьезное принципиальное, а может быть, и практическое значение: в злокачественной опухоли есть чужеродные, не свойственные здоровому организму белки.

А если так, организм должен вырабатывать против этих чужеродных белков естественную защиту — антитела. Вероятно, обычно создание противоопухолевых антител протекает чрезвычайно медленно и бесследно для злокачественной опухоли, но оно происходит, должно происходить.

И наука в конце концов найдет способы вмешиваться в процесс создания противоопухолевых антител, ускорять его, использовать для спасения человеческих жизней. Вот и вторая важнейшая для практики дорога открылась перед новой теорией рака.

С точки зрения вирусно-генетической концепции происхождения злокачественных опухолей, вирус — виновник только первой, незримой для исследователя фазы болезни. Потом он находится как бы в стороне от схватки, активно себя не проявляет. Помните слова Гамалеи: «Мавр сделал свое дело...»

Это подтвержденное фактами теоретическое положение привлекло внимание ученых ко всякого рода «безработным» — латентным, маскированным вирусам (их называют по-разному), множество видов которых найдено в организме человека, животных и растений.

Оказалось, что некоторые из «дремлющих», внешне совершенно безвредных вирусов — обитателей живого организма, в условиях опыта — на культурах тканей и на подопытных животных — порой обнаруживают явные опухолеобразующие свойства.

Так возникло и укрепляет свои позиции еще одно направление в борьбе со злокачественными опухолями — эпидемиология рака.

Онкогенные, способные при каких-то условиях стать онкогенными, вирусы проникают в организм из внешнего мира разными путями.

Перед наукой вырисовывается грандиозная задача открытия и изучения всех опухолеобразующих вирусов, путей их циркуляции в живой природе, а потом — кто знает, в далеком или близком будущем — постепенного уничтожения этих вирусов в природе.

Тогда, если удастся это осуществить, по позициям злокачественных опухолей будет, быть может, нанесен решающий удар.

Три новые дороги открылись в сражении против рака:

Борьба с вирусами, вызывающими злокачественные опухоли, предупреждение заражения человека.

Борьба с чужеродной генетической информацией, когда эта последняя уже проникла в ядро нормальной клетки и создала опасность превращения нормаль-

ной клетки в опухолевую. Поиски методов лечения заболевшей, генетически измененной клетки, выбивания из нее чужеродной генетической информации.

Поиски чужеродных белков в опухолевых тканях и способов создания иммунитета против этих пусть даже содержащих чужеродные белки в ничтожных количествах опухолевых тканей.

Три дороги. Самое начало длинных, нелегких дорог. Но ведь еще так недавно перед наукой здесь простиралось лишь полное бездорожье.

Культура тканей

Зимой 1963 года в Минск на симпозиум, посвященный борьбе с клещевым энцефалитом, съехались и славные ветераны, уже больше четверти века изучающие эту болезнь, — Левкович, Панов, Шаповал, Чумаков, и многие десятки молодых исследователей со всех концов страны, большая группа вирусологов Чехословакии, возглавляемая Еленой Либиковой, и ученые других стран.

Я беседую с людьми, дорогими мне еще с давних времен работы над повестью, и думаю о том, что они не очень изменились — во всяком случае не изменились в главном, — но наука их с тех пор стала совершенно неузнаваемой.

Она, эта наука, жадно вобрала в себя все достижения современной теоретической биологии, разнообразие ее методики, использовала современное биологическое вооружение.

Об одной из этих методик надо сказать хоть несколько слов.

В двадцатых годах биологи стали широко применять культивирование тканей вне организма. Клетки куриного эмбриона и других эмбрионов брались из яйца, и они жили самостоятельно в пробирке или в чашке Петри; пересевались, сохраняя свои свойства, десятки поколений. Это позволило совершить замечательные наблюдения над тонкой структурой клеток, но оставалось областью чисто теоретической, не связанной с практикой. У нас культурами тканей занимались многие, в том числе такие талантливые советские биологи, как Кронтовский, Кольцов, Лаврентьев, Румянцев.

Околонаучные скептики — а их всегда хватало — говорили: зачем культуры тканей? Жизнь надо изучать как целое. Клетка вне организма интереса не представляет.

Но вот возникла вирусология. Хочет медик проверить, есть ли в его руках вирус, какой это вирус, единственное средство — ввести испытываемый материал животному и ждать, заболит ли оно, следить за развитием болезни. Только так вирус давал о себе знать — ведь вне живой клетки он не развивается.

Жизнь вируса проходила скрыто от исследователя. Ученый мог видеть вирус только «разъятым», мертвым, зафиксированным под электронным микроскопом, а не в потоке жизни. Нужно исследователю добыть вирус и создать из него вакцину. Он берет мозг убитого подопытного животного, приготавливает взвесь, суспензию, убивает находящийся в жидкости вирус. Но в вакцину при этом иногда проникают токсические вещества из мозга животного, и способ этот непроездительный, долгий, кровавый.

И тут наука вспомнила о культивировании тканей. Вот она жизнь, живая, но открытая зрению, где вирус будет развиваться под контролем, где его можно будет размножать с необходимой быстротой. Биологи вывели живую ткань из организма. И ткань за собой потянула вирус на поле боя, под солнце, под микроскопы.

Взяв на вооружение метод культуры тканей, вирусология совершила гигантский скачок. Может быть, и победа над полиомиелитом, и спасение сотен тысяч детей были бы невозможны без применения этого метода. Авирулентный — неядовитый вирус полиомиелита селекционирован на культуре тканей, и десятки миллионов доз живой вакцины против полиомиелита изготавливают при помощи культуры тканей.

Культуры тканей — главная линия наступления и против клещевого энцефалита и других вирусов.

Фронт клещевого энцефалита

Когда открыли клещевой энцефалит, многие думали, что болезнь присуща лишь необжитым районам дальневосточной тайги. Потом территория, захваченная энцефалитом, оказалась неизмеримо обширнее. Постепенно, год за годом, раскрылся для науки весь фронт этого вируса и родичей его, членов его семейства.

Фронт простирается от Дальнего Востока, от Сибири, где экспедиция Чумакова открыла и изучила вирус омской геморрагической лихорадки, от Урала до Белоруссии, Ленинградской области, до Канады, где изучен очень патогенный, родственник возбудителю клещевого энцефалита вирус Повассан, до тихоокеанского побережья, предгорьев Гималаев в Индии, до Малайи; там ученые выделили из клещей вирус, тоже входящий в это семейство, но, очевидно, самый мирный.

Новые родичи клещевого энцефалита открываются и сейчас. На Минском симпозиуме русско-чехословацкая экспедиция, руководимая Чумаковым и Либниковой, доложила о новой разновидности вируса, найденной и детально изученной в Кемеровской области.

Науке известны теперь сто шестьдесят арбор-вирусов. Минувшая война показала широкую распространенность и опасность этой группы болезней. Солдаты экспедиционных войск и сборщики каучука вторгались в прежде безлюдные джунгли, в леса — исконные владения арбор-вирусов, и новые неизвестные или почти неизвестные или мало распространенные прежде болезни обрушивались на пришельцев. Эпидемия лихорадки Денее, например, — болезнь прежде редкая — поразила на берегах Тихого океана около миллиона человек.

Раскрытие мирового характера «местной» инфекции продолжалось и в мирные годы. Чехословацкий ученый Франц Галия долго боролся в Латинской Америке с арбор-вирусами. Найдя у себя на родине в клеще возбудителя заболевания, родственного таежному дальневосточному энцефалиту, он мог не поверить своему открытию. Но поверил и с тех пор упорно шел по следу. Действие и силу вируса ученый испытал на себе, случайно заразившись в лаборатории от найденного им в природе возбудителя клещевого энцефалита. От этой болезни он излечился, но через год во время другого опыта заразился пситтакозом и умер от последствий второго лабораторного заражения.

После работ советских исследователей, Франца Галия и других чехословацких ученых стало ясно, что и в Европе надо быть готовыми во всеоружии встретить вспышки болезни, что и вспышки эти вполне вероятны.

Такие вспышки, не расшифрованные наукой, действительно происходили.

В сороковых годах в Ленинградской области было отмечено странное энцефалитоподобное заболевание. Предположение, что это особая форма клещевого энцефалита, отвергли опытейшие клиницисты и эпидемиологи.

Клиницисты говорили:

— Клещевой энцефалит не протекает так, двумя волнами: лихорадочное состояние, короткая пауза, и за ней вторая волна — атака неизвестного возбудителя на нервные клетки, сопровождаемая мучительными головными болями. И клещевой энцефалит оставляет после себя пожарище — параличи, парезы, глухоту, а для этой болезни характерно доброкачественное течение.

Эпидемиологи подтверждали:

— Клещевой энцефалит наносит удар, как пуля. Человек, который добывал в тайге и был укушен клещом, заболевает, но родные его и близкие остаются здоровыми. А под Ленинградом люди заболевают целыми семьями: болезнь поражает детей, которые и близко не подходили к лесу.

Мы знаем, что основные законы дальневосточного энцефалита были установлены дорогой ценой, оплачены здоровьем, жизнью исследователей, подтверждены неустанными наблюдениями в природе и лабораторными опытами. Не умозрительно, а самой природой была как бы навек установлена картина развития болезни и ее распространения «путем пули» — из тайги к человеку только через укус клеща.

— Зачем же возвращаться к отвергнутому?— говорили самоотверженные и опытные исследователи, сгруппировавшиеся вокруг Военно-медицинской академии, «полковники», как потом их коротко окрестили в просторечии.— Искать вирус клещевого энцефалита бесплодно, тут действует другое инфекционное начало. Все-го вероятнее, болезнь вызывается не вирусом, а листереллой, особым опасным микробом.

Доводы убедительные, но у больных никак не удавалось обнаружить листереллу. И тут у Веры Ильенко и других молодых учеников профессора Смородинцева возникла догадка, о которой сперва они даже не решались громко сказать. При опросах почти всегда выяснялось, что перед заболеванием больные пили козье молоко. Может быть, гарнизоны крепостей клещевого энцефалита из дикой природы перешли в наступление, вплотную прижались к жилищу человека? Клещ остается на порубках, грызуны заносят его из леса на пастбища и огороды. Клещ-вирусоноситель нападает и на коров, и на коз, пасущихся на вырубках, но корова— для вируса тупик, в ее молоко он не проникает. А как обстоит дело с козами? Клещевой энцефалит — болезнь очаговая, имеющая свои, веками проложенные переходы в дикой природе. Но, может быть, очаги могут одомашниться, приспособиться к близкому соседству с человеком?

Поставили опыты в лаборатории и после заражения коз клещевым энцефалитом получили молоко, в котором содержался вирус, убивающий мышей.

Опыт в лаборатории — еще не окончательное доказательство. Надо было найти вирус в молоке коз, пасущихся в естественных условиях на лесных пастбищах районов, подверженных эпидемическим вспышкам; найти вирус или убедиться в его отсутствии.

Из Ленинграда почти одновременно выехали две экспедиции: одна — богатая опытом и знаниями, да и лабораторным оборудованием — экспедиция «полковников», ищущая листерелл; другая — молодая, обладающая только энергией и убежденностью — экспедиция аспирантов, руководимая Ильенко.

На двери покинутой сторожки с выбитым стеклом навесили БКЗ — «Большой контрольный замок», положенный по инструкции, и сторожка превратилась в лабораторию, базу аспирантской экспедиции.

Целые дни аспиранты колесили на машине по трехсоткилометровому району, пробирались глухими тропами к дальним селениям, к лесным пастбищам, чтобы взять пробы молока. Вечерами молоком заражали мышей.

Одна мышка заболела. Ее тотчас же отправили с нарочным в Ленинград и стали ждать.

Во время очередного ночного разговора Смородинцев сказал:

— Все в порядке, выделен вирус клещевого энцефалита.

Сдавленным, неестественным голосом Ильенко спросила:

— Настоящий?

— Конечно, — ответил профессор и засмеялся.

— Настоящий! — тихонько повторила Ильенко и, чувствуя переполняющую все ее существо радость, воскликнула: — Ну, кого мне расцеловать?

Обратно к сторожке машина мчалась по ночной, освещенной лишь фарами дороге с превышением всех известных в районе скоростей.

И чехословацкие ученые независимо от советских исследователей обнаружили «козьи» очаги клещевого энцефалита.

Превращение диких очагов в «домашние» — один из путей распространения клещевого энцефалита.

Но есть и другие.

Орнитологи издавна пытались разгадать тайну птичьих перелетов: изучали, как птицы прокладывают тысячекилометровые маршруты, пересекающие моря и океаны.

Всем этим орнитологи занимаются единственно из стремления «узнать», занимаются потому, что невозможно для человеческого сознания мириться с непознанным.

Но вот обнаружилось, что птицы имеют прямое отношение к распространению болезней, в частности к распространению клещевого энцефалита. Птицу укусит клещ — носитель вируса. У некоторых видов птиц вирус будет бурно размножаться, и, когда птица прилетит на зимовку за тысячи километров, клещ из района зимовки впитает вирус вместе с кровью птицы и передаст его местным животным.

Так может создаваться новый очаг болезни. Несколько лет назад в Киасанурских лесах Индии вспыхнула странная и тяжелая болезнь. Она поражала обезьян: жители находили погибших животных на ветвях деревьев и заражались от них. Болезни этой раньше, по всей видимости, не наблюдалось, и есть предположение, что занесли ее птицы.

Карты птичьих перелетов, начертанные натуралистами, позволяют создать лаборатории, «кордоны» на главных птичьих дорогах, в местах их гнездования, обнаруживать вирус в зараженных птицах и, сигнализируя опасность, принимать меры защиты против эпидемических вспышек.

Неподатливый вирус

Расшифровка континентального, а потом и общемирового фронта клещевого энцефалита потребовала изменения тактики борьбы с опасной инфекцией.

Вакцина, изготовленная из убитого вируса, оберегает множество людей; но есть в ней важные недостатки, самый главный из которых — нестойкость иммунитета, необходимость возобновлять прививки каждый год.

Становилось ясно, что только вакцина из живого, родственного патогенному, но не патогенного вируса, размножающегося в клетках организма, сможет защищать человека не месяцы, а годы — только живая вакцина.

Исследователи в лабораториях нашей страны и всего мира десятилетия ищут такую живую вакцину. Это оказалось задачей необычайной сложности.

Есть вирусы пластичные, податливые, они приспосабливаются к непривычной среде, приобретая новые свойства, иную «форму» легко, как глина в руках скульптора. Подобная пластичность свойственна, например, вирусам гриппа. В естественных условиях они размножаются в одной среде, переходя от человека к человеку; в лаборатории, поставленные исследователем в непривычные условия существования, эти «чисто человеческие» вирусы быстро меняются.

У вируса клещевого энцефалита нет и следа подобной пластичности.

Миллионы лет древний вирус переходил от клещей в кровь различных таежных животных и вновь возвращался к своему главному хозяину — клещу. Он размножался в тканях диких животных — грызунов, медведей, зубров, птиц. Вымирали одни виды, вирус осваивал, включал в свой кругооборот другие. Тысячелетиями природа прогоняла его через десятки «прокатных станков», закаляла во множестве «каменных печей», отбирая разновидности, способные жить при любых условиях.

Исследователю, придумывающему необычные и неожиданные способы воздействия на вирус, приходилось соревноваться с природой. Это неизменно оканчивалось неудачей.

Вирус клещевого энцефалита нейротропный, то есть размножающийся в нервных клетках. Исследователи высевали его на культуре тканей, где нет излюбленных им нервных клеток.

Патогенность вируса не уменьшалась.

Есть животные, не болеющие при введении им вируса клещевого энцефалита, — цыплята, например. Попробовали пассировать вирус через клетки организма цыплят. Вирус не ослабился, не потерял патогенности, напротив — выделил штамм, бьющий и цыплят, отточил новую режущую грань.

Ученые не отказались от борьбы — отказаться невозможно — они пошли другими путями. В лаборатории Смородинцева испытали старый дженнеровский метод. Коровья оспа спасла человечество от оспы натуральной; не может ли малай-

ский вирус, безвредный для человека, сыграть сходную роль в борьбе с клещевым энцефалитом?

Начались длительные и тщательные испытания вируса на всевозможных моделях — на культуре тканей, на животных.

Когда и опыты на обезьянах подтвердили полнейшую безвредность малайско-го вируса, ученые испытали его действие на себе, а потом на добровольцах, сотрудниках лаборатории.

— Всего до настоящего времени привито шестьсот человек, — рассказывает Ильенко, участница создания новой вакцины. — Эксперименты подтвердили, что вакцина безопасна и дает достаточно напряженный и стойкий иммунитет.

А москвичи тем временем продолжали попытки согнуть неподатливый вирус: Засухина в лаборатории Левкович действовала на очень патогенный штамм «Пан» формальдегидом — одним из ударных ядов.

На этот раз наследственные свойства вируса начали поддаваться. Возникли разновидности со значительно сниженной вирулентностью.

Так открылись новые подступы к созданию живой вакцины.

А пока десяткам тысяч людей делаются прививки действенной вакцины, полученной из размноженного на культурах тканей убитого, инактивированного вируса.

Мертвая или живая вакцина?

Болезни имеют свою историю, эпохи губительного для человечества расцвета и упадка. Гиппократ первым описал симптомы полиомиелита: атрофия мышц конечностей — «высыхание ног», параличи, иногда смерть. В Египте в храме Изиды на одной из фресок изображен жрец с «сухой» ногой — древняя жертва полиомиелита.

Тридцать веков власти страшной инфекции.

Тысячелетия — и близкие, протекавшие на наших глазах события двух десятилетий: вначале отступление, годы, отмеченные искалеченными детскими жизнями, ужасом матерей, — и вот сейчас почти полная и окончательная победа.

Вакцину против полиомиелита еще в середине тридцатых годов попытался создать американский исследователь Брэд. Он заражал полиомиелитом обезьян, брал у подопытных животных спинной мозг, где вирус обильно размножился, и извлеченный вирус убивал формалином.

Однако во взвеси, приготовленной из спинного мозга, много постороннего белкового материала — балласта. Там частицы вируса могут притаиться и избежать действия яда. Вакциной Брэда привили двенадцать тысяч человек; просочились слухи, что восемнадцать привитых заболели полиомиелитом.

Первое горестное поражение надолго задержало дальнейшие работы. Стало общепринятым убеждение, что, если вакцина безопасна, она бесполезна, в ней нет антигенов вируса. А вакцина, содержащая эти антигены, опасна для человека.

Великая заслуга американского исследователя Джоноса Солка, создателя первой получившей массовое применение вакцины против полиомиелита, в том, что ему удалось пробиться через стену недоверия. Замечательный экспериментатор, он создал технологию ювелирной точности, при которой вирус, размноженный на культуре ткани почки обезьяны, убивался формалином, но убивался так «осторожно», что сохранял антигенные свойства.

Уже миллионы детей были привиты вакциной Солка, а Гилари Капровский и Альберт Сэбин продолжали работать над созданием другой — живой вакцины. Путь, избранный ими, принципиально отличен от пути Солка.

Вирус полиомиелита проникает через рот в кишечный тракт, оттуда в кровь, из крови в нервные клетки и там, на третьем этапе своего продвижения, наносит грозные удары организму ребенка.

Антигены мертвой вакцины Солка не могут создать прочного местного иммунитета в воротах инфекции — в кишечном тракте, запереть эти ворота. Вакцину приходится вводить в кровь. В крови возникает линия обороны между вирусом,

который по-прежнему сохраняет безграничные резервы в окружающем мире, присутствует в самом организме, и нервными клетками.

Только размножающийся в стенке кишечного тракта вирус живой вакцины в силах наглухо запереть организм от проникновения патогенного вируса полиомиелита.

После десяти лет труда Альберт Сэбин добился наконец цели — вывел авирулентный штамм вируса полиомиелита. Говорят, удача пришла к Сэбину вследствие стечения обстоятельств почти случайных. Сотни культур тканей, засеянных различными штаммами вируса, хранились в комнате-инкубаторе при строго определенной температуре. Культуры заполняли все помещение. Несколько матрасов — плоских стеклянных фляжек с подопытными культурами — оказались у дверей. Двери часто открывались, и температура тут понизилась на четыре-пять градусов. Волей природы в «околодверном микроклимате» и совершилось столько лет тщетно ожидаемое таинство возникновения из крайне вирулентного штамма — штамма авирулентного.

Талантом и зоркостью ученого явление это было сразу оценено и поставлено на службу науке, людям.

Советская медицина и полпреды ее во главе с Чумаковым и Смородинцевым решили пойти по пути создания живой вакцины из штамма, селекционированного Альбертом Сэбином.

Такой выбор они сделали потому, что после всеобщей вакцинации живой вакциной в идеале полиомиелит должен совсем и навсегда исчезнуть в природе; ведь человек, по-видимому, — единственный его носитель. Должна исчезнуть не только самая болезнь, но и угроза нового появления ее.

Победа над полиомиелитом

При создании живой вакцины нужна была технология абсолютно безошибочная; история применения вакцины Солка показала, что малейший промах — это потерянные жизни.

И, может быть, еще сложнее была проблема психологическая. Предстояло «загрязнить» страну, а впоследствии и весь мир новым штаммом вируса. Штаммом авирулентным, но прямым потомком вирулентного.

Некоторых врачей страшила опасность реверсии, то есть возвращения к свойствам предков. Правда, многочисленные опыты показали, что при мутациях, изменениях молекул, несущих наследственную информацию, возможность обратной мутации в той же точке ДНК — возвращения утерянного свойства — крайне мала; но теоретически обратная мутация не исключена.

Ответственность усиливалась потому еще, что ведь на родине сэбинского штамма от него упорно отказывались отчасти из-за того, что мощные фармацевтические фирмы вложили миллионы долларов в производство вакцины Солка, отчасти из-за боязни реверсии. Живые вакцины пятнадцать лет не могли проложить себе дорогу в США.

Нужна была страстная убежденность Чумакова, Смородинцева и многих других исследователей, чтобы пробиться наперекор общемировому холодному течению.

Но и убежденность сильна только, если она опирается на факты и безукоризненные опыты. В лаборатории изготавливали небольшую дозу живой вакцины, и после тщательнейшей проверки на обезьянах и другими методами, убедившись в полной ее безвредности, испытав эту вакцину на себе, исследователи давали вакцину ребенку. Вирус размножался в кишечнике, жил там, иммунизируя против «дикого» опасного вируса. Вирус живой вакцины выделяли снова, снова проверяли всеми доступными современной науке методами и вводили другому ребенку.

Так бесконечной цепочкой, живым ручейком — опыты на обезьянах, тщательнейшая лабораторная проверка авирулентности штамма, прививка его себе, потом введение ребенку, снова проверочные опыты, и снова ребенок. Два года вирус в

лаборатории проходил путь, которым он начнет распространяться после массовой вакцинации по всей стране; ведь и тогда он будет переходить от ребенка к ребенку, но уж без всякого контроля.

Эти и другие опыты дали неопровержимые доказательства безопасности и эффективности живой вакцины — в нее поверила вся страна.

В 1959 году началась массовая вакцинация населения, всеобщее наступление против полиомиелита.

В пятьдесят девятом году Чумаков поехал в Венгрию. Там бушевала опаснейшая эпидемия — сотни заболеваний, и все почти случаи тяжелые. Вирус поражал дыхательные центры. Врачи становились свидетелями страшного зрелища полной беспомощности ребенка. В больницах работали десятки аппаратов искусственного дыхания. Чумаков привез в подарок сто тысяч доз живой вакцины. В то время многие венгерские врачи ориентировались на вакцину Солка. Все же доклад Чумакова показался убедительным, трагическая нужда в немедленной помощи была огромна, и советскую вакцину применили.

Теперь живая вакцина сама агитировала за себя. Через месяц Венгрия попросила еще три миллиона доз, было привито два миллиона триста сорок тысяч ребят.

Счет пошел на миллионы. Надо представить себе, что это значит: миллионы детей и их матерей выведены из-под власти хоть одного из этих тяжелейших страхов — угрозы полиомиелита.

Победное шествие вакцины продолжалось. Чумаков привез вакцину в ГДР. После прививок в ГДР было всего три случая полиомиелитных заболеваний, а рядом в ФРГ — три тысячи семьсот случаев! В шестьдесят первом году, во время эпидемии в Японии, советскую вакцину получили там десять миллионов детей. Этому предшествовала грандиозная и трогательнейшая битва японских матерей за здоровье детей. Матери пикетировали учреждения здравоохранения и устраивали сидячие демонстрации. Тысячи женских голосов не переставая скандировали требование:

— Дайте советскую вакцину!

За четыре года советской живой вакциной было привито 91 300 тысяч человек у нас в стране и более 35 миллионов детей в Венгрии, Японии, Чехословакии, ГДР, Индии, Египте, на Цейлоне, в Пакистане, на Кубе и в других странах мира. Теперь полиомиелит побежден совместными усилиями советских и американских ученых. Есть все основания верить, что скоро он исчезнет во всем мире, как исчез у нас в стране.

Исчезнет и забудется черная смертоносная тень, которая столько веков с самой колыбели висела над детством человека.

Трагическая страница неврологии

Есть нейроинфекция, пожалуй, самая страшная из известных человеку, «трагическая страница неврологии», как именуют ее врачи во всем мире, — боковой амиотрофический склероз. Почти сто лет назад французский невропатолог Жан Мартен Шарко описал эту болезнь, при которой происходит неотвратимое перерождение клеток спинного мозга, атрофия нервных проводников, мышц и наконец неизбежные параличи, смерть.

И за сто лет не было сделано ни одного успешного шага к точному познанию губительной болезни. А она не так уж редка. На острове Гуам, в западной части Тихого океана, десять процентов смертей взрослых жителей вызваны ею. Мировая статистика говорит, что на сто заболеваний нейроинфекциями приходится от двух до трех случаев бокового амиотрофического склероза.

Ни один заболевший не выздоравливает: диагноз этот означает приговор к медленной смерти.

То, что на острове Гуам, населенном сравнительно небольшим и переплетенным тесными родственными узами племенем чаморро, болезнь встречается чаще,

чем во всем мире, породило предположение, что переходит она по наследству, от родителей к детям, и объясняется неизученными изменениями в генетическом аппарате. Такие генетические болезни существуют — например, серповидная анемия, губящая людей в Африке, болезнь Дауна, — и встречаются они, к сожалению, совсем не редко.

Но наследственный характер бокового амиотрофического склероза был гипотезой, почти не подтвержденной фактами. Можно было думать, что наследственное предрасположение играет свою роль, но роль не главную, что существует, может существовать и какой-то инфекционный агент, вызывающий смертельное заболевание.

Известный невропатолог Николай Васильевич Коновалов, много лет жизни отдавший изучению этой болезни, привлек внимание Льва Александровича Зильбера к поискам в вирусологическом направлении.

И начались экспериментальные работы.

В изучении каждой болезни есть неминуемый этап, который иной раз затягивается на долгие годы, — создание действующей модели болезни, то есть поиски животных, позволяющих в контролируемом исследователем опыте на живом организме проверить течение инфекционного процесса от заражения и до выздоровления или смерти, изучить симптомы всех этапов болезни, действие и силу вакцин, сывороток, лекарственных препаратов.

От опытов на животных к опытам на самом себе, на добровольцах, к массовому эпидемиологическому эксперименту и наконец к практической медицине — таким путем идет исследователь. Без первого этапа невозможен последний.

В вирусологии поиски животного-модели часто особенно трудны, потому что вирус обычно приспособлен к клеткам только одной определенной ткани одного организма и убийственный, например, для человека может быть совершенно безвреден для экспериментального животного. Гусиным гепатитом, например, болеют только гуси, собачьим — только собаки, человеческим — только человек.

Инфекционный материал, взятый у больных, Зильбер, Байдакова и Гардашьян вводили мышам — взрослым и новорожденным, а также особенно чувствительным ко многим вирусным поражениям морским свинкам, хорькам, кроликам.

Нельзя было обнаружить никаких признаков заболевания. Решили предпринять последнюю попытку — поставить опыты на обезьянах. Если и они не заболеют, значит вируса нет или, вернее, пока он неуловим.

Зильбер выехал в Сухуми, где расположен крупнейший наш обезьянник, захватив с собой мозг человека, погибшего от бокового амиотрофического склероза.

Материал этот надо было немедленно ввести экспериментальным животным, а обезьянок, свободных от других опытов, в тот момент в Сухуми не оказалось. Скрепя сердце исследователь принял решение использовать животных, находящихся под другим опытом: обезьян, которым прививали опухоли человека.

Ученый внимательно следил за поведением своих питомцев, но нервная система у них оставалась в «норме». Месяц, второй, третий не приносили ничего нового. Казалось, можно считать установленным, что и этот эксперимент безрезультатен.

Но тут сказала свое слово счастливая случайность, иногда вмешивающаяся в течение эксперимента и все поворачивающая по-новому. Обезьяны подвергались ведь еще и другому опыту — у них пытались вызвать рак; в таких случаях животные находятся под наблюдением годами. Прошло два года — и вдруг у одного экспериментального животного были замечены явные признаки тяжелого нервного заболевания, сопровождаемого атрофией мышц. Еще через полтора года такое же заболевание поразило вторую подопытную обезьяну. Клиницисты Коновалов и Бунина засвидетельствовали разительное сходство течения болезни у подопытных обезьян с главными симптомами бокового амиотрофического склероза...

Одна из обезьян была забита, из мозга ее приготовили эмульсию и ввели здоровым обезьянам. И они — второе звено опыта — после длительного инкубацион-

ного периода заболели тяжелой нейроинфекцией с такими же характерными симптомами.

Далеко не все еще завершено в этих исследованиях. Пробирочные лабораторные реакции пока не обнаружили в крови подопытных животных антител к выделенному вирусу.

Но, может быть, существуют вирусы голые, то есть не имеющие или почти не имеющие белковой оболочки, специфических белков, против которых организм выбрасывает армии антител: вирусы, вызывающие лишь крайне слабое и очень запоздалое образование иммунитета?

Все это решат дальнейшие опыты. От обезьяны к обезьяне переходит поток еще не вполне изученного, грозного, убивающего инфекционного начала, которое, может быть, даст когда-нибудь человеку возможность вторгнуться в неприступные пока владения бокового амиотрофического склероза, создать вакцину против неизлечимой болезни.

Может быть и когда-нибудь... Появились лишь первые надежды, первые далекие огоньки; значение их можно понять, только осознав горькую и унижительную для человека тьму, царившую здесь до самого последнего времени.

Планы, мечты...

Мы незаметно вступили в область мечты — она обязательно присутствует в каждой науке, — в область далеких планов, а если говорить хронологически — не в прошедшую четверть века, а в наступающую.

Для Елизаветы Николаевны Левкович главная мечта — вместе с учениками создать живую вакцину против клещевого энцефалита и «закрыть» эту инфекцию, как «закрыт», вытеснен из мира полиомиелит. Это ее цель с тридцать седьмого года, когда вместе со своими товарищами она отражала первую опасную вылазку болезни из тайги, участвовала в расшифровке ее очагов, в открытии и изучении вируса клещевого энцефалита.

Елизавета Левкович многое сделала для осуществления главной цели жизни, и ей кажется, что мечта ее не очень далека от осуществления.

Антонина Константиновна Шубладзе будет и дальше заниматься хронически вирусными инфекциями: гепатитом, герпесом и тяжелейшими заболеваниями нервной системы. Хронические нейроинфекции — тяжкие, длительные недуги. После обострения наступает просвет, ремиссия, но врач знает, что облегчение временное и большой обречен.

«Любимая» инфекция Шубладзе — множественный склероз. Болезнь эта часто поражает людей цветущего возраста, и Антонина Константиновна всем сердцем, всеми помыслами стремится помочь им победить недуг. Десять лет уже охотится Шубладзе за неуловимым вирусом множественного склероза. Современные методы исследований мобилизованы на то, чтобы окончательно разобраться в причинах, вызывающих болезнь, найти точные способы ее диагностики и лечения.

Вместе со своими учениками Шубладзе создала вакцину против множественного склероза. Но первые выпуски вакцины оказались во многом несовершенными, и лаборатория Шубладзе занята разработкой методики получения новой вакцины, гораздо более надежной.

Гепатит, инфекционная желтуха, болезнь Боткина — инфекция эта неутомимо шествует по всему миру.

Во время войны, в сорок втором году, двум с половиной миллионам моряков и солдат морской пехоты Соединенных Штатов были сделаны прививки против желтой лихорадки. Очевидно, при изготовлении вакцины по недосмотру была использована кровь носителей вируса гепатита. Пятьдесят семь тысяч моряков из числа привитых заболели гепатитом, и из каждой тысячи заболевших трое погибло. Эта трагическая, первая в истории человечества эпидемия, возникшая по невольной вине науки, заставила ученых всего мира обратить особо пристальное

внимание на инфекцию, которая так распространена и так грозно нападает из засады, не давая при этом обнаружить своего возбудителя.

Монопатогенность вируса гепатита, способность его поражать только человека, вызывает огромные трудности в преследовании опасного врага. Ученые перепробовали все методы: заражение животных, куриных эмбрионов, тканевых культур — все безрезультатно. Что ни опыт — то отрицательный результат: выделить вирус не удается.

Тогда в лаборатории Шубладзе пошли по иному пути. Известно, что помимо гепатита человека имеются другие гепатиты — мышей, собак, гусей, лошадей. Их вирусы тоже резко монопатогенны: гепатитом мышей болеют только мыши, гепатитом собак — собаки... Решили заняться гепатитом собак. Сотруднику лаборатории Виталию Александровичу Ананьеву удалось выделить от собак три штамма вируса, которые вызывали характерное заболевание — так впервые появилась возможность изучать гепатит, хотя и не человеческий, в экспериментальных условиях. После того, как твердо установили, что эти вирусы выращиваются только на собачьей почке — и ни на какой другой ткани, — взялись за гепатит человека: вирус его стали культивировать на почке человеческого эмбриона. Первые результаты еще не рискуют назвать обнадеживающими, но, может быть, выбран верный путь.

Работа в области гепатита напоминает движение по обширной пустыне, границы которой не нанесены на карту. Радости открытий, находки тут редки, а разочарования гораздо чаще. Надо уметь поддерживать веру коллектива, участвующего в таком походе через пустыню. Этим умением Шубладзе обладает больше, чем кто-либо другой. Поддерживать веру, упорство — не месяцы, а годы.

Каждая вирусная инфекция имеет свою специфику, и так же специфичны бывают способы борьбы с ней — ее лечение, предупреждение, поиски и обезвреживание возбудителя. Но должны быть и какие-то общие законы борьбы с миром болезнетворных вирусов.

— Долгие годы занимаясь практической деятельностью по созданию противовирусных вакцин, я пришел к убеждению, что настало время искать пути, которые привели бы к новым решениям всей профилактики вирусных инфекций, — рассказывает Валентин Дмитриевич Соловьев. — До сих пор остается загадкой, почему есть животные, полностью невосприимчивые к некоторым, даже очень опасным вирусным заболеваниям. Их не удается заразить весьма большими количествами вируса. В чем секрет такой естественной устойчивости, естественной резистентности? Если бы его удалось разгадать, была бы решена главная проблема иммунитета.

Теперь известно более пятисот болезнетворных вирусов, и большинство из них монопатогенны, то есть действуют только на определенный вид животных. Мы уже сталкивались с таким абсолютно монопатогенным вирусом — возбудителем гепатита. Вирусом кори можно заразить только лишь обезьян. Многие десятки животных резистентны к вирусу полиомиелита... В чем тут дело?

Бесспорно, что противовирусный иммунитет имеет свои особенности. Задача ученых — обнаружить и изучить их. А решение можно найти только при глубоком проникновении в тончайший механизм взаимодействия вируса с клеткой.

Как известно, вирус в большинстве случаев избегает атаки антител, циркулирующих в крови. Прячась в клетках, он находится как бы в «мертвой зоне», не простреливаемой оборонительным оружием. Врачи могут вакцинами предупредить вирусную инфекцию, но если заболевание началось, в их силах только улучшить по возможности общее состояние больного — не больше. Валентин Дмитриевич Соловьев испытал это на себе во время экспедиции тридцать седьмого года и столько раз сталкивался с ограниченностью наступательных сил медицины, борясь с эпидемиями гриппа и других инфекций. Если против почти всех бактерий, до самых грозных — чумы и туберкулезной палочки, — существуют средства защиты, иногда в высшей степени эффективные, то на вирус, по-види-

тому, не действует весь могучий арсенал антибиотиков и синтезированных химиками лекарственных веществ. И сыворотка помогает далеко не во всех случаях: часто одного этого средства явно недостаточно для спасения человека.

Однако это не означает, что вирус вовсе неуязвим.

Если заразить культуру тканей раствором, содержащим вирус, то через некоторое время в ровной пленке культуры можно заметить появление «бляшек», так называют эти образования вирусологи, — маленьких островков из пораженных вирусом клеток. Но вот исследователь подействовал на ту же культуру тканей другим вирусом. Казалось бы, число пораженных клеток, «бляшкообразование», должно резко возрасти. Но в опыте все происходит иначе. В физике известно явление интерференции, когда волны, распространяющиеся с определенной и неизменной разностью фаз, гасят друг друга. Одна волна накладывается на другую, и волнение не усиливается, а, напротив, среда успокаивается.

И вирусологи наблюдают нечто вроде интерференции. Последующий вирус, сам по себе ядовитый для клетки, смертельный, как бы гасит действие первого ядовитого вируса. Один яд словно тормозит действие другого, убийца задерживает убийцу.

Когда вирусологи стали изучать это явление, они выяснили, что клетка вовсе не беззащитна против вирусных атак. Клетка — эта сложнейшая саморегулирующаяся система — при проникновении вируса вырабатывает особое противовирусное вещество, особый белок, который ученые назвали «интерфероном». Именно интерферон не только защищает клетку от поражения вирусом, но и сам действует на вирусную нуклеиновую кислоту, попавшую внутрь клетки. Он изменяет обмен веществ в клетке (клеточный метаболизм) в благоприятную сторону. Поэтому интерферон может быть назван клеточным антиметаболитом.

— Это очень важная находка способа защиты против вирусов, — говорит Соловьев. — Надо научиться так влиять на организм, чтобы усилить и ускорить выработку клетками вирусных антиметаболитов. Тогда другие, еще не пораженные клетки будут надежно защищены.

Поиски теоретических решений общих проблем вирусологии, борьба против рака, клещевых энцефалитов, множественного склероза, бокового амиотрофического склероза, полиомиелита, гепатита — во все стороны разбегаются дороги, трудные, иной раз почти непроходимые. В разные стороны, но против одного общего врага — болезни, человеческого страдания, самой смерти.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ПОЛИНА ВИНОГРАДСКАЯ

★

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС

(Воспоминания о Я. М. Свердлове)

Ранней весной 1918 года Советское правительство переехало в Москву. Тогда-то я и увидела впервые Якова Михайловича Свердлова. От Ломова, Ногина, Милютина и других членов ЦК партии — москвичей, с которыми я работала в большевистской фракции Московского Совета, я уже давно слышала, что Свердлов — человек необыкновенного организаторского таланта и огромной воли. Трудностей для него не существует. Он «все может». Рассказы эти неизменно заканчивались рефреном: «А какой это жизнерадостный, какой веселый человек! И какой замечательный товарищ!» Но, к моему изумлению, впервые я увидела Свердлова совершенно разъяренным.

Сразу же после переезда правительства в Москву он неожиданно для нас поздней ночью появился в Московском Совете. Уже давно кончилось заседание президиума, многие разошлись, но Совет имел свой обычный ночной облик: звонили телефоны, стучали машинки, дежурные члены исполкома были на своих местах, сновали красноармейцы из караульной команды.

Вдруг появился человек, весь словно в панцире из черной кожи — от фуражки до сапог. Что-то очень деятельное, стремительное было в складной фигуре Свердлова. Невысокого роста, худощавый, он выглядел совсем молодым. От его жестов, движений веяло энергией, бодростью. А голос звучал внушительным басом.

Едва поздоровавшись, Свердлов с места в карьер начал отчитывать товарищей из исполкома за то, что нет заботы о переехавших из Питера в Москву работниках, за плохую подготовку и выбор помещений. А ведь эти товарищи были хорошо ему знакомы посылке. Но таков уж был Свердлов: дело всегда на первом месте.

Гнев Якова Михайловича имел основания. Но вины Московского Совета в том не было. Начало 1918 года — время тяжелое, напряженное. Из-за наступления немцев на Питер правительство переехало в Москву. Московскому Совету и специальной правительственной комиссии было поручено подыскать подходящие помещения для учреждений, для работников правительственного аппарата и их семей. Сделать это было нелегко — ведь в старой Москве не было такого комплекса зданий, где можно было бы разместить сразу все государственные учреждения. «Первопрестольная» устремлялась ввысь только колокольнями своих «сорока сороков». Она расплзлась вширь кривыми переулками, застроенными одноэтажными деревянными особнячками. Московскую старину оберегали веками. Первые попытки Моссовета расширить проезд у Китай-города, снести стену с иконой Иверской божьей матери, упразднить Сухареву толкучку были встречены московскими обывателями в штыки.

Вот и получилось, что Московский Совет не мог предложить ничего, кроме нескольких зданий в Китай-городе — этом московском Сити. Там разместились позже партийные органы. А в основном правительству был предоставлен Кремль. Поругивая Моссовет за нерасторопность и отсутствие инициативы, Свердлов не преминул и упрекнуть москвичей:

— Вы и в Октябре медлили, затаили бон.

Тут я робко заметила:

— Нет ничего удивительного, что мы долго дрались,— лучше иметь дело с самим хозяином, чем с его слугами. Ведь на нашу долю выпало драться с юнкерами, казаками и прочим вороньем, слетевшимся сюда спасать своих господ...

Яков Михайлович лукаво поглядел на нас и расхохотался.

Вот тогда в первый раз я услышала знаменитый свердловский смех. Он был действительно заразителен. Недаром Мануильский говаривал, что к семи чудесам древнего мира надо прибавить современное чудо: смех Свердлова и его бас.

После этого Яков Михайлович уж не мог настроиться на прежний строгий лад. Но все же чеканными фразами он указал, что именно необходимо срочно предпринять.

Кремль хоть и был очень неудобен, но имел то преимущество, что в нем можно было разместить учреждения по крайней мере вблизи друг от друга. И правительственная комиссия, специально прибывшая к нам заранее из Питера, тоже ничего другого не придумала.

Враждебно настроенные буржуазные журналисты и белые эмигранты вопили, что большевики «отгородились от народа толстыми стенами Кремля». Во всяком случае Кремль в то время был заселен из нужды. Под жилье работников правительственных учреждений были заняты многие гостиницы. «Националь» стал первым Домом Советов, «Метрополь» — вторым.

Ленина поселили вначале в гостинице «Националь». Но гостиничная обстановка, посторонняя публика, близость Охотного ряда с его базарной сутолокой, гамом, «смесью христословия и мата» — все это так не соответствовало образу жизни Владимира Ильича, что встал вопрос о переселении его в Кремль.

Вечером в Моссовете условились, что наутро члены Президиума вместе со Свердловым придут осматривать Кремль. Мы очень удивились, когда в здании Судебных установлений в условленное время увидели и Владимира Ильича.

Помещения Кремля являли картину не из радостных: потолки протекали, печи разрушены, лампы выворочены. Свердлов снова принялся отчитывать нас за медлительность, нерасторопность. Ленин улыбнулся, прищурив слегка глаз, и сказал, обращаясь к нам:

— Имейте в виду, с переездом правительства Москва возводится в ранг столицы: требования к ней сразу повысятся и контроль будет сверху. С местничеством пора покончить...

Вторично мне довелось видеть Якова Михайловича «свирепым» в домашней обстановке и совершенно по другому поводу. Вместе с другими товарищами я была в выходной день приглашена к Свердловым на обед. Мы стали свидетелями того, как нещадно он ругал И. Н. Смирнова, приехавшего из Екатеринбурга после суда над Николаем II. Свердлов считал большой ошибкой, что свергнутого царя судил местный суд.

— Романовы триста лет угнетали народ. Судить их должен был весь народ. Суд надо было устроить в центре, открытый и доступный для всех! — говорил он с раздражением.

Смирнов оправдывался: обстановка на Урале стала столь тревожной, что боялись, как бы по пути в Москву белогвардейцы с помощью международных агентов не похитили Николая Романова. Он вертел в руках альбом со снимками суда над бывшим царем, а Яков Михайлович продолжал гневно настаивать, что это «местничество, нарушение директивы вышестоящих органов». Но дело было сделано. Позже на большевистской фракции ВЦИКА Свердлов предложил санкционировать этот приговор.

В феврале 1919 года Яков Михайлович выехал в Харьков на III съезд КП(б)У и на съезд Советов Украины. Среди работников, ехавших вместе с председателем ВЦИКА, была и я.

Никому из нас не могло тогда прийти в голову, что мы видим его в последний раз. И в памяти моей, к сожалению, не сохранилось многого из долгих путевых бесед и споров. Не запомнила я и остроумных шуток, которыми Свердлов пересыпал свои рассказы и воспоминания. Но даже то, что сохранилось, представляет, мне кажется,

интерес, поскольку на этот раз мне пришлось видеть Якова Михайловича в совсем особой, непривычной для последних лет его жизни обстановке.

В девять часов утра 27 февраля в тупик Николаевского, ныне Ленинградского вокзала был подан поезд для председателя ВЦИКа. Было морозное зимнее утро. В ту пору снег на улицах не убирали. Дворники сгребали его в кучи, которые день ото дня росли и порой доходили до крыш домов, заслоняя свет в окнах. До самого вокзального тупика по обеим сторонам московских улиц тянулись эти снежные валы. Чтобы не опоздать, я предусмотрительно отправилась на вокзал не в машине, а на санях. Хотя в Моссовете существовал транспортный отдел, но в его распоряжении были всего две или три древние, страшно облупленные открытые машины; они были столь изношены, что в пути неизбежно случались поломки. Вот почему, когда времени в обрез, лошадь была более надежным средством передвижения, нежели автомобиль.

Старинные московские сани, в которых я ехала, были на очень высоких полозьях и такие узенькие, что на сиденье с трудом умещались двое седоков. Извозчик, лениво подстегивая тощую лошаденку, вез меня по трамвайной линии, вполне уверенный, что никакой трамвай его не догонит: в ту пору трамвай не ходил.

В назначенный час наш поезд из трех вагонов без звонков и свистков тихонько отошел от перрона и направился к Харькову.

Яков Михайлович занимал купе в одном из вагонов. Едва поезд тронулся, все мы, сопровождавшие председателя ВЦИКа, и сам Яков Михайлович собрались в общем вагоне — прежде, очевидно, это был салон-вагон. Посредине стоял громоздкий стол, за который мы сразу все уселись; там проводили мы в пути почти все время, только на ночь расходясь по своим купе.

Поезд набирал скорость: путь ему был открыт, так как движение было еще нерегулярным. К тому же машинист старался изо всех сил и опережал установленный ему график. Вениамин Михайлович Свердлов, брат Якова Михайловича, был в это время помощником народного комиссара путей сообщения. Он извещал нас телеграфно, что в такой-то час мы будем на такой-то станции. Это делалось для того, чтобы председатель ВЦИКа мог вызвать нужных ему людей, которых хотел повидать в пути. Но мы получали эти телеграммы уже после того, как поезд миновал не только указанную в телеграмме, но и следующую станцию. Поэтому некоторые встречи и совещания, которые Яков Михайлович наметил провести по пути в Харьков, пришлось отложить на обратную дорогу. Этим объясняется и то, что первую часть своей поездки Свердлов был сравнительно свободен от дел.

В ночь перед отъездом, как он сам признался, ему довелось спать всего три часа. Чтобы закончить в Москве спешные, неотложные дела, Яков Михайлович работал почти до утра. Однако в вагоне он был свеж и бодр и своим смехом и шутками то и дело прерывал дремоту своих спутников.

Привыкшему к непрестанной деятельности Свердлову было сейчас не по себе. Тишина и покой вагонной обстановки, отсутствие деловой напряженности и телефонных звонков нарушали привычный уклад его жизни. Правда, впереди предстояла большая работа. В Харькове на партийном съезде надо было разрядить атмосферу, создавшуюся внутри украинской организации, мирить товарищей «разных оттенков». Ленин, как всегда в подобных случаях, посылал Свердлова, уверенный, что он это сделает лучше и тактичнее, чем кто-либо другой. Помню, когда так называемые «левые коммунисты» в Москве подняли шум против Брестского мира, Ленин тоже направил Свердлова урезонить шумливых, как он говорил.

Позади — в Москве — у Свердлова тоже осталось много прерванных дел, нерешенных вопросов. Но сейчас он был свободен.

Яков Михайлович снял с себя кожаную тужурку. По-детски улыбаясь, тихо мурлыкая какую-то песенку, он принялся разбирать и чистить свой мундштук. На лице его спокойная умиротворенность. Время от времени слышится его протяжное «да-а-а». Под рукой у него не оказалось подходящего инструмента для чистки мундштука. Он попросил у меня шпильку. Но вскоре заворчал: она, мол, никуда не годится — гнется, вот какую дрянь производит Моссовет. В оправдание я заметила, что руки у нас еще не дошли до более важных вещей, не то что до шпилек, да и вообще шпилек мы не будем

производить — в них просто не будет нужды. При социализме все женщины будут носить стрижку, как комсомолки. Свердлов пожурил меня за нигилизм и сказал, что социализм не исключает женских причесок и даже женских мод. Но это будут прически и моды, созданные нашим стилем жизни, нашим трудовым бытом. Они будут красивы, скромны и рациональны.

Так началась наша поездка.

Нужно было видеть, как этот человек, всегда занятой, деловой, гроза врагов революции, меньшевиков и эсеров, с детской мягкой улыбкой на лице балагурил с нами, сидя подобрыв ноги и непрерывно оглашая вагон раскатистым заразительным смехом.

Один из наших спутников увлекся вагонным вентилятором. Крылообразный никелевый вентилятор, привинченный к потолку, был не в порядке и начинал вращаться лишь после того, как дергали привязанный к нему шнур. Наш товарищ всю дорогу занимался тем, что тянул за шнур и заставлял вентилятор вертеться, а сам при этом, полуоткрыв рот и подняв кверху глаза, восхищенно следил за «хитроумной штучкой». Свердлов наблюдал, посмеиваясь, и время от времени окликал его. А тот, сконфуженный, при общем смехе оставлял «игрушку». Но вскоре снова принимался за нее.

Многие поклевывали носом, и мы стали уговаривать Якова Михайловича тоже вздремнуть. Но он заявил, что днем не может заснуть и что со времени революции ему приходится спать очень мало — четыре-пять часов в сутки.

Ночной работой в ту пору злоупотребляли многие, но Яков Михайлович, кажется, больше всех. В какой бы час ночи ни позвонить, Свердлов оказывался на месте. Просто поразительно, как мог он физически вынести такой образ жизни. Видимо, все держалось только на подъеме духа.

Кто-то стал журить Якова Михайловича, что он хищнически относится к своему здоровью. Он, как всегда, отшучивался:

— Революция тоже не спит, а бодрствует.

А затем пояснил, что его вынуждает большая загруженность удлинять свой рабочий день за счет ночи, но что он уже приучил себя к этому. Теперь ему ничего не стоит поздно ложиться и рано вставать.

— Встаю я очень бодрым, как бы мало ни спал. Слово кто-то невидимый меня будит: «Вставайте, вас ждут дела!» А ведь у меня нет слуги, который такими словами будил Сен-Симона каждое утро, — заметил он со смехом. — Только то плохо, — продолжал он, — что иногда и мой недолгий сон прерывают. Вдруг ворвется кто-нибудь с «неотложным делом»...

Доступность Свердлова была общеизвестна, и ею некоторые действительно злоупотребляли.

— Однажды, — рассказывал нам Яков Михайлович, — после тяжелого трудового дня с бесчисленными приемами работников с мест, совещаниями и прочее и прочее я наконец прилег, действительно усталый. Было уже часа четыре ночи. Но едва заснул первым крепким сном, как был внезапно разбужен стуком в дверь. Встревоженный и удивленный, так как все неотложные дела рассмотрел и закончил, я спросил: «Кто там еще?» — «Это я, Кикевин... Кикевин, — донесся до меня тонкий картавый голос Чичерина. — Яков Михайлович, у меня к вам еще одно важное дело, о котором я забыл сообщить». А ушел он от меня недавно, в третьем часу ночи. Ну, на этот раз я ему ответил довольно сухо: «Георгий Васильевич, на сегодня хватит, идите спать». Ему легко совсем не спать по ночам, он-то днем отсыпается. Вот тут я впервые узнал, что и дипломаты бывают рассеянные.

Чичерин был тогда народным комиссаром по иностранным делам. Он действительно очень грассировал, и Яков Михайлович комично его имитировал.

В связи с этим случаем в вагоне зашла речь о рассеянности и неорганизованности.

Как известно, Яков Михайлович обладал феноменальной памятью. Он признался нам, что хорошая память всегда очень помогала ему в работе, особенно после Октября, когда надо было двинуть огромное количество новых людей в государственный аппарат, где из-за саботажа интеллигенции ощущалась большая нехватка в работниках. Яков Михайлович запоминал людей очень хорошо, причем запоминал их особенности и склонности.

— Ведь человек только тогда горит на работе, когда работа ему по душе,— заметил он.— Поэтому важно расставить людей правильно.

И действительно, в ту пору Яков Михайлович, как никто другой в руководстве партии, знал и помнил каждого товарища в отдельности еще с подпольной работы. Знал он и новое пополнение, влившееся в партию после взятия власти.

У Якова Михайловича были три замечательных помощника: Елена Дмитриевна Стасова, Клавдия Тимофеевна Новгородцева и знаменитая записная книжечка.

Ах, что это была за волшебная книжечка! Заглянув в нее, Свердлов мог тотчас же сказать про любого товарища, где он в данный момент работает, что собой представляет, на что гожд, на какую работу его направить с наибольшей пользой для дела и для него самого. Более того, Свердлов имел о товарищах совершенно конкретное представление; они запечатлевались в его памяти так образно, что он мог рассказать даже про ближайшее окружение каждого работника. Это звучит неправдоподобно, но это так.

Однажды Яков Михайлович решил отдать одного «очень дельного работника» в распоряжение Моссовета. Но, заглянув в свою книжечку, всю испещренную ему одному понятными иероглифами, он тут же заметил:

— Да, работник он подходящий, я бы охотно вам его направил, но его нельзя оставить в Москве, он тут будет тяготиться. Его невеста живет в N, и из-за большой матери она не сможет переехать в Москву. Придется его послать на работу туда...

Была огромная разница между организацией подпольной партийной работы в царской России и организацией Советов в государственном масштабе. Не все из старых партийных работников, даже крупных, могли приспособиться к новым условиям, но Яков Михайлович на государственном посту чувствовал себя в своей стихии, как рыба в воде. Все он делал быстро, легко, просто, без всяких формальностей и все успевал.

А ведь работа велась огромная — перестраивался весь аппарат государственного управления от ВЦИКа до волостного Совета. И все это легло на его плечи.

Во время одной из бесед в пути мы спросили Свердлова:

— Как это у вас так все получается? Можно подумать, что вас с детства готовили для управления государственной машиной.

От ответил, что любое дело, которое ему предстоит осуществить, у него немедленно связывается с конкретными людьми, которые будут этим делом непосредственно заниматься. Потому что только определенные люди могут выполнить намеченное, иначе все останется на бумаге.

Действительно, каждое большое и маленькое дело он прежде всего рассматривал сквозь призму людей и только так определял успех дела. А так как вера его в людей была безгранична, то он был оптимистом и в делах. Но Яков Михайлович подчеркнул, что не верит в людей слепо, а видит их недостатки.

— Ведь и на солнце есть пятна. Люди, даже лучшие из них — большевики,— пока сделаны из старого материала, выросли в «старом свинстве». Только будущие поколения будут без этих родимых пятен капитализма. Важно,— добавил Свердлов,— тянуть человека за его хорошее звено, играть на его лучших струнах.

И он умел это делать превосходно. Яков Михайлович передвигал огромное количество людей. И расставлял их мастерски. В массе он всегда различал отдельного индивидуума. Он был прирожденным диалектиком и великую тайну категории общего и единичного, массового и индивидуального постиг в совершенстве. Наш первый председатель ВЦИКа был настоящим философом-диалектиком на практике, диалектиком по самой своей сущности, по складу ума и способу мышления.

Хотя Якова Михайловича все воспринимали не как теоретика, а как практика-организатора, но он был теоретически образованным марксистом. Он с увлечением изучал философию. Его любимыми философами были Спиноза и Фейербах. Он глубоко сожалел, что у него было мало возможностей глубже и больше их штудировать. Известно, что, вынужденный рано зарабатывать на жизнь, Свердлов не мог закончить среднее образование, а затем пошла жизнь профессионального революционера: тюрьмы, ссылки... Но даже тюрьму Свердлов сумел превратить в университет для себя и товарищей,

Один из ехавших с нами всю дорогу был тих и печален, часто вздыхал. Яков Михайлович, очевидно, знал причину его угнетенности и заговорил вдруг о радости жизни, о том, что в самую отчаянную минуту жизни всегда утешал себя самого: «А ведь могло быть еще хуже». Эта мысль, рассказывал Свердлов, не покидала его, даже когда он тонул, переправляясь через реку во время бегства из нарымской ссылки. Под натиском бушующих волн его лодка-душегубка перевернулась, и он оказался по макушку в ледяной воде. От верной гибели Якова Михайловича чудом спасли местные рыбаки.

— Жизнь полна неожиданностей,— продолжал он.— В самые счастливые минуты нас иногда поджидает непредвиденная беда, и наоборот, в тяжелую минуту вдруг находится выход. Надо только твердо и неизменно верить в людей, в жизнь... и самому не теряться.

В связи с этим он вспомнил два побега из Сибири: удачный побег мог кончиться очень плачевно, а неудачный кончился общим смехом товарищей по ссылке и самой полиции.

Находчивая хозяйка¹, у которой Свердлов скрывался в ожидании парохода, завидев полицию, спрятала Свердлова под матрац, а сама легла на матрац, укрывшись периной, и притворилась больной.

— Но, избежав ареста,— рассказывал Свердлов,— я чуть не задохнулся под таким тройным прессом: матрац, хозяйка, перина... И был момент, когда я даже колебался: а может, лучше отдаться в руки полиции живым, чем укрыться от нее под матрацем, но задушенным намертво.

В другой раз, когда он с большим риском для жизни бежал из ссылки и наконец забрался на пароход, где устроился в каюте первого класса, его в пути все же обнаружила полиция. Раскатисто смеясь, Яков Михайлович вспоминал, что нисколько тогда не растерялся. Прикидываясь рассеянным пассажиром, он протер глаза и очень вежливо поблагодарил полицейских, которые его разбудили. «Чуть не проспал нужную пристань, как раз сюда ехал». Он так ошарашил полицейских своей выходкой, что те даже не наказали его за этот побег. Правда, он не успел далеко отплыть. Побег Свердлова были притчей во языцех. Полиция Российской империи буквально не знала покоя, всю ее ставили на ноги для его поимки.

Один из моих друзей, сидевший с ним в тюрьме, рассказывал, что, едва оказавшись в заключении, он уже на другой день начинал строить планы побега. Для этого он придумал специально игру «в слона». В камере устраивали нечто вроде пирамиды: один становился на плечи другого, меряя высоту тюремной стены, чтобы во время прогулки можно было таким образом перепрыгнуть наружную стену. Да, Свердлов и неволя — это несовместимые, взаимоисключающие понятия.

И в те трудные годы, когда Свердлов взвалил на свои плечи огромную тяжесть и беспокойную ответственность, он не терял овоей жизнерадостности. В ушах по сей день звучат его слова, которые он часто повторял в вагоне: «Хорошо жить!» Впоследствии, когда мне приходилось слышать, как Маяковский читал с трибуны: «И жизнь хороша, и жить хорошо», мне всегда чудился голос Свердлова. Его бодрость и молодость духа, его жизнерадостность были просто юношескими. Он очень любил молодежь и детей и всегда находил с ними общий язык.

В связи с этим не могу без улыбки вспомнить такой случай. Вместе с другими товарищами я была приглашена к Свердловым домой после праздничной демонстрации 1 мая 1918 года. Я сильно запоздала и, придя, застала у Свердлова неожиданно приехавших товарищей из других городов. Яков Михайлович уединился с ними в кабинете и вел деловой разговор. Я уговорила Клавдию Тимофеевну прокатиться по Кремлю на велосипедах. Она согласилась. И вот мы кружим возле Спаса на Бору. Вдруг что-то тормозит наше движение, да так, что двинуться вперед мы не можем. Я было подумала, что мешают трава — она густо проросла тогда меж камней на кремлевских площадях. Но, оглянувшись, я видела, что маленький сын Свердлова Адя догнал нас и ухватился

¹ Это была, как я узнала впоследствии, замечательная большевичка Дилевская, расстрелянная Колчаком.

руками за задние колеса обоих наших велосипедов. Отделаться от него не удалось. Пришлось повернуть домой. Я пожаловалась Якову Михайловичу. А он ответил:

— Ну, если мальчишка сумел вас догнать и удержать оба велосипеда — значит, он растёт настоящим молодцом! Одобряю!

В пути я напомнила об этом Якову Михайловичу, он засмеялся и сказал:

— Хороший народ — ребята!

Затем стал по памяти читать сказки и стихи. Я удивилась. Он сказал, что очень любит поэзию. Когда было свободное время — в тюрьме, в ссылке, — охотно читал поэтов. Читал даже По, Бодлера и Верлена. Я заметила, что эти поэты оказывали упадочное влияние на студентов моего поколения — «детей страшных лет России», по словам Блока. Свердлов сказал, что, читая, он никогда особенно ими не увлекался. Его любимые поэты — Гейне и Беранже, особенно Гейне. И тут же прочитал наизусть строки из «Атта Троль» Гейне, где старый медведь в беседе с сыном высмеивает собственные инстинкты:

Собственности не творила
Бескарманная природа:
Без карманов в наших шубах
Мы являемся на свет.

Ни один из нас, конечно,
Не рождается с мешком
На своем природном меже,
Чтоб ворованное прятать.

Только человек бесшерстный,
Что сумел чужую шерстью
Прикрывать себя, сумел
И карман себе устроить.

Затем Свердлов стал читать по памяти «Конька-Скакунка» Басова-Верхоянцева:

Говорит Иван тут: «Браты!
Уж поделим и палаты;
Чаё, ведь строили дворцы
Не дворяне, не купцы...»

Яков Михайлович очень хвалил эту сказку-памфлет. Выразил сожаление, что мало кто пишет теперь в этом жанре. Между тем, продолжал он, это очень доходчивая форма, с помощью которой можно очень хорошо воздействовать на массы в революционном духе.

От шуток и непринужденной беседы, как это часто бывает, Яков Михайлович перешел к политике. Заговорили о Февральской и Октябрьской революциях. Свердлов рассказал, как в далекой ссылке, ни от кого не получая вестей, отрезанный от всего мира, он узнал о свершившейся Февральской революции только после того, как ему сообщили об освобождении. Чтобы не оказаться застигнутым весенним половодьем и выбраться поскорей из Сибири, он проделал на лодках, санях и пешком две тысячи верст, пока наконец добрался до Красноярска. Только там, в центре Сибири, он узнал подробности Февральской революции.

Тогда же, в Красноярске, еще до возвращения Ленина в Россию и, следовательно, до опубликования Апрельских тезисов, Свердлов заявил местным партийным товарищам, что на свержении монархии революция не может и не должна остановиться. Он уже тогда, к удивлению местных большевиков, доказывал, что за Февральской революцией должна обязательно последовать вторая революция, пролетарская, когда все лозунги и требования трудящихся масс будут воплощены в жизнь Советами.

Находясь на огромном расстоянии от революционных центров, Свердлов занял ясную большевистскую позицию, обнаружил огромную революционную интуицию, зоркость и дальновидность крупного политического вождя. Поэтому не было ничего удивительного в том, что на Апрельской конференции он сыграл такую выдающуюся роль, горячо отстаивая линию Ленина.

И Ленин сразу почувствовал искреннюю поддержку Свердлова и сблизился с ним. При разговоре на эту тему Свердлов заметил:

— Понять и извинить можно было провинциальных товарищей, оторванных от центра, дезориентированных, но я был страшно поражен, когда в Питере узнал, что Сталин и Каменев проводят линию на поддержку Временного правительства «при некоторых условиях».

Заговорили об учредительном собрании и захвате власти. Очень ярко сохранился у меня в памяти рассказ Якова Михайловича, который он сопровождал милой, лукавой улыбкой и выразительной мимикой.

— Эсеры и меньшевики настояли, — говорил он, — чтобы Учредительное собрание открывал согласно уставу «старейший». Таким оказался эсер Швецов. Но едва он появился на трибуне, как поднялся невообразимый шум. Особенно шумела наша большевистская фракция, не выражая ни малейшего уважения ни к «высокому собранию», ни к «старейшему». Председатель и звонил и кричал, но слабый старческий голос тонул во всеобщем крике. Швецов обессилел и растерялся. Увидев беспомощность председателя, я вскочил на трибуну, вынул из его дрожащей руки звонок и, резко зазвонив, призвал к тишине и порядку. Председатель опешил. Он так и застыл с рукой, повисшей в воздухе, и раскрытым от удивления ртом. Аванесов и другие товарищи, стоявшие рядом, стали потихоньку оттеснять его тощую фигуру, смахивающую на вопросительный знак. Наконец старец сполз с трибуны. В зале сразу воцарились тишина и порядок. Во время этой сцены многие от неожиданности вообще потеряли способность говорить, и мне удалось тут же огласить декларацию большевиков.

Председателем на различного рода собраниях, съездах Свердлов был непревзойденным. Самые важные и притом самые «шумные» съезды тех лет, имевшие огромное историческое значение, Яков Михайлович вел с великим мастерством и всегда добивался нужных результатов.

А ведь в те годы на съездах приходилось унимать визг и крики меньшевиков и эсеров, которые часто пытались сорвать работу съездов.

С особым негодованием и, я бы сказала, с презрением относился Свердлов к эсерам за их авантюризм и истеричность.

— Эти «герои» на поверку оказались самыми настоящими паникерами и трусами, — сказал он.

Тут же мы вспомнили знаменитую фразу Свердлова, которая стала крылатой и передавалась тогда из уст в уста. В критическую для революции минуту, когда стало известно о предательском мятеже левых эсеров, председатель ВЦИКА в характерной для него шуточной форме сказал Ленину:

— Ну и что ж, придется от Совнаркома снова перейти к Ревкому. Вот и все...

Емкая фраза! Она содержала целую программу действий. Эсеры это вскоре почувствовали. По инициативе Свердлова вся фракция эсеров, присутствовавшая на V съезде Советов, была арестована, а большевики-делегаты немедленно брошены на подавление восстания.

И на партийных съездах и конференциях Свердлов умел добиваться дисциплины, единства, спаянности при проведении важных решений. За это его особенно ценил Ленин. Эту его черту Ленин даже отметил в своей речи, посвященной памяти Якова Михайловича:

«Всем, кому приходилось, как приходилось мне, работать изо дня в день с тов. Свердловым, тем особенно ясно было, что только исключительный организаторский талант этого человека обеспечивал нам то, чем мы до сих пор гордились и гордились с полным правом. Он обеспечивал нам полностью возможность дружной, целесообразной, действительно организованной работы, такой работы, которая бы была достойна организованных пролетарских масс и отвечала потребностям пролетарской революции...»¹

Свердлов был не только одним из самых верных учеников и последователей Ленина, но он как-то по-особому чувствовал и угадывал замыслы Ленина. Свою задачу Свердлов всегда видел в том, чтобы как можно быстрее осуществить то, что еще рож-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, Изд. 5-е, т. 38, стр. 77.

далось в мозгу вождя революции. То, что Ленин еще только намечал пунктиром, Свердлов назавтра же подносил в макете и образно, выпукло показывал, как это будет выглядеть в деталях, опосредствованное через живое дело, через живых людей. Это было какое-то особое, только Свердлову свойственное понимание Ленина. Бывало, Владимир Ильич только еще звонит Свердлову:

— Яков Михайлович, надо бы попробовать сделать...

Ленин не успевает кончить фразу, а Свердлов в ответ: «Уже послано», «сделано»... Отсюда и пошла известная поговорка: «А Свердлов уже...»

Свердлов умел оберегать Ленина от лишней нагрузки, освобождать от мелочной работы, экономя и сохраняя его силы для важного и великого.

Ленин это чувствовал и ценил. Как часто Владимир Ильич отвечал товарищам, обращающимся к нему по разным поводам:

— А вы об этом Свердлову говорили? А Свердлов об этом знает?..

После похорон Свердлова я по просьбе Надежды Константиновны пришла рассказать Ленину о последних днях Свердлова, проведенных в поездке. Ленин с волнением выслушал мой рассказ и со вздохом, не глядя ни на кого, проговорил:

— У меня такое ощущение, будто я лишился правой руки...

Помню, в одной из наших бесед в пути заговорили мы о чехословацком мятеже. В тот период была уже отрезана наша житница — Поволжье; голод давал себя чувствовать все сильнее. Кулацкие восстания разрастались, а Красная Армия еще только создавалась.

— Быть может, мы допустили ошибку, не пропустив через Владивосток пленных чехословацких офицеров, пожелавших возвращаться домой,— в начале разговора заметил было Яков Михайлович. Но потом, с минуту помолчав, добавил:— Впрочем, это, конечно, неверно. Чехословацкие официальные требования — только для виду, а за ними стоит вся наша многочисленная сволочь, которую мы согнали с насиженных мест. Было бы смешно, если бы они не пытались вернуть себе прежнее. Чехословаки — это только повод. Это только первая ласточка. Вокруг нас еще будет железный кордон и из внутренних, и из внешних врагов. Чехословацкий — это не первый и не последний фронт.

Признаюсь, такое его пророчество тогда никому из нас не пришлось по душе. Но действительность показала, как далеко и как ясно он видел события. Вскоре была потеряна и Украина, куда мы направлялись.

Но этот разговор Свердлов с большой уверенностью и твердостью в голосе закончил фразой:

— Победа будет за нами!

Потом заговорили о советской работе, о «маленьких недостатках нашего механизма», как тогда писали в газетах. Яков Михайлович был убежден, что все они объясняются тяжелыми объективными условиями времени. Он был глубоко уверен и доказывал нам это, что, как только исчезнет опасность враждебного окружения извне, огромные массы рабочих примут участие в управлении государством, весь характер власти изменится, будет иным (эту фразу он дважды повторил). Он подчеркивал также преимущество нашей организации власти: объединение законодательной и исполнительной власти, когда они не отделены, как в западных странах, глухой стеной. Поэтому все проблемы можно быстро решать и тут же проводить их в жизнь. Как известно, такую же точку зрения он отстаивал в споре с юристами, возглавляя комиссию по выработке первой конституции Советского государства.

Благодушное настроение Якова Михайловича в начале пути затем сменилось деловым.

На некоторых станциях к нему являлись представители местной власти, которых он, очевидно, сам вызвал еще накануне выезда из Москвы.

Когда наш поезд остановился на станции Белгород, Яков Михайлович беседовал с членами местного ревкома. Они ходатайствовали о выделении Белгорода с окрестностями в самостоятельный центр ввиду его географических особенностей, «которыми он

резко отличается от Курска» (в чью губернию входит). Свердлов внимательно их выслушал, взял все материалы, чтобы изучить вопрос и устроить с ними заключительное совещание на обратном пути. Признаюсь, нам, присутствовавшим тогда при этом разговоре, казалось, что «особые географические свойства» в виде меловых отложений в районе Белгорода — не такая уж веская причина для выделения его в самостоятельный центр. Но Яков Михайлович отнесся очень серьезно к их предложению.

После ухода белгородцев мы все дружно расхохотались, однако по другой причине. Дело в том, что делегацию членов белгородского ревкома, одетых по тому времени, как все, в потертые ватники, с помятыми кепками на головах, возглавляла довольно странная фигура, точно из другого мира. Это был еще довольно молодой человек, по виду смахивавший на предводителя дворянства. Широкополая черная фетровая шляпа, добротное демисезонное пальто, трость с набалдашником из слоновой кости, напомаженные волосы аккуратно расчесаны на прямой пробор... И фамилия его была, если память мне не изменяет, Меранвиль де Сен-Клер. Уж очень странно он выглядел среди большевиков периода военного коммунизма. Но Яков Михайлович тут же оборвал наш смех, сказав, что у товарища большие революционные заслуги, что он принимал активное участие в Октябрьском перевороте. Яков Михайлович знал все про всех.

Свое обещание вновь встретиться с белгородцами Яков Михайлович выполнил в точности. На обратном пути в Москву они были вызваны к двенадцати часам ночи. Свердлов с ними совещался почти до утра.

Совещаний и деловых разговоров в пути было у Свердлова много. Бывало и так, что не только представители местной власти, вызванные заранее, но рабочие, крестьяне, узнав случайно от железнодорожного начальства о предстоящей остановке поезда Якова Михайловича, приходили на станцию кто приветствовать, кто поговорить о своих нуждах «с центральной властью».

Вспоминаю беседу группы крестьян с Яковом Михайловичем на станции Курск.

В пути разрасталось не только число людей, сопровождавших Свердлова, но разрастался и самый поезд. Так, прицепил свой вагон к этому поезду и товарищ Я. А. Берзин — в то время один из наших дипломатов. Кстати, здесь проявилась характерная черта Якова Михайловича: его скромность и нетребовательность. Поездка в Харьков была продолжительной, а с питанием в поезде дело обстояло более чем скромно. Не только горячей пищи не было в пути, но даже хлеба не хватало. Жена коменданта поезда Петерсона, маленькая, изящная, голубоглазая, в светлых кудряшках полька, пекла какие-то лепешки из крупы. Яков Михайлович был очень признателен и за это. Говорил он с нею с большим почтением, величал ее «пани Конопко» и на все лады расхваливал лепешки. Зайдя к нам в вагон, товарищ Берзин был изумлен, что мы сидим на голодном пайке, и стал хвастать, что у него в вагоне оборудована кухня и есть настоящий горячий обед. Мы уговорили Якова Михайловича пойти к Берзину поесть супу. Он согласился.

Когда Яков Михайлович переходил из вагона в вагон, крестьяне, находившиеся случайно на перроне, узнали председателя ВЦИКа. Они подошли, приветливо поздоровались с ним и просили заступиться за них перед местной властью, которая «обложила» их непосильной продрозверсткой.

Враждебная нам зарубежная пресса писала тогда, что Якова Михайловича якобы убили в пути крестьяне. Эта встреча на перроне курского вокзала, возможно, в какой-то мере связана со смертью Якова Михайловича, но совсем в ином смысле. Мне кажется, что именно во время этой беседы он простудился. Переходя из одного вагона в другой, он не надел, как следует, а лишь накинул на плечи свое знаменитое «подбитое ветром» демисезонное пальто. На перроне Свердлов задержался, причем крестьяне, быстро изложив свою просьбу, намеревались уходить, однако сам Яков Михайлович удерживал их. Он стал выпрашивать их о житье-бытье. А между тем мороз стоял изрядный, было ветрено. На следующее утро я заметила, что Свердлов посапывает.

— Чувствую, вы простудились, — сказала я ему.

Но он со свойственным ему юмором тут же отпарировал:

— Скажите, пожалуйста, какая чувствительная особа — простужен я, а чувствует она!

Когда поезд прибыл в Харьков, к нам в вагон вошли Н. И. Подвойский и председатель Совнаркома Украины Х. Г. Раковский, встречавшие председателя ВЦИКа. Донесли звуки оркестра. На лице Якова Михайловича появилось недовольство, когда он узнал от Подвойского, что его встречают с оркестром и почетным караулом. Он стал их отчитывать и заявил, что такие почести ни к чему. Нельзя без улыбки вспомнить, как Свердлов, шагая по перрону и отдавая честь почетному караулу, продолжал потихоньку журить под красноармейские возгласы «ура» шедших с ним рядом украинских руководителей.

— Ну к чему такая помпа? К чему она? К чему?

Затем я видела Якова Михайловича уже на съезде КП(б)У, происходившем в одном из харьковских театров. Он произнес речь — приветствие от ЦК РКП(б). Свердлов мало находился в президиуме, куда был избран. То он уходил в укромный уголок обрабатывать упрямого «уклониста», то спускался в партер и беседовал с делегатами, то устраивался у суфлерской будки и что-то писал.

Съезд проходил шумно, даже бурно. Из-за разногласий страсти разгорались до предела. Общая атмосфера на съезде была крайне напряженной. Если бы не присутствие Якова Михайловича, чей решительный голос в критические моменты единственно заставлял униматься крикунов, то трудно было бы довести съезд до конца.

Только своим личным авторитетом и авторитетом секретаря Центрального Комитета РКП(б) Яков Михайлович мог в такой сложной обстановке найти равнодействующую и предлагать приемлемые решения.

Непрестанно перегруппировывая, как на шахматной доске, «левых» и «правых», перемежая «правых» с «левыми», он помогал составить ЦК. Кто, кроме него, так умел создавать единство из противоположностей!.. Понятно, это единство не было механическим. Конечно, делал он это, всегда соблюдая принципиальную линию партии, с огромным тактом, без личных счетов и с пользой для общего дела. На этот раз самым сложным делом для Якова Михайловича было помочь украинским товарищам скоординировать новый Центральный Комитет, который не развели бы внутренние споры, который был бы вполне работоспособным.

Помню: Яков Михайлович сидит на ступеньках маленькой винтовой лестницы, которая ведет от суфлерской будки в подполье сцены — откуда, кстати, отчаянно дуло, — и на листочке бумаги набрасывает различные варианты состава нового ЦК, помогая местным руководителям решать сложнейшую «шахматную» задачу. Затем он принял деятельное участие в работе съезда Советов Украины и в работе местных органов власти.

Когда мы возвращались в Москву, в газетах уже появились сообщения о создании Коммунистического Интернационала и отчет о его первом конгрессе.

Читая эти сообщения, Яков Михайлович весь просиял. Он только выразил сожаление, что еще два года назад не принялись за создание Третьего Интернационала. Вспомнил Свердлов и то, что Владимир Ильич еще в 1917 году предложил товарищам приступить к созданию нового Интернационала, обронив свое любимое выражение: «Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан». Но некоторые товарищи оспаривали своевременность этого.

— Зря, зря слушал их Владимир Ильич. Давно пора, — сказал в заключение Свердлов.

На обратном пути Яков Михайлович все время напряженно работал. Телеграммами были вызваны к нему в вагон представители партийных и советских организаций Курска, Орла, Белгорода, Тулы, Серпухова.

Если белгородцы приглашались к двенадцати часам ночи, то курским работникам отводилось время в пять часов утра. Всю ночь пути — уже больным — работал Свердлов. Теперь о его приезде знали уже многие. И те из местных работников, и просто друзья, которые не успели повидать и побеседовать с Яковом Михайловичем на пути в Харьков, торопились не прозевать его на обратном пути в Москву.

Якову Михайловичу пришлось даже помитинговать. Это произошло в Орле. Когда поезд подошел к перрону, недалеко от станции происходило собрание железнодорожных рабочих. Товарищ Б. М. Волин, который был тогда председателем Орловского губисполкома, пришел к Свердлову просить его выступить на митинге. Все мы отговаривали Якова Михайловича — у него был очень утомленный вид. Он нас послушал, отказался — видно, недомогание уже давало себя знать — и предложил выступить другому товарищу. Но пришла делегация от рабочих и заявила, что железнодорожники хотят слушать только Свердлова. Он вдруг поднялся и заявил, что пойдет сам. Было это сказано по-свердловски — так твердо и решительно, что возражать было бесполезно. Он был восторженно встречен рабочими, поделился с ними своими радостными думами о Коммунистическом Интернационале. Вернулся Яков Михайлович совершенно охрипшим...

И вот мы в Москве. Якова Михайловича пришли встречать Клавдия Тимофеевна Новгородцева, дети, Вениамин Михайлович Свердлов, товарищи по работе. Яков Михайлович бодрится.

Он сразу же окунулся в свою обычную работу. А дел у него за время отсутствия накопились горы. Меж тем температура непрерывно лезла вверх. Испанка — тогдашняя тяжелая форма гриппа — дала осложнение: воспаление легких. Организм Якова Михайловича слишком был истощен и подорван. В его сжигаемом высокой температурой мозгу еще роились мысли, заботы о предстоящем VIII съезде партии, слабеющая рука тянулась к телефону, а холодеющие губы шептали:

— На съезд, на съезд...

И вдруг у изголовья постели — Ленин. Он ласково гладит его свисающую руку. Лицо Свердлова озаряется на миг последней улыбкой: он узнал Ленина...

Второй Дом Советов. Стены зала и люстры задрапированы черным крепом. На трибуне бледный Владимир Ильич.

«Никто не поверил бы, — говорит он, — что из школы нелегального кружка и подпольной работы, из школы маленькой гонимой партии и Туруханской тюрьмы мог выйти такой организатор, который завоевал себе абсолютно непререкаемый авторитет, организатор всей Советской власти в России и единственный, по своим знаниям, организатор работы партии, которая создавала эти Советы и практически осуществляла Советскую власть... Та работа, которую он делал один в области организации, выбора людей, назначения их на ответственные посты по всем разнообразным специальностям, — эта работа будет теперь под силу нам лишь в том случае, если на каждую из крупных отраслей, которыми единолично ведал тов. Свердлов, вы выдвинете целые группы людей, которые, идя по его стопам, сумели бы приблизиться к тому, что делал один человек»¹.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Изд. 5-е, т. 38, стр. 78—79.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. КУЗНЕЦОВ

★

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И МОДЕРНИЗМ

1

В литературе XX века издавна сталкиваются: рожденный революционной борьбой масс, передовым марксистским мировоззрением, новым пониманием жизни и ее процессов социалистический реализм — и буржуазный модернизм.

На самой заре века книги Горького — и прежде всего его роман «Мать» — были дебютом нового, революционного искусства, которое противостояло мутной волне декадентства с его пессимизмом и неверием в человека. В книге Горького во весь рост поднялся новый герой, цельный и ясный, воплощение лучших идеалов борющегося человечества. В романе «Мать» в отличие от модернистов мир предстал не как хаос, неподсудный разуму, а как арена победоносной деятельности революционного пролетариата.

У модернизма нет четко и широко сформулированной программы. Он криклив, но при этом смутен, противоречив, изменчив; отчетливо в нем по преимуществу лишь одно — отрицание действительности, разума, закономерности, реализма, традиции в искусстве. Наименований у модернизма — бесчисленное множество, ибо возникают все новые школы, по сути перепевающие друг друга, но яростно отмежевывающиеся и от предшественников и от окружающего, не признающие ни малейшего родства и в то же время уныло похожие друг на друга... Первое имя, которое принял модернизм, было роковым в своей определенности — декадентство, что, как известно, означает упадочничество. Потом жизнь ушла вперед, менялись названия школ, менялись авторы, подчас в тенета модернизма попадали пер-

воклассные таланты, многие из которых дорогой ценой, но все же вырывались из идеологического плена, — словом, многое менялось в XX веке, но суть модернизма была все та же — упадочничество.

Порождено оно кризисностью самой эпохи, ощущением непрочности окружающего мира, оскудением буржуазных идеалов, тем извращением всех человеческих ценностей, которое характерно для последнего этапа капиталистического бытия. Не случайно, что для самых разных видоизменений модернизма существенно прежде всего отсутствие понимания хода исторического процесса, растерянность, утрата исторических перспектив. В. И. Ленин писал, что «не умеют понять исторической перспективы те, кто придавлен рутинной капитализма, оглушен могучим крахом старого, треском, шумом, «хаосом» (кажущимся хаосом) разваливающихся и проваливающихся вековых построек царизма и буржуазии...».

Это сказано о политических деятелях, растерявшихся перед потоком истории, но вполне приложимо и к писателям-модернистам. Ибо у них и обостренное восприятие гибели казавшегося столь прочным мира, непрерывного, почти физически слышимого грохота разрушения, ужас перед хаосом — и полнейшая неспособность из-за подавленности рутинной буржуазного общества разглядеть поступательный ход истории.

Тут обнаруживается поразительное единство исходной позиции на протяжении больше полувека у самых разных модернистов на западной и на русской почве. «Мы беззащитны перед несказанным мраком», — восклицал Д. Мережковский еще на рубеже нынешнего и прошлого столетий. «Покорное

примирение с непониманием» — так определяют сегодня существо идейной позиции создателей современного наимоднейшего «нового романа» современные французские литературоведы. За шесть десятилетий — перемен немного!

Исследователь современного французского романа Е. Евнина пишет о наиболее крупных французских модернистах XX века: «Писатели-модернисты или уведят читателя от больших общественных процессов, совершающихся в реальном мире, к процессам, происходящим в сознании и подсознании человека (Пруст); или обесценивают реальность, подчеркивая беспорядок, бессмысленность, фальшь и аморальность, якобы господствующие в мире; одновременно они выдвигают иррациональные, непостижимые области человеческой души в противовес ясности и логике, на которых основаны произведения реалистической литературы (Андре Жид); или, наконец, подменяют конкретные социальные конфликты жизни абстрактной враждебностью «судьбы»; в этом случае мы присутствуем при безмерном разбухании индивидуализма, идущего об руку с отказом от изучения и воспроизведения объективных человеческих характеров в искусстве (Мальро)».

Все вышеуказанное вовсе не означает, что в книгах модернистов нет острых и метких наблюдений над капиталистической действительностью. Нередко изображение ужаса буржуазного общества, процесса деградации и полного распада сознания индивидуума даны тут с впечатляющей силой. Но при всем этом картина мира в целом искажена. Конечно, модернизм не есть на практике нечто цельное и монолитное, отдельные школы его весьма противоречивы, подчас они пытаются разорвать пути ложного метода, откликнуться на самые острые проблемы действительной истории (например, антифашистская направленность экзистенциализма). Но ведь и в весьма противоречивом творчестве Жан-Поля Сартра все же преобладающими остаются мотивы крайнего одиночества человека, пессимизма, разрыва между сознанием и действительностью, ибо человек, по выражению писателя, «хрупкое создание, затерянное в горестном океане конечного, одинокого и немощного, на которое в каждое мгновение обрушивается небытие».

Если модернистам под силу иногда передать хаос и отчаяние буржуазного мира, то реальные пути переделки действительности,

цельность и ясность характеров, человек в его социальном, психологическом, нравственном единстве — для них совершенно недоступны.

Модернисты с самого своего появления на свет яростно нападали на реализм, материалистическую философию, закономерности мира. Еще большую ярость вызвало у модернистов искусство нового реализма — социалистического. Чем дальше шло развитие истории, чем более усиливалась литература социалистического реализма, тем ожесточеннее были атаки модернистов. Сегодня борьба с модернистским влиянием, с формалистическими извращениями приобретает особо важное значение.

В высшей степени показательным, что на июньском Пленуме ЦК КПСС, посвященном задачам идеологической работы партии, первый секретарь правления Союза писателей СССР К. Федин целиком посвятил свое выступление проблеме столкновений нашей литературы с западным модернизмом.

К. Федин, в частности, говорил: «Модернисты Запада ведут свои битвы с советской литературой не впервые. Время, когда они просто отрицали у нас существование какой бы то ни было литературы, давно миновало. И чем наступательнее теперь проводят они новые кампании против наших писателей, тем очевиднее это указывает на возрастающее значение советского художественного творчества у нас в стране и в плане международного».

Мы бы хотели в данной статье рассмотреть, как противоборствуют друг с другом социалистический реализм и модернизм в области, касающейся романа, его содержания, его формы. Причем вначале мы хотим обратиться к некоторым фактам истории советской литературы.

Совершенно очевидный факт: художественные достижения модернизма не идут ни в какое сравнение с великими шедеврами критического реализма. Это чувствуют и иные из модернистов, но пытаются спасти себя таким аргументом: в отличие от классиков реализма они изображают иную, кризисную действительность, требующую модернистских приемов изображения. Аргумент, в общем-то, несерьезный: в XX веке жили и живут крупные художники критического реализма и их романы самым очевидным образом показали, что изображение современного мира реалистическими средствами неизмеримо превосходит болезнен-

ные галлюцинации модернистов. Но особенно явственной становится несостоятельность модернистов, когда дело касается воплощения в искусстве новой, революционной, социалистической действительности. Между тем в первые годы истории советской литературы такие попытки были, и они-то как раз самым бесспорным образом показали полную несостоятельность модернизма. Речь идет, в частности, о романах Пильняка, А. Белого, Замятина.

К этому вопросу стоит вернуться сегодня еще и потому, что реакционное буржуазное литературоведение как раз пытается в советской литературе двадцатых годов поднять на щит умершие естественной смертью книги модернистского толка, тшится уверить читателей, что это забытые шедевры. Следует напомнить этим гробокопателям мудрые слова Бальзака: «Нет шедевров, погибших в забвении». Они справедливы и в данном случае — история советской литературы свидетельствует, что как раз модернизм сковал и заглушил талант таких, без сомнения, одаренных художников, как Белый и Пильняк, что чем скорее советские писатели освободились от влияния модернизма, пут формализма, тем ярче расцветало их дарование.

2

...Перенесемся на сорок с лишним лет назад. Самое начало коммунистической эры, новой культуры, новой литературы.

Революция, гражданская война, развернувшееся строительство нового, неслыханного и невиданного мира, возникновение в жизни — и в искусстве — нового героя, человека борьбы и труда... Чтобы воплотить все это, роман (точнее, романисты) должен был найти новые формы.

Нужда в новом романе была огромная. От него ждали решения многих проблем, на первый случай таких:

воплощения в самых широких монументальных формах образа революционного народа;

не только отражения, но и осмысления величайшего исторического перелома;

ждали героя, настоящего героя современности, героя для народа и из народа, героя демократии — в жизни и в самой демократической литературе;

новых художественных форм, адекватных революции; форм, «приводящих в движение миллионов сердца», или, пользуясь выраже-

нием партийного постановления, «понятных миллионам».

Годы гражданской войны — время господства поэзии. К монументальной прозе новая литература была еще, что называется, «не готова». Однако уже к самому началу двадцатых годов были написаны романы В. Зазубрина, Б. Пильняка, И. Эренбурга... С 1922—1923 годов поток новой прозы все ширится и ширится. Первая половина двадцатых годов — это время бурных поисков в области романа и одновременно острой, принципиальной борьбы разных идеологических тенденций в области романа (как и во всей литературе).

Больше, чем какой-либо другой жанр, роман требовал мировоззрения, то есть целостного взгляда на весь ход жизни. Невозможным оказывалось писать роман о современности без законченной «концепции действительности». Существуют отличные стихи-плакат и даже пьесы-плакат. Роман-плакат невозможен. Роман не может держаться на одной эмоции, на самом возвышенном пафосе — для романа этого мало.

Концепция действительности, обнимающая все — от самого частного до предельно общего, — вот что требовалось и чего на этом крутом, эпохальном переломе как раз не хватало иным писателям, мыслившим и творившим по-старому...

Но уже нарождался и новый писатель. В «Правде» летом 1922 года А. Воронский писал: «Новый писатель лезет из всех щелей. Вылезает из трущоб, с окраин, из глуши, из медвежьих углов, из провинции, из дебрей. Часто на нем красноармейская звезда — явление знаменательное, — часто он похож на того, кого и раньше называли разnochинцем, но это новый, советский разnochинец, из низов, подлинный демос городов и деревень».

Новый демос городов и деревень включает и нового читателя, и нового писателя. Этот новый читатель с восторгом принял роман старого писателя А. Серафимовича «Железный поток»: дело было не в столкновении поколений, а в столкновении мировоззрений.

Романы Горького, печатавшиеся в двадцатые годы в «Красной нови», хотя формально, по своей хронологии, и «не перешагивали» временных границ октября 1917 года, стали вехами нового романа социалистического реализма. В них прежде всего поражал глубочайший историзм, ставший

характерным для лучших образцов советского романа. Судьбы героев были даны в исключительном богатстве связей и взаимоотношений с ходом большой Истории. Уже «Дело Артамоновых» — один из первых глубоких образцов романа, в котором есть и «движущая панорама десятилетий», и ясно ощутима главная поступательная тенденция исторического развития, и в то же время здесь всюду «роман остается романом», картина исторического развития не превращается в «чистую» публицистику, история все время «просвечивает» сквозь характеры героев. Горьковские романы показывали воочию, что справиться с художественным освоением жизненного материала эпохи оказывалось по плечу именно реалистическому роману, вернее — роману социалистического реализма.

Суховато-документальная и одновременно страстно напряженная проза Фурманова, открывшая читателю суть характера героя гражданской войны, суть характера коммуниста тех лет; патетика «Железного потока», восславившего не в поэме, не в оде, не в гимне, а именно в романе народ, переплавляющийся в тигле революции; фадеевские большевики-партизаны из «Разгрома» — это все крупные открытия на пути создания нового, советского романа в двадцатых годах. Но разве не были в те же годы открытиями «Барсуки» Леонова, «Хулио Хуренито» Эренбурга, «Города и годы» Федина, «Кюхля» Тьяньнова, повести Вс. Иванова?.. Конечно! И даже этими именами мы не исчерпали реального богатства молодой прозы раннего периода советской литературы — новые таланты воистину «лезли изо всех щелей».

И все же есть основания для того, чтобы подчеркнуть особую роль «Чапаева», «Железного потока», «Разгрома». В них черты нового романа выявились, пожалуй, отчетливее, чем где бы то ни было. Авторы их перышки справились с труднейшей задачей времени: они создали образы положительных героев эпохи в реалистическом романе. Этим пионерам советского романа удалось найти свои художественно полноценные решения проблемы «человек и общество» в новой, революционной действительности. Это были романы могучего, утверждающего пафоса, оптимизма, исторической перспективы. Реализм этих романов опирался прежде всего на новую действительность. Реалистический метод ставил в центр еще не-

данного героя, революционную массу. Реализм этот опирался на цельное мировоззрение. Это был, говоря словами Горького, реализм «верующих», требующих от искусства активной преобразовательной роли в жизни.

Оказалось, что воплощение в романе новой, революционной действительности, революционного народа, осмысление исторического перелома, изображение героя эпохи под силу — прежде всего и даже исключительно — роману реалистическому, роману нового реализма — социалистического.

3

Но выявилось все это постепенно, в ходе соревнования с другими художественными методами, в первую очередь с модернистскими тенденциями в прозе.

В этой связи стоит остановиться на прозе Андрея Белого. Его «Пегербург» и последующие романы «Московский чудак», «Москва», «Маски» пора оценить с точки зрения общих тенденций развития советского и мирового романа в XX веке.

Главное и определяющее в романистике Белого — недоверие к действительности. Это — исходный пункт, альфа и омега творческого метода, основа его концепции мира. Отсюда проистекают и болезненная, почти безумная деформация действительности, и особенности стиля.

Начатый и вчерне законченный до революции, затем заново переписанный в годы гражданской войны, «Петербург» означил определенную тенденцию «ирреального» романа, пронизанного идеалистическим мировоззрением. Но прежде чем говорить об этом романе — несколько слов о взглядах самого А. Белого как раз в те годы, когда он перерабатывал роман.

В годы революции Белого меньше всего можно назвать абсентеистом. «И когда говорит министр Керенский «будем романтиками», мы, поэты, художники, мы ему отвечаем: «мы — будем, мы — будем»...» Это пишется в семнадцатом году. Здесь же поясняется: «Подлинно революционны и Ибсен, и Штирнер, и Ницше, а вовсе не Энгельс, не Маркс... И нам ясно: лежащие в будущем формы общественной жизни, осуществленные революцией, собственно не суть вовсе формы какой-нибудь «большевистской» культуры, а вечное, скрытое под формальной вуалью искусств».

В самые бурные годы гражданской войны

«Алконост» выпускает одну за другой (в 1918, 1919, 1920 годах) тоненькие книжечки Белого: «На перевале» («Кризис жизни», «Кризис культуры», «Кризис мысли» и т. д.), некий «дневник мыслей», как именует его сам автор. Пробираясь сквозь хаос мистических откровений (вроде «спирали в конусе вращения»), явственно видишь идеалистическую концепцию мира. «Связь вещей — в моем «Я»; эта связь есть сознание; «знания» — членов связи — неизменяемы: изменяема комбинация их...» Мрачный прогноз: «слишком много трупного есть в нашем знании жизни» — переходит в явный выпад против материализма: «материализм есть абстрактное крошево трупа мира на мельчайшие части». Через весь «дневник» — осанна Заратустре, культ Ницше, полный всяческой чертовщины (с люциферизмом, ариманизмом, вторым пришествием и проч.). В то же время Белый совершенно искренне приветствует Октябрьскую революцию, сотрудничает в пролеткультовских журналах, верит в новую культуру человечества, рождающуюся на советской земле. В Белом столько много несоединимого, весь его облик настолько вырывается из всех сколько-нибудь привычных понятий, что Ольга Форш в «Сумасшедшем корабле» назовет его «Иноплакетный Гастролер».

Именно «Иноплакетный Гастролер» виден за каждой страницей «Петербурга» — романа в высшей степени противоречивого.

«Роман итогов» назвала его Ольга Форш. Да, Белый сам претендует на «итоги»: в романе многое построено на переключке с русской историей и литературой. То террорист Александр Иванович Дудкин на Сенатской площади повторит сцену Евгения из «Медного всадника», то зазвучит интонация из «Страшной мести», то встреча Николая Аполлоновича с провокатором Морковичем в трактире обернется намеком на свидание Раскольников с Порфирием Петровичем. Всему придана многозначительность — эпиграфы из Пушкина предваряют главы. Все — в намеках, параллелях, обычно весьма претенциозных. «Петербург» претендует и на широкую характеристику общественной жизни: учение В. Соловьева, панмонголизм, интеллигентские кружки, где только шуршание — «революция — эволюция»; наконец «спортсмены от революции» и болезненно-фантастическая вариация на темы провокации Азефа. Сам герой Николай Аблеухов — это роковая раздвоен-

ность: «античная маска», «мраморный профиль» и... «уродище»! Кто он? Наследник «промотавшихся отцов», сам промотавший все? Возможно и такое толкование...

Еще страх — он передан в тысяче нюансов, начиная от тоскливой дрожи Аблеухова-старшего до галлюцинаций «спортсмена от революции» Дудкина и дальше — до некоей общественной панорамы ужаса.

Призрачный мир кошмаров, бессмыслицы, мистических видений и — четкая пунктирная цепь точных, жизненно верных деталей, характеристик, набросков. Если взять мемуары С. Витте (опубликованные, кстати, после написания «Петербурга»), в частности рассказ о том, как готовилось покушение на царского министра, то найдешь немало совпадений с романом Белого, с описанием той «охоты», что ведется на Аблеухова. В романе явственно различима реальная основа, взятая из русской предреволюционной действительности.

«Петербург» — лучшее произведение Белого, лучшее, ибо сквозь иррациональность тут еще просвечивают сильно деформированные, но все же существенные черты времени, есть здесь и ощущение некоего художественного целого. Атмосфера ужаса господствующих классов перед революцией хоть и передана сумбурно, в болезненных галлюцинациях, но все же в основе своей правдива. Однако уже и в «Петербурге» все сильнее и сильнее начинали ощущаться разрушающие и роман и искусство тенденции (то, что Луначарский назвал «смутным и сбивчивым»), которые позднее в романах «Московский чужак», «Маски», «Москва» приведут к полному хаосу. Весьма показательно, что эти разрушительные, субъективистские тенденции в романах Белого все растут. Уже в «Петербурге» он пишет, что привлекает его не столько сама действительность, сколько «мозговая игра», «связь вещей в моем я». У Аполлона Аполлоновича существовало «два пространства»: одно материальное, а другое — некая «вселенная странностей». У автора тоже! Причем «вселенная странностей» — это и есть главная реальность. Характерно признание: «Автор, развесив картины иллюзий, должен бы был поскорей их убрать, обрывая нить повествования, хотя бы этой вот фразой; но... автор так не поступит: на это у него есть достаточно прав.

Мозговая игра — только маска; под эту маску совершается вторжение в мозг раз-

нообразия сил: и пусть Аполлон Аполлонович соткан из нашего мозга, он сумеет все-таки напугать неким, потрясающим бытием, нападающим ночью. Атрибутами этого бытия наделен Аполлон Аполлонович; атрибутами этого бытия наделена вся его мозговая игра».

Герои-тени, выходящие из мистического мрака и исчезающие в нем. Какая-то судорожная пляска на грани реального и ирреального, болезненные вариации ущербной психологии, соответствующий всему этому стиль — полный скрытого, непознаваемого смысла (а есть ли он?), смешение грубого натурализма с утонченным символизмом, курсивы, разрядки, необычность графического начертания, наконец ритмика — все служит одной цели: воссозданию ирреального, второго пространства «вселенной странностей».

В романах Белого есть как будто канва событий: готовится покушение на Аблеухова, Коленька хочет отомстить ангелу Пери и наряжается в алое домино, наконец жалко и смешно взрывается пресловутая страшная бомба — сардинница («Петербург»). Подыкает песик Томка, профессор Коробкин делает некое — именно некое! — открытие, Митенька тискает горничную и продает отцовские книги, современный Калиостро Мандро что-то замышляет: против Коробкина — похитить изобретение; против дочери — изнасиловать («Московский чудак»)... Но это все видимость. По сути романы глубочайшим образом бездейственны, они устремлены вовнутрь некоего разорванного сознания, это романы с призрачной внешней жизнью. А если взять события из романов хоть чуточку всерьез, обнаруживается анекдотическая их мизерность: чего стоит затея Николая Аполлоновича с домино? Или анекдот о взрыве сардинницы? Или водевиль о Сильфе — жене Коробкина, изменяющей ему с коллегой Задопатовым? «Романные поэмы» Белого принципиально антисобытийны, и это опять-таки с роковой неизбежностью вытекает из субъективно-идеалистического видения автором мира.

В романах Белого фактически нет действия, хотя там немало экстравагантных происшествий, они навязчиво топчутся и топчутся на мелком, несущественном, парадоксальном, на каламбуре — словесном и историческом. Им некуда идти — не народ, не история важны романисту, а болезненная, мистическая «мозговая игра». Есть

своя логика в том, что во время величайшей из революций Белый пишет и переписывает роман о кануне и ужасе кануна. А затем, как ни пытаются хотя бы подойти к роковому рубежу истории — началу нового общества, — так и не может, хотя рождаются новые и новые тома: «Московский чудак», «Москва», «Маски»... Автор обещает новое и новое многообразие, меж тем, читая три тома «Москвы», не только не ощущаешь никакого движения, но, наоборот, не можешь избавиться от тягостного ощущения, что вязнешь в каком-то болоте.

Переписанный несколько раз «Петербург» еще относительно строен. В «Москве» господствует хаос. Золотой и незбылемый закон искусства — «ничего лишнего» — попирается на каждом шагу: роман разветвляется, заходит в странные тупики, с невероятным трудом сохраняет какое-то подобие канвы сюжета. Не логика, не причинность господствуют тут в архитектонике, а субъективистские ассоциации. Потому-то романы А. Белого загромождены «мусором событий» вроде ловли мух, тараканов, смерти песика, одевания на голову kota вместо шапки и т. п.

Событие подменяется анекдотцем — это все то же неверие в действительность, подчеркивание ее «ахинейности». Анекдот, парадокс, порой натурализм до «обнажения» — излюбленные приемы автора.

Романы Белого уныло безгеройны. То, что Николай Аблеухов никакой не герой, как не герой и «спортсмен от революции» Дудкин, — ясно с самого начала. Еще менее герои — Киерко, Серафима, профессор Коробкин: мелочное, юридическое облепляет их и тянет куда-то в муть уже совершенно бредовых конструкций «Масок». Этот последний роман — страшный, но закономерный конец большого таланта, не сумевшего преодолеть тупики ложного мировоззрения.

Романы Белого есть русская форма — добавим еще: несколько юридическая форма — того модернистского романа, что на Западе получил название школы «потока сознания».

Определяющим в модернистской школе «потока сознания» выступает крайний субъективизм, болезненно усложненный психологизм, недоверие к действительности, гипертрофированное самосозерцание, стремление оставить личность как бы один на один с некоей непознаваемой «стихийной силой мира». Отсюда и крайняя усложненность, при-

чуждость, порой уродство формы. Понятно, мы говорим лишь о наиболее общих тенденциях этой школы.

Белый был «гастролером» этой школы на русской почве, гастролером «инопланетным», ибо в конечном счете все его «новации» оказались чуждыми русской почве. При всем отличии, у Белого был тоже свой «поток сознания» — не героя, а автора. Романы Белого лишь по видимости о других, на самом деле они прежде всего о себе. С первых же строк мы включены в фантазмагорический, болезненный «поток сознания» повествователя. Никогда еще в истории романа образ повествователя не выпирал столь грубо и назойливо. «Я сознательно навязываю голос свой всеми средствами: звуком слов и расстановкой частей фразы».

В 1930 году Белый написал предисловие к «Маскам» — декларацию о своем творческом методе. Автор требовал читать себя из «уха в ухо», не глазами, а «внутренне произносить текст», разгадывать сам звук и интонационную расстановку фраз. Он декларировал полный отказ от задач романистики: «Моя проза — совсем не проза: она — поэма в стихах (анапест); она напечатана прозой лишь для экономии места». Автор защищал утрировку, субъективистский произвол, право на безудержную деформацию.

Ради чего? Ради чаемой победы над действительностью. Романы Белого — истерическая, отчаянная, с заклинаниями, черной магией война с действительностью. Действительность была «ахинея», «пепел», «развал», «кризис», «пляска над бездной». Музыка слов (вернее, магия) должна дать ключи к иной, просветленной жизни, где «зори неведомого». Белый был искренен. Больше того — он сам попал в плен выдуманной им магии, и «Маски» — книга, где болезнь таланта дошла до последней стадии, где паралич и сумеречное состояние главенствуют.

А у болезни есть глубокое причины, у эпидемии — тем более. Эпоху гибели капитализма сам Белый беспрепятственно именуется «кризисной». Рушился старый порядок, но еще мучительнее переживал интеллигент кризис сознания: старые боги оказались бессильными, сомнение разъедало все — вплоть до реальности бытия. Начиналась тяжелая болезнь сознания. И одновременно — бунт болезненного сознания против

вышедшей из повиновения разуму действительности.

Белый казался кое-кому революционером в области романа — ритмическая проза, звукопись, странные, подчас представляющие значительными в силу неразгаданности намеки, нервная пульсация стиля, наконец свежесть и острота отдельных фраз... Быт растворялся вокруг персонажа так, что каждая фраза пропитывалась звуком и запахом этого быта. Здесь виделось «нечто» неясное, но вызывавшее надежду, что откроются новые связи между художником и читателем. А иных привлекала и заманчивость мнимой победы над страшной и непонятной действительностью. Белый соблазнял кое-кого «свободой» — магическим освобождением от тяжелой власти объективных закономерностей, их познания и той проклятой ясности исторической перспективы, что давалась с таким мучительным трудом. Белый давал индульгенцию от всего этого и предлагал «свободное царство» неких туманностей и субъективистской вакханалии.

Насыщенная образностью, метафорическая, ритмическая проза Белого, музыка и магия слов, загадочное шаманство в той или иной степени подчас влияли на творчество советских романистов. Но время показывало полную несостоятельность основных тенденций творчества Белого. Выявилась абсолютная невозможность при этих принципах сделать романы доступными миллионам, трагическая разобщенность с читателем ждала писателя на этих путях.

Белый не был властителем дум и не стал главой литературного направления. Чем дальше шло развитие советского романа, тем слабее было воздействие Белого. Да и в начале двадцатых годов его сильно «теснил» более грубоватый и более «броский» «архиреволюционностью» своей формы Пильняк.

4

Борис Пильняк «начался» как писатель после революции и многим современникам казался художником революции. Меж тем это был писатель явно модернистского типа, который хотел с модернистских творческих позиций воспеть революцию. Его лучший роман — «Голый год». В «Голом годе» — разрез взбаламученного революцией общества: крестьяне, рабочие, осколки «бывших», знаменитые «кожаные куртки» Роман был резкий, грубый до жестокости,

но все это могло восприниматься как выражение характера времени. Казалось, это подчеркивал и эпиграф из Блока: «Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего».

Многим писателям в ту эпоху пересмотра всех художественных традиций очень революционной казалась форма романа. Обычный сюжет — история героя — отсутствовал начисто. Роман строился как нервно-современная летопись, он перешагивал через отдельные судьбы. Автор то и дело терял где-то в клубах метели героев, пытаясь дать символически обобщенную картину всей России: «Метель. Март.— Ах, какая метель, когда ветер ест снег! Шоояя, шо-ояя, шоооо-я... Гвиуу, гваау, гааау... гвиинуу, гвиини-ууу... Гу-ву-зз... Гу-ву-зз... Гла-вбумм! Гла-вбум!.. Шоояя, гвиинуу, гаауу, Гла-вбумм!! Гу-вуз!! Гу-вуз!! Ах, какая метель! Как метельно!.. Как — хо-ро-шо!..»

Без сожаления пишет Пильняк о гибели дворянского рода, о вымирании старого интеллигента, о жалком и бесславном его конце — и это тоже многих привлекало, казалось жестокой справедливостью революции, ее высшим аскетизмом, ее очищающей жертвенностью. А главное, выступала новая сила — большевики, знаменитые «кожаные куртки», которые «энегрично фукируют».

Им в романе посвящен один небольшой эпизод. Но это — бесспорно самый сильный, самый страстный эпизод книги: «В доме Ордыниных, в Исполкоме (не было на окнах здесь гераней) — собирались наверху люди в кожаных куртках, большевики. Эти вот, в кожаных куртках, каждый в стать, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцом под фуражкой на затылок, у каждого крепко обтянуты скулы, складки у губ, движения у каждого утюжны. Из русской рыхлой, корявой народности — отбор. В кожаных куртках — не подмочишь. Так вот знаем, так вот хотим, так вот поставили — и баста».

Они разрушают и сражаются. Они приносят жизнь и возрождение. В них, в кожаных куртках, — самая могучая жизненная сила. «Завод — самовозродился, с а м о в о з ж и л. Это ли не поэма стократ величавее воскресения Лазаря?.. Веял по ветру черный дым мартена, и полыхала ночами, в завалы, домна. От цехов пошел скрежет железа, умерла стальная тишина».

Вспомним — это одна из самых первых в нашей прозе попыток передать в искусстве

новую силу общества. Тут есть нечто от плакатной символики, все дается суммарно...

Но вот и попытки некоторой индивидуализации — все в том же экспрессивном стиле: «Бумаги писал, брови сдвигая (и была борода чуть-чуть всклокочена), перо держал топором. На собраниях говорил слова иностранные, выговаривал так: — константировать, энегрично, литефонограмма, фукировать, буждет,— русское слово могут выговаривал: — м а г у т ь. В кожаной куртке, с бородой, как у Пугачева.— Смешно? — и еще смешнее: просыпался Архип Архипов с зарею и от всех потихоньку: — книги зубрил, алгебру Киселева, экономическую географию Кистяковского, историю России XIX века (издания Гранат), «Капитал» Маркса, финансовую науку Озерова, счетоведение Вейцмана, самоучитель немецкого языка — и зубрил еще составленный Гавкиным маленький словарь иностранных слов, вошедших в русский язык.

Кожаные куртки.

Большевики. Большевики? — Да. Так. — Вот, что такое большевики!»

В героический «триптих» входит и эпизод Архипов — Наталья Евграфовна — сцена удивительной нравственной чистоты, целомудрия, столь редкого для Пильняка. Сцена, вся идущая на рефрене «человека надо». «Кожаные куртки» делают невозможное, «кожаные куртки» — отбор человеческого материала, «кожаные куртки» — почти стерильная чистота, высшее благородство чувств... Автор смотрит на них с восхищением, он упоенно восклицает: «Энегрично фукировать». Вот что такое большевики. И — черт с вами со всеми, — слышите ли вы, лимонад кисло-сладкий!?» Лимонад — намек на братьев-писателей, кто копается в мелком человеке, уныло описывает отживающее, ужасается «непричесанности» революции, не видит огневого ее полета.

Активность, деятельность — вот что прежде всего влечет, восхищает Пильняка в коммунистах. Они-то и есть новая Русь. Именно Русь, а не Советская Россия, ибо Октябрьская революция у него — явление глубоко национальное, лишенное всяких международных связей. «Кожаные куртки» — отбор из «рыхлой, корявой народности», но их только горстка, а вокруг — море старой крестьянской Руси, допетровской Руси, кондовой, патриархальной, живущей звериным

бытом. И революция — мужичья, и неизвестно, чем все кончится: «И пойдут по России Егорий гулять, водяные да ведьмы, либо Лев Толстой, а то гляди и Дарвин...» Потому-то в «кожаных куртках» он тоже подчеркивает «утюжность», «пугачевщину» — опять-таки нечто узконациональное, кондовое...

А. Воронский в свое время очень верно сказал: «В конце концов: кожаные куртки: Архипов, Наталья, Лукич, Донат, Елена и пр. превосходны у Б. Пильняка. Верно и хорошо отмечены свежесть и покоряющая бодрость, но ведь это не все. Это только существенные внешние признаки. «Энегрично фукцировать»... Но во имя чего, куда, зачем, что дальше внутри у этих людей? В какую даль идут они? Какую роль они играли в русской революции? Что дадут России, что дадут? Они ведь живые люди».

«Кожаные куртки» хотя и энергичны, однако в них крайне слабо выражено главное — интеллектуальное, идейное начало. При всей обаятельности, они в конце концов некий патетический примитив. Дело не в недостатке культуры — у Морозки, у Ковтюха, у Чалаева ее не больше, чем у Архипова. Пильняковские «кожаные куртки» бедны человеческим, они плоскостны, а не пластичны, даны со стороны как некое пусть и восхищающее автора, но экзотичное явление.

Перед нами писатель, у которого отсутствует четкое и ясное миропонимание, ему скорее свойственно недоверие к разуму, к законам объективного развития истории. Внешний мир неподсуден рассудку, считает Пильняк. «Голый год» и последующие романы нарочито хаотичны, сумбурны, ибо таков будто бы и сам объективный мир. Потому-то субъективное, иррациональное, подсознательное, физиологическое у Пильняка всегда доминирует над объективным познанием мира. Отсюда и противоречивость его романов.

В «Голом годе» мужик стоит на Мясницкой и читает вывеску: «Коммутаторы, аккумуляторы». «Ага, — соображает мужик, — хитро — кому таторы, а кому ляторы». Анекдот этот вынесен в заглавие главы, больше — связан с главной идеей произведения: пусть метель, пусть рухнет старое, гибнут Ордынины и вообще все, что связано со старым строем, великолепны «кожаные куртки», но море крестьянской дико-

сти, патриархальщины непреодолимо. Пильняк всегда будет тонуть в этом комплексе идей, в этом заколдованном круге сомнений в возможности преодолеть вековую русскую косность. Так будет и в позднейшем романе «Машины и волки», вплоть до пресловутого «Красного дерева»...

И пусть метель, пусть революция — ничто в мире крестьянском не сдвинется, тут живут в тепле, в блохах, в сказке, в парных телах: «Новые и новые метельные стервы бросаются на лесные надолбы, воят, визжат, кричат, режут по-бабьи в злости, падают дохлые, а за ними мчатся еще стервы, не убывают, — прибывают, как головы змея — две за одну сеченную, а лес стоит как Илья Муромец». Таково итог, таково понимание и осмысление революции, таково в конечном смысле вся «философия революции» в «Голом годе».

Почти в каждом романе у Пильняка — деревня, кондовая Русь, но, как справедливо сказали о нем еще в двадцатые годы, он пишет про Россию, как про Индию. Цитаты из древних рукописных раскольничьих книг, описания архаичных обрядов, «густой быт», перенасыщенность фольклором — все это затейливо, подчас выразительно, но это не реальная русская деревня 1919—1920 годов, а некая модернистская «Индия». Иначе, чем у Белого, но и у Пильняка субъективистское видение мира диктует все. В сущности, ведь решающий водораздел между модернистской трактовкой действительности и тем, как изображают ее художники социалистического реализма, проходит через отрицание или признание объективной закономерности отображаемого мира. Пильняк противоречив и непоследователен: наряду с живыми, верно схваченными чертами новой действительности в его романы то и дело врывается стихия субъективизма.

С этим связан и физиологизм, играющий столь значительную роль в творческом методе Пильняка.

Темные, неподвластные разуму и воле силы половых инстинктов, патология всяческого рода — с удивительным постоянством эти мотивы переходят у Пильняка из произведения в произведение. Корень этого — все тот же субъективизм. Раз в мире правит хаос и законов различить нельзя, то задача художника, как ее понимает Пильняк, — исследовать и воплотить в романе неуправляемые силы подсознательного. В результате рож-

дается роман модернистско-натуралистического толка.

Надо отдать должное проницательности А. Воронского, который в 1922 году, восхищаясь и подчас даже явно переоценивая «Голый год», все же очень точно определил самое уязвимое в творческом облике Пильняка: «Вопрос о единой сердцевине автора приобретает сейчас решающее значение не только потому, что роль художественного слова в наши дни приобретает в общем водвороте жизни совершенно исключительное значение, но еще и главным образом потому, что мы вступили в полосу настоящей, подлинной переработки и внутреннего осмысливания всего пережитого за последнее пятилетие. Художник, который этого не поймет, быстро окажется позади «духа времени». Место оратора на митинге занимает художник, ученый. И они должны быть трибунами, пророками с «божественным глаголом» на устах».

Когда это писалось, Пильняк был еще в начале своего подъема, на взлете своей славы. Но как раз отсутствие передового мировоззрения поставило его «позади духа времени».

Судьба писателя была трагична: он погиб жертвой клеветы и его произведения были насильственно изъяты из читательского обихода. Теперь есть возможность о них писать, изучать их и, следовательно, объективно разобраться в творчестве писателя, не амнистируя идейных и художественных слабостей.

Поразительно быстро начали «линять» романы Пильняка уже во второй половине двадцатых годов, одновременно начало суживаться и его воздействие на других романистов.

В конце двадцатых годов спорили, почему Пильняк «не состоялся» как большой писатель. «Голый год» подавал большие надежды. Но «Голый год» так и остался наиболее значительным его произведением. Надежды не оправдались, ибо, как говорится, «надежда хороша к завтраку, но плоха к ужину». Автор писал много, все время «удивляя» новаторством, и... не двигался вперед. Происходила странная вещь — повизна пильняковских романов приелась, а ассоциативная, «метельная» композиция, фокусы с начертанием фраз и абзацев, звукоподражания, «неистовства натурализма», искусно вплетенные в иррациональное цитатность (вплоть до вклеенной стеногазеты

в «Волге...»), экспрессивность стиля, его кинематографическая динамика — все это заметнее стало давать осечку.

Больше того, выяснилась бесперспективность модернистско-натуралистического метода, положенного в основу романа Пильняка.

Ведь как, казалось, отличался Пильняк от Белого! Он был современен, у него были «кожаные куртки», революция, простонародно-грубоватый слог. Вместо погромыхивающей ритмической прозы А. Белого — куда более свободные эксперименты в области стиля! А меж тем чуть только попристальной глянешь — и увидишь зависимость Пильняка от Белого, проглянет родство. Пильняк как будто весь в действительности, погружен в нее с головой как натуралист, но в то же время в его романах вы все время ходите на грани иррационального, подсознательного. Это недоверие к объективному миру усиливается тем, что причинные связи между явлениями разорваны, потому и в композиции романа отсутствует естественный ход жизни. В мире властвует неподсудная рассудку стихия — таков рефрен, идущий через роман. И тут Пильняк — с другой стороны, в «обход» — смыкается с Белым. Тогда появляются анекдоты как принцип типизации («кому таторы, а кому лятторы»), тогда начинается нарушение гармонического равновесия в романе, на первое место выступает внешняя форма, увлечение звукописью, нарушением синтаксиса, неожиданностью сравнений. С утратой движения романа в историю, в ее дали, начинается уход в частность, в деталь, эпатирование читателя гипертрофией формы.

Пильняк создает тип романа, как правило, лишенный отчетливой и ясной целостной концепции исторического процесса. Роман у него претендует на эпичность, многоплановость, он выдвигает нового героя эпохи — массу, причем уже не в виде «многonoжки» Белого, а массу из броских индивидуальностей. Но все это мнимая, далекая от подлинности эпичность, так же как далеки от реальности его мужики и рабочие.

Итак, ни ирреалистический роман Белого, ни модернистско-натуралистический роман Пильняка не смогли из-за ущербности художнического видения мира, из-за внутреннего бессилия метода и избранной художественной формы решить первостепенные задачи, стоящие перед романом, — создать образ героя эпохи, положительный образ-тип;

дать рациональное осмысление эпохи; дать пластичное, гармоничное воссоздание мира в форме, понятной и доступной миллионам. А вне этого немислим был роман о новом обществе.

5

«Красная новь» в 1922 году решительно писала: «На очень опасном и бесславном пути Замятин».

К 1917 году Е. Замятин был уже сложившимся писателем, хотя книги его появились за каких-нибудь четыре года до Октября. «Уездное» сразу заставило говорить о нем как о своеобразном художнике, здесь резко проявились и идейная позиция автора, и его творческая манера. В «Уездном» царит густой, страшный, зоологически-утробный быт русской провинции, трясины, в которой тонет все людское. Однако Замятин здесь не столько бытописатель, сколько сатирик — злой, беспощадный, выворачивающий наружу самое страшное и кошмарное в российской окурившине. Была в этой сатире отличительная черта — беспросветный пессимизм. Это сказалось на дальнейшем творческом развитии писателя.

В «Уездном» уже проявились и существенные черты стиля Замятина: модернизированный сказ, полный намеков, повышенная образность речи, установка на резкую изобразительность. Вслед за Ремизовым и Белым Замятин оказал несомненное воздействие на развитие всей нашей так называемой орнаментальной прозы.

Революция смела то, что питало кошмарный мир «Уездного». Но автор его так никогда и не понял истинного смысла великого социального переворота. В революции он не попутчик, он скорее пленный, который, чем дальше идет время, тем сильнее бунтует против того, что рождено историей «Мы, — пишет он о годах революции и гражданской войны, — заперты в стальном снаряде — и во тьме, в тесноте, со свистом несемся неизвестно куда».

Его послеоктябрьские произведения — либо отлетающие от земли в какие-то космические дали рассказы, либо это стилизованные легенды. Когда же он сталкивается с новой действительностью, то рисует ее все более враждебно. Замятин любит фантасти горически изображать события революции, гражданской войны, подчеркивая неподсудность происходящего человеческому разуму. Симптоматичный с этой точки зрения

«Рассказ о самом главном» заканчивался таким пассажем:

«Из ворочающихся как медведи, встающих на дыбы изб вылезает келбуйские, орловские и все бегут куда-то, падают в горячие трещины. Земля раскрывает свои недра все шире — еще — всю себя — чтобы зачать, чтобы в багровом свете — новые, огненные существа, и потом в белом теплом тумане — еще новые, цветоподобные, только тонким стеблем привязанные к новой земле, а когда созреют эти человечки цветы — —»

Как характерны для Замятина эти два типа, которыми многозначительно обрывается все произведение. История идет в никуда, совершается странный и алогичный круговорот, в котором равно перемешаны большевики и контрреволюционеры, и смысла в их «беге» искать нельзя.

В одной из статей Замятин пытается обосновать принципы своего изображения жизни: «Все реалистичные формы — проектирование на неподвижные плоские координаты эвклидова мира. В природе этих координат нет, этого ограниченного, неподвижного мира нет, он — условность, абстракция, нереальность. И потому реализм «социалистический» или «буржуазный» нереален: неизменно ближе к реальности проектирование на мчащиеся кривые поверхности — то, что одинаково делает новая математика и новое искусство. Реализм не примитивный, не *realia*, а *realioga* заключается в сдвиге, в искажении, в кривизне, в необъективности».

Это ратование за «сдвиг» может показаться поначалу чем-то невинным. Но за этим стоят вещи, вполне определенные политически. За этим стоит яростное неприятие нового, революционного мира, по отношению к которому Замятин не хочет соблюдать никакой объективности.

Печально знаменитая «Пещера» изображает Петроград времен гражданской войны как некий вымерзший в новый ледниковый период город. Гибнет все, гибнут хранители культуры. Вот двое героев живут в комнате-пещере, а в ней, «как когда-то в Ноевом ковчеге: допотопно перепуганные чистые и нечистые твари: письменный стол, книги, каменновоковые гончарного вида лепешки. Скрябин опус 74, утюг, пять любовно, добыла вымытых картошек, никелированные рюмки кровати, топор, шифоньер, дрова и в центре этой вселенной — бог. Коротконогий, ржаво-рыжий, приземистый, жадный, пещерный бог: чугунная печка». Холод,

мрак, смерть, гибель человечества, гибель культуры. Николай Асеев верно заметил по поводу «Пещеры», что рассказ из «ледовитого» шедевра превращается в шедевр ядовитости против нового строя.

Своего апогея в ненависти к революции Замятин достигает в романе «Мы». В начале двадцатых годов этот роман в рукописных списках имел хождение в литературных кругах. Редактор «Красной нови» А. Воронский получил такой экземпляр и тут же написал большое возмущенное письмо Замятину. В нем, в частности, говорилось:

«Лежит у меня, от Пильняка полученный, роман Ваш «Мы». Очень тяжелое впечатление. По совести. Неужели только на это вдохновил Вас Октябрь и что после было до наших последних дней? Какая же это «самая шуточная и самая серьезная вещь»? Самая мрачная и самая мизантропическая. Раню еще по нас такими сатирами стрелять. Как-то не туда, куда нужно, Вы смотрите. Ведь вот Уэллс, о котором Вы так талантливо и хорошо написали, увидел все-таки в нас, в коммунистах, что-то положительное и очень большое, а Вы нас расписываете одной черной краской. Неладно это. Ваше, впрочем, дело, и я Вам — не советчик. На разных плоскостях мы стоим».

Плоскости действительно были настолько разные, что их можно назвать двумя лагерями — советским и антисоветским.

Воронский счел необходимым, кроме этого, публично выступить против романа «Мы» (пусть в то время и ненапечатанного). В шестом номере «Красной нови» за 1922 год появилась его большая, резкая и глубоко справедливая статья о Замятине, откуда мы и привели пророческие слова об опасном и бесславном пути писателя.

«Мы» — пример романа, использованного как оружие против нас, против нашего строя, против нашей литературы. С этим романом открыто полемизировала марксистская критика, о нем идет речь в переписке Горького (естественно, что Горький крайне отрицательно относился к этому роману, считая его вредным по мысли и антихудожественным)¹. В сущности, вся молодая советская литература отрицала то, что рисовали «Мы». Наконец вполне закономерно, что именно этот роман поднимали и поднимают

на щит современные американские архиреакционеры от литературоведения.

В «Мы» нет ни словотворчества, ни затейливой вязи иронического сказа, ни «напылов» подсознательного, ни чистого изобразительства. Это написано не для кучки эстетов, как то было с иными из рассказов Замятина, а как «чтиво» — на широкого потребителя. «Мы» — прямолинейная, злобно ясная, рационалистичная агитка. «Чистый экспериментатор» (так его называли в кружке «Серапионов») превратился в ожесточенного политика, когда речь зашла о том, быть или не быть дорогому его сердцу буржуазному индивидуализму. От лабораторных поисков новых форм сказа писатель «безболезненно» перешел к роману-памфлету или, точнее, роману-клевете.

Замятин рисует далекое будущее. После великой двухсотлетней войны между городом и деревней создано долгожданное Единое Государство, во главе которого — Великий Благодетель. Восторжествовала масса, победило некое «среднее множество», равенство, уравнительное до анекдота. Теперь у каждого только номер, золотая бляха с цифрой. Все живут по закону Часовой Скрижали — в одно время встают, в одно время подносят ложки ко рту, в одно время начинают работать... Правда, «абсолютно точного решения задачи счастья еще нет: от 16 до 17 и от 21 до 22 часов единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки: это установленные скрижалью — Личные Часы». Однако и это победит «наука равенства»; герой-рассказчик с пафосом пишет: «...верю: раньше или позже, но когда-нибудь и для этих часов мы найдем место в общей формуле, когда-нибудь все 86 400 секунд войдут в Часовую Скрижаль».

Главнейшая победа — над свободой. Время, когда была свобода, — это варварство. «Да откуда было взыться Государственной логике, когда люди жили в состоянии свободы, т. е. зверей, обезьян, стада». Счастье в несвободе, в подчинении Государственной науке («она не может ошибаться»), в добровольном доношении в Бюро Хранителей, в беспрекословном повиновении Великому Благодетелю... «Чувствовать себя слабым, но ни в коем случае не единицей», то есть ни в коем случае самостоятельной личностью. «А это — разве не абсурд, — говорит герой романа, — что государство (оно смело называть себя государством!) могло оставить без всякого контроля сексуальную

¹ В письме И. Груздеву Горький пишет: «Мы» — отчаянно плохо... Гнев ее холоден и сух, это — гнев старой девы».

жизнь. Кто, когда и сколько хотел... Совершенно ненаучно, как звери». А в идеальном государстве, подобно куроводству, есть детоводство, есть Материнская и Отцовская норма, здесь любовь отпускается по розовым талончикам, выдаваемым специальными сексуальными карточными бюро...

Герой романа — математик, строитель межпланетного корабля «Интеграл», идеальный герой нового мира, вдруг ощущает некую болезнь, ибо перестает воспринимать мир с понятностью таблицы умножения. Медик определяет заболевание: «У вас, по-видимому, образовалась душа». Древнее это понятие неизвестно герою. Тогда ему объясняют: у человека будущего века вместо души зеркало: «И на поверхности мы с вами, вот — видите, и шурим глаза от солнца, и эта синяя электрическая искра в трубке, и вон — мелькнула тень аэро. Только на поверхности, только секундно. Но представьте — от какого-то огня эта непроницаемая поверхность вдруг размягчилась, и уж ничто не скользит по ней — все проникает внутрь, туда, в этот зеркальный мир... И понимаете... холодное зеркало отражает, отбрасывает; а это впитывает, и от всего след — навеки».

Итак, новый строй уничтожает душу, заменяя ее бесчувственным, холодным зеркалом. Люди нового мира — муравьи-исполнители; фантазию — буде она появится ненароком у них — оперируют, как раковую опухоль. Героиня — 1—330 (это вместо имени — номер) — женщина-мятежница, возглавляющая в будущем обществе новую революцию, выступает под знаменем чувств, под флагом любви.

Мрачен конец романа: гибнет 1—330, гибнет, не сказав ни слова, пытаемая под газовым колоколом, гибнут ее сторонники... Правда, еще где-то в кварталах города бужет мятеж, но рассказчик, изменивший свободе, рассказчик — предагель и палач, говорит, издевательски пародируя святые лозунги человечества: «Я уверен — мы победим Потому что разум должен победить». Разум у Замятина — страшнейшая реакция, гибель личности, торжество «муравьиности».

Замятин считал, что написал памфлет на социализм. Глубочайшее заблуждение! Ничего общего не имеет нарисованная им картина с марксистским социализмом. Тут скорее нечто от прусской казармы, от государства «верноподданных», столь блистательно изображенного Генрихом Манном Марк-

сизм никогда не мирился с примитивным пониманием равенства как обезличивания личности. Наоборот, марксизм всегда воевал против этого реакционнейшего представления о социализме! «Муравьиность», бесчеловечное стирание индивидуальности, вытравление свободы, дисциплина, убивающая свободу (почти что иезуитское — «будь трупом в руках начальника»), — это бредовые идеи архиреакционных буржуазных политиков.

Характерно и то, что роман «Мы» начисто лишен хоть какого-либо русского, советского колорита — тут все «среднеевропейское», как будто это цитаты из утопического романа вроде «Машины времени» Уэллса.

Глубоко права была критика двадцатых годов, писавшая, что «Замятин написал памфлет, относящийся не к коммунизму, а к государственному, бисмарковскому, реакционному, рихтеровскому социализму».

Характерный штрих — в статье «Красной нови» говорилось и о влиянии Замятина на «Серпионов». Это тут же вызвало резкие возражения самих писателей. Н. Никитин писал Воронскому: «Сиж у Зошенки... Видим — огромную ошибку каждого, кто обязательно наклеивает нам замятинский ярлык... Зошенко говорит, что мы не связаны с ним (то есть с Замятиным) кровной идеей. Это не тот учитель — от каждой новой вещи которого ждут откровения». И дальше Никитин говорит еще резче: «У Замятина нет строчки без смешка. Замятин всегда подсигивает. Кличка «замятинцы» не только вредна, но в корне грубa. Gredo мое вам известно: «С большевиками!» Мне переряжаться в красноармейца не привыкать».

Не менее определенно писал тогда Воронскому и К. Федин: «Всецело разделяю взгляд Ваш на замятинскую «символику» — дурная политика, неприличная».

«Мы» — это была буржуазная идеологическая диверсия. Появление этого романа лишний раз показывает, как несостоятельны утверждения о возможности некоего «мирного сосуществования» идеологий. Недаром этот роман сейчас взят на вооружение самими реакционными империалистическими кругами в США, «Мы», что называется, «пристроен» к ряду мрачнейших созданий современной буржуазной литературы, метко названных «антиутопиями». Эти романы-антиутопии яростно пытаются разрушить веру в грядущее человеческое счастье, пронизаны безысходным историческим пессимизмом, зоологической ненавистью к народу, к демо-

кратии. Таковы «Прекрасный новый мир» Хаксли, «1984» Оруэлла. Замятин в своем романе вонстину стал на бесславный и позорный путь мракобесов, стремящихся устранить из искусства человека.

Каждый новый день становления социалистического общества, каждое талантливое произведение о советской действительности, изображавшее и трудности, и противоречия, и драмы, но рисовавшее все это честно и правдиво, — все разбивало вдребезги злые фантазии Замятина. Из романов Толстого и Шолохова, Серафимовича и Фадеева, Федина и Леонова, Эренбурга и Макаренко и многих других вставала свободная личность человека советского общества, вставал образ социалистического коллектива, подымающего человека, поддерживающего его в самых благородных и смелых начинаниях.

6

Чуть позднее, чем «Голоый год», появился новый роман о гражданской войне. Небольшой, компактный, полный такого внутреннего огня, что казалось — под крышечкой переплета стукот южного солнца. Тут тоже был хаос — неистовый, страшный, жестокий. Тут был разгул революционной стихии, крестьянское море, ужасы и трагедии войны... Но в этом романе новый метод впервые показал свою силу и мощь при обращении к новому, никогда доселе не существовавшему, трагическому и величественному революционному жизненному материалу.

Роман? Тогда где же предьстория героев, так сказать, экспозиция, расстановка сил, история личной судьбы и т. п. и т. д.? Ничего этого нет — есть исполинское кочевье, новое переселение народов. Все перемешано: пушки и самовары, матросы и бабы, старики и солдаты... Но это не экзотичная пестрота — это народ в трагичный и героический час.

«Железный поток» начал писаться сразу же после взятия Перекопа. Книга создавалась в ту же пору, когда создавался мир, в котором предстояло жить победителям гражданской войны, рождался человек, который становился хозяином в этом мире. Искусство обратилось прежде всего к революции и к тем, кто ее делал — к революционным массам.

Масса! Это слово вдохновенно, страстно, гневно, патетически звучало со страниц поэм и стихов, пьес и первых советских романов;

в павильонах только что созданных киностудий и с театральных подмостков. Художники самых разных направлений обращались к образу революционной массы. Но достигнуть желаемого было очень трудно — никто не мог подсказать, как это сделать, с кого брать образец. Все создавалось заново.

«Железный поток» уже тогда, в двадцать четвертом году, был воспринят как крупный успех всей советской литературы. Свершилось чудо искусства: рассказ об одном частном эпизоде гражданской войны стал образом всей революции, всего революционного народа.

Впервые судьба народа в революции стала сюжетом романа. Первые кипящие, бушующие сцены рисуют растерянную толпу, не знающую, где искать спасения: перед нами стихия, хаос... Но дальше — через мучения и подвиги, через круги адских испытаний — течет в романе история народной судьбы. Течет, катится лавиной; летит потоком, на минуту томительно замирает, снова стремится вперед... И оказывается, что в самом хаосе есть порядок, что художник должен быть предельно точен в изображении этого хаоса. Больше того, художник революции видит, как из хаоса рождается новый мир.

Как родилось это удивительно завершенное, цельное, слитное произведение искусства? Тут можно сказать о многом, но прежде всего — о правде. Правде, ни в чем не отступающей, бесстрашной, ни перед чем не опускающей глаз. Ибо смелой революционной ленинской правде прежде всего присягало молодое искусство социалистического реализма.

Автор «Железного потока» пишет о своей позиции: «Жизни бояться нечего, и нечего бояться самых мерзких ее сторон... От писателя надо требовать, чтобы он прежде всего был правдив. чтобы он не боялся жизни, а брал все, что в ней есть, но брал это не для того, чтобы пощекотать нервы или доставить нам минутное удовольствие, а для того, чтобы читатель самую жизнь почувствовал, все ее язвы и гнойники».

Герои «Железного потока» босы, голы, подчас вшивы, голодны, есть среди них такие, что не погнушаются и пограбить, есть преисполненные мелочными собственническими интересами... Все это изображено резко, прямо, без смягчений. Таманцы — железный поток — действительно совершают неслыханные подвиги, перед которыми многие по-

коления склоняют головы. Но разве автора можно упрекнуть в схематизме, сусальности? Нет. Краски повествования суровы, беспощадно суровы.

Невозможно спокойно читать страницы, на которых рассказывается, как белые перебили двадцать тысяч раненых, вырезали семьи красноармейцев, увешали все столбы трупами казненных. Но жестокость не только на этой стороне — война обязывает и таманцев к беспощадности. Не уклоняясь от ужасного, Серафимович изображает нам и казаков, копающих себе могилу, и жуткую сцену, как рубят пленных нанкось, и расстрел сдавшегося меньшевика-грузина, и, наконец, мольбу несчастной атаманши о пощаде, мольбу, которая не была услышана. Да, война, в том числе и гражданская, ужасна. Коммунисты, ленинцы никогда не были проповедниками войны во что бы то ни стало.

«Железный поток» предельно смело говорит об ужасах войны. Но это не размазывание их — это полнота реальности великого и вместе страдного пути народа. Книга воспитывает правдой. А именно воспитания правдой требовал от нас Ленин. Серафимович, которого Ленин знал и ценил, верно следовал заветам Ильича.

В литературе тех лет мало можно назвать произведений, где бы с такой последовательностью и одновременно естественностью, органичностью выступало единство всех художественных средств. Скажем, простая деталь — зной, кубанский жар южного лета. Но у автора, как он сам заметил, не фотографическая, а синтетическая правда, правда высокого искусства. Когда мы читаем — и это звучит все сильнее и сильнее: «опять солнце», «опять блеск моря», «опять сияющее солнце», «жарко переполненное молчание», — это и все новые оттенки красок, передающих ощущение жары, это и музыка романа, его особенный колорит. И вот уже падают от зноя люди за смертью, тонут колонны в белесой удушливой мгле, погибают дети, и невыразимо трагичен сошедший черный ротик мертвого младенца...

Природа — как она важна в этой книге! Млеет лес, дымятся синие горы, голубые горы, сиреневые горы, нестерпимым блеском сияет море, раскидывается широкая бескрайняя степь. Жестокая и прекрасная, живущая своей собственной жизнью природа, как песня, внезапно вторгается в душу, в

судьбы людей, провожает их в смертный час.

И сама авторская речь — как песня! То зазвучат величавые повторы, будто сказитель складывает новую былинку: «Синеют сумерки, синеют дымки, синеет далекий лес. А между лесом и повозками синеет поле, пустынное, затаенное». Или раздается прямо как у Гоголя в «Тарасе Бульбе»: «Много казацких папах с белыми ленточками раскатилось по степи, и много черкесок, тонко перехваченных серебряными с чернью поясами, зачернело по синеющим курганам, по желтому жнивью, по перелескам...» И тут же рядом, звонко прорывая романтически приподнятую лексику, — лихое просторечье, соленое народное слово. Смело, дерзко, как большой художник, смешивает Серафимович высокое и низкое, трагическое и смешное, предельно достоверную подробность и поэтическое обобщение.

Вот одна сцена. Черная лавина казаков катится на лагерь беженцев. А там только женщины, дети, старики, раненые. Никто не бежит — все как замороженные смотрят на казаков. Вдруг одна женщина, схватив единственное оставшееся в живых дитя (остальные лежат мертвые на горном шоссе), кидается навстречу казачьей лавине с отчаянным криком: «Смерть!»

И все за ней. Бегут навстречу казакам с диким, отчаянным криком: «Смерть!» Предельно сжатая, глубоко правдивая, потрясающая своей высокой патетикой сцена! «Железный поток» заставляет вспомнить самые величавые страницы мировой трагической классики.

Такие герои «Железного потока», как баба Горпина, Смолокуров, мать, потерявшая ребенка, удивительно объемны, пластичны. Автор словно вырубил их из целой глыбы, осветив каким-то ослепительным светом.

Особенно это относится к Кожуху. Стоит посмотреть на него сегодняшними глазами — и увидишь немало того, что особенно близко нам сейчас. Его выдвинула масса. «Отнимите от него массу, и пропадет весь его ореол», — заметил автор. Почему масса идет за ним? По многим причинам. Но прежде всего потому, что он знает. Знает, что делать сейчас, в эту минуту, а что завтра, что в будущем. Он видит цель — зорко, трезво, деловито. Видит ее не как фанатик, а как практик, и люди убеждаются ежедневно, что «батька» ведет верно.

Он всем своим существом слит с народом:

«Нэма у меня ни отца, ни матери, ни жены, ни братьев, ни близких, ни родни, тильки одни эти, которых вывел я из смерти...» Есть в нем и то, что выделяет его из массы.

..Взят с бою город, и разутая и раздетая, буквально голая таманская армия кидается шуровать по магазинам. Прежде всего — просто чтоб одеться. Но демон грабежа уже спущен с цепи. Кожух железной рукой останавливает разгул: «Назначю двадцать пять розог каждому, кто взял хочь нитку». На площади стоит строй — «одни были в прежнем пропотелом тряпье, другие — в крахмаленных, расстегнутых, подпоясанных веревочками сорочках... Иные — в дамских ночных кофтах или в лифах, и странно торчали из них черные руки, шеи».

Перед тем как эпизод этот достигнет высшей кульминации — одна деталь. К провинившимся подходит Кожух. За ним «командный состав в красивых грузинских офицерских папах, малиновых черкесках, на которых серебряные с чернью кинжалы». Не выдержали все-таки командиры — польстились на трофейное. А Кожух? «Все неподвижно смотрели на него, не спуская глаз: он был отрепан, штаны висели ключьями; как блин, обвисла грязная соломенная шляпа». Как это в его характере, как это существенно для героя Серафимовича!

Он не только воин — он и политик ленинского склада. Масса выбрала его командующим, но было это на митинге. А вот теперь начинаются осложнения — с командирами. Идет военный совет. Среди командиров есть бывшие офицеры, те, кто раньше был выше, чем Кожух, и по званию и по должности. Они словно говорят: «Ты прост, приземист, нескладно скроен, земляной человек, не понимаешь, да и не можешь понять всей сложности положения... Массы поставили тебя, но массы ведь слепы...»

Есть другие командиры — бывшие бондари, столяры, лудильщики. Они как бы говорят: «Ты из нашего брата, а чем ты лучше нас? Почему ты, а не мы? Мы еще лучше тебя управимся с делом...» Кожух слушает эти безмолвные разговоры, слушает и ждет. На этом военном пленуме, в крутой, переломный момент он ждет тех, за кем послал — представителей рот. И вот когда люди заполнили и комнату и веранду, тогда действительно народный вожак ставит перед всеми — и рядовыми и командирами — вопрос ребром: решим в последний

раз, кто командующий и что делать с теми, кто нарушает приказ.

Волевой, умный, бесстрашный и демократичный, демократичный не внешне, не формально, а воистину, в каждой капле своей крови — таков этот герой новой, революционной литературы.

Революция, идеи коммунизма преображали всех, кто становился под их знамя. Новаторство было уделом не только юных — Серафимовичу исполнилось за пятьдесят, когда он поставил последнюю точку в романе.

Десятки талантливейших художников в те годы создавали образ революции, революционного народа, искали героя, выражающего сущность века. Для этого нужен был талант — большой, чистый, пламенный, отдающий себя до конца. Но нужны были еще и крылья, поднимающие талант ввысь, чтобы виден был бег времени, путь народа, ход истории. Этими крыльями было революционное мировоззрение, новый метод социалистического реализма.

Жаркий и чистый пламень «Железного потока» осветил дорогу всей новой советской прозе. Недаром сразу так сблизились Серафимович и автор «Чапаева». Недаром так любил Серафимовича великолепный художник революции Артем Веселый, кому не довелось завершить свою яркую эпопею «Россия, кровью умытая». Недаром Серафимович первым разглядел в молодом Шолохове будущего орла нашей литературы. Недаром... Но долго пришлось бы перечислять славные имена, испытавшие на себе воздействие этого огненного романа, истинной «Илиады» нашей революции.

Роман социалистического реализма противостоял всем иным направлениям в литературе как роман доверия к действительности. И первым следствием этого было усиление исторической конкретности в романе.

Роман социалистического реализма становился романом-исследованием объективной действительности. Он был прежде всего открытием мира — большого, необозримого, полного неповторимых событий, удивительных характеров. Этому роману были противопоставлены всякого рода эстетические «путешествия вокруг своего «я», всякая «отрешенность от действительности».

А. М. Горький в письме к Р. Роллану от 27 ноября 1932 года делает весьма тонкое замечание о характере нового романа: «В литературе новаторы не так заметны (до

этого речь шла о советской науке.— М. К.), но и здесь упорные поиски новых форм и методов. Все чаще раздаются голоса молодых о том, что реализм не в силах отражать современную действительность, но не удовлетворяет ее и романтизм, особенно же стиля Шиллера и В. Гюго. Появляются очень интересные книги; авторы именуют их романами, но в этих книгах романтическая тема отодвинута куда-то в сторону, а на первом плане нечто весьма далекое от «романа», например, вредоносная работа японских concessionеров в Охотском море, на Камчатке. Изображена эта работа очень талантливо, объективно показана ее неизбежность, и автор обнаруживает отличное знакомство со своим материалом.

Так же необычно построен роман В. Кнехта «Страна на замке», посвященный современной Финляндии. Мне кажется, что на некоторое время «романы» такого типа станут весьма обычными и что, возможно, в работе над ними молодежь найдет новые приемы изображения современной действительности, которая так быстро обогащает мысль и — уже можно сказать — создает новые эмоции».

Преобладание объективной конкретности над «романтической темой», то есть над углубленным изображением характеров и историй характеров, продиктовано в это время стремительным, необычайно ускоренным развитием социалистической действительности. Роман стремится исследовать не что-то устоявшееся — нет, роману надо спешить за бешено мчащимся потоком времени. И только в действительности найдешь ответ на самые острые вопросы. Происходит невиданное в истории вторжение литературы в различные области бытия. И столь же невиданное и мощное «вторжение» в роман нового жизненного материала. Классовая борьба, крестьянство в революции, коллективизация, интеллигенция в революции и строительстве социализма, соревнование, ударничество, новая мораль, новый патриотизм, воспитание нового человека, проблемы политики, науки, экономики и т. д. и т. п. — все это не просто новый «фон», не «некие познавательные интермедии», перемежающие повествование о судьбе героя, — нет, из этих еще «горячих» жизненных противоречий вырастают новые конфликты, коллизии, сюжеты романов социалистического реализма.

«Отказывают» в новых условиях самые, казалось бы, проверенные приемы романи-

стов. Сколько, скажем, романов у Бальзака, Диккенса, Золя строилось на таком «беспронгрышном» мотиве, как борьба за наследство! Или — безудержная, но останавливающаяся ни перед чем страсть к деньгам! Ведь гениальный «Идиот» Достоевского во многом строится на этой испытанной «конструкции». В советском романе эти «мотивы» — скорее музейная достопримечательность, как мушкет или паровой автомобиль... «Золотой теленок», в котором эта тема дана в своем парадоксальном варианте и где изображены горестные злоключения «подпольного миллионера» в советском обществе, — весьма характерен в этом смысле.

Новый роман строится на совершенно новых конфликтах: личность и революционный народ; стихийное и сознательное в революции; трагедия «третьего» пути; герой и революционная масса; крушение собственнической идеологии; конец социального и душевного захолустья «маленьких людей» и т. д. Романист выступает как исследователь-борец, ибо его книга — сражающаяся, непосредственно участвующая в изображаемом им современном конфликте.

В советском историческом романе история предстает не как бессмысленный хаос, не как игрушка в руках «великих личностей», а как закономерный процесс, где на первом плане — восхождение трудовых масс. Историзм присущ не только историческому роману, он оказывается важнейшим качеством советского романа вообще. Он проявляется в романах, показывающих неизбежность пролетарской социалистической революции, в романах о социалистическом созидании, в романах о современности. (Может быть, этим и объясняется некое устойчивое заблуждение части наших литературоведов, причисляющих порой к жанру исторического романа такие произведения, как «Жизнь Клима Самгина», «Тихий Дон», «Хождение по мукам».)

Наоборот, отсутствие историзма, бессилие понять законы движения истории — характерная черта многих романов буржуазного общества XX века. Здесь «камень преткновения» даже и для передовых романистов Запада.

В высшей степени показательно, что Горький, весьма широко смотревший на молодую советскую литературу, был устойчив в своей критике Белого, Замятина, Пильняка. Горький отвергал эту декадентскую романистику

(именно романистику, ибо он отрицательно оценивает не стихи, а романы Белого, не рассказы, а прежде всего «Мы» Замятина) вовсе не из субъективных вкусовых пристрастий, а по глубоко принципиальным соображениям.

И одним из рубежей, бесповоротно разделявших Горького (а с ним и всех романистов социалистического реализма) с Белым и Пильняком, был принцип историзма.

У Горького человек выступает как совокупность общественных отношений. Это удается Горькому благодаря необыкновенно точной, рельефно воспроизведенной исторической конкретности, исключительному богатству характеров, их индивидуальному своеобразию и в то же время социальной определенности. В то же время понимание истории у Белого, Пильняка, Замятина можно сравнить с известной «теорией катастроф» естествоиспытателя Кювье. В романах отечественных модернистов мы находим лишь изображение кризисов, гибели, разного рода «эффектов крушения» взамен действительной связи событий. Все это прямо противоположно горьковским принципам изображения исторического процесса. Историзм не сразу был принят на вооружение советскими романистами. Скажем, у Эренбурга его романы «Трест Д. Е.», «А все-таки она вертится» весьма далеки от того понимания истории, которое будет в «Дне втором». Молодой Шолохов пытается начать «Тихий Дон», как «Донщину», а затем приходит к выводу: нельзя, читатель не поймет, почему казачество приняло участие в подавлении революции. «...Я бросил начатую работу. Стал думать о более широком романе», — вспоминал писатель.

Естественно, что наиболее явные черты историзма советского романа мы видим в романах-эпопеях, где в центре — грандиозные драмы в жизни народа, события революции, гражданской войны.

В романах первой половины тридцатых годов, посвященных человеку труда, даны картины бурного исторического развития. Но нередко, как, скажем, в «Большом конвейере» Я. Ильина, проблема исторической преемственности решалась еще односторонне. У того же Я. Ильина прошлое русского народа берется только с отрицательной стороны. «Все-таки еще глубоко сидит в стране этот Ермак, нищий старик, юродивая, шелудивая Россия семнадцатого века. Но что нам, индустриалистам, до волжской лири-

ки...» — эти слова одного из главных положительных героев романа в известной степени передают общую настроенность произведения. В «Сотни», в «Гидроцентрали», в других романах о созидании весь пафос — в ломке старого, а новые люди, герои труда, почти не имеют корней в прошлом. В этом революционном отрицании реакционных классовых сил, русской отсталости, косности, невежества, бескультурия и т. п. — бесспорное завоевание нашего романа времен первых пятилеток. Позднее, в романах сороковых—пятидесятых годов, ярче выражена идея преемственности, эстафеты трудовых усилий.

Всем читателям романа «Счастье» памятна сцена на «Орлином пике». Лена Журина и доктор Комков приходят на вершину скалы, где сохранились следы труда неведомого работника: много десятилетий назад он посадил деревья, провел воду, вырубил в камне ступени, но кончить работы не смог... «Он твердо знал, — говорит Комков, — что работает не для себя. Он просто ставил веху для будущих поколений — обратите, мол, внимание на этот уголок. Он как бы бросил нам вызов: продолжайте мной начать, заканчивайте, живите, — и этим сомкнул свою жизнь с нашей». От этого неизвестного строителя перекидывается мостик к коммунисту Воропаеву, «человеку для всех», — он тоже весь для других, из породы великих созидателей. В романе — это не только параллель, нет, здесь одна из главных идей произведения, определяющая и характеристику главных героев, и саму архитектуру «Счастья». Исследователь творчества П. Павленко Л. Левин убедительно доказывает связь сцены на «Орлином пике» с эпизодами первой главы, с развитием характеристики главного героя. Л. Левин справедливо считает, что «в сцене на «Орлином пике» Павленко раскрывает свое представление о том, каков должен быть советский человек, отдающий все силы борьбе за счастье народа, смело заглядывающий в завтрашний день...». О завтрашнем дне — верно. Но не только о нем. Тема труда-счастья, труда благородного и бескорыстного разворачивается как единая эстафета строителей-«беззаветников» — от прошлого, через настоящее, к будущему.

Подобное понимание движения истории чаще встречается в послевоенном романе. Отечественная война, обострившая чувство

патриотизма, усилившая восприятие лучших традиций в области культуры, несомненно, должна была отразиться во все углубляющемся историзме советского романа.

Оптимизм советского романа основывается прежде всего на том, что человек в нем — сын народа, не жертва истории, а борец. Он может погибнуть трагически, как гибнут герои «Молодой гвардии» Фадеева, но погибнет, побеждая.

Герой советского романа — это преобразователь. Понимая законы истории, он, подобно Левинсону у Фадеева, стремится видеть все как оно есть, для того, чтобы приближать то, что должно быть. Не растерянность перед «хаосом» событий, а воля, мужество, талант трудовых людей, ставших впервые сознательными творцами истории, — вот характернейшая черта романа, дающего «поэтический анализ» новой общественной жизни.

7

Насадить на советской почве модернизм было невозможно. Он потерпел поражение столь полное, столь бесповоротное, что эти бывшие попытки сегодняшнему советскому читателю действительно кажутся чем-то «инопланетным».

Кончается вторая треть XX века, модернизм давно из юноши превратился в дряхлого старца, а художественных завоеваний, по-настоящему обогативших человечество, у него нет как нет. Скорее даже наоборот: заметно повылялись кумиры прежних лет (сколько их вообще забыто!), время безжалостно обнажило убожество целой вереницы некогда шумных «новаций»... Где была слава когда-то сверхмодной школы «потока сознания»? Кто оплакал духовную смерть циника Селина? Назовите хоть одного из многочисленных декадентских подражателей Достоевского, кто по оригинальности мысли и силе образов хоть сколько-нибудь приблизился к великому реалисту?..

А ведь за те же годы выросла большая и славная литература социалистического лагеря. Социалистический реализм давно перешагнул национальные рамки, стал методом многонациональной советской литературы, важнейшим фактором всей международной литературной жизни. Уже есть своя устойчивая традиция социалистического реализма.

С особенной яростью противники советской литературы нападают на принцип пар-

тийности, на связь творческой деятельности наших писателей с созидательной работой Коммунистической партии. Закономерный процесс развития литературы и искусства в обществе, рожденном Октябрьской революцией, приводит к открытой и прямой связи литературы с делом строительства коммунизма. И в этом сила метода социалистического реализма.

Та же аполитичность, которой шеголяют многие из модернистов, на деле есть самая неприкрытая, самая яростная политика. Лишь играющие в наивность лицемеры от буржуазного искусства еще тщетно пытаются убедить окружающих в противном.

Циничный, грязный, презирующий и продающий всех и вся Бардаму, герой селинского «Путешествия на край ночи», тоже называл себя аполитичным, стоящим вне борьбы угнетенных и угнетаемых... Но ведь недаром модернисты так любят отождествлять авторское «я» с главным персонажем своих книг. В данном случае биография Селина — продолжение истории Бардаму. Сей аполитичный модернист предал свой народ, верно служил фашистам и бесславно закончил свои дни.

Дегуманизация — это слово придумано не марксистской критикой, его вынуждены были назвать сами буржуазные литературоведы. «Довольно нас пичкали литературой о войне, концлагерях, смерти. Надо ускользнуть от исторической реальности», — так восклицает современная французская писательница Доминик Ролен. Каким же путем «ускользнуть»? Оказывается, путем модернистского искусства, в частности того самого «нового романа», который во Франции (да и не только во Франции) выдавался определенными кругами за некое «новое слово», призванное спасти современную прозу.

Школа эта существует без малого уже десятилетие, а художественные результаты ее скромны. При всех претензиях на «поражающее» новаторство, и декларации, и сами произведения «новых романистов» не производят впечатления новизны. Когда мы читаем заявление одной из создательниц этого романа, Н. Саррот, что характеры не открывают больше ничего нового и от них надо отказаться, что главное место в романе должно занять «существо без контуров, неопределимое, неуловимое и невидимое некое анонимное «я», которое является всего лишь отражением автора, то, право

же, хочется воскликнуть: «Было! Много раз было!»

А другой представитель этой школы — Аллен Роб-Грийе — пришел к такому открытию: «Истинное содержание произведения искусства — его форма». Право же, наши отечественные формалисты начала двадцатых годов могли бы подать в суд за явный плагиат. И это «новое» слово эстетической мысли, это «открытие новых путей»!

Недавно журнал «Иностранная литература» сделал благое дело — опубликовал большие куски из романов трех представителей школы «нового романа» — А. Роб-Грийе, Н. Саррот, М. Бютора. По этим отрывкам наш читатель может получить некоторое представление об этой школе. Позволим себе задержаться на двух примерах.

Вот, скажем, отрывок из «военного» романа Роб-Грийе «В лабиринте»: «Войдя, он оборачивается и знаком приглашает солдата следовать за ним. На этот раз все взгляды обращаются на вновь вошедшего. Взгляд хозяина за стойкой, взгляд буржуа в дорогом костюме, стоящего перед стойкой, взгляды двух рабочих, которые сидят за столом. Один из них, сидящий к двери спиной, поворачивается на стуле, не выпуская из рук стакана, наполовину наполненного красным вином и стоящего посреди стола на клеенке в мелкую клетку. Другой стакан, рядом с первым, тоже схвачен толстой рукой, полностью скрывающей его вероятное содержимое. Слева красноватый мокрый круг указывает место, на котором стоял раньше один из этих стаканов, а может быть, и какой-то третий стакан.

И вот наконец солдат тоже сидит за столом перед таким же стаканом, наполовину заполненным таким же темно-красным вином. На клеенке в мелкую красную и белую клетку, точно на шашечной доске, стакан оставил множество следов в форме окружностей, большей частью неполных, образовав узор из целой вереницы дуг и арок, иногда пересекающих одна другую. В иных местах уже высохших, а в иных еще сверкающих остатками жидкости, которая пленкой покрыла более темный осадок, успевший образоваться в этих местах; рисунок уже смазан из-за частых перемещений стаканов, когда новое место, на которое их ставили, было очень близко к тому, где они раньше стояли, кое-где рисунок вообще стерт — то ли от того, что стаканы скользи-

ли по клеенке, то ли от того, что по ней быстро прошлись тряпкой».

Читатель мучительно вдумывается во все эти повторяющиеся описания следов стаканов на клеенке в мелкую красную и белую клетку, стремясь открыть во всем этом некий важный скрытый смысл. Увы, его нет. Да и весь роман «В лабиринте» романом о войне может быть назван лишь в кавычках, ибо, за исключением нескольких мелких бытовых деталей, свидетельствующих о том, что действие происходит в XX веке, ничто не говорит нам о том, с кем идет война, в какой стране, в какой армии сражается главный герой и т. д. Солдат на другой день после сражения бродит по занесенному снегом городку и носит с собой таинственный пакет. Проходят сутки, другие, третьи — солдат все бродит без цели и смысла по городу, несколько раз встречается с каким-то мальчишкой, путается в лабиринте улочек, наконец кто-то смертельно ранит его очередью из автомата, а пакет, найденный у него на груди, оказывается связкой ничего не значащих писем...

Зато перечисление подробностей, бесконечные каталоги вещей, мерный, заворачивающий своей однообразностью ритм этого перечисления «вещных» деталей — размеров ступенек, геометрических рисунков окон, щелей, кругов от винных стаканов на клеенке и т. п. — этот алогичный, болезненный поток катится и катится по страницам романа. Как метко сказал С. Великовский в своей статье «На холостом ходу» («Иностранная литература», № 1, 1963), «молчаливый солдат поневоле тонет в этом безбрежном море застывшей материи».

А теперь вообразите себе, что на душу героя романа наведен некий электронный микроскоп, и мы видим не чувства, не мысли, не переживания, а лишь какие-то миллионные доли их, вообразите это — и вы получите представление о художнической индивидуальности Натали Саррот. По внешности писательница как будто движется в глубь характера, но в действительности все в человеке так дробится и мельчает, что характер исчезает вообще. Вот отрывок из ее романа «Планетарий». В квартиру героя приходит литературная дама Жермена Лемер:

«Она кладет руку на письменный стол... «Здесь вы и работаете?» — «Да, здесь, почти всегда здесь». — «Ах, вам так больше

нравится — сидеть спиной к окну и лицом к стене?» Она смотрит на него очень внимательно, и это ему льстит, она, должно быть, чувствует это, она нарочно смотрит на него так внимательно, с таким уважением, она любит всякое дело доводить до конца; если уж взялся за что-то — не правда ли? — надо делать как следует... ведь это так восхитительно — ворваться вот так в чье-нибудь скромное существование, в жизнь соседа, и всю эту жизнь потрясти до основания, одним махом и надолго изменить ее ход... Ему нужно бы отвернуться, нахмуриться, но слова, которые она только что произнесла, самый звук ее слов — как знаменитая трель звонка, которая вызывала у собак Павлова выделение слюны, — вызывает блеск в его глазах, порождает на его губах льстивую улыбку, он открывает рот, он секунду колеблется... «Да мне так больше по душе — работать, когда перед самым носом стена... это как-то более...» Вдруг у него появляется ощущение, будто он идет по какому-то предмету, который качается под ногами, под ним точно узенькие мостки, переброшенные над стремительным потоком, и вот он ступил на них, а люди собрались на другом берегу и молча глядят на него. Одно неверное движение — и он сорвется вниз. Он осторожно ощупывает ногой доску... «Да, спиной к окну — так удобнее...» Хорошо. Движение было именно такое, как нужно. «Удобнее» — он удачно выбрал слово, в меру скромное, слегка небрежное... В самом деле, он неплохо выпутывается из этой истории. Ему начинают верить... «Так удобнее, это дает возможность сосредоточиться...» Внимание, здесь можно сломать себе шею, слишком сильное, слишком резкое, неловкое движение, он ступил слишком тяжело, покачнулся слишком сильно в одну сторону... все смотрят на него, им забавно, он пытается сделать еще хоть шаг, он шатается, сейчас он упадет...»

Выписку можно растянуть еще на несколько страниц. Автор будет продолжать нас «пугать» гуманной многозначительностью при полном отсутствии действия, движения. Идет, скажем, малозначительный разговор между двумя персонажами, и писательница тщетно пытается извлечь из этих микрочувств нечто драматичное... Право же, самый злой критик-фельетонист не сказал бы о манере Н. Саррот так метко и зло, как это сделала она сама, заявив:

«Бури в стакане воды — вот моя специальность».

Конечно, и в этой школе есть свои оттенки. Скажем, у М. Бютора можно встретить попытки, хоть и малоудачные, вырваться к более широким проблемам, можно найти какие-то интересные частности у Роб-Грийе и у Саррот. Но в данном случае мы оставляем в стороне анализ индивидуального творчества этих авторов, ибо подходим к их книгам с точки зрения сопоставления двух методов, взятых в их историческом развитии. И тут очевиден тупик, в который заходит современный модернизм. Художники-модернисты полностью утратили понимание цельного человека, потеряли секрет воспроизведения реального характера. В их книгах властвуют не люди, а предметы, не чувства, а болезненные галлюцинации.

Вспоминается, как на самой заре борьбы марксистской критики с формализмом А. Луначарский в 1924 году писал в журнале «Печать и революция»: «Современная буржуазия может любить и понимать только бессодержательное и формальное искусство. Она желала бы привить его всем слоям народа. В ответ на эту потребность мелкобуржуазная интеллигенция выдвинула фалангу художников-формалистов и другую — формалистов-искусствоведов».

Диагноз был поставлен точно. «Новый роман» — современное дитя буржуазного искусства — как нельзя лучше подтверждает мысль А. Луначарского.

Формализм — порождение буржуазного модернизма. Это болезнь, которая может затронуть и здоровый в целом организм. Своевременный призыв Центрального Комитета нашей партии решительно препятствовать возрождению чуждых нашему искусству традиций, гальванизации трупа формализма. Не может быть в советской литературе мирного сосуществования с теорией и практикой формализма, ведущей к распаду художественной формы.

Глубоко огорчительно, что часть нашей галантливой писательской молодежи в последнее время в той или иной мере давала себя увлечь дешевыми побрякушками модернизма. Критика обстоятельно писала об идейных и художественных просчетах в повестях «Будь здоров, школяр» Б. Окуджавы, «Апельсины из Марокко» В. Аксенова. Думается, нет нужды вновь разбирать очевидные недостатки этих произведений. Следует сказать, однако, что наши молодые

прозаики явно плохо знают историю советской литературы, не овладели опытом своих старших собратьев по перу. А ведь такое знание могло бы уберечь от возрождения старых, давно изжитых нашей литературой ошибок.

Мы верим, что рецидивы старых болезней — дело наносное, они не могут затронуть коренных основ нашей литературы. Литература социалистического реализма неуклонно идет вперед, она давно опередила зашедший в тупик модернизм. И как смешны сегодня домыслы буржуазных модернистов, будто социалистический реализм скрывает художественную индивидуальность, будто партийность, народность не дают писателю высказать все, что он думает, препятствуют художественным исканиям.

Это легко опровергнуть, обратившись хотя бы к романам самого последнего времени.

Перед нами три книги авторов разных национальностей, разных национальных художественных традиций, но единых по творческому методу и даже отчасти близких по тематике. Это «Степные баллады» Иона Друцэ, «Земля и народ» Рудольфа Сирге, «Память земли» Владимира Фоменко.

Три произведения о деревне в переломные для нее годы — о деревне молдавской, эстонской, русской... Для западной модернистской критики — удобный предлог для обвинения нашей литературы в однообразии, стандартности, конформизме, старомодности и пр. и пр. А на самом деле? На самом деле романы, которые здесь названы — хотя мы и не рискнули бы отнести их к высшим достижениям нашего искусства, — демонстрируют огромное превосходство метода социалистического реализма над современной буржуазной литературой.

Книга Р. Сирге вышла несколько лет назад. «Память земли» появилась отдельным изданием в прошлом году, а роман Друцэ, вернее его первая часть, только что напечатан в журнале. Три романиста обращаются к деревенской теме, но в этом не только нет никакого однообразия или ограниченности, а, наоборот, проявляется глубочайшее внимание писателей к коренным проблемам бытия.

В этих романах главная художественная задача — показать судьбу народа. Задачу эту глубоко по-своему, на разном жизненном материале, в различной стилиевой манере решают Друцэ, Сирге и Фоменко.

Скажем, в романе «Земля и народ» автора мы почти не видим, он как бы скрыт за героями, за их действиями. Повествование здесь течет медлительно, речь автора обстоятельна. Место действия — эстонский хутор. Время действия — один год. Правда, это очень драматичный в жизни эстонского крестьянина год. Действие романа начинается летом 1940 года — тогда, когда социализм впервые шагнул на землю Эстонии, — кончается в первые месяцы Отечественной войны, когда Эстония уже оккупирована гитлеровцами и вновь временно восторжествовали старые порядки. Земля, ее труженики, те, кто по праву должен владеть ею, их социальная жизнь, их душевный мир, становление общественного сознания, личные драмы и трагедии — вот что с удивительной основательностью и подробностью исследует романист. В центре его внимания — люди новой Эстонии: батрак Аллик, старый кузнец Людвиг, считающий, что надо довершить то, что было не закончено в 1917 году, старый эстонский коммунист Луми...

Но палитра Р. Сирге богата, многообразна и тогда, когда он обращается к лагерю угнетателей. Скажем, логинасский хозяин Петер, один из «серых баронов», глубоко своеобразный тип эстонского кулака, дан во всех противоречиях своего характера. Это не та выдуманная сложность, которой шеголяют модернисты. В старом Петере действительно переплелось многое: жадность и расчетливость эксплуататора, искренняя любовь к хозяйству и к труду. Да, к труду, ибо у этого человека есть даже по-своему проявляемая забота о батраках. Автор ни на минуту не оставляет читателя в сомнении относительно того, какова истинная социальная сущность характера Петера. Но в то же время он рисует этого «серого барона» как цельный, монолитный характер, по-своему сильный, по-своему стойкий. Это старый пень, уходящий своими корнями в буржуазную действительность Эстонии.

Мы недаром употребили это выражение — «пень». Сам автор назвал три части своего большого романа весьма симптоматично: «Корни», «Пни» и «Ростки». И он действительно с помощью глубоких, всесторонне обрисованных характеров показал нам социальные основы бытия эстонского крестьянина, показал и неудержимое движение новых сил в эстонском народе, ростки нового, социалистического в жизни.

А Ион Друцэ в своих «Степных балладах» переносит нас в молдавское село Чутура, и мы знакомимся с его историей за тридцать с лишним лет — с конца первой мировой войны и до победы и освобождения 1944—1945 годов. Целый мир таится в этой затерявшейся в Сорокской степи Чутуре — поэтический и драматичный, полный социальных конфликтов и трогательных мелочей быта. Если эстонский романист стремится к объемности, пластичности характеров, то Друцэ — художник иных решений. Он прежде всего рассказчик, он рассказывает свой роман, виртуозно владея этим редким искусством. Если хотите, его проза — это песня, сказ, или, может быть, точнее — поэтическая проза. В ней нет назойливости былой «ритмической прозы», но в ней есть внутреннее напряжение, она подчас патетична, подчас иронична, иной раз лукава, горестна, исполнена неожиданного озорства — словом, к каждому случаю своя интонация, свой притягательный словесный узор. Этот авторский рассказ очень близок речи героев, и в то же время, как подлинное искусство, этот рассказ преображен талантом художника.

Вот Друцэ строго, почти эпически повествует о нужде чутурян:

«Чутурянин ни за что не сможет толком объяснить, сколько у него этой самой горемычной земли. Весной, когда из-под равных, грязных лохмотьев талого снега начинают выглядывать озимые посевы, чутурянину кажется, что, на худой конец, он может стать рядом с самым скромным из помещиков...

А до урожая еще неизмеримое море тревог... С наступлением лета земли чутурян убывают, тают на глазах самым жестоким образом. Перед выходом на уборку у каждого ровно столько гектаров, сколько значится по документам. Ну что ж, в конце концов, не всем ездить в фэтонах — только бы убрать все побыстрее, завязать мешки десятью узлами, а что до праздников, то, в конце концов, сколько к себе приглашать — ведь можно и у других погостить!

И вот, когда с горем пополам чутурянин уберет урожай, вдруг выплывут долги, о которых он забывал. Наступает тяжелая пора сбора поземельных налогов. Потом жена начинает тихо всхлипать по ночам — придется бы семье на зиму, стыдно ведь. И, аккуратно проиграв все

битвы, в конце осени чутурянин идет в корчму и напивается с горя, — земли-то, оказывается, у него совсем нету.

Без земли чутурянин себя не мыслит. Земля — это его способ жить, его умение, его фантазия... Умными считались только разговоры о земле. Правы были только те, у кого имелась земля, все остальные считались неправыми. Звон медяков напоминал им скрип плуга, скрип плуга — медный звон; весь мир чутурян сузился до этих двух металлических звуков».

Романист не сдерживает себя: если с его героями горе — его голос тоже полон горести. Но если к героям приходит настоящая радость — тут и рассказчик готов улыбнуться доброй, веселой улыбкой.

Вот он рассказывает о свидании в телеге с сеном чутурянских Ромео и Юлии — нескладного, мешковатого Мирчи и порывистой, быстрой Нуци... Неожиданные метафоры, смелые эпитеты... да нет, не в них только дело. В самой речи рассказчика, сбивчивой и прерывистой, столько завораживающей прелести, что кажется, будто великое косноязычие влюбленных само взяло тут слово:

«Их было много, их были сотни тысяч лесных цветочков. У них были свои полянки, свои птицы, свои капли росы по утрам. В свой срок они буйно зацвели, принарядились, размечтались, но пришло время сенокоса, и все кончилось. Завяли листочки, сморщился цветок, ушла сама поляна, и вот они лежат грудкой, покачиваясь на телеге. Но еще что-то оставалось от той буйной молодости, оставался острый, дурманящий запах. Оно пахло, оно беспощадно пахло, это сено, оно мстило за себя, заставляя весь окружающий мир спешить во что бы то ни стало, спешить, не то придет коса».

На одной из страниц «Степных баллад» говорится об очень красивой сказке, бродившей когда-то по Сорокской степи, «великолепной сказке о свадьбе с двенадцатью тысячами музыкантов», сказке, в которой было «целое море стихов, причитаний, частушек, лирических отступлений и трагических недомолвок». Подчас кажется, что эти слова — характеристика и самих «Степных баллад», столько здесь фантастической яркости, так играют и переливаются тут краски сказочной поэзии, хотя в то же время перед нами полнокровная реалистическая картина. Друцэ соединил элементы

поэтики сказок своих родных степей с живой традицией романа социалистического реализма. В результате родилось произведение свежее по краскам, национальному колориту, произведение большого социального звучания — родился роман, в котором есть и панорама эпической жизни народа на протяжении десятилетий, и нежный, трогательный сердце, задушевный голос истинной лирики...

Роман Фоменко «Память земли» переносит нас в казачий хутор Кореновский в самый канун завершения строительства известного всей стране Волго-Донского канала. Здесь совсем иные конфликты, иные трагедии, иные драмы. Преобразуется лицо родной земли, по воле человека меняется течение рек, климат, переселяются на другие места людские селения, круто ломается жизнь. Роман Фоменко поражает точным и углубленным проникновением в душевный мир героев — людей современного казачьего села. Да, действительно происходят очень важные и благотворные изменения в биографии страны. Но за всем этим всегда следует видеть советского человека, труженика, его личную судьбу, его радость и счастье. Многим людям было трудно покинуть свои дома, сады, поля, все то, с чем жили за долгие годы, во что был вложен многолетний труд их отцов и дедов. Это роман удивительно человечный, гуманный, полный горячего, живого участия к судьбе трудового человека.

Обратившись в романе «Память земли» к донскому пейзажу, мы узнаем зоркий, пристальный взгляд художника, умеющего точно и резко выделить существенную деталь. Писатель замечает и желтеющий «летний натек клея» на старом, покрытом снегом жерделе, и «присохшую на морозе тину», которой покрыт старый баркас, вытщенный на берег, замечает и днище его, вытертое добела, и то, что на морозе будто стрельнет вдруг под ногой стеклянная от холода камышина»...

В этой остроте художественного зрения, в лепке характеров есть нечто от школы автора «Тихого Дона». Но в то же время перед нами не старательный ученик, а самостоятельный, смелый художник, идущий своим, оригинальным путем. Многие его образы — это действительно открытие новых, еще не исследованных литературой социальных и психологических типов. Любли Фоменко, говоря словами Горького, «жи-

вые до обмана», они словно обступают нас говорливой толпой. Глубоко своеобразны суровая и одновременно сердечная Настасья Щепеткова — руководитель Кореновского колхоза, и неистовый мечтатель Конкин, и лукавый, острый на слово старик Лавр Кузьмич, и неукротимая во всех своих делах Дарья Черненкова...

Сказав «своеобразны», мы, в сущности, сказали очень мало. Искусство автора состоит в том, чтобы показать читателю сначала нечто привычное, примелькавшееся, на что уже сложился определенный взгляд, а затем внезапно повернуть характер или изображаемое событие новой, незнакомой нам стороной.

Существенно, что Фоменко почти не ищет в своих героях «чужаковости», каких-либо причудливых изгибов сугубо местного, «донского» характера. Он исходит из того, что каждый характер — это многообразие, которое нельзя сводить к одной-двум, пусть бы и важным, чертам. «Память земли» — роман, воинственно направленный против схематичных, примитивных представлений о человеке, причем это проявляется отнюдь не в декларациях, а в самом художественном существе — многогранном изображении характеров.

В спорах о стиле современной прозы подчас приходится слышать, что современность выражается по преимуществу в некоей «разорванности» стиля, в свободной композиции, в некоем потоке мыслей и впечатлений, которые пронесены в голове героя... Слов нет, свобода от канонов, в том числе и от канонов композиции, вещь неплохая, она свидетельствует о кипении творческих сил. Но это освобождение от шаблона, от эпигонства, от традиционализма (не от традиции!) должно быть приложено к большой и великой цели, только тогда оно оправдано и осмыслено. Ведь истинная современность нашей литературы состоит прежде всего в более глубоком проникновении во внутренний мир того человека, чьими руками строится наш сегодняшний мир. И читая роман Друцэ, мы видим удивительную поэтичность души простых грузеников, а в романе Сирге — процесс нарастания воли к борьбе у батраков. Наконец, перечитывая роман Фоменко, особенно радостно ощущаешь разнообразие, богатство и сложность внутреннего мира землеробов советской деревни. Глубокий, психологически разветвленный, талантливо воплощенный демокра-

тизм — вот истинная современность нашего сегодняшнего романа.

В упоминавшемся выше выступлении К. Федина на Пленуме ЦК КПСС было справедливо сказано: «Позиции, с которых западная модернистская критика нападает на советское искусство, все равно — будь то наши взгляды на роль литературной традиции, либо наша тематика, либо проблемы формы, а иногда даже и язык, — позиции эти строятся большей частью на формалистических основах. Но как бы сторон нашего искусства эта критика ни затрагивала, особенно раздраженное недовольство ее вызывается фактом теснейшей связи советского писателя с Коммунистической партией. Самая возможность прямого влияния партии на литературу считается недопустимой».

Между тем именно глубокая партийность творчества наших писателей позволяет им создавать произведения большой исторической перспективы. Все три названных романа уделяют большое внимание быту, национальным особенностям, но при этом перед нами все время большие исторические горизонты; мы видим поступательный ход Истории, видим движение народа к новой, лучшей жизни.

Именно коммунистическая партийность диктует авторам этих романов и тот высокий социалистический гуманизм, который освещает страницы их книг, — это гуманизм воинствующий, непримиримый к эксплуататорам, ко всем тем, кто унижает человеческое достоинство. Аллки, Людвиг, Луми — герои романа Сирге — не на жизнь, а на смерть сражаются с оружием в руках против кулаков, гитлеровцев и их эстонских прихвостней. Это гуманизм воинов, вставших лицом к лицу с врагами. Но это именно гуманизм, ибо вся их борьба — ради счастья трудового человечества. Глубоко гуманистичен роман Друцэ. Ведь это, в сущности, поэтический рассказ о том, как, прорываясь сквозь социальное бесправие, невежество, бескультурье, нищету, распрямляется, растет как личность забитый молдавский крестьянин. Это волнующая поэма об утверждении поэтического начала в душе народа, обретающего свободу.

Своеобразна постановка проблемы гуманизма в романе Фоменко. Писатель показывает, как в советском колхозном крестьянстве все больше укрепляется чувство достоинства, умение идти на лю-

бые жертвы, но жертвы оправданные, такие, чтобы в результате действительно улучшалась жизнь народа. Очень показателен в романе разговор молодого секретаря райкома Сергея Голикова со старым казаком Лавром Фрянсковым. Голиков долго убеждал казака в преимуществах переселения на новую землю, рассказывал ему о плане преобразования природы. Неожиданно он услышал в ответ такую речь:

«— История моя, — неторопливо завел Фрянсков, — имеет поучительное название: «Как я всю свою жизнь собирался жить»...

Отбыл я ту злодейскую войну целиком всю. От звонка до звонка. Вернулся сюда, в родной хутор, и, хоть измученный был, как на льду крокодил, принялся производить здесь революцию. Вот этой рукой, — Фрянсков показал свою руку, — и этой самой сашкой, — кивнул он на клинок, привешенный к стене. — Произвел и думаю: теперь начну жить в полное удовольствие, поскольку все мое — и воды, и недры, и полнотерпящая моя власть.

«Нет, — говорят мне, — трошки потерпи. Надо провести еще борьбу с голодухой, тифом, а самое главное, с бандами».

«Пожалуйста», — отвечаю. Опять вооружаюсь дорогой подругой сашкой, терю в бою ногу... Бандитов стрелили, голодуху прикончили, теперь-то уж живи!

«Нет, говорят, давайте коллективизацию и пятилетки по четыре года».

Дали. А тут вот он, Гитлер. Прикончили и Гитлера в его собственной берлоге. Не скажу, что я его рубал лично, но восемнадцать тысяч пягсот рублей своего с бабкой сбережения пожертвовал на танки. А как взяли Берлин, мы пять лет спать-отдыхать или разогнуть горб не помнили и с полной честью провели восстановительный период. Теперь-то уж во все удовольствие можно жить!

«Нет, говорят, давай, Лавр Кузьмич, преобразовывай климат. Метися с хутора, а уж после начнешь жить». А мне семьдесят шесть. Завтра ни встать, ни сесть. — Очень довольный собой, Фрянсков захохотал, блестя голыми деснами».

Конечно, Лавр Кузьмич пользуется случаем, чтобы несколько подразнить случайно забредшего в его дом секретаря райкома. Он, как пишет автор, «куражится». Но за этим «куражем» есть и настоящая народная правда, и Голиков к ней прислушивается.

Голиков понимает, что для того, чтобы быть настоящим руководителем, нужно многое. Нужно, в частности, быть настоящим социалистическим гуманистом.

У нас еще не перевелись догматики, которых прямо-таки в дрожь бросает от слов «человечность», «общечеловеческое», «добро», «честь», «совесть»... Конечно, буржуазия немало спекулировала лозунгом общечеловечности и нагородила по этому поводу горы лживых слов. Мы должны неустанно разоблачать это буржуазное лицемерие. Но это не значит, что мы должны чураться добрых дел и благородных, гуманистических понятий. Ведь коммунистическое сегодня— это и есть общечеловеческое, наш коммуни-

стический идеал— это идеал всего передового человечества. Недаром в новой Программе КПСС говорится о том, что коммунизм берет старые общечеловеческие моральные нормы, очищает их от скверны старого мира и придает им новое, истинно гуманистическое звучание.

Духом воинствующего гуманизма пронизана наша литература. Это большое завоевание советской литературы в целом, литературы последнего десятилетия в особенности. В противовес дегуманизации модернизма социалистический реализм на своем знамени начертал великие слова социалистического гуманизма: «Человек человеку— друг, товарищ и брат».



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Фейгина. Поэт и его переводчики.— **Ю. Буртин.** Беллетристика и публицистика.— **О. Михайлов.** Читатель не верит на слово...— **С. Кайдаш.** Две книги о Лесе Украинке.— **С. Штут.** Поэзия критики.— **Д. Николаев.** Режиссеры о комедии.— **Л. Копелев.** Месть доброго человека.

ПОЛИТИКА И НАУКА

К. Оболенский. Боевое оружие строителей коммунизма.— **Ю. Бочкарев.** Острая проблема.— **Сергей Львов.** Документы великой дружбы.— **Л. Зенкевич.** Удивительные животные.— **Л. Новикова.** Много ли мы знаем о Латинской Америке?

Литература и искусство

ПОЭТ И ЕГО ПЕРЕВОДЧИКИ

Гурген Маари. Огни Наири. Стихи. Перевод с армянского.
«Советский писатель». М. 1962. 102 стр.

С творчеством Гургена Маари, одного из виднейших поэтов Советской Армении, нынешнее поколение наших читателей знакомится впервые. Поэт прошел суровый и трудный жизненный путь: доля сироты и изгнанника в детстве, трудовая юность, полная борьбы и поэзии, трагические обстоятельства, вычеркнувшие из жизни долгие годы, и — мудрая осень, зрелое поэтическое осмысление прожитого и пережитого.

В последние годы Гурген Маари почти целиком обратился к прозе, и издательство «Советский писатель» поступило, конечно, правильно, вначале представив на суд читателей том прозы Маари «История старого сада». Сейчас вышла из печати и небольшая книга «Огни Наири», представляющая собой собрание стихотворений, очень разных по тематике и времени написания, но связанных единым настроением.

Поэт, как он сам говорит о себе, «тысячью нитей к жизни привязан»: он воспеваает и человека, и землю, на которой он живет и трудится, и любовь, вечно обновляющую жизнь, и природу родной страны, ее весен-

ние дожди, бушующие над садами, зимний кружащийся снег, колдовскую ереванскую осень, бессонный шелест деревьев... Эта книга, куда вошли стихи разных лет, становится как бы итогом поэтического творчества Маари.

В ранних стихах поэта, включенных в сборник — таких, как «Баллада о русском солдате», «21 января 1924 г.», — читатель находит непосредственный отклик на события первых лет жизни Советского государства. Среди этих стихов особенно выделяется «Слово о Владимире Ильиче Ленине и Ваане Теряне». Известный армянский поэт Ваан Терян лично встречался с Лениным, и автор «Слова» завидует не его поэтической судьбе, но тому, что он видел великого вождя, говорил с ним.

Поэт, на глазах которого прошла вся жизнь Советского государства — и его рождение в боях гражданской войны, и время великого созидания, и героические годы Великой Отечественной войны и послевоенного периода, — старается осмыслить ее в своих стихах.

Многие стихи молодого Маари посвящены первому поколению советских людей — тем, кто превратил «страну лачуг» и «медлительных телег» в край, где

стройки грохочут,
гремят города,
буден могучих большая страда,
звон наковален
и песни труда...

Все, чем обладает сейчас наша молодежь, добыто кровью и нелегким трудом — эта мысль звучит в стихах Маари тридцатых годов — «Сонет о героях», «Баллада о русском солдате», «Моя страна», «Каменный человек».

Тема Родины, близкая и дорогая поэту, породила лучшие его стихи, ставшие хрестоматийными. В Армении известны чуть ли не каждому школьнику «Близость», «Дума», «Две газеллы Еревану».

Каждый уголок огромной страны — родной для поэта, и читатель ясно ощутит это, сопоставив нарисованные Маари картины литовской, сибирской природы в таких стихах, как «Вильнюсский сонет», «Зеленое озеро» или «На берегу Усолки», со стихами, посвященными Армении: «Осенняя песня», «Лето», «Закат». Наверное, полюбится русским читателям любовная лирика Г. Маари, включающая в себя и стихи философского характера: «Элегия любви, расставанья и ожиданья», «Баллада о Чалó и о первой любви», и стихи, насыщенные большим, благородным чувством — «Сложный счет», «Богатство», и стихи, окрашенные тонким юмором, — «Пшатовое дерево шепчет...» И, конечно, обратят на себя внимание раздумья зрелого поэта о творчестве, о назначении писателя и гражданина — «Шелестят деревья», «Смотрю вокруг себя...».

Естественно, что перевод стихов такого поэта, как Гурген Маари, был сложным и ответственным делом. Ведь нужно было дать русскому читателю достаточно полное представление об интереснейшем армянском художнике, передать национальную форму его стихов, точно выразить заложенное в них содержание. Справились ли с этим переводчики или они просто написали неплохие русские стихи, имеющие весьма отдаленное сходство с подлинником?

К сожалению, ругать переводчиков стало уже почти рецензентским штампом. Между тем дело тут, конечно, не в какой-то их зло-

намеренности или небрежности, а в инерции некоторых общих устаревших представлений о задачах художественного перевода.

Когда советские братские литературы были еще молоды, у русских переводчиков часто возникало стремление несколько перелелывать, улучшать произведения своих друзей из национальных республик, чтобы заставить читателя полюбить и признать незнакомые ему доселе имена. Это доброе в своей основе стремление вскоре обрело косность дурной традиции.

Между тем годы шли, молодые литературы мужали и накапливали опыт, время скидок давно миновало, а обычай подходить к произведениям национальной литературы с условной меркой иногда чувствуется. Иные переводчики произведений национального писателя поступают с текстом слишком вольно. Могут перевести точно, могут — и не точно, были бы хорошие русские стихи — и ладно. В результате по этим переводам не всегда можно составить мнение о творческом лице писателя, зато творческое лицо переводчика выступает в переводных книгах очень ясно.

Каким же увидели русские читатели Гургена Маари? Сумели ли переводчики представить его в истинном виде или он пал жертвой устаревших представлений о переводе? Попробую привести некоторые примеры и дать читателю возможность самому разобраться в обсуждаемом вопросе.

Вот как выглядит одно из известных стихотворений Маари — первая «Газелла Еревану» — в подстрочнике:

Сколько тоски, сколько огня я оставлю
в твоей пыли;
Свои полные кровью жилы я оставлю
в твоей пыли.
Раздумья многих скитаний, смутную
тоску —
Сколько песен, сколько знамен я оставлю
в твоей пыли.
Сколько ясных зорь, сколько солнечных
полдней,
Сколько вечерних грез я оставлю в твоей
пыли.
Сколько огня, сколько тоски, сколько
рдеющих знамен, —
И свое имя, как пыль, я оставлю в твоей
пыли.

Таково содержание этого стихотворенья. Оно написано в 1924 году молодым тогда поэтом. А вот какой вид оно имеет в переводе:

О, сколько страсти и тоски оставил я
 в твоей пыли,
 И крови, что бурней реки, оставил я
 в твоей пыли.
 И многих долгих дум ночных, мечтаний
 детских и тревог,
 И сколько песен, что легки, оставил я
 в твоей пыли.
 А сколько утренних часов, а сколько
 полдней золотых
 И вечеров, что коротки, оставил я в твоей
 пыли.
 Всю жизнь свою — от юных дней, когда
 заря горит, как стяг,
 До этой старческой строки оставил я
 в твоей пыли.

(Перевел В. Сикорский)

Стихотворенье переведено довольно точно и поэтично, но... переводчик почему-то решил, что стихотворенье написано Гургеном Маари недавно. Если бы переводчик потрудился выяснить, что стихи написаны поэтом, когда ему был двадцать один год, то «старческих строк» в них бы не оказалось.

Одно из самых популярных в Армении стихотворений Маари — «Баллада о Чало и о первой любви». Перевод этого стихотворенья может служить образцом даже не вольного обращения с текстом, а просто своеволия переводчика. В подлиннике стихотворенье имеет сорок восемь строк, в переводе — восемьдесят восемь! Иными словами: почти к каждой строке поэта переводчик приписал вторую! Берем наугад

одну строфу (героиня стихотворенья — собака Чало, друг детства поэта):

У Маари:

Я вынимал из старого ящика
 Разноцветные лоскутки,
 Украшал ее от хвоста до шеи,
 Вел ее в поля.

У переводчика:

Я доставал из корзины
 Лоскутья и старые тряпки,
 Я украшал мою Чало
 От шеи и до хвоста.
 Я говорил моей Чало:
 — Ну вот, все теперь в порядке! —
 И Чало хвостом виляла
 И руку лизала спроста!

(Перевел В. Цыбин)

Нетрудно заметить, что первое четверостишие строфы поэта — переведено, а второе — сочинено переводчиком. Неуважение к тексту подлинника сквозит даже в мелочах: в армянском языке ударение падает на последний слог слова, таким образом собаку зовут Чало́, а совсем не Чáло, как это думает и рифмует переводчик. Можно себе представить, что ощутит армянский читатель, вздумавший познакомиться с любимым стихотвореньем в русском переводе!

Думается, что русский читатель вправе знать и чувствовать, почему читаемый им поэт вызывает восхищение в своей родной республике.

Л. ФЕЙГИНА.

★

БЕЛЛЕТРИСТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

Вячеслав Пальман. Схватка. Повесть. «Дон», № 1, 2, 1963.

Не художественные достоинства повести В. Пальмана «Схватка» заставляют нас остановиться на ней взгляд: как произведение искусства она имеет немало серьезных слабостей.

«...вошла жена полковника, робкая, с испуганными глазами и гостеприимной улыбкой.

— Евдокия Осиповна, — просто, ровным, тихим голосом представилась она и еще раз с любопытством оглядела гостей. — Садитесь, пожалуйста, Павел Семенович сейчас выйдет.

Она обернулась к Бойцову, которого сразу по какому-то природному, что ли, чутью выделила от остальных, и начался беглый, неутомительный разговор».

Попробуйте-ка представить себе Евдокию Осиповну с ее — одновременно! — «робостью» и «гостеприимной улыбкой», «испуганными глазами» и свободой в общении с незнакомыми людьми!

Другие персонажи изображены немногим более отчетливо. Характеры их, как правило, однолинейны и в то же время неопределенны. Внутренние противоречия, им свойственные, нередко могут найти объяснение лишь в непоследовательности автора.

В. Пальман и сам, по-видимому, чувствует недостаточность своих изобразительных возможностей. Не потому ли столь охотно прибегает он к прямым характеристикам, заранее предуведомляя, чего следует ждать от того или иного персонажа? («Горяев жил

слишком скучно и не блеснул пока еще ни одной свежей мыслью. Ни о чем другом, кроме как об очередной кампании, он говорить не мог.) Не потому ли так старательно подсказывает читателю свои оценки? («Он притворно засмеялся, глаза его источали мед и сахар».) Не потому ли, наконец, со своими героями автор не раз на протяжении повести явным образом «играет в поддавки», нарочно подстраивая для одних выигрышные, а для других разоблачительные ситуации?

Вот, например, второй секретарь райкома Горяев вместе с отставным полковником МВД Тришкиным (тем самым, чьи глаза источали мед и сахар) приехали в хутор Вишняки, чтобы заставить жителей продать в колхоз личный скот.

«— Как фамилия? — тоном следователя спросил Тришкин.

— На что она тебе, моя фамилия? — уже со злобством в голосе ответил ему из угла колхозник.

— Боишься? В угол спрятался? Такие на фронте всё по тылам бегали...

Партгорг хотел ответить, но человек вдруг встал и, приподняв штанину, показал Тришкину черный истертый на сгибе протез.

— В тылах ног не отрезали. Яссы — Кишинев... Сержант Кукленко. А ты, позволь спросить, на каком фронте воевал?

Тришкин замаялся. Горяев сказал, выручая его:

— Товарищ на фронте не был. Он в органах работал».

Нужно ли доказывать, что этот столь невыгодный для себя разговор Тришкин завел не сам по себе, а по произволу автора, руководящего речами и поступками своих героев с деспотизмом актера кукольного театра.

Отношения между героями — дружеские, любовные, семейные — под стать неотчетливости их характеров. «Когда Владимир Алексеевич бывал спокоен, он охотно говорил с Верой на любые темы. Рассказывал о своих успехах и неудачах, о людях, о встречах, делал какие-то общие выводы, шутил, строил и серьезные, и совсем фантастические планы. Слушая его, Вера очень хорошо представляла себе ту, другую, ей неизвестную, хлопотливую жизнь, которую ведет брат за стенами их дома, и могла в меру своих способностей как-то проникать в сокровенные мысли Володи, узнавать,

хотя и очень приблизительно, о том, что думает ее брат о своем будущем».

Почему «очень приблизительно», если сказано, что он прямо сообщал Вере свои «планы»? И как соединить снисходительное «в меру своих способностей» с только что сорвавшейся похвалой ее уму: «очень хорошо представляла себе...» и т. д. Непонятно. Но если бы даже автору удалось примирить эти противоречия, весь приведенный отрывок — такое сплошное общее место, что взаимоотношения между братом и сестрой по нему совершенно невозможно представить...

Повесть невероятно растягнута. Удачные, убедительно написанные места, меткие замечания, обнаруживающие наблюдательность и большой жизненный опыт писателя, соседствуют с большим количеством вялых, неинтересных разговоров, многословных описаний, необязательных сцен. Язык повести В. Пальмана и вообще нехорош. Он сух, малообразителен, беден оттенками. В отдельных случаях автор обнаруживает такую глухоту к слову, что, сам того не желая, добивается комического эффекта.

«Володя не принадлежал к числу вертопрахов, он не увлекался женщинами. Но жизнь своего требовала...»

«Едва ступая, все еще повизгивая от радости общения с природой, Римма (молодая учительница. — Ю. Б.) на цыпочках прошла к Свете, чтобы через минуту выскочить вместе с ней и огласить улицу возгласом истинного счастья» и т. п.

Заканчивая на этом разговор о беллетристических качествах произведения В. Пальмана, перехожу к тому, что составляет, на мой взгляд, сильную сторону повести. Я имею в виду публицистический, так сказать, ее заряд.

К прямому, публицистическому выражению своих мыслей (иногда передавая их героям) автор обращается довольно часто. Чувствуется, что по вопросам хозяйственно-политическим у него есть что сказать, есть продуманное, выношенное и потому отлившее в достаточно четкую словесную форму суждение об острых жизненных проблемах.

На одной из первых страниц внимание читателя привлекает многозначительный разговор, как бы концентрирующий в себе основное содержание повести. Стрельников, только что избранный третьим секретарем райкома партии, беседует с колхозным сторожем:

«— Значит, хутор живет?»

— Слава богу, живет и развивается. А хочешь знать, Владимир Лексеич, в чем гвоздь того развития и чем силен наш председатель?.. Тем, что весь хутор к руководству приладил... Антон Антонович Оюприенко, бывший председатель, за свое долгое царствование на хуторе все сам делал... Рядовых колхозников он начисто от дела отшиб. Они у него вроде бы в простых работах ходили. Председатель разные команды давал, а они робыли в поле и на фермах... Год, другой, третий, ну и отвернулся народ от земли... И получалось, что хутор — сам по себе, а руководство — само по себе. Соберется народ в конце года, поголосует за то, над чем их голова и думать не думала, разойдутся, а в мозгах у каждого обиды сидит: отшили их от земли и от артельных дел».

Мысль о том, что сознательность и инициатива масс, степень развития в людях социалистического хозяйского чувства находятся в прямой зависимости от их реальной общественной роли, от того, в какой мере привлечены они к управлению делами общества,— эта мысль еще не раз прозвучит на страницах повести В. Пальмана. В расширении и укреплении колхозной демократии, в сознательном стремлении к тому, чтобы каждый рядовой труженик был не только исполнителем, но и в определенной степени организатором трудового процесса, писатель видит — и, на мой взгляд, справедливо — ключ к решению наших хозяйственных проблем.

Публицистически окрашен и самый сюжет повести. Обком партии одной из южных областей принял решение резко увеличить поголовье общественного скота в колхозах за счет коров, принадлежащих колхозникам, без особого труда обеспечив тем самым перевыполнение плана закупок молока и мяса. Первый секретарь обкома Иванушкин, инициатор этой меры, настаивает на том, чтобы скупить по области почти весь личный скот, не считаясь ни с доброй волей владельцев, ни с недостатком кормов и животноводческих помещений, ни с огромными затратами государственных и колхозных средств. Его не заботит будущее: блистательно перевыполнив план, он рассчитывает добиться перевода на другой, более высокий пост.

Фантастический авантюризм этой затеи мог бы показаться выдумкой автора, если

бы память, увы, не подсказывала нам подобных примеров. Вспомнить хотя бы те громогласные и безответственные обязательства выполнить два, а то и три годовых плана закупок мяса, которые взапуски принимались несколько лет назад руководителями ряда сельскохозяйственных районов, что принесло тогда немалый вред. Художественно исследовать это антиобщественное явление, выяснить его социальные корни, с тем чтобы помочь народу выкорчевать их до конца,— если бы писателю удалось решить такую задачу, он сделал бы весьма полезное дело.

В. Пальман стремится к этому. «Что же это такое? — спрашивает он устами своего героя, первого секретаря райкома партии Бойцова.— Как получилось, что в конце пятидесятих годов нашего столетия, когда несказанно высоко поднялось благородство человека, вдруг выскочили из небытия карьеристы, очковтиратели, мелкие пакостники?» Этот вопрос дополняется в повести другим, еще более существенным: как удалось подобным «мелким пакостникам», кстати, оказавшимся подчас на весьма крупных постах, втянуть в исполнение своих карьеристских замыслов многих лично честных и добросовестных людей? «Как же они все — Бойцов, Стрельников и десятки, сотни Бойцовых и Стрельниковых в области — могли допустить такую ошибку: одни — молчаливо согласившись с ней, другие — подхватив с поспешностью исполнительных людей?»

Ответ на эти вопросы не сформулирован в повести прямо, убедительно показать причины подобных общественных аномалий автору, к сожалению, также не удалось. Нам понятно одно: такие явления возможны лишь там, где сохраняются старые, осужденные партией отношения между руководителем и массой, где советские люди, подлинные хозяева страны, ущемлены в своем хозяйском праве, поставлены, как говорит колхозный сторож, в положение «простых работников» и не могут контролировать деятельность своего руководителя.

Проблема «хозяина» оказывается, таким образом, действительно центральным пунктом идейного содержания вещи. К ней имеет прямое отношение и образ главного героя Стрельникова, чье столкновение, схватка с Иванушкиным и проводником его линии Горяевым как раз и составляет тот конфликт, о котором предупреждает нас заглавие повести.

Стрельников задуман как человек инициативный и деятельный, демократичный, любящий и умеющий работать с людьми, увлекающийся, но в то же время принципиальный и твердый. В недавнем прошлом агроном, практический организатор урожая, он и в свою партийную работу вносит дух деловитости и хозяйского расчета. Вот как описывается его роль в районе: «Он рассматривал вместе с колхозными специалистами карты и намечал, где сеять дополнительные площади кукурузы и свеклы, спорил с презжим научным сотрудником опытной станции, перебирая в ладони семена бобов и вики, настойчиво убеждал секретаря райкома комсомола взять на себя подбор молодежи в звенья, давал телеграммы в мастерские РТС и на базы «Сельхозтехники» с просьбой, с требованием ускорить ремонт, выделить запчасти, продать машины. Кабинет Стрельникова в дни подготовки к севу стал штабом, единственным, пожалуй, местом в районном центре, где можно было решить тот или иной вопрос по сельскому хозяйству».

В Стрельникове автор хочет показать тот новый тип руководителя, который входит в жизнь после XX съезда партии. Такой руководитель-хозяин, живущий одной жизнью с сельскими тружениками, занятый живой организаторской работой, не может не быть решительным врагом кампанейщины, нерас-

суждающей исполнительности, чиновничьего равнодушия и бездумья, залихватского хоззяйничанья по принципу «любой ценой!» — этих порою еще весьма агрессивных пережитков прежних времен. Зато ему обеспечены людское уважение и поддержка. И как бы подчас драматически ни складывались обстоятельства его борьбы против иванушкиных, победа будет обязательно на его стороне.

Жаль, что и этот столь интересно задуманный образ не облечен живой, человеческой плотью. Он больше «рассказан», чем показан, а когда нам все-таки предоставляется возможность увидеть его в действии, из него временами явно вопреки намерениям автора выглядывает деятель того самого старого, «культового» типа, который и писателем, и самим героем решительно осуждается, — еще одно доказательство тому, что Пальман-публицист в этой повести значительно сильнее Пальмана-художника.

И приходит в голову, что, напиши автор на этом материале не пухлую «многоплановую» повесть с вполне заурядной «любовью» и тому подобными накладными расходами беллетристики, а проблемный очерк — это было бы, надо думать, произведение и публицистически гораздо более интересное, и художественно более ценное.

Ю. БУРТИН.



ЧИТАТЕЛЬ НЕ ВЕРИТ НА СЛОВО...

Н. Почивалин. Летят наши годы. Роман. «Нева», № 2, 1963.

«Летят наши годы» представляет собой, как сообщает об этом повествователь (лицо, безусловно, близкое писателю и даже с явными чертами автобиографического), «почти документальный рассказ... без догадок и приукрашиваний». В романе говорится о дорогих рассказчику людях — его ровесниках, «которых время свело когда-то под крышей десятого класса «А» и затем разбросало по разным концам страны». Двадцать с лишним лет, прошедших с тех пор, были бессильны остудить жар души автора, его нежность к сорокалетним Вовкам, Юркам, Зойкам, Шурам, Марусям, которые навсегда остались в его памяти милыми и чистыми юношами и девушками, разделившими с ним лучшую пору — пору цветения жизни.

Цепочка встреч с бывшими однокашниками, которых отыскивает рассказчик или с которыми случайно сталкивается, и образует непритязательный сюжет романа. Встретив в Пензе «главного конструктора» Юрия Васина и записав его исповедь, писатель торопится в родной Кузнецк, где его уже ожидает «главный бухгалтер» обувной фабрики Вовка Серегин, с которым он навещает заведующую жилищно-ремонтной конторой Шуру Храмкову. «Несколько дней спустя, — сообщает автор, — сделав записки о встречах с Васиним, Шурой Храмковой и Серегиным, выезжаю в Куйбышев... Я начинаю думать о Косте». Так появляется очередная главка — о начальнике исправительного трудового лагеря майоре Русакове. Расставшись с ним, писатель спохватывается:

«Совсем забыл упомянуть, что Костя Русаков рассказал о том, как он встретил на перроне Курского вокзала в Москве Марусю Климову...» Главка о Климовой-Верещагиной, секретаре райкома в маленьком казахском городке, строится еще проще. Рассказчик просто перепечатывает три письма Климовой к нему и, по собственному признанию, «успокаивается»: «с ровных машинописных страниц все равно возникает невыдуманный образ маленькой энергичной женщины с трезвой головой и горячим сердцем» и т. п. и т. д.

Но, может быть, бесхитростные интервью, которые берет рассказчик у своих друзей, — лишь удобная форма, служащая созданию особой атмосферы доверительности, непреднамеренности происходящего? Может быть, роль автора вовсе не сводилась (как о том можно прочесть в тексте романа) к функции «запоминающего устройства»? Может быть, писателем проделана работа по просеиванию и отбору услышанного, направленная на то, чтобы за как будто бы случайными исповедями давних десятиклассников возникали живые характеры, интересные не одному автору, но и нам, читателям?

Было бы несправедливо сказать, что мы не получаем представления об изображенных в романе людях — друзьях юности рассказчика. Нет, какое-то представление мы получаем. Вот, к примеру, Юрий Васин, поведавший нам грустную историю своей любви к однокласснице Зайке. Это человек сугубо застенчивый, суровый и даже сознательно подавляющий в себе естественные движения души, если они противоречат его представлению о нравственности и долге. Учась в одном классе с Зоей, он так и не решился хотя бы намекнуть ей о своем чувстве. Это она сама, когда девушки и ребята всем классом провожали Юрия в другой город, в институт, тайком передала ему записочку: «Если хочешь — буду ждать». А ждать надо было нечеловечески долго: год института, год финской и Отечественной. И ни одной встречи. Сам Юрий являл собой образец верности. В финскую, по его признанию, «ни одной девушки, кроме Зайки, для меня не существовало». В Отечественную его, считавшегося погибшим, раненого, в тылу у немцев выходила некая молодая лесничиха, которая однажды ночью пришла к нему на печь. «...в эту ночь, — рассказывает Юрий, — ушел я из сторожки, хоть и слаб еще был». С беспо-

щадной требовательностью относиться к себе, к своим поступкам, Юрий требует того же и от Зои. Она не должна была изменить ему даже мертвому. А та, узнав о его гибели, с горя вышла замуж и тем самым навсегда потеряла в глазах Юрия малейшее право на его любовь.

Возникает определенный характер. Он может показаться одному человеку симпатичным, другому, напротив, неприятным, но это характер. Тем более жаль, что мы угадываем его с немалым трудом — как бы против воли автора. Потому что наш путь к знакомству с Юрием Васиным загроможден мелодраматическими излишествами, картонными красотами, сором литературщины.

Судьба Васина сама по себе настолько драматична, что спокойный, сдержанный рассказ о ней уже мог бы создать сильное впечатление. Автор же избрал более «эффектный» вариант. Юрий, воскресший из мертвых, встречается с Зоей и слышит, что она замужем. Слышит и не верит: «На, — кричит (Зоя. — О. М.) — на!» Схватила мою руку и на живот себе. А там стучит! «Поверил теперь?» Да как упадет на землю, только плечи колотятся!.. Помню только — ужасная боль и сразу погасло солнце... лежит плашмя моя Зайка: хочу до ее плеча дотронуться и руку отдергиваю. Словно от железа раскаленного... «Кто ж он?» — спрашиваю. «А не все ли равно», — отвечает, да так, знаешь, равнодушно, тоскливо, что у меня волосы на голове зашевелились... Говорит, а сама все раскачивается, раскачивается... глаза такие огромные, огромные! «Ну хочешь, для тебя сделаю — от невинного избавлюсь?» и т. п. Нагнетание драматических подробностей, на которых к тому же лежит печать дурного вкуса, уничтожает тот самый эффект, ради которого они и были нерасчетливо сконцентрированы.

В романе (помимо повествователя) в качестве рассказчика попеременно выступает еще несколько персонажей. Но все они, в полном ладу с главным повествователем, говорят одним и тем же языком, стараясь выразиться не поточнее, а «покрасивее». Отсюда мнимо глубокомысленные афоризмы типа: «Прошлое — как на ладошке, будущее после сорока представляется мне таким, когда совершенно не важно, мужчина ты или женщина; тут уж вступает иное возрастное (?) и больше подходящее к нам определение — люди (!)», «Каждый рядовой мужчина, не отмеченный печатью гения

либо хилостью, устроен, видимо, одинаково» и т. д. Отсюда безвкусица: «Звенят в гулком вesenном воздухе незримые крылья наших помыслов и надежд», «В мягкой опаловой дымке», или просто неумение выразить мысль: «Взаимное узнавание шло не равными долями», «Целомудренно белые и чистые елочки торчком».

В начале романа Н. Почивалин обмолвился, что «случайный разговор» способен вызвать воспоминания «у него, у меня, у тебя, читатель». Вряд ли это так. В романе «Летят наши годы» слишком много случайных разговоров, торопливых зарисовок в расчете, очевидно, на то, что «все равно» они произведут впечатление. Лица дорогих рассказчику людей в нашем читательском восприятии тускнеют и стираются под слом банальностей и литературщины. Автор, например, упоминает, что у Юрия Васина глаза «блестящие и темные, как переспелые вишни», не задумываясь над тем, сколько ведер этой самой «вишни» уже собрано за десяток последних литературных сезонов. Иногда в роман врывается плохой газетный репортаж. Например, когда педагог Валентин Кочии посещает с автором Центральный дом литераторов и присутствует на встрече с членами иностранных делегаций: «Радостно говорит о своей стране симпатичный чех... С гордостью рассказывает об успехах молодой социалистической Венгрии пожилой мадьяр. Медленно и задумчиво, глядя в зал горячими черными глазами, произносит перед микрофоном свою речь грузный человек с лиловым лицом, посланный сюда героическими коммунистами Америки... Мы слушаем, не пропуская ни слова». К сожалению, читатель совершенно лишен этой возможности.

В романе Н. Почивалина есть как будто множество примет сегодняшнего и недавнего прошлого — эпизоды Отечественной войны, послевоенного строительства, факты беззакония в условиях культа личности, счастье творческого труда. Однако обо всем этом автор рассказывает бегло, впопыхах, не заботясь о глубоком впечатлении, постоянно отклоняясь и увлекаясь столь же беглыми отступлениями. Полагаю, что луч-

ше всего метод автора сформулирован им самим, правда, при характеристике его бывшей однокашницы Лиды: «Схватив на лету суть вопроса... Лидя коротко отвечала — сутью же, нимало не интересуясь формой ответа, и, захваченная мелькнувшей мыслью, иногда чудовищно далекой от этой сути, неслась дальше».

Рассказчик не раз упоминает о своей любви к давним друзьям, и мы верим, что, к примеру, при виде Юрия «горячая волна нежности обдаёт (его.— О. М.) сердце». Но верим на слово.

У Конан-Дойля есть такой рассказ — «Влюбленные». Некто «от автора» знакомится с пожилым мужчиной, нетерпеливо ожидающим возвращения своей жены, необыкновенной, по его словам, красавицы. Впервые за много лет супружества они расстались на несколько дней. Заинтересованный восторженными признаниями мужа, рассказчик становится свидетелем встречи. И что же? Вместо юной и очаровательной женщины (какой она навсегда осталась в представлении мужа) он видит бесформенную, краснолицую пожилую даму, к тому же весьма неряшливо одетую. Поучительное расхождение! Все драгоценное, что связывало супругов — память о прошедшей молодости, далекие переживания и радости, — все это, естественно, скрыто от глаз постороннего человека, который слышал от любящего мужа одно, ну, а видел совсем другое.

Не напрашивается ли здесь некая аналогия? Как часто художник, писатель по-настоящему влюблен в своих героев (и герои, добавим, вполне достойны этой любви). Но вот появляется читатель. Автор обещает познакомить его с прекрасными душой, чистыми и красивыми людьми, а читатель видит только неряшливо исполненные, бесформенные фигуры. Вечная мука писателя — трудом и талантом добиваться того, чтобы дорогое для него стало важным, интересным и дорогим для многих. В романе «Летят наши годы» Н. Почивалину добиться этого, к сожалению, не удалось.

О. МИХАЙЛОВ.

ДВЕ КНИГИ О ЛЕСЕ УКРАИНКЕ

А. Дейч. Ломикамень. Детгиз. 1962. 221 стр.

Спогади про Лесю Українку. «Радянський письменник». Київ. 1963. 519 стор.

По постановлению Всемирного Совета Мира в августе этого года на всех континентах земного шара торжественно отмечается пятидесятилетие со дня смерти выдающейся украинской поэтессы и драматурга Ларисы Петровны Косач — Леси Украинки.

Современница и соратница таких строителей украинской культуры, как Иван Франко, М. Коцюбинский, Леся Украинка была продолжателем демократических традиций в украинском классическом наследстве. Воспитанная на лучших образцах славянской и западноевропейской культуры, отлично владевшая несколькими европейскими и славянскими языками, Леся Украинка счастливо соединяла в своем творчестве любовь и понимание стихии родного ей украинского фольклора с широтой гуманистического мировосприятия и духовных интересов.

Отмечая юбилей поэтессы, хотелось бы обратить внимание читателей на две книги, посвященные характеристике ее личности и судьбы.

...Высоко в горах, на острых скалах, на камнях, что задушили все живое, даже крепкие дубы и цепкий терновник, расцвел нежный, хрупкий цветок.

Свежий, прекрасный, большой цветок
лепестками раскрылся,
И капли росы самоцветом блестя на дне...
Этот цветок по-ученому люди зовут

Saxifraga,
Нам, поэтам, назвать бы его «ломикамень»
И уваженье воздать ему больше, чем
пышному лавру.

Этот образ одного из стихотворений Леси Украинки может служить как бы символом и ее творчества, и ее недолгой, но напряженной жизни. «Ломикамень» — так назвал свою книгу, посвященную Лесе Украинке. А. Дейч.

Полная глубокого драматизма жизнь поэтессы внешне не была богата событиями. Мучительная болезнь, упорная «тридцатилетняя война» с туберкулезом, как она горько шутила, заставляла больше, чем хотелось бы, заботиться о своем здоровье, и Леся Украинка подолгу жила в Италии, Египте, лежала в клиниках Берлина. Вены. Для писателя, который задумал рассказать

о ней, в этом однообразии событий и впечатлений, обычно сопутствующих тяжелому хроническому недугу, заключается, казалось бы, определенная трудность.

Однако А. Дейч, почувствовавший обаяние внутренней интеллектуальной жизни своей героини, сумел создать интересный сюжет, верный документальной основе — письмам поэтессы, ее стихам, воспоминаниям о ней — и вместе с тем показывающий обширные литературно-общественные связи Леси Украинки, значительность ее места в литературной жизни Украины тех лет.

Повествование охватывает три года в жизни поэтессы — 1901—1903 годы, во многом сложно и несчастливо ею прожитые.

Улочно начавшееся сотрудничество в петербургском журнале легальных марксистов «Жизнь» внезапно оборвалось: журнал был закрыт за опубликование «Песни о Буревестнике» и повести «Трое» Горького. Весной 1901 года на руках Леси Украинки умер ее лучший друг С. К. Мержинский, видный марксист, член киевской, а потом минской социал-демократической организации.

Эти события в жизни поэтессы, ее связь с киевскими социал-демократами, литературная работа, тяжелые личные переживания — все это нашло отражение в книге в скромных, но достаточно живых картинах.

К удачам автора следует отнести воссоздание общественно-литературной атмосферы предреволюционных лет. Забастовки рабочих, студенческое демократическое движение, работа социал-демократических кружков — всем этим Леся Украинка жила и дышала, несмотря на свою болезнь и частые отъезды за границу. Она дружит с передовыми деятелями украинской литературы Иваном Франко и Ольгой Кобылянской, работает над переводом на украинский язык марксистской литературы (Леся Украинка впервые перевела на украинский язык «Манифест Коммунистической партии»), заботится об ее издании и распространении.

Постоянно звучит в ее лирике призыв к мужеству, уважение к стойкости бойца:

В мире есть такие раны,
Для которых нет бальзама,
Для которых нет повязки,
Кроме панциря стального.

Такими вечными, незаживающими ранами для Леси Украинки были глубокая любовь к родной Украине, к украинскому народу, мечта видеть их свободными. Лесе Украинке были чужды националистические настроения, захватившие в то время часть украинской интеллигенции. Но все ее творчество и общественно-литературная деятельность были сознательным служением украинской литературе, борьбой за национальную самобытность, литературную самостоятельность украинского языка. Это точно и убедительно показывает А. Дейч.

В жанре художественной биографии трудно, да, пожалуй, и невозможно обойтись без вымысла: важно, чтобы он не противоречил психологической и исторической правде. «Реконструируемые» А. Дейчем эпизоды не изменяют правде, которая «была» или «могла бы быть». Единственное возражение вызывает грешащая излишним налетом сентиментальности и литературности история с итальянской девушкой Джильдой, доведенной религиозными ханжами до самоубийства (Леся встретила с ней в бытность свою на курорте в Сан-Ремо).

Со страниц книги А. Дейча встает образ поэтессы, о которой Иван Франко писал: «Со времен шевченковского «Схороните и вставайте, оковы порвите!» Украина не слыхала такого сильного, горячего и поэтического слова, как из уст этой слабой, больной девушки... Читая мягкие и расслабленные или холодно-резонерские сочинения современных молодых украинцев-мужчин и сравнивая их с этими бодрыми, сильными и смелыми и вместе с тем такими простыми, такими искренними словами Леси Украинки, невольно думаешь, что эта больная, слабая девушка — едва ли не единственный мужчина во всей современной Украине».

Книга «Ломикамень» служит как бы подтверждением этой характеристики Леси Украинки.

И все-таки это только одна из сторон, хотя и важнейшая, творческого облика украинской писательницы.

Леся Украинка была создателем не только гражданской, мужественной, но и по-женски нежной, тонкой любовной лирики, стихотворных циклов, навеянных впечатлениями от природы, собственными интимными переживаниями. Перу Леси Украинки принадлежит целый ряд глубоких по мысли драм, или «драматических поэм», как она

чаще всего их называла, среди них такие шедевры, как драма-феерия «Лесная песня» и «Каменный хозяин». Почти все драмы созданы в последнее десятилетие ее творческой жизни, о котором А. Дейч, ограниченный хронологическими рамками своего замысла, не имел возможности рассказать. О работе же над драмами, написанными или начатыми в предреволюционные годы, в книге идет речь. Автор рассказывает о работе поэтессы и над «Одержимой» и «Кассандрой», и над драмой, посвященной первым христианам в древнем Риме, — «В катакомбах».

Однако Дейчу не удалось показать нравственно-философские искания поэтессы, отразившиеся в этих произведениях, в той же мере ярко, как показано им общественное значение ее творчества.

Впрочем, трудно требовать всеобъемлющей характеристики творчества Леси Украинки, даже и одного периода, от книги, написанной для юношества и по самому своему жанру не заменяющей полной научной биографии Украинки, которая, надеемся, появится в скором будущем.

Хорошим подспорьем для такой биографии может послужить вышедшая недавно в Киеве в издательстве «Радянський письменник» книга «Воспоминания о Лесе Украинке», где собраны мемуарные материалы о поэтессе. Книга такого рода издана впервые. До сих пор воспоминания о Лесе Украинке были разбросаны по различным изданиям, часто трудно доступным читателю.

В этот сборник, составленный тщательно и с любовью, вошли не только ранее печатавшиеся документы. Многие авторы написали свои воспоминания специально для этого издания: Тарас Франко (сын Ивана Франко), Е. Кротевич, Денис Лукьянович, Галина и Остап Лысенко — дочь и сын известного украинского композитора, П. Т. Коваленко. Иные воспоминания публикуются впервые, хотя и написаны давно, — здесь первое место принадлежит довольно обширному и очень интересному мемуарам К. Квитки, известного собирателя украинского музыкального фольклора, а впоследствии профессора Московской консерватории — мужа поэтессы. Любопытные подробности находим мы в воспоминаниях Ольги Косач-Кривинюк — любимой сестры Леси Украинки. Впервые публикуются два небольших отрывка из воспоминаний мате-

ри Леси — украинской писательницы Олены Пчелки. Единственный мемуарный источник, рассказывающий о жизни поэтессы в Египте, — воспоминания Николая Охрименко написаны им на основе его детского дневника, куда он заносил свои впечатления, в том числе и о своей учительнице Лесе Украинке, которая занималась там с ним немецким языком.

К сожалению, имеющихся ныне в распоряжении исследователей мемуарных свидетельств о Лесе Украинке недостаточно, чтобы дать полное представление о всех периодах ее жизни. Частые поездки за границу, жизнь подолгу вдаль от родины сыграли тут особую роль. Большинство современников поэтессы пишет о ее детских и юношеских годах, меньше рассказов о зрелой поре ее жизни и творчества.

Далеко не все воспоминания в книге равноценны и по объему, и по степени важности изложенных в них фактов. Иногда это описание одной встречи (воспоминания И. Карбулицкого, З. Френкеля, К. Граната), иногда обстоятельный рассказ (воспоминания К. Квитки, Ольги Косач-Кривинюк, В. Симовича). Различна и манера письма авторов: эмоциональное повествование Галины Лысенко, Оксаны Стещенко сменяется суховатыми по стилю воспоминаниями Ф. Колессы. К сожалению, как это ни странно, украинские писатели, с которыми Лесья Украинка была тесно связана, а часто и близка, не оставили о ней подробных воспоминаний. Это относится прежде всего к Ольге Кобылянской: отрывок из ее автобиографии, помещенный в книгу, где говорится о Лесе Украинке, и короток и мало интересен.

Не хочется упрекать составителя книги А. И. Костенко за стремление сделать ее как можно более полной, однако совершенно очевидно, что в ряде случаев нужно было отнестись к выбору материала для публикации более строго: очерки А. Димарова «В селе Колодяжном», А. Ильченко «Следы на сердце», Д. Косарика «Встречи с друзьями Леси Украинки» напоминают скорее беглые заметки для краеведческой книжки традиционного типа «По памятным местам».

Работа же Вл. Покальчука «По следам Леси Украинки» хотя и принадлежит к тому же жанру, но сделана так обстоятельно и содержит в себе столько любопытных фактов, что нельзя усомниться в ее праве быть представленной в книге.

В сборник включены составителем и письма. Там, где это вызвано скудостью мемуарных источников, например, при характеристике последних месяцев жизни поэтессы, это вполне оправдано (переписка родных Украинки). Любопытен и отрывок из письма известного общественного деятеля, публициста М. Павлыка, где он высоко оценивает лирическое дарование поэтессы и желает ей скорее перейти в своем творчестве на «социальное поле» (письмо написано в 1891 году). А вот впервые публикуемое письмо отца, П. А. Косача, дающее, по словам комментатора, представление о том, как велика была любовь отца к дочери и его беспокойство о ней, стоило бы дать скорее в приложении к сборнику, так как самостоятельного интереса письмо не имеет.

Сборнику предпослана довольно развернутая статья. Вызывает недоумение, однако, зачем автор решил довольно большую часть своей вводной статьи посвящать тому, чтобы убедить читателей, как важен, нужен и полезен жанр мемуаров, при этом с ссылками на Герцена, Гюго, Бестужева-Рюмина. Это выглядит несколько наивным. Недостаточно убедительным, в некоторой степени произвольным представляется и деление в статье жизни и творчества поэтессы на четыре периода.

Есть пробелы и в комментариях. К сожалению, в интересных в целом воспоминаниях матери Леси Украинки слышны нотки националистического «украинофильства», что никак не прокомментировано составителем книги.

А в общем, книга делает свое дело: с ее страниц встает по-человечески привлекательный характер мягкой с людьми, очень сдержанной, требовательной к себе, разносторонне одаренной женщины, поражающей всех встречавшихся с ней своими незаурядными познаниями в различных областях культуры.

Вот как описывает, например, выступление Леси Украинки с докладом о «Двух направлениях в новейшей итальянской литературе» журналист, театральный и литературный критик Всеволод Чаговец: «На кафедре стояла измученная болезнью двадцативосьмилетняя девушка... Она выявила такое богатство всесторонней культуры, которому позавидовал бы любой профессор. Она цитировала Бодлера и Кардуччи, Леопарди и Шекспира, Бернса и Барбье,

ссылаясь на Льва Толстого и Верлена, не забывая и родного Шевченко».

Из таких вот беглых, но метких зарисовок и складывается живое представление об авторе «Лесной песни».

Можно не сомневаться, что сборник вос-

поминаний о Лесе Украинке, так же как книга А. Дейча «Ломикамень», еще приблизят замечательную писательницу к читателю, давно узнавшему и полюбившему ее поэзию.

С. КАЙДАШ.



ПОЭЗИЯ КРИТИКИ

Е. Старикова. Поэзия прозы. Статьи. «Советский писатель». М. 1962. 272 стр.

Каждого человека, не равнодушного к искусству, — а таких становится все больше, — волнует тайна создания «прекрасного» — так начинает Е. Старикова свою книгу «Поэзия прозы». И хотя слова эти непосредственно касаются лишь первой статьи сборника, в сущности, они выражают внутренний пафос всех статей. Потому что, о ком бы ни писала Е. Старикова: о К. Паустовском или Л. Леонове, В. Тендрякове или В. Соколухиной, С. Антонове или В. Пановой, — она неизменно размышляет именно об этом — о тайне прекрасного.

Различие между букетом цветов и помелом очевидно с первого взгляда. Но Е. Старикова сравнивает «цветы живые и цветы мертвые» — так называется первая статья ее книги, а распознать цветы мертвые, точнее — искусственные, если к тому же они мастерски сделаны, сможет не всякий и не сразу.

Критик Е. Старикова — может.

Заголовок этой ее статьи подсказан книгой, о которой идет в ней речь. Именно такую задачу — «научить людей отличать настоящее от поддельного» — и решал в своей «Золотой розе» К. Паустовский.

Что ж, к опыту и раздумьям этого «старого литератора, влюбленного в профессию писателя, в магию слова, в бессмертные книги», — так характеризует К. Паустовского автор статьи о нем — действительно надо отнестись с полным вниманием. И Е. Старикова права, когда видит в его «предметных уроках» прекрасного «разнообразные и тонкие проявления эстетического чувства, яркость и богатство восприятия и изображения жизни, меткость и точность наблюдений над явлениями, казалось бы, привычными и даже несколько приевшимися», — все, «что искренне волнует читателя «Золотой розы», воспитывает в нем эстетическую зоркость, открывает ему красоту мира.

Права Е. Старикова и тогда, когда она видит в «Золотой розе» не только это. Не

только «прозрачную, чистую струю подлинного эстетического чувства», но и «замутненную струю эстетства». Верно, на наш взгляд, определяет Е. Старикова и причину этого явления. «Читая «Золотую розу», — пишет она, — мы не всегда чувствуем, что «искусство — это праздник идей», как справедливо сказал А. Н. Толстой. Для Паустовского искусство — прежде всего праздник красок, звуков, слов, ощущений, чувств.

Он прав, конечно, что без этого праздника искусства просто нет, но как бедно и скудно оно, если не одушевлено убеждением и страстной любовью к людям, к их земной и достаточно сложной жизни».

Праздник идей, убежденность, страстная любовь к людям — вот та почва, на которой вырастают живые цветы искусства. Е. Старикова не просто напоминает эту общетеоретическую истину. Она, как и положено критику, внимательно исследует, что именно в творческой практике того или иного писателя мешает ему осуществить эту истину, что уводит его от цели — от правдивого изображения «земной и достаточно сложной жизни» своего современника.

И во имя этой цели — правды искусства — Е. Старикова и восстает против некоторых ее заменителей. Против «нарочито украшенного образа, приподнятой фразы, умилительной ситуации», подменяющих порой красоту красотой, чувство чувствительностью, оптимизм прекраснотонием («Золотая роза»); против недостаточной глубины «в творческом постижении интеллектуальной, душевной, исторической жизни современника, сложной и многообразной...» («За бегущим днем» В. Тендрякова); против «картинности» в изображении гибели и похорон утонувшей девушки, вытеснившей «естественную, ничем не приукрашенную боль за напрасно оборванную молодую жизнь» («Аленка» С. Антонова); против облегченного подхода к противоречиям

жизни («Дело было в Пенькове» С. Антонова). Эта борьба с созерцательностью, облегченностью — даже в хороших книгах, — этот призыв видеть, «какая крутая гора, какая трудная дорога» ведет героев к счастью, отнюдь не означает исключительного или хотя бы преимущественного интереса критика к мрачным сторонам действительности. Как раз наоборот. В самой сложности пути героя видит критик свидетельство побед социализма. «Достижения — это не только основания для гордости и праздников, но и почва для роста, усложнения потребностей, для возникновения новых противоречий», — говорит Е. Старикова и показывает, что трудно бывает порою именно растущим, устремленным вперед людям. Таким, как Андрей Бирюков («За бегущим днем»), который прорывается «из маленькой личной судьбы в общую человеческую судьбу»; таким, как Матвей («Дело было в Пенькове»), само озорство которого — от протеста против стародедовской собственнической мудрости, от неутоленного порыва в будущее; таким, как Саша Любимов и Володя Якубовский («Времена года» и «Володя» В. Пановой), которым «радость нужна... только чистая. Они не меняют на материальные блага какие-то, пусть не сформулированные, но прочные понятия об истинных нравственных ценностях».

Так пугающий некоторых писателей драматизм жизни обернется ее высотой, доказывает критик, если предстанет как результат верности человека «истинным нравственным ценностям».

Но сама эта моральная чистота героев, максимализм их требований, их нравственная неподкупность невозможны без такой же нравственной требовательности к своему герою его творца.

И если ее нет в книге, если автор ограничится снисходительной усмешкой, когда надо гневно крикнуть: «Терпеть не могу!» — неуступчивый критик так прямо, без всяких обиняков и скажет, что читателя «это раздражает и даже обижает».

Но зато как восхищается критик писателем, который умеет сохранять суровую требовательность к нравственному и интеллектуальному долгу своих героев. Тут уж Е. Старикова не жалеет ни времени, ни сил, ни красок, чтобы воздать должное такому писателю. И в лучшей статье своего сборника «Что мы сеем? Что мы пожнем?» она превосходно показывает, как ведущий

этический идеал В. Пановой — «идеал нравственной активности человека» — помог писательнице утвердить «гуманистическое содержание современной народной жизни».

Вечные темы детства, юности и семьи стали у В. Пановой, как убедительно доказал это критик, новыми темами. И не только потому, что В. Панова изобразила «современную семью — явление совершенно небывалое в истории, выросшее на новой социальной почве, породившее новые нравственные коллизии», но больше всего потому, что она показала «внутрисемейные отчуждения в их связи с жизнью всего нашего общества» и даже в «маленькой повести об очень маленьком мальчике» передала и утвердила главное в этой жизни — «поэзию современности».

Вот к этому и клонились все наши рассуждения. Рецензируемая книга называется «Поэзия прозы» и, написанная критиком, разумеется, посвящена прозе художественной. Но в том и состоит ведущая идея критика, что проза художественная становится поэзией лишь тогда, когда в ней явственно проступает поэзия жизненной «прозы».

Да, Е. Старикова права: открыть читателю поэзию жизни способен только поэзия прозы. Но открыть читателю поэзию прозы — скажем уже от себя — способна только поэзия критики.

«...Почему грустный рассказ «Дожди»... оставляет такой светлый след в твоей душе? — спрашивает критик. — Да потому, что человеку при встрече с искусством становится радостней и интересней жить не тогда, когда его успокаивают ловко подобранными радужными красками, а тогда, когда ему дают возможность стать лучше, духовно богаче, чем он был вчера, узнать нечто такое, что до сих пор было от него скрыто, ну хотя бы даже только ощутить ту внутреннюю связь, которая так неожиданно открылась между его собственной жизнью и маленьким эпизодом из жизни старой секретарши. Нет, он не похож на нее, но он так же, как она, мог стать лучше — всегда мог, каждый мог — и не до конца использовал эту возможность. Так осуществляется моральная требовательность художника, с помощью законченных и правдивых образов протягивающего невидимые, тонкие нити токов высокого напряжения от своей души к нашим. Чем больше эта душа, тем выше напряжение, тем сильнее мобилизует его произведение самое лучшее, что есть в нас».

«Тонкие нити токов высокого напряжения», идущие от души художника к нашим душам, действительно невидимы. Как их уловить, разглядеть, сделать зримыми и осязаемыми для читателя и при этом не огрубить, не исказить, не оборвать? В чем — иначе говоря — секрет профессионального мастерства критика?

В книге Е. Стариковой обстоятельность и неторопливость изложения, свободная композиция, простой, без всякой «учености», язык, разговорная интонация, обилие — это в критических-то статьях! — лирических отступлений создают естественную, непринужденную манеру вроде бы и совсем не профессионального разговора. Однако сама эта манера — тоже профессиональное мастерство.

Я не стала бы, пожалуй, говорить о Е. Стариковой «критик-публицист», как это сделал автор одной из рецензий о книге «Поэзия прозы». Да, Е. Старикова живо интересуется проблемами реальной действительности, неподдельно озабочена ими, ими же проверяет правду литературы. По всему этому книга «Поэзия прозы» — действительно увлекательный и поучительный разговор о жизни. Разговор критика, а не учено-филолога. Но разговор критика, а не публициста. Потому что хотя критик и входит в реальный мир действительности (а не только в мир литературной науки, подобно историку литературы), но входит он в него не непосредственно, как это чаще всего бывает у публициста, а через мир искусства, то есть вслед за писателем.

«Вслед» за писателем отнюдь не означает зависимости от писателя. Напротив, Е. Старикова всегда сохраняет суверенитет критика — полную самостоятельность суждений, не ограниченную ни предметом изображения художника, ни его выводами. Но это суждения человека, который понимает специфические законы искусства и умеет подходить к его произведениям с эстетическими критериями.

Нравственное чувство пробуждается в искусстве чувством эстетическим — убеждена Е. Старикова. И потому она так скептически относится к дидактическим поучениям, оголенным тезисам, назидательным проповедям. «Наши чувства, наша совесть, — пишет критик, — лениво откликаются на прямые поучения и увещания, но как охотно, доверчиво и смело идут они навстречу самым высоким и трудным требованиям,

когда те заключены в пластический, верный правде жизни и эстетически выразительный образ». Словом, в мир прекрасного критик идет дорогами прекрасного.

Эти пути могут быть самыми различными. В работах Е. Стариковой есть и открытая публицистичность (например, разбор повести С. Антонова «Дело было в Пенькове»), и изощренный стилистический анализ (не вошедшая в сборник статья о стиле Л. Леонова), и добротное литературоведческое исследование (о разных вариантах романа Л. Леонова «Вор»), и обобщающий взгляд на большой и сложный цикл произведений («семейный» цикл В. Пановой).

Но наиболее сильна Е. Старикова в том, что отвечает ее художественному вкусу. Поначалу он может показаться не столь уж определенным. Ведь писатели, о которых она пишет в этой книге, очень различны. И все же в пороке всеядности Е. Старикова неповинна. Она охотно признает эстетические права самых разных художественных приемов: патетику прямого обобщения, емкую формулу философского осмысления события, символ, открытый лирический призыв. Но лично ей — а критик, права Е. Старикова, «подчиняется общему человеческому свойству — избирательности вкуса» — ближе и дороже другое, то, что объединяет избранных ею писателей и опосредованно отражается в ее собственной, такой незатейливой и «простой» манере. Это «тонкие и точные наблюдения» В. Солоухина, живописное перо пейзажиста и портретиста С. Антонова, умение В. Тендрякова «показать общее, большое, новое через житейски-будничное, обыкновенное», артистический дар В. Пановой «найти такую характерную бытовую или психологическую деталь, чтобы в ней как в зеркале отразился предельно обыкновенный, но и сложнейше многогранный мир героя».

Вот эта именно задача — уловить мысль писателя не там, где она «находится ближе всего к поверхности», а там, где мастерски отобранные художником «факты, поступки, подробности, лаконичные диалоги говорят сами за себя, не нуждаясь в лобовых пояснениях...» — и увлекает больше всего критика. И для решения ее Е. Старикова пускает в ход тонкий критический анализ.

Как часто еще критики вместо анализа сбиваются на простой пересказ произведения. Иногда этот пересказ принимает чуть

облагороженную форму — систематизированного описания книги. Порой профессиональный разбор книги подменяется не слишком глубоким комментированием ее, вполне доступным любому неискушенному в критическом «ремесле» читателю. Бывает и так, что книга оказывается не более чем поводом для «самовыражения» рецензента, и тогда знакомство с интересующим тебя художником превращается в малоинтересную встречу с его далеко не всегда полномочным представителем.

Мастерством анализа, трудным мастерством (вспомним, как ценил «аналитический способ суждений» такой великий его мастер, как Добролюбов), Е. Старикова владеет искусно.

Доказать, показать это, к великому сожалению, в небольшой рецензии трудно. Рецензент может охарактеризовать общую концепцию исследователя, назвать его основные идеи, перечислить открытые им новые факты, процитировать наиболее удачные формулировки, восхититься отточенным афоризмом. Но чтобы ощутить всю тонкость, проницательность и убедительность кропотливого, вдумчивого и обстоятельного анализа — надо прочесть его целиком, а не в клочковато-раздерганном пересказе, и прочесть самому. Об этом я и хлопочу: прочитайте, обязательно прочитайте эту книгу.

Ну, а если уж дошло дело до советов читателю, то от чего в рецензируемой книге мы советуем уберечься? Есть ли в ней недостатки и ошибки, о которых следовало бы предупредить?

Конечно, есть. Можно предъявить претензии к составу сборника. Почему вошла ма-

лозначительная статья «Будничный подвиг» и не вошла хорошая работа о стиле Леонида Леонова? Очень бы хотелось возразить автору кое в чем (например, поспорить об отношении к герою — образцу для подражания; об эстетической полноценности столь далеких критику «открытых поучений» и т. д.). Небесполезно было бы, наверное, и коснуться некоторых общих вопросов нашего ремесла. (Неужто критик — действительно всего лишь зеркале живого потока современной литературы, более или менее точное, всего лишь эхо, более или менее громкое? Право же, ему следовало бы претендовать на куда более самостоятельную, инициативную и, главное, действительную роль.)

И еще одно, как мне кажется, принципиальное соображение. Да, мастерство анализа, которым так хорошо владеет критик, очень трудно. Труднее этого только одно — мастерство синтеза. Вот такой общей идеей, связанной не только с отдельной книгой, с тем или иным писателем, но и со всей литературой в целом, мне порою не хватает в статьях Е. Стариковой. Такая идея, конечно, не может не присутствовать в книге как основа всех высказываний критика, но стоило бы. может быть, выделить ее особо, остановиться специально: ведь нам так нужны обобщающие работы о социалистическом реализме, работы со стройной, цельной концепцией, объемлющей всю историю советской литературы. В такой работе еще явственнее открылась бы не только высокая поэзия советской прозы, но и высокая поэзия советской критики.

С. ШТУТ.



РЕЖИССЕРЫ О КОМЕДИИ

Н. Акимов. О театре. «Искусство». Л.—М. 1962. 352 стр.

Валентин Плучек. На сцене — Маяковский. «Искусство». М. 1962. 160 стр.

В один год, в одном и том же издательстве вышли книги двух наших режиссеров, горячих сторонников смеха, талантливейших постановщиков сатирических комедий. Согласитесь, что это случается не часто.

Книги эти во многом не похожи: у каждой из них свой профиль, своя структура, своя манера изложения.

Николай Акимов — давний, страстный пропагандист комедии, отдающий ей все

силы своей души и своего многогранного таланта. Он ставит комедии как режиссер. Он оформляет их как художник. Порой же он берет в руки перо и защищает любимый жанр как литератор, как критик. Статьи, заметки, рецензии Николая Акимова появлялись время от времени на страницах периодической печати в течение всей его творческой жизни. И вот теперь они собраны воедино.

«Перечитав собранный материал,— гово-

рится в обращении Н. Акимов к читателям,— автор пришел к следующим выводам:

Что сегодня, в 1962 году, он подписывается под любой из предлагаемых здесь статей, как бы давно она ни была написана. Это само по себе может свидетельствовать о стройности его взглядов, или, если кто так сочтет,— заблуждений.

Что ряд проблем, которые волновали автора немало лет тому назад, к сожалению, еще не разрешены и сегодня, и автор может лишь повторить сказанное по этому поводу ранее. Таковы, например, проблемы советской комедии».

На протяжении всего своего творческого пути Николай Акимов не переставал бороться за утверждение на сцене любимого жанра. Будучи главным режиссером театра, он осуществил постановку многих выдающихся произведений комического искусства — начиная с «Ревизора» Гоголя, «Теней» Щедрина, «Дела» Сухово-Кобылина и кончая «Драконом» Шварца. Почти каждый из этих спектаклей был событием в театральной жизни, горячо встречался зрителями. Но далеко не каждый правильно, по достоинству был оценен критикой, ибо на комедию у нас привыкли смотреть как на нечто второстепенное, необязательное, не очень нужное.

Вот уже много лет Н. Акимову приходится вести борьбу за равноправие жанров. «Советский театр,— пишет он,— вправе принять и утвердить те театральные жанры, которые ему годятся, и отбросить те, которые не годятся,— гиньоль с ужасами или фарс с непристойностями. Но годные, принятые нами жанры должны существовать на равных правах».

Между тем комедии у нас зачастую встречались настороженно, а то и прямо враждебно. К комедиографам, как и к режиссерам, ставившим комедии, относились подозрительно, с недоверием, ожидая от них всяческих подрывов и бед.

Период культа личности породил атмосферу, в которой комедии спускались под откос одна за другой. Защищать же комедию было очень трудно. Считалось, что «защитники» пытаются оправдать «клеветников» и «очернителей».

Вот почему в критике сложилось положение, которое автор сборника в одной из статей характеризует так: «Хорошо разработаны средства нападения на комедию,

слишком слабо развиты средства ее защиты».

Книга Николая Акимова в значительной мере восполняет существующий пробел: она посвящена средствам защиты комедии от необоснованных нападок, причем защита эта ведется автором по всем правилам критического искусства — с глубоким знанием дела, серьезно и доказательно.

Н. Акимов не устает разъяснять своеобразие любимого жанра. Его высказывания о специфике комедии поучительны, так как автор приходит к тем или иным выводам не путем умозрительных сопоставлений и заключений, а исходя из своей многолетней практической работы в театре. В книге не раз подчеркивается, что комедия должна быть смешна «не только текстом реплик, но и построением интриги, ситуациями, характером образов», что «для того, чтобы герои комедии могли выявить свои типические черты, их надо поместить в исключительные и необычные обстоятельства», что «речь персонажей, отвечая общей характерности современной речи, может заключать в себе большее количество оправданных в каждом случае смешных эффектов (намеренные остроты персонажа и ненамеренные: оговорки, «неудачные выражения» и т. д.), чем это бывает в жизни».

И хотя замечания, касающиеся различных сторон комедии, высказаны Н. Акимовым в разное время и в разных статьях, в целом они образуют довольно стройную и последовательную концепцию, вскрывающую истинную природу жанра.

Впрочем, иногда встречаются в книге и высказывания, на мой взгляд, неверные, находящиеся в противоречии с этой концепцией.

В статье «Искусство веселого театра», отметив, что комедия знает много подразделений, что «возможна» и едкая обличительная комедия-сатира, автор далее сосредоточивает свое внимание на «веселой комедии» и ратует за ее развитие. Все это не вызвало бы никаких возражений, если бы жанр этот рассматривался наряду с другими. Но на сей раз автор изменяет самому себе и провозглашает «веселую комедию» чуть ли не главным комическим жанром. Он пишет: «Это жанр, который особенно нужен сейчас нашему зрителю, жанр, наиболее приспособленный к жизне-радостному утверждению нашей жизни,

быта нашей страны, победоносно вышедшей из тяжелых испытаний и бросившей неисчерпаемые свои силы на строительство новой жизни.

Поэтому роль юмора и роль сатиры могут занять в нашем театре далеко не равные места. Воспринимать сатирически мы можем только отдельные недостатки в нашей жизни, только частные уродливые явления, подлежащие нашему бичеванию.

Как видим, роль сатиры в данном случае сводится почти на нет. Нетрудно заметить, что эти положения, высказанные в 1945 году, находятся под явным воздействием теории бесконфликтности.

В той же статье Н. Акимов пишет: «В процессе совершенствования нашего общества уменьшается количество объектов, нуждающихся в сатирическом обстреле».

Если раньше нэпман являлся законной добычей сатирика и ранние советские комедии широко использовали этот персонаж, то в наше время нет ни одной профессии, которая целиком нуждалась бы в таком отрицании».

Но в данном случае Н. Акимов невольно оказывается в русле тех представлений и рассуждений, с которыми сам же воевал и воюет в других статьях сборника. Сатира не только «в наше время», но и никогда раньше не отрицала профессий; она бичевала социальные явления, социальные типы. И «нэпман» — это, конечно же, не профессия, а социальный тип.

К счастью, такого рода недодуманных, а точнее — неотредактированных, положений в книге немного; основной же ее пафос в высшей степени плодотворен и справедлив.

Сборник Н. Акимова приятно читать еще и потому, что автор излагает свои мысли легко и свободно. Стиль Акимова литератора отличается тем же изяществом и энергией, которые свойственны его постановкам.

Нельзя не сказать и еще об одном качестве автора, встречающемся не столь уж часто даже у людей, занимающихся проблемами комического. Н. Акимов пишет не только умно, но и остроумно. В его статьях, заметках и даже докладах немало мест, проникнутых едкой иронией или тонким, ненавязчивым юмором. Автор не только борется за смех, он блестяще использует его в этой самой борьбе, наглядно демонстрируя **заразительную** силу точной насмешки.

Вот почему совершенно уместен и закономерен в сборнике последний его раздел, озаглавленный «Легкомысленные статьи», в котором собраны фельетоны, шутки, афоризмы, а также наброски «Из записной книжки» (по поводу последних автор со свойственным ему юмором замечает: «На самом деле мысли эти чаще записывались на папиросных коробках, но для оглавления «записная книжка» звучит лучше»). С некоторыми из этих фельетонов читатель уже знаком по публикациям в периодике. Немало здесь и такого, что доселе не публиковалось.

Нужно сказать, что в сборнике Н. Акимов вообще довольно много статей и заметок, в примечаниях к которым сказано: «Печатается впервые». Досадно, что эти интереснейшие, талантливые заметки не были напечатаны в периодической печати тогда, когда они были написаны. Радостно, что они наконец-то опубликованы, что они в большинстве своем не устарели, выдержали самое трудное испытание — испытание временем, как выдержали его и те статьи, которым по счастью повезло попасть в периодику.

Сборник Николая Акимова звучит ныне актуально и даже злободневно. Он срывается за подъем советской комедии, за расцвет сатиры и юмора, которые так любит и ценит наш народ.

Книга Валентина Плучека во многом отлична от акимовской.

Если Н. Акимов затрагивает в своем сборнике самые различные проблемы комедии и при их рассмотрении привлекает множество фактов и из собственной практики, и из истории театра, то В. Плучек ограничивает свою задачу: речь в его книге идет, как это видно уже из названия, о воплощении на сцене драматургии Владимира Маяковского.

Как известно, после смерти Маяковского его пьесы в течение двух с лишним десятилетий не ставились. Все это время господствовало мнение, что они примитивны и не сценичны. Но вот Московский Театр сатиры после долгих колебаний вновь к ним обратился. В декабре 1953 года на сцене театра состоялась премьера «Бани», в мае 1955 года — «Клопа», в ноябре 1957 года — «Мистерии-Буфф». Ставил все эти спектакли главный режиссер театра Валентин Плучек («Баню» — совместно с Н. Петровым и С. Юткевичем, «Клопа» — вместе с С. Юткевичем, а «Мистерию-Буфф» — один). Эти постановки развеяли легенду о мнимой несценичности драматургии Маяковского,

стали этапными в развитии Московского Театра сатиры.

До сих пор театр разговаривал одним языком — языком сцены. Мы видели, как поставлен Маяковский, но ничего не знали о том, почему поставлен именно так, а не иначе, чем руководствовались постановщики при решении тех или иных сцен, картин, образов. Теперь же мы можем узнать и об этом.

«Я не теоретик, не филолог, не «маяковед», — пишет В. Плучек в своем вступлении к книге. — Я просто практик, влюбленный в Маяковского, и потому убежденный пропагандист его пьес... Теперь, когда трилогия Маяковского поставлена, я чувствую потребность поделиться с читателем теми мыслями, которые рождает Маяковский у нас, режиссеров-практиков, и которые постепенно складываются в определенное представление о том, как надо ставить Маяковского и какое место занимает его драматургия в творческой системе современного театра».

В этих словах автора довольно точно определено направление его раздумий.

Маяковский-драматург, доказывает В. Плучек, в такой же степени новатор, как и Маяковский-поэт. Его нельзя ставить, руководствуясь правилами бытового «правдоподобия». Такие попытки заранее обречены на неудачу. Но нельзя впадать и в обратную крайность: совсем отказываться от психологической мотивированности действия. Нельзя, увлекшись необычностью гротескной формы, пускаться в самоцельное грюкачество и тем самым смазывать жизненно правдивое, глубоко реалистическое содержание пьес.

Сценическое воплощение пьесы, как известно, начинается с ее прочтения. Как, какими глазами прочтет пьесу режиссер, что он в ней увидит, на что обратит особое внимание, какие акценты расставит — от этого во многом зависит судьба постановки.

В. Плучек читает пьесы Маяковского. Размышляет об их жанре, о героях — не только главных, но и самых «второстепенных» (слово «второстепенных» приходится брать в кавычки, так как при ближайшем рассмотрении оказывается, что даже эпизодические герои Маяковского чрезвычайно важны для понимания идейной концепции пьес). Расшифровывает истинный, глубокий смысл «мелочей», которые порой ускольза-

ют от внимания не только читателей и зрителей, но и исследователей Маяковского, специалистов-филологов.

В. Плучек совершенно прав, подчеркивая, что правильное сценическое решение спектакля во многом зависит от правильного понимания жанра пьесы. И тут не всегда можно «на слово» верить самому драматургу.

Так, например, Маяковский в качестве подзаголовка к «Бане» поставил следующие слова: «Драма с цирком и фейерверком». На самом же деле перед нами, конечно, сатирическая комедия, а никакая не драма. Когда Маяковского спрашивали, почему он назвал пьесу драмой, поэт отвечал: «А это чтоб смешнее было, а второе — разве мало бюрократов, и разве это не драма нашего Союза?»

На основании этих и некоторых других признаний драматурга В. Плучек делает верный вывод, что в данном случае Маяковский пользовался термином «драма» не как жанровым определением: «Ставя спектакль, мы увидели в слове «драма» указание на то, что угроза бюрократизма, подмеченная Маяковским, представляется ему делом опасным для страны и потому в существе своем драматическим».

Интересны размышления автора относительно Победоносикова, Оптимистенко, Присыпкина, Бельведонского. В. Плучек убедительно опровергает мнение о схематичности, плакатности этих образов. Он доказывает, что герои Маяковского — не плоские схемы, а живые сатирические характеры.

В. Плучек стремится вскрыть главное существо каждого образа, добраться до его «сердцевины». И это ему в большинстве случаев удается. Те характеристики, которые он дает, как правило, лаконичны, но точны.

Раскрывая «доминирующую черту» того или иного сатирического характера, В. Плучек порой говорит и о том, какими сценическими средствами театр стремился ее передать. Так, об образе Оптимистенко сказано: «Мы до такой степени отчетливо ощущали всю откровенность приспособленчества Оптимистенко, что позволили ему явиться в четвертой картине перед фосфорической женщиной с нательным крестом на волосатой груди, то и дело медькающим в прорези рубашки. Это краска театра, продиктованная нашим взглядом на сущность образа Оптимистенко, человека глубоко чуждого революционному делу, но готового,

как и Понт-Кич, «вращать в любой социализм, только чтоб это ему было доходно...».

Анализируя образ Бельведонского, В. Плучек совершенно справедливо предостерегает исполнителя этой роли от ложного ее истолкования. Бельведонские от длинно революционного искусства весьма далеки. Да оно их, в сущности, и не очень интересует: гораздо важнее для них утвердить собственную личность (а точнее — двуличность).

В образе Бельведонского, как справедливо пишет автор, Маяковский зло высмеял «искусство, которое слегка подновляет старые формы путем выпрямления ножек, перекраски стильной мебели «под мореный дуб» и обильного размещения герба Советского Союза на спинках и «прочих выдающихся местах». Рисую Бельведонского, писатель восстает против художников, прислуживающих лицам, привыкших смотреть на модель снизу вверх, «как утка на балкон». Невольно на память приходят строки поэта: «...Небось не напишут мой портрет, — не трут понапрасну кисти. Ведь то же лицо как будто, — ан нет, рисуют кого поцекистей», — и понимаешь, что Маяковский замаяхнулся в «Бане» на все фальшивое, конъюнктурное, приспособленческое в искусстве».

Немало в книге и других метких и верных замечаний, наблюдений, характеристик, которые помогают нам лучше понять драматургию Маяковского.

Но есть и такие положения, которые представляются спорными или недоказанными.

Так, В. Плучек совершенно правильно подчеркивает, что «комсомольская тема» важна не только для понимания идейной концепции «Бани», но и для раскрытия активно-наступательной, праздничной атмосферы спектакля. Однако при конкретном разговоре о положительных образах пьесы он высказывает мысли, которые воспринимаются как явная натяжка. Он, например, утверждает, что «характеристики положительных героев у Маяковского также отличаются объемом и психологической глубиной».

Как же доказывает автор этот тезис? Фактически никак. Об образе Чудакова говорится, что он «чудак лишь с позиций 1929 года — времени, когда еще ярки были пятна старого, когда не всякий мог понять такой ничем не ограниченный энтузиазм»,

что в наши дни «Чудаковых не считают чудачками. Их называют реальными мечтателями, людьми передового сознания», что «Чудаков — поэт, он говорит о своем аппарате как об одушевленном существе, у него высокий строй чувств...»

Все это правильно, но несколько не доказывает, что образ Чудакова будто бы отличается объемом и психологической глубиной. Не случайно и сам В. Плучек характеризует Чудакова заканчивая так: «Ни о каком плакате и в этом случае не может быть и речи». Вот это действительно верно! Но ведь от плаката до «объемности» и «психологической глубины» — дистанция огромного размера.

Мне думается, что ошибка В. Плучека состоит в том, что при разговоре о положительных образах он вдруг как бы забыл о жанре пьесы.

Ведь положительные герои в сатирической комедии имеют свою специфику, свою функцию. Их роль зачастую заключается не в том, чтобы разносторонне выявлять свои собственные качества, а в том, чтобы разоблачать истинную сущность героев отрицательных, высмеивать их.

Именно таковы и Чудаков с Велосипедкиным, такова их роль в пьесе. И с этой своей ролью они великолепно справляются, не будучи «объемными», «многогранными» и «психологически глубокими».

Прочтение пьесы, выработка основных принципов постановки — это еще не все. Дальше наступает не менее ответственный период — непосредственно сценическое ее воплощение: поиски мизансцен, работа с актерами и т. д. и т. п. Короче говоря, начинаются поиски тех самых сценических деталей, которые и придают особую прелесть именно данной постановке известной пьесы.

В. Плучек приоткрывает завесу и над этой стороной театрального творчества, но значительно меньше, чем того хотелось бы. В сущности, более или менее подробно рассказано лишь о постановке двух-трех сцен и, в частности, сцены «Свадьбы» в «Клопе». По единодушному мнению и зрителей и критиков, эта сцена поставлена и сыграна блестяще.

Кому из видевших «Клопа» в Театре сатиры не запомнилось, например, начало «Свадьбы»? Гости, истомившиеся и еле сдерживающие свое страстное желание поскорее приняться за еду и питье, сидят и ждут «самого секретаря завкома» Лассаль-

ченко. Но вот раздается громкий стук в дверь, и входят двое... нет, не в штатском... входят двое в военных френчах и галифе. Один из них сует руку в карман и зычным голосом произносит: «Я уполномочен...» Гости — в панике: одни из них покорно поднимают руки вверх, другие бросаются к двери...

В тексте Маяковского нет ремарки, говорящей о том, что гости именно так восприняли приход «высоких гостей» на красную свадьбу. Подобная трактовка эпизода могла родиться лишь при глубоком постижении самого духа комедии не только режиссурой, но и актерами. «Эта немая сцена, — пишет В. Плучек, — как и описанный выше эпизод «Бани» («Вышли мы все из народа»), результат актерской импровизации. На репетиции «Клопа» один из участников сцены, играющий у нас роль отца Эльзевиры Давида Осиповича Ренессанс, внезапно беспомощно поднял руки вверх. И пошли, посыпались находка за находкой, деталь за деталью, нанизываясь на главную мысль сцены об антисоветском душке происходя-

щего. Такую картину вообще не поставишь «режиссерски», если инициатива актеров не развязана, если их фантазия не работает. Нам не приходилось на это жаловаться, когда мы ставили «Свадьбу» в «Клопе».

Книга В. Плучека, несомненно, была бы еще интереснее и поучительнее, если бы читатель был более подробно посвящен в то, как делались эти спектакли. Хочется окунуться в непосредственную атмосферу поисков, раздумий, споров. Хочется искать и волноваться вместе с постановщиками, вместе с ними радоваться находкам, вместе с ними пройти весь путь — от первого прочтения пьесы до генеральной репетиции, до премьеры.

Как видим, юнги Н. Акимова и В. Плучека имеют свои достоинства и недостатки. Но, при всех различиях, они схожи в главном — в своем пафосе защиты сатирической комедии как важного жанра советского искусства и в глубоком понимании законов этого жанра.

Д. НИКОЛАЕВ.

★

МЕСТЬ ДОБРОГО ЧЕЛОВЕКА

Гюнтер Вейзенборн. Преследователь. Роман. Перевод с немецкого Н. Касаткиной и И. Татариновой. Издательство иностранной литературы. М. 1963. 168 стр.

Действие романа Г. Вейзенборна «Преследователь» длится около одного часа — с трех до четырех утра.

Человек, от имени которого ведется повествование, один в кабине мощного лимузина подстерегает на ночной улице негодяя, бывшего шпиона гестапо, который некогда выдал, обрек на смерть его друзей и его самого. Герой приготовился мстить. Все рассчитано: предатель будет раздавлен колесами внезапно промчавшейся машины, на пустой улице никто не успеет задержать мстителя. Машина взята напрокат на чужое имя. Все рассчитано точно, все предусмотрено.

Один час напряженного ожидания.

Но в течение этого короткого времени стремительно чередуются воспоминания о давних и недавних событиях, наблюдения над тем, что происходит сию минуту, мысли о прошлом, настоящем и будущем... В пределах одного часа оказались сосредоточены, уплотнены события многих лет, судьбы нескольких людей: война, антифа-

шистское подполье, предательство, любовь, тюрьма, суд, смертный приговор, случайное спасение, преследование внезапно обнаруженного предателя, тщетные требования законного возмездия и несостоявшаяся самочинная месть...

Свободно обращается художник со временем; причудливо монтируются «кадры» повествования, в котором чередуются давние, недавние и непосредственно в данный миг происходящие события, стремительны переходы от «крупных планов» к общим, от диалога к внутреннему монологу, «наплывают», смешаются, накладываются друг на друга картины отдельных эпизодов.

История «Серебряной шестерки» — подпольной группы, созданной маленьким эстрадным оркестром, — не документальное свидетельство, а художественное обобщение множества подобных событий и человеческих судеб в гитлеровской Германии.

Гюнтер Вейзенборн сам был участником подпольной антифашистской организации. Три года — с 1942 до 1945 — провел он в

тюрьмах гестапо, в концлагерях. Он знал десятки людей, которые стали антифашистами именно в годы войны, когда это грозило самой жестокой расправой.

Главная тема книги — возмездие бывшему предателю, негодю, который обрек на гибель своих друзей, — не придумана, возникла из действительно происшедшего.

Когда весной 1960 года Гюнтер Вейзенборн гостил в Москве, он рассказывал о том, как немецкий литератор-антифашист, который чудом уцелел в застенках гестапо, случайно встретил одного из палачей, погубившего его товарищей. Он попытался привлечь гестаповца к суду, но это не удалось. Оказалось, что тот уже прошел «денацификацию», отбыл несколько лет заключения и помилован снисходительными западногерманскими властями. Антифашист не хотел примириться с тем, что по-прежнему благоденствует бездушный убийца, который хладнокровно губил честных людей, обречал их на страшные муки, на смерть, принес неутолимое горе их близким.

Он решил сам стать судьей и исполнителем приговора. Именем поруганной справедливости, именем своих друзей и всех других антифашистов, погибших в застенках, на плахе, в концлагерях, он приговорил палача к смерти и выбрал именно тот способ уничтожения, который описан в этой книге. И так же, как герой романа Даниэль Брендель, в последний момент он не смог это совершить, не смог не потому, что боялся за себя, не потому, что передумал, а просто не смог убить, так как это был не бой и не засада в тылу воюющего врага, — в бою и в засаде он, конечно, не поколебался бы, не промахнулся. Тут было просто убийство.

Рассказав об этом в дружеском кругу в Москве, Гюнтер Вейзенборн заключил. «Отказавшись от попыток преследовать, убивать, он сел за стол и начал писать книгу. Такую, чтобы стала возмездием всем палачам».

Произошла ли эта история с самим Вейзенборном или с кем-то из его близких друзей — сегодня не так уж важно. Но герой книги Даниэль Брендель, несомненно, высказывает мысли, выражает чувства, мировосприятие автора.

Роман «Преследователь» убедительно, неопровержимо обличает нынешние западно-

германские порядки, при которых нераскаившиеся преступники, гестаповские палачи, убийцы, шпики — все ретивые служаки кровавого фашистского режима — благополучно преуспевают, занимают высокие государственные посты, заседают в парламенте и в судах, владеют доходными предприятиями, в худшем случае довольствуются солидными пенсиями.

Об этом ежедневно сообщают газеты. Об этом написаны десятки взволнованных, гневных книг.

Вейзенборн как художник обобщает очень существенные черты западнонемецкой действительности.

Судья К., приговоривший к смерти героя, его друзей и десятки, сотни антифашистов, по-прежнему вершит правосудие. Несколько изменился его словарь, трескучая нацистская фразеология утратила былую прямолинейность, он менее нагл и самоуверен. Но сущность его осталась прежней. Он убежден, что гитлеровцы были правы, что они вели войну, чтобы «оградить от опасности отечество», он убежден, что был прав, приговаривая к смерти противников этой войны. И судья не одинок. Он один из множества гитлеровских юристов-убийц, благоденствующих в Западной Германии.

Адвокат М. — существо иного покроя. Он, пожалуй, менее вредоносен, менее опасен, чем откровенно воинствующие фашисты. Но их деятельность, их благополучие были бы невозможны без его «резвого» реализма. Умный, по-своему даже симпатизирующий герою — неустанному искателю справедливости, адвокат решительно противопоставляет ему свою философию, свой «житейский и деловой опыт». Бесстрастно судит он о мире, который его окружает.

«Кем были мы — адвокаты и судьи? Офицерами. Кем становились отборные нацисты? Офицерами. Кем были директора заводов, профессора, преподаватели и чиновники? Офицерами. Поэтому, выступая на суде, я обычно говорю как бывший офицер с бывшим офицером, да и кассационная инстанция состоит по большей части из бывших офицеров. Здесь все одинаковое — язык, ордена, привычки, застольные тосты: «Ваше здоровье, господа!»; манеры: «Рад служить, сударыня!»; да и реакция обычно одинаковая на такие слова, как «саботаж», «государственная измена» или «идет его превосходительство».

Адвокат М. не защищает предателя Риделя, но не хочет помогать и его преследователю. Он «реалистически» оценивает мир, в котором живет, реалистически до цинизма.

«В мире не существует абсолютного равновесия между виной и возмездием. Неискупленной вины всегда порядочный излишек. А возмездие всегда бывает куцым. Вина куда хитрее и умеет ловко прятаться, а у возмездия ноги коротки и кругозор узок. Если бы на каждую вину да вдруг нашлось возмездие, то наш общественный строй попросу бы рухнул. Фактически каждый человек хоть раз в жизни бывает виновным. Кому из нас не случалось о чем-то умолчать, что-то утаить? А лжем мы все понемногу. Ложь стала хлебом насущным. Каждый человек сплетает себе мягонькую прокладочку из лжи, чтобы грубые толчки жизни были менее чувствительны. Так и надо... Так и надо...»

Он искренне убежден, что «так и надо», убежден, что мир нельзя «изменить и улучшить».

Позиция этого, так сказать, принципиально беспринципного адвоката — первое серьезное препятствие на пути Бренделя, его пути мстителя. Отношение адвоката М. мешает возмездию по суду, но оно не может помешать возмездию самочинному.

Вторым препятствием становится Ева — бывшая участница группы и бывшая возлюбленная героя.

Когда Брендель считал ее погибшей, воспоминания о ней, неразрывно связанные с воспоминаниями обо всех друзьях из «Серебряной шестерки», были одной из тех сил, что побуждали добиваться мести, преследовать шпика.

Но когда они случайно встретились, Ева решительно воспротивилась этому. Такою же она была и раньше, когда накануне ареста противилась уничтожению разоблаченного предателя. Добрая, цельная, душевно чистая, она просто не верила, что их друг, один из них, может предать. Впрочем, и у других тогда не поднялась на него рука.

И это происходило в дни самой жестокой из войн в стране, которой правят убийцы — равнодушные и яростные, но всегда неумолимые убийцы; в городе, на который днем и ночью низвергаются «бомбовые ковры» и тысячи людей погибают, где трупы убитых, стоны и вопли умирающих стали чем-то повседневным, привычным.

Но именно в это время, в этой стране у

душевно чутких людей особенно усиливалось отвращение к убийству, к смерти. Это становилось естественной защитой от страшного привыкания, от равнодушия, выходящего в бездушие, и от безоглядного ожесточения...

В Еве олицетворена несокрушимая душевная цельность. Нежелание Евы мстить связано с ее вполне определенными и ясно осознанными убеждениями: «Оплакивать прошедшее — пустое дело. Куда полезнее по мере сил расчищать путь к лучшему будущему, в котором такое никогда не повторится... Подрастают дети, много детей. Надо же им наконец вынести урок из страшного опыта предыдущих поколений. И... разве это не самая важная задача для женщины?..»

Трагедия Евы в том, что ее цельная наивная доброта — бессильна, самоубийственно бессильна в мире очень сильного и коварного зла. Нередко такая доброта лишь разоружает по-настоящему действенно добрых людей.

Даниэля она не разоружила. Он теряет адрес неожиданно встреченной Евы. Теряет случайно для себя, но не для автора — с этим кончено. Герой остается один на один с преследуемым, со своей мезтью.

Почему же все-таки не был убит обреченный на смерть подлец? Не убил тот литератор, о котором рассказывал Вейзенборн, не убил и Даниэль Брендель?

Почему, обойдя столько препятствий и возражений, так тщательно все продумав и взвесив, он в самое последнее мгновение отменил свой справедливый приговор?

Прежде всего потому, что им овладело естественное отвращение к убийству, которое отличает по-настоящему душевно здоровых людей от извращенных по природе садистов и от развращенных уродливыми обстоятельствами жизни, душевно изувеченных, жестоких или равнодушных убийц.

Но Даниэль Брендель, отказавшись в решающее мгновение от единоличной расправы, не отказался от борьбы, от справедливого возмездия. Если бы один мститель уничтожил одного преступника, все на том бы и кончилось: ведь это должно было остаться тайной. Герой испытал бы на какой-то миг удовлетворение — а может быть, и не испытал бы вовсе, — но для других людей это был бы просто несчастный случай на ночной улице. Нет, Даниэль Брендель отнюдь не пощадил предателя —

он с новой, еще большей решимостью готов бороться за справедливость, за такое обличение предателя, которое неизбежно станет обличением всех его гнусных покровителей, всего общественного строя, поддерживающего, охраняющего таких мерзавцев.

Когда Брендель уезжал прочь от места несостоявшейся казни, он еще не знал, что станет делать, как решит этот «сложнейший кроссворд».

Но он будет решать, будет бороться, он отомстит за погибших друзей, за мучения и бедствия народов. Отомстит не одному негодяю-шпику, а всем ему подобным, всем, кто с ним и за него. Из одинокого мстителя герой станет борцом. Эта перспектива раскрывается уже за пределами романа, но она реальна.

Брендель еще не знает, что именно для этого нужно делать. Не знает герой, пото-

му что не знает автор. И в этом слабость его позиции, которая сродни органической слабости всех видов либерально-пацифистского отношения к миру.

Однако Вейзенборн-художник сильнее Вейзенборна-моралиста. И как художник он карает гневной, беспощадно обличающей, доброй и человеческой книгой. Мстит за прошлые и за нынешние преступления так, чтобы предостеречь, помешать новым злодеяниям.

В этой плодотворной мести — добрая сила книги Вейзенборна.

Своеобразный язык и сложный, меняющийся темп напряженного повествования очень образно воссоздали по-русски переводчицы Н. Касаткина и И. Татарина; нужное для этой книги послесловие обстоятельно и умно написала Л. Симонян.

Л. КОПЕЛЕВ.

★

Политика и наука

БОЕВОЕ ОРУЖИЕ СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА

Н. С. Хрущев. *Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. В семи томах. Госполитиздат. М. 1962—1963.*

Закончено издание семитомника Н. С. Хрущева «Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства».

Вошедшие в этот семитомник труды охватывают исключительно сложный и богатый замечательными победами период жизни нашей страны. Начало его относится к 1953 году. Это своего рода летопись героической борьбы нашей партии и всего советского народа за мощный подъем сельского хозяйства, за изобилие сельскохозяйственных продуктов.

Чтобы до конца понять огромное значение вклада товарища Н. С. Хрущева в дело подъема сельскохозяйственного производства, напомним, что наше сельское хозяйство к 1953 году вследствие разрушительной войны и крупных ошибок в руководстве этой важной отраслью экономики оказалось крайне запущенным.

В 1953 году у нас было заготовлено только 1899 миллионов пудов зерна, закуплено мяса 3,6 миллиона тонн, молока — 10,6 миллиона тонн. Такое количество сельскохозяйственных продуктов явно не удовлетворяло возросший спрос населения и промышленности.

Начиная с 1953 года Центральный Комитет КПСС и его Президиум во главе с Н. С. Хрущевым разработал и осуществил в области сельского хозяйства ряд мер революционно-преобразующего характера. Постановка вопроса о необходимости этих мер и их теоретическое обоснование принадлежат Н. С. Хрущеву. Главной и коренной среди них было укрепление материально-технической базы сельского хозяйства. Были значительно увеличены государственные капиталовложения в сельское хозяйство, усилилось его техническое оснащение. Государственные капиталовложения в 1962 году составили 4600 миллионов рублей по сравнению с 985 миллионами рублей в 1953 году. А тракторов в 1962 году село получило 206 тысяч, тогда как в 1953 году наша промышленность дала ему лишь 76,2 тысячи. Намного больше производится теперь ежегодно зерновых комбайнов и грузовых автомашин. Значительно увеличилось производство и поставки сельскому хозяйству других видов техники и минеральных удобрений.

К тому же неизмеримо улучшилось качество машин. В ближайшие годы поставки

колхозам и совхозам тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин, удобрений и т. д. будут все возрастать, а техника — все более совершенствоваться.

Известно, какое большое значение придавал В. И. Ленин последовательному осуществлению принципа материальной заинтересованности. Этот принцип до 1953 года грубо нарушался. Партия восстановила ленинский принцип материальной заинтересованности тружеников сельского хозяйства в увеличении производства сельскохозяйственных продуктов. Она решительно осудила игнорирование этого принципа, которое было прямым следствием недооценки Сталиным роли крестьянства как союзника рабочего класса в строительстве социализма.

Среди мер, повышающих материальное стимулирование сельскохозяйственных предприятий и тружеников села за лучшие результаты производства, важную роль сыграло повышение закупочных цен на продукты сельского хозяйства. Они доведены до такого уровня, который позволяет каждому колхозу и совхозу не только вести хозяйство рентабельно, но и обеспечивать рост сельскохозяйственного производства, а также рост доходов колхозов и колхозников.

Одновременно были снижены цены на машины, строительные материалы, горючее и запасные части. Все это способствовало усилению материальной заинтересованности и сельскохозяйственных предприятий, и самих тружеников села в росте производства.

Исключительное значение для подъема сельскохозяйственного производства имели принятые партией меры по укреплению кадрами колхозов и совхозов. В село были направлены из городов и промышленных центров коммунисты и беспартийные специалисты, был увеличен выпуск специалистов, подготавливаемых высшими и средними сельскохозяйственными учебными заведениями. Это дало возможность обеспечить колхозы, совхозы и производственные управления квалифицированными работниками, твердо и неуклонно осуществляющими политику партии в области сельскохозяйственного производства, упорно добивающимися его подъема.

В последнее время партия приняла радикальные меры для улучшения руководства колхозно-совхозным производством. На селе созданы новые органы — колхозно-совхозные производственные управления, ко-

торые уже зарекомендовали себя как боевые организаторы производства.

«Главная задача производственных управлений,— говорил Н. С. Хрущев,— упорной организаторской работой поднимать все колхозы и совхозы до уровня передовых, настойчиво внедрять достижения науки и передовой опыт».

Особое внимание партия уделяет увеличению производства зерна и продуктов животноводства. В 1954 году в своей записке в Президиум ЦК КПСС «Пути решения зерновой проблемы» Н. С. Хрущев предложил поднять целинные и залежные земли Казахстана, Западной Сибири, Поволжья и других районов страны. Партия и весь народ поддержали инициативу Первого секретаря. За короткий срок было освоено 42 миллиона гектаров новых земель; заготовки зерна достигли трех с половиной миллиардов пудов, в то время как до освоения целины они составляли в среднем два миллиарда пудов.

В настоящее время Н. С. Хрущев поставил задачу — заготавливать четыре — четыре с половиной миллиарда пудов зерна, с тем чтобы в последующие два-три года довести продажу хлеба государству до пяти миллиардов пудов. Нет сомнений, что эта задача будет выполнена.

Большое внимание в своих докладах и выступлениях Н. С. Хрущев уделяет подъему животноводства и укреплению его кормовой базы. На январском (1955) Пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущев в докладе «Об увеличении производства продуктов животноводства» выдвинул конкретную программу действий в этой области. Приняв и осуществив ее, наша партия и народ добились серьезных успехов в подъеме животноводства.

На мартовском (1962) Пленуме ЦК КПСС по предложению Н. С. Хрущева были определены три этапа в решении задачи подъема животноводства.

«Первый этап — произвести 75 центнеров мяса на 100 гектаров пашни и 16 центнеров на 100 гектаров других угодий. Это, если можно так выразиться, программа-минимум для каждого хозяйства. Мы должны обеспечить такой уровень производства в ближайшие годы.

Второй этап — производить 100 центнеров мяса на 100 гектаров пашни. Это уже будет более высокий класс руководства. У нас есть такие хозяйства, которые дости-

ли указанного уровня. Важно на их опыте учить других, подтягивать колхозы и совхозы к данному уровню.

Третий этап — произвести 150 центнеров мяса на 100 гектаров пашни. Это — уже высший класс руководства. Тот, кто достигнет этого уровня, должен быть достойно отмечен».

Труженики сельского хозяйства, весь народ поддержали это предложение. В нынешнем году борьба за достижение уровня первого этапа развернулась по всей стране.

Жизнь, практика подсказывали, что травопольная система земледелия в современных условиях изжила, не оправдывает себя.

Товарищ Н. С. Хрущев первым поставил вопрос о ликвидации нерациональной и экономически малоэффективной травопольной системы земледелия и необходимости увеличения посевов кукурузы, сахарной свеклы, бобовых и других культур, которые дадут возможность создать прочную кормовую базу для животноводства. В настоящее время заготовка силоса достигла уже свыше 170 миллионов тонн, и заготавливается силос главным образом из кукурузы. Напомним, что в 1953 году его заготовки составляли всего 32 миллиона тонн.

В докладах и выступлениях Н. С. Хрущева получили дальнейшую разработку многие теоретические проблемы развития сельского хозяйства и его экономики. Это прежде всего вопросы дальнейшего развития колхозного строя и реорганизация МТС, проблема развития и укрепления колхозной и государственной форм социалистической собственности в период развернутого строительства коммунизма и ряд других важных теоретических и практических проблем развития сельского хозяйства. Обосновывая дальнейшее развитие сельского хозяйства на двадцатилетний период (до 1980 года), Н. С. Хрущев научно обосновал необходи-

мость создания наряду с могучей промышленностью процветающего, всесторонне развитого и высокопродуктивного сельского хозяйства как обязательное условие построения коммунизма.

Выполняя задачи, поставленные в докладах и выступлениях Н. С. Хрущева, в решениях Пленумов ЦК КПСС и съездов партии, наш народ уже достиг значительных успехов в подъеме сельского хозяйства. Вот результаты его героического труда: в 1962 году заготовки таких основных сельскохозяйственных продуктов, как зерно и сахарная свекла, увеличились по сравнению с 1953 годом примерно в два раза, заготовки овощей и фруктов — в два с половиной раза, молока — почти в три раза, яиц — более чем в три раза. Эти цифры — яркое свидетельство колоссальных изменений, происшедших в нашем сельском хозяйстве за последние десять лет.

В своих докладах и выступлениях Н. С. Хрущев ставит перед сельскохозяйственной наукой, перед учеными и практиками ряд актуальных вопросов, решение и разработка которых жизненно важны для развития сельскохозяйственного производства. В их числе — вопросы использования экономических законов социализма в сельском хозяйстве, применения таких экономических категорий, как цена, себестоимость, хозяйственный расчет и так далее.

Теоретическая глубина, ясность и простота изложения самых сложных экономических и других проблем сельскохозяйственного производства, умение ответить на самые злободневные вопросы, выдвигаемые жизнью, делают доклады и выступления Н. С. Хрущева, собранные в семитомнике, подлинно настольной книгой каждого участника коммунистического строительства.

К. ОБОЛЕНСКИЙ.

доктор экономических наук.

★

ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

Аграрный вопрос и национально-освободительное движение. Материалы обмена мнениями марксистов-аграрников, состоявшегося в июле—сентябре 1960 г. в Гаване и Бухаресте. Под общей редакцией А. М. Румянцева Соцэкгиз. М. 1963. 532 стр.

Журнал «Проблемы мира и социализма» ввел в практику регулярные встречи теоретиков-марксистов различных стран для обмена мнениями по животрепещущим воп-

росам современного рабочего и национально-освободительного движения. Выступления участников таких встреч издаются в виде сборников, содержащих богатейший фак-

тический материал по тому или иному вопросу и его глубокий марксистский анализ.

Перед нами — один из таких сборников. В нем собраны материалы обмена мнениями марксистов-аграрников на тему «Аграрный вопрос и национально-освободительное движение». Это одна из самых важных и самых острых проблем, с которыми сталкиваются молодые государства после свержения империалистического господства. Вокруг нее в странах Востока и Латинской Америки разворачивается напряженная политическая борьба. Отношение к этой проблеме служит пробным камнем, на котором испытывается степень революционности политических деятелей, партий, правительств.

Известно, что в Азии, Африке и Латинской Америке основную массу населения — до девяноста и более процентов — составляют крестьяне. Они главные производители материальных благ, поскольку отсталая, заторможенная в своем развитии колонизаторами экономика зиждется здесь в основном на сельском хозяйстве. В странах, расположенных в зоне тропиков, производят такие ценные сельскохозяйственные культуры, как каучук, джут, хлопок, чай, кофе, какао, кокосовый орех, арахис, ананасы, бананы... Они высоко ценятся на мировом рынке, их реализация приносит немалые доходы.

Между тем крестьяне составляют самую бесправную и самую обездоленную часть населения. Объясняется это тем, что в странах Азии, Латинской Америки, а также Северной Африки сохранилась феодальная система землепользования, при которой земля принадлежит горстке крупных землевладельцев, а основная масса крестьян лишена ее или владеет крохотными клочками «с носовой платок».

На этот счет книга содержит более чем достаточно иллюстраций. Так, в Египте до аграрной реформы двенадцати тысячам помещиков принадлежала треть обрабатываемой земли; тринадцатую процентами земель владели два миллиона мелких собственников, а несколько миллионов крестьянских семей совсем не имели собственной земли. В Ираке помещики, составляющие всего один процент населения, сосредоточили в своих руках три четверти обрабатываемой земли, в то же время восемьдесят процентов сельского населения вовсе ее лишено. В странах Латинской Америки безземельные

составляют от шестидесяти до девяноста процентов общего количества крестьян.

Отсталость, архаические методы ведения сельского хозяйства в странах Азии, Африки и Латинской Америки нередко поражают. Несколько лет назад я побывал в Египте. В знаменитой Долине Царей, в склепах, где хоронили фараонов, внимательно рассматривая цветные фрески, на которых древний крестьянин изображен в момент сельскохозяйственных работ, я был поражен сходством его примитивных орудий труда с теми, что видел на полях, путешествуя по стране. Лишь после аграрной реформы и создания кооперативов облик египетской деревни стал понемногу меняться.

В столице Ирака Багдаде есть целые районы сарифов — земляных хижин. В этих районах нет ни электрического света, ни водопровода, ни канализации. Жутко смотреть на людей, живущих в таких условиях. В большинстве своем это крестьяне, разоренные помещиками и ростовщиками. Лишенные своей земли, ничем не привязанные к своему селу, они уходят в города в поисках куска хлеба, но там их ждут лишь сарифы и случайная, низкооплачиваемая работа. Я видел отличные плотины на Тигре и обширные водохранилища, созданные для орошения полей. Но крестьянину, лишенному земли, эти ирригационные системы абсолютно ничего не давали. Выгоду от этих сооружений получали лишь владеющие землей помещики.

Не имея иных средств к существованию, безземельные и малоземельные крестьяне вынуждены идти в кабалу к помещику, арендовать у него землю. За это крестьяне отдают помещику от пятидесяти до восьмидесяти процентов плодов своего труда.

Для того, чтобы в молодых государствах развивалась промышленность, без которой невозможно достижение экономической самостоятельности и освобождение от гнета чужестранных монополий, необходимы по крайней мере два условия: емкий внутренний рынок и накопления, то есть средства для финансирования промышленного строительства. Но что представляет собой внутренний рынок, когда крестьяне, составляющие основную массу населения, живут в нищенских условиях? Товарищ из Ирака, принимавший участие в обмене мнениями, сообщил, что в его стране в 1958 году национальный доход от сельского хозяйства со-

ставил семьдесят пять миллионов дпнаров. Но более половины этой суммы было присвоено помещиками, составляющими лишь один процент населения. Что же осталось непосредственным производителям, которых более девяти десятых населения?!

Один из источников накопления средств для развивающихся государств — экспорт тропических культур. Однако львиная доля доходов от такого экспорта попадает в карманы помещиков, ведущих паразитический образ жизни. Если бы крестьянин был хозяином всех плодов своего труда, государство скупало бы у него по разумным ценам урожай и реализовало бы его на внешних рынках, используя доходы на развитие промышленности, на модернизацию и подъем сельского хозяйства. Но для этого надобно, чтобы земля принадлежала тем, кто ее обрабатывает. Так сама жизнь ставит молодые государства перед необходимостью проведения аграрных преобразований.

В рецензируемой книге подробно разбираются аграрные реформы, проводимые в Азии, Африке и Латинской Америке. Анализ показывает, что аграрные преобразования радикальны только в тех странах, где у власти стоит рабочий класс в союзе с крестьянством. В таких странах помещичье землевладение полностью ликвидируется, земля передается крестьянам без выкупа, крестьянские массы принимают активное участие в осуществлении аграрных преобразований.

Иначе обстоит дело в тех странах, где у власти национальная буржуазия. Там на аграрных реформах лежит печать непоследовательности, половинчатости. Реформы сводятся лишь к ограничению феодальной собственности, класс помещиков не ликвидируется. Стало быть, сохраняется и феодальная эксплуатация. Такой характер (при некоторых различиях) носят реформы в Индии, Пакистане, Иране, Ираке, Сирии, в ряде стран Латинской Америки. Это объясняется противоречивыми устремлениями национальной буржуазии, ее двойственностью. Экономически она заинтересована в ликвидации пережитков феодализма, препятствующих созданию национальной экономики и расширению внутреннего рынка. И в то же время она боится революционной активности масс и потому идет на компромисс с помещиками. Как удачно заметил один из участников обмена мнениями, свою задачу буржуазия видит в том, чтобы спа-

сти класс помещиков от ликвидации «снизу».

Книга убедительно показывает, что там, где у власти рабочий класс в союзе с крестьянством, аграрный вопрос снят с повестки дня, ибо он полностью разрешен в интересах крестьян, в интересах национального прогресса. В то же время национальная буржуазия повсеместно демонстрирует свою неспособность довести до конца борьбу с пережитками феодализма. А это не может не тормозить экономического развития.

Важное место в книге занимает вопрос об отношении рабочего класса и его авангарда в лице коммунистов к аграрным преобразованиям, проводимым национальной буржуазией. Совершенно очевидно, что такие преобразования абсолютно недостаточны, к тому же осуществляются они за счет крестьянства и с таким расчетом, чтобы укрепить экономические и политические позиции национальной буржуазии. В не очень отдаленные времена это обстоятельство породило у некоторых коммунистов безусловно отрицательное отношение к реформам, проводимым буржуазией. Однако сейчас мы видим, что подобный догматический подход чужд коммунистам. «Неверно было бы утверждать, — говорится в одном из выступлений, — что всякая аграрная реформа, если она не радикальна и осуществляется в рамках капиталистического строя, обязательно и при любых условиях явится мерой, не способствующей демократическому движению».

В этом выступлении совершенно правильно указывается, что, если в такой стране создан широкий национальный фронт, способный оказывать влияние на политику правительства, «решение аграрной проблемы, как и других политических, экономических и социальных вопросов, будет носить демократический характер». Обсуждение этого вопроса показывает, что поднимаемые в книге проблемы выходят за рамки чисто аграрных, в ней речь идет также о таких вопросах, как стратегия и тактика рабочего класса в национально-освободительной революции.

Одно из достоинств книги в том, что содержащиеся в ней широкие обобщения не заслоняют специфичности аграрных проблем на различных континентах и даже в странах одного и того же района. Представитель Индии сообщил в этой связи такой любопытный факт: когда коммунисты пришли к власти в штате Керала, то поняли, что еди-

ного аграрного законодательства здесь недостаточно и потому необходимо издать два закона — для различных районов штата.

Большой интерес представляет обсуждение вопроса об аграрных отношениях в Латинской Америке, где в ряде стран — в Венесуэле, Гватемале, Колумбии — действуют партизанские отряды, пользующиеся, как в свое время и на Кубе, поддержкой крестьян. Феодалные пережитки в Латинской Америке очень сильны, и вопрос об аграрных преобразованиях здесь давно назрел. Нежелание правящих классов считаться с этим чревато серьезными последствиями. Характерно, что новая программа помощи Соединенных Штатов странам Латинской Америки, известная под названием «Союз ради прогресса», ставит условием предоставления помощи проведение аграрных преобразований. Легко, конечно, представить себе, что это за преобразования. В книге разбирается, например, реформа в Венесуэле, где и намека нет на ликвидацию латифундий (крупных помещичьих владений). Но дело не только в этом. В Латинской Америке наряду с латифундиями огромные участки земли захвачены иностранными, главным образом североамериканскими, компаниями. Так, в Аргентине один из филиалов нефтяного спрута «Стандард ойл» владеет территорией в два миллиона гектаров! Печальную известность приобрела североамериканская монополия «Юнайтед фрут компани», владеющая в странах Центральной Америки огромными плантациями.

Стало быть, в Латинской Америке, как убедительно показано в книге, аграрные преобразования должны затронуть не только владения местных помещиков, но и владения иностранных компаний. Для стран Латинской Америки решение аграрной про-

блемы — исходная точка резолюции, ибо этот вопрос теснейшим образом связан с антиимпериалистическим движением. Борьба за землю здесь является одновременно борьбой за национальное освобождение.

Народы Латинской Америки и до кубинской революции были знакомы с аграрными реформами, но то были медленные и болезненные изменения аграрных отношений, которые, не разрушая архаичной латифундистской структуры, способствовали развитию капитализма. Они, конечно, не могли разрешить аграрной проблемы в интересах крестьян. Поэтому-то огромное значение для Латинской Америки имеет опыт революционной Кубы. «Сама постановка аграрного вопроса в Латинской Америке, — подчеркнул на обмене мнениями Р. Арисменди (Уругвай), — получила иной характер после победы и поступательного развития кубинской революции. Впервые революционный метод, цель которого — радикальная аграрная реформа, прodelывает свой победоносный опыт». Теперь уже народы Латинской Америки не удовлетворятся куцыми реформами в духе тех, которые им предлагает «Союз ради прогресса». По примеру Кубы они борются не только за ликвидацию латифундий, но и за экспроприацию земли, захваченной иностранными монополиями.

Не все вопросы, поставленные на обмене мнениями, а следовательно, и в книге, получили полное освещение, часть из них имеет дискуссионный характер и нуждается в дальнейшей разработке. Тем не менее собранные в книге материалы дискуссии представляют собой шаг вперед в изучении такой сложной проблемы, как аграрный вопрос и национально-освободительное движение.

Ю. БОЧКАРЕВ.

★

ДОКУМЕНТЫ ВЕЛИКОЙ ДРУЖБЫ

Народы СССР и Кубы навеки вместе. Документы советско-кубинской дружбы. Издательство «Правда». М. 1963. 448 стр.
Вива Куба! Визит Фиделя Кастро Рус в Советский Союз. Издательство «Правда». М. 1963. 128 стр.

Когда Фидель Кастро вернулся на родину после поездки в нашу страну и выступал перед соотечественниками по радио и телевидению, он, говоря об оперативности советских журналистов, сказал так: «К нашему отъезду они уже издали книгу на

испанском и русском языках, содержащую репортаж обо всей поездке, с фотографиями, выступлениями, документами, словом, все полностью... Они выпустили эту книгу чрезвычайно быстро, и она была хорошо сделана».

Книга эта называется «Вива Куба!». В ней собраны очерки и корреспонденции журналистов «Правды» и ТАСС о пребывании в Советском Союзе Фиделя Кастро. Она пример не только журналистской, но и издательской оперативности. Подписанная в печать 25 мая, она включает документы и корреспонденции от 23 мая!

Отлично оформленная книга связана с другим изданием, которое вышло раньше, в самые первые дни после приезда Фиделя Кастро в Советский Союз. Речь идет о документах советско-кубинской дружбы. Книга включает в себя важные политические документы нескольких последних лет, открывается же она первыми газетными сообщениями о приезде в Советский Союз героя и вождя кубинской революции. И снова интервал между датами, которые стоят под этими сообщениями, и днем подписания книги в свет предельно краток. Добрые слова Фиделя об оперативности наших журналистов и издателей могут быть отнесены и к этой книге.

Словом, о них хочется говорить вместе. Тем более что они сами всем своим видом — любовным оформлением, превосходным качеством печати, отличным подбором иллюстраций дают еще одно свидетельство теплоты дружеских чувств, которые испытывает советский народ к народу Кубы. Когда рассматриваешь эти книги, чувствуешь, сколько души вложили в их печатание наборщики и верстальщики, переплетчики и цинкографы — все те, кто был причастен к рождению этих книг. Мне кажется, что имена печатников, трудившихся над изданием, заслуживали того, чтобы быть упомянутыми рядом с составителями, журналистами и фотокорреспондентами.

В сборнике «Народы СССР и Кубы навеки вместе» собраны официальные заявления Советского и Кубинского правительств, речи Н. С. Хрущева и Фиделя Кастро, сообщения информационных агентств, интервью и другие документы, которые позволяют день за днем и шаг за шагом проследить всю историю развития отношений между нашими странами за последние годы. События эти происходили на наших глазах и на нашей памяти. Вчера еще существовавшие на листах свежих газет как только что полученная редакцией телеграмма, они тут же обретали значение исторических фактов и документов. И это особенно ясно чувству-

ешь, когда перечитываешь их вместе и подряд, собранными в этой книге.

Один из документов в этой книге особенно привлек мое внимание. Это — послание Н. С. Хрущева Фиделю Кастро ко второй годовщине со дня победы кубинской революции. В эти первые дни января 1961 года группа советских художников, ученых, педагогов, литераторов летела на Кубу. Мне посчастливилось быть в этой группе. Тогда еще не было прямых самолетных рейсов Москва — Гавана. Летели мы до Кубы со многими посадками и тремя пересадками с самолета на самолет по сложному маршруту: Москва — Прага — Амстердам — Франкфурт-на-Майне — Цюрих — Лиссабон — остров Саль — остров Кюрасао — Гавана. Началось это воздушное путешествие в капун Нового года и продолжалось четыре дня. Не помню уж, в каком из аэропортов в самолет принесли газеты, говорившие об угрожающей позиции правительства США, которое разорвало дипломатические отношения с Кубой. Газетные сообщения предвещали неминуемую высадку контрреволюционного десанта на Кубу. Но зато очень ясно помню, как в аэропорту Кюрасао (голландская авиакомпания чутко реагировала на все нюансы газетных сообщений) пассажиров из стран социалистического лагеря, которые летели на Кубу, и пассажиров из капиталистических стран, которые летели через Гавану в Майами, посадили в разные самолеты.

Наш спутник по самолету, инженер из Чехословакии, рассказывал нам, что только что слышал по радио комментарии к годоводному посланию Н. С. Хрущева.

— В послании говорится, что кубинский народ может рассчитывать на солидарность и поддержку советского народа. Всегда может рассчитывать, сказано там, — возбужденно повторил он нам радиосообщение.

Через несколько часов мы увидели в Гаване текст этого послания на страницах всех кубинских газет, услышали его повторенным снова и снова по радио и телевидению.

О нем говорили солдаты артиллерийской батареи, которая в этот самый день заняла позицию на набережной Малекон, говорили на заводе, показывая металл, полученный из Советского Союза, говорили ночью в маленьком городке Артемиса, где мы оказались проездом. «Кубинский народ может всегда рассчитывать на солидарность и поддержку советского народа! Мы эт:

слышали сами»,—повторяли жители Артемисы. Сколько раз за минувшие с тех пор месяцы и годы подтвердилась истинность этих слов!

А потом—осенние дни 1962 года, которые вошли в нашу память как дни опасного кризиса в Карибском море. Каждая строчка телеграфных сообщений, связанных с тем, что происходит у берегов Кубы, читалась немедленно, наполняя сердца то тревогой, то надеждой. Случилось так, что моим друзьям и мне приходилось читать и слушать эти сообщения далеко от родины, в маленьких городах Северной Африки, по которым мы путешествовали. Никогда не забуду вечер в тунисском городе Габесе, где радиопередачу из Советского Союза на арабском языке нам переводил на французский язык хозяин маленькой лавки ковров. Перевод его был неполон и сбивчив, но и из того, что сумел он сказать, стало ясно: Советский Союз снова подтвердил, что он был, есть и будет с революционной Кубой.

И когда я нахожу сейчас в книге, о которой идет речь, документы, датированные теми недавними днями, перед глазами встает вечер в глухом городке Северной Африки. Каждый из нас почувствовал тогда, что нити, связывающие СССР и Кубу, Москву и Гавану, проходят через его сердце, через его судьбу. Документы истории советско-кубинской дружбы советский человек читает как нечто, ставшее частью его собственной биографии.

Когда раскрываешь вторую книгу («Вива Куба!»), перед глазами, как на киноэкране, увлекательной и прекрасной лентой разворачивается рассказ о радостных днях пребывания Фиделя Кастро в Советском Союзе.

В этой книге гармонично сочетаются все средства газетной информации, ее открывают великолепные фотографии: Н. С. Хрущев и Фидель Кастро на трибуне Мавзолея

В. И. Ленина и огромная—на книжный разворот—панорама Красной площади в часы этого митинга; краткие газетные телеграммы сменяются подробными и интересными репортажами. Фидель на борту ТУ-114, Фидель в Мурманске, Фидель на Красной площади, отклики на Кубе, телеграммы советских людей, которые приглашают Фиделя в гости, лирический очерк Бориса Полевого «Гавана—площадь Революции, Москва—Красная площадь», материалы путешествия Фиделя Кастро по Советскому Союзу. В книге много превосходных фотоснимков, запечатлевших пристальность, с которой всматривался Фидель во все, что он видел на нашей земле, его любознательность и веселость.

Когда читаешь книгу, всматриваешься в снимки—ощущаешь то, что хорошо известно, но что всегда радостно заново почувствовать: огромность и многообразие родной страны. За те недели, что наши кубинские друзья путешествовали по Советскому Союзу, они пересекли несколько климатических поясов—ощущали и арктический ветер, и степной зной, и лесную прохладу, видели наши города и села, наши горы, озера, моря. Читаешь эту книгу и как бы видишь собственную страну глазами пытливого и сердечного друга.

А когда перелистываешь последнюю страницу, хочется прочесть еще один документ, который представляет собой как бы последнюю главу книги. Это выступление Фиделя Кастро по радио и телевидению Кубы, в котором он рассказывал о своем путешествии по Советскому Союзу.

Обе эти книги, несомненно, привлекут внимание всех, кто интересуется новейшей историей Кубы, а интерес к этой стране за последние годы стал поистине всеобщим.

Сергей ЛЬВОВ.

★

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

И. Аким ушкин. Приматы моря. Географгиз. М. 1963. 158 стр.

Море всегда скрывало от человека свои тайны. Многие из них оно скрывает и поныне. Правда, в течение нескольких тысячелетий у отдельных народов существовало передаваемое из поколения в поколение искусство ныряния на морское дно за жемчужом, кораллами, туалетными губками, устри-

цами... Но все это—на малой глубине, так сказать, не переводя дыхания. Изобретать водолазные приборы тоже начали очень давно, и, возможно, ученик Аристотеля Александр Македонский не первым испытывал для опускания под поверхность моря специальные аппараты. История водолазных

приборов богата различными конструкциями, но все они помогали людям опускаться лишь на небольшую глубину. И только после того, как были применены сжатый воздух и герметические камеры, толща вод мирового океана стала доступна для непосредственного наблюдения человеческим глазом и приборами электроники и акустики. Немногим более ста лет тому назад началась разработка методов исследования глубин океанов и морей при помощи приборов. Только тридцать лет назад американец Биб опустился в батискафе у Бермудских островов на глубину около километра. После этого понадобилось еще двадцать шесть лет, чтобы Жак Пиккар и Дон Уолш смогли опустить батискаф на одиннадцатикилометровую глубину Марианской впадины. И все же многие очень важные явления, происходящие в глубинах моря, остаются малоизученными. К ним относится, в частности, все то, что связано с биологическими особенностями и массовым распространением в морях и океанах головоногих моллюсков. Все остальные моллюски (не головоногие), скользящие в своем движении покрывающей их тело тяжелой раковинной, обречены на медленное (улиты едет, когда-то будет) передвижение по дну, а то и внутри грунта или даже на неподвижное существование. Только головоногие моллюски в длительном эволюционном процессе своего развития освободились от этого яра и стали легко подвижными организмами, а некоторые из них уподобились в своих повадках рыбам. Очень интересна их геологическая история. В настоящее время известно лишь около шестисот видов головоногих моллюсков, а в палеозое и мезозое существовало много тысяч их разновидностей.

Некоторые ученые считают группу головоногих моллюсков вымирающей. Но, с другой стороны, несомненно (в чем нас убеждает и книга И. Акимушкина), что это вполне преуспевающая группа. Вымирание больших групп животных — пока неразрешенная загадка, но еще большая загадка — благоденствие остатков давно вымерших групп, какими являются и ныне живущие головоногие моллюски. Возможно, что в борьбе за существование более сильными их конкурентами оказались рыбы, получившие массовое развитие в море во вторую половину мезозоя. Но почему же тогда ныне существующие шестьсот видов кальмаров, осьминогов и каракатиц не только не выми-

рают, а, наоборот, как это показано в рецензируемой книге, стали наиболее массовой и активной группой морской фауны после рыб и морских млекопитающих? Возможно, что от вымирания их спасли те замечательные особенности их биологии и высокий уровень нервной деятельности, о котором в такой увлекательной форме рассказывает автор, по справедливости называющий головоногих моллюсков «приматами моря».

Хищность, быстрота и реактивность движения у кальмаров, замечательная способность маскироваться и скрываться от врага у спрутов и осьминогов, высокоразвитые органы зрения и обоняния — всеми этими качествами головоногие моллюски наделены в более высокой степени, чем их конкуренты — рыбы. Это, вероятно, и спасло их от вымирания, несмотря на то, что их во множестве истребляют зубастые киты, особенно кашалоты (для которых кальмары — основная пища), дельфины, тюлени, морские котики и многие рыбы: акулы, тунцы и даже треска. В большом количестве их поедают и некоторые птицы — буревестники, а также пингвины. Высокие вкусовые качества головоногих моллюсков оценил и человек, с древнейших времен использующий их в пищу. И. Акимушкин приводит очень интересную таблицу мирового промысла, из которой видно, что в год вылавливается 830 780 тонн головоногих моллюсков. И это, конечно, далеко не полные сведения. Несомненно, что морские животные истребляют головоногих моллюсков не менее чем в сто раз больше, чем человек. Однако уничтожаемое количество головоногих моллюсков не составляет более четвертой части их наличных запасов в море. Этот совершенно приблизительный расчет показывает, что общее количество их в морях и океанах должно составлять несколько сот миллионов тонн.

Небезынтересно заметить, что головоногие моллюски — одни из самых крупных морских животных и самые крупные беспозвоночные животные не только в море, но и на суше. Длина некоторых из них (правда, вместе со щупальцами) достигает девятнадцати метров (а самые маленькие головоногие едва достигают размеров горошины). Необычайный интерес головоногие моллюски вызывают не только этим, но и своими замечательными биологическими особенностями: умением защищаться и нападать, свечением, способностью менять окраску...

Автор, несомненно, обладает даром увле-

кательного повествования, и можно с уверенностью сказать, что его книгу с интересом прочтут и школьник, и почтенный ученый. Даже излагая некоторые сведения об анатомии головоногих моллюсков, И. Акимускин делает это не сухим академическим языком, а в такой форме, которая не только не побудит читателя зевнуть и закрыть книгу, но, скорее, привлечет к дальнейшему чтению. Разве не заинтересуют вас такие заголовки: «Голубая кровь и три сердца», «Мы носим в крови частичку моря», «Глаза, которые видят тепло», «Реактивный двигатель»... Автор — большой знаток головоногих — умело выбирает только те детали анатомии, без которых трудно обойтись в дальнейшем повествовании. К сожалению, в своем стремлении сделать изложение наиболее понятным читателю он допускает ряд фактических неточностей. Все-таки не стоило пульсирующую вакуоль простейших называть «блуждающим сердцем» (стр. 12). Функция их совершенно различна, и то, что и вакуоль и сердце ритмически сокращаются, еще не дает основания их идентифицировать — это, пожалуй, упрощенчество. Также неправильно кровеносную систему высших червей связывать происхождением с выделительной системой низших червей (стр. 13). Называть эту последнюю кровеносными сосудами ни в каком случае нельзя. В кровеносную систему, тем более высших позвоночных, она никогда не превращалась. И в кровь морская вода также никогда не превращалась. Все это поэтический вымысел.

Неверно, что «осьминожий глаз... ничем не отличается от человеческого» (стр. 14). И по строению и по развитию эти два органа совершенно различны. Конечно, оба они осуществляют одну и ту же оптическую функцию, но это только удивительный пример независимого развития функционально сходных структур, и тема эта более увлекательна, чем ошибочное утверждение, что они ничем не отличаются друг от друга.

Вот, пожалуй, и все мои критические замечания. Разумеется, я отнюдь не хотел умалить ими достоинства увлекательного рассказа о замечательных биологических особенностях головоногих моллюсков. Много любопытного узнает читатель из рассказа о том, как самка осьминога в сложенной корзинкой щупальцах вынашивает икру, как она, отказываясь от пищи, оберегает ее от врагов, любовно оmyвает свежей водой, а когда выведутся малыши.

строит каменное гнездо. В защите от врагов осьминоги пользуются любыми убежищами — расщелинами в скале, затонувшими античными амфорами, или просто прикрываются камнем.

Осьминоги поражают наблюдателя необыкновенной способностью менять окраску. Знаменитый хамелеон не идет с ними ни в какое сравнение. В их коже рассеяны многочисленные разноцветные хроматофоры, способные то сжиматься в комочек, то сильно растягиваться. Весь секрет заключается в том, какого цвета хроматофоры сжаты, а какие растянуты, отчего и зависит общая окраска. Моллюск играет на своих хроматофорах, как на клавиатуре, переливаясь всеми цветами радуги. Изменчивая окраска помогает ему и маскироваться под окружающий фон, и отпугивать врага неожиданно вспыхивающей окраской. Может быть, она служит и для каких-нибудь других целей.

«Живыми ракетами» называет И. Акимускин головоногих моллюсков. Правда, осьминоги передвигаются по грунту на своих щупальцах-руках, кальмары имеют по бокам тела плавники, но основной способ движения головоногих моллюсков — реактивный. Автор подробно описывает его: из «воронки», сообщающейся с мантийной полостью, с силой выбрасывается струя воды, и моллюск устремляется в обратном направлении. А так как воронка может поворачиваться, то и движение происходит и назад и вперед. Если вы будете ночью следить за передвижением обитателей моря, привлеченных к кораблю светом опущенной к воде лампы, то увидите какие-то существа, стрелой пронесшие мимо борта. Это кальмары.

Замечательное и единственное среди морских животных свойство головоногих моллюсков — их способность выпускать для защиты чернильное облако и скрываться за «дымовой завесой». Интересно, что чернильная струя первоначально сохраняет форму головоногого, обманывая этим врага.

И еще одним оригинальным свойством обладают многие представители головоногих, особенно глубоководные кальмары: они светятся. Либо это светящаяся слизь, выбрасываемая в воду и вспыхивающая ярким светом, либо светящиеся спокойным светом органы — фотофоры, разбросанные по телу моллюска иногда в количестве до двухсот. Это очень сложные аппараты — с рефлекторами, цветными экранами из пигментных

клеток, линзой, темной шторой и диафрагмой из клеток хроматофоров. Иногда кольцо фотофорных органов окружает глаз, как бриллианты окружают центральный камень на перстне. Биолюминесценция служит головоногим для разных целей: для освещения, для защиты, для приманки добычи, для привлечения особи другого пола.

Крупные размеры, мощные присоски, хищный образ жизни создали головоногим не вполне заслуженную дурную славу. Мифология, народный эпос и фантазия моряков и рыбаков приписали головоногим моллюскам необычайные размеры, огромную силу, сильные ядовитые свойства... «Воспели» их опасность для человека также Гюго и Жюль Верн. Много интересных сказаний и легенд

о головоногих моллюсках — потопителях кораблей — приводится и в рецензируемой книге. Автор посвящает также несколько страниц рассказу о том, как человек ловит и использует головоногих моллюсков, для каких целей служат получаемые из них продукты — мясо, «кость» каракатицы, чернила-тушь. В заключение он сообщает о некоторых экспериментах в области нервной деятельности этих «приматов моря».

Можно смело утверждать, что наша научно-популярная литература пополнилась очень интересной, увлекательно написанной книгой о мало известной стороне жизни моря.

Л. ЗЕНКЕВИЧ,

член-корреспондент

Академии наук СССР.

★

МНОГО ЛИ МЫ ЗНАЕМ О ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ?

Карэн Хачатуров. Уругвай сегодня. Издательство Института международных отношений. М. 1962. 176 стр.

В. Листов. На краю света. Путевые очерки. Профиздат. М. 1963. 128 стр.

А. Аглин. Будни и битвы Бразилии. Госполитиздат. М. 1963. 128 стр.

Интерес советских людей к двадцати странам Центральной и Южной Америки огромен. Он возрос еще более после того, как одна из самых маленьких и наиболее угнетаемых латиноамериканских стран — Куба — встала на путь революции и строительства социализма. Чтобы удовлетворить этот интерес, Союз обществ дружбы создал «Советскую ассоциацию дружбы и культурного сотрудничества со странами Латинской Америки», специальные комиссии которой превратились в своеобразные центры, освещающие события, происходящие в латиноамериканских странах.

Среди членов этой Ассоциации можно встретить не только людей, работающих в специальной прессе и научно-исследовательских институтах — специалистов по Латинской Америке, но и агрономов из подмосковного совхоза, и рабочих московского мясокомбината... Коллективными членами Ассоциации стали Братская ГЭС, несколько средних школ Москвы. В любом городе Советского Союза, на каждом собрании, заседании, митинге, посвященном событиям в Латинской Америке, вы увидите сотни заинтересованных лиц, услышите тысячи вопросов.

Интерес советских людей к тому, что

происходит в «бурлящем котле с американской крышкой», как говорят о своих странах сами латиноамериканцы, вызван героической борьбой, которую ведут народы латиноамериканских стран против диктаторских режимов и финансового закабаления своих стран иностранным капиталом, в особенности американским.

В девятнадцати странах Латинской Америки в наши дни творится произвол, сравнимый по жестокости лишь с тем, что совершали средневековые мракобесы и гитлеровские палачи. Тридцать пять миллионов индейцев, населяющих континент, неграмотны, лишены всяких прав, вымирают от голода и болезней. В Перу, например, сотни тысяч индейцев загнаны в горы на высоту более четырех тысяч метров. Правительство Доминиканской республики изгоняет из страны всех либерально настроенных людей, в том числе тех, кто сидел в тюрьмах при диктаторе Трухильо. В Панаме крупные помещики при поддержке властей огораживают колючей проволокой целые деревни и объявляют их своей собственностью. В Пуэрто-Рико более пятнадцать лет находится в тюрьме Кармен Мария Перес — одна из руководительниц молодежи Национального комитета борьбы за независимость. Ей осталось провести в заклю-

чении еще столько же. В соседней с ней камере находится Лола Леброн, которую суд, по требованию американского прокурора, приговорил к семидесяти годам тюрьмы за то, что она требовала освобождения своего крохотного государства от двадцати пяти американских военных баз.

Достаточное ли представление мы имеем об огромном размахе национально-освободительного антиимпериалистического движения, охватившего весь этот континент? Хорошо ли мы знаем литературу, искусство, музыку, живопись латиноамериканских стран? Неиссякаемая сокровищница мексиканской и бразильской народной музыки, замечательный опыт архитектуры и живописи этих двух стран, индейский фольклор и обличительная, глубоко социальная литература Венесуэлы и Эквадора — это все еще очень мало знакомо нам.

Вот три книги, посвященные Латинской Америке и рассчитанные на широкого читателя, которые мне удалось приобрести в последнее время в московских магазинах.

Автор книги «Уругвай сегодня» Карэн Хачатуров — журналист-международник. Он провел в Уругвае несколько лет и прекрасно знает особенности этой страны, политические проблемы, противоречивость ее внешней политики. Он тщательно подбирал сведения и факты. Книга проникнута и личным отношением автора к виденному, его симпатиями и негодованием, уважением и насмешкой.

Уругвай — очень своеобразная страна. Она гордится своим «демократизмом», «стабильностью», отсутствием многих проблем, раздражающих ее соседей — Бразилию, Аргентину, Парагвай. Автору этой рецензии повезло побывать там еще в 1944 году, когда в страну была направлена первая советская дипломатическая миссия. Уругвай и тогда всячески демонстрировал свою «стабильность». Но уже через месяц — два знакомство с рабочим районом Серро убедило нас в том, что «благополучие» Уругвая — лишь благопристойная маска. Хачатуров убедительно показывает, что эта маска, слинявшая и потрескавшаяся, все еще продолжает прикрывать морщины и язвы. Внешне спокойный ритм жизни, отсутствие кровавых переворотов, уличных боев давали право буржуазной прессе утверждать, что Уругвай — страна-идеал, образец безмятежных отношений между собственниками и тружениками. Яркими при-

мерами из жизни страны, свидетельствами простых людей и видных деятелей Уругвая Хачатуров убеждает, что «мирность» и «демократичность» Уругвая — обычный камуфляж буржуазной пропаганды, прикрывающий жестокие классовые схватки между буржуазией и рабочим классом и борьбу за власть среди правящей верхушки.

Книга «Уругвай сегодня» состоит из очерков о самых разнообразных аспектах экономической и духовной жизни страны. Это дало автору возможность перемежать очерки о политических интригах с зарисовками карнавала, рассказом о происхождении тафго и описанием конноспортивных состязаний «родео», а также многих других «экзотических» особенностей страны.

Один из наиболее удачных очерков, на мой взгляд, — «Красные» и «белые». Этот рассказ об изощренных приемах и демагогических лозунгах правительственных группировок при выборах звучит как памфлет на буржуазное государство вообще.

А читая о таких вещах, как конфликты на бразильско-уругвайской границе, повторяющие ситуации из фильма «Закон есть закон», или о махинациях с «сердечной сывороткой», чувствуешь, что так может написать лишь человек, собственными глазами видевший все это.

С волнением читаются страницы, где автор рассказывает о горячей поддержке простым народом Уругвая кубинской революции, о симпатиях этого народа к Советскому Союзу.

Книга убедительно подтверждает непреложную истину нашего времени: в любом, даже самом благообразном, буржуазном государстве непрерывно идет внутренняя борьба, происходит процесс созревания политического сознания не только в среде рабочего класса, но и крестьянства; усиливаются антиимпериалистические, антиамериканские настроения, ширится безудержное стремление к достижению полной национальной независимости и установлению подлинно демократического строя.

Книга журналиста В. Листова «На краю света» рассказывает о Чили. Автор ее тоже хорошо знает страну, о которой пишет, но в основном он рассказывает о деятельности чилийских профсоюзов. Через эту призму рассматривается и жизнь тружущихся, и происходящие в стране конфликты. Автор передает впечатления о многочисленных

встречах с деятелями рабочего движения Чили, о трудностях профсоюзной работы и ее успехах, об условиях труда и влиянии иностранного капитала на развитие промышленности. Любопытен очерк о профсоюзе «свободных предпринимателей», а попросту говоря — торговцев барахлом. Очень тепло рассказано в очерке «Обыкновенная биография» о металлурге из Консепсьона, индейце Амаро Санчесе, который стал руководителем большого профсоюзного центра, убежденным и стойким коммунистом.

В книге много интересных деталей. Ни в одном справочнике не узнаешь о «палочке», с помощью которой шахтеры выезжают на тросах из шахты, и той трагической роли, которую играют эти тросы в жизни шахтеров. Интересен рассказ о том, как нередко в Чили полицейские участки превращаются в приемный покой родильного дома, а полицейские — в акушеров (в больнице рожать дорого, а дома — страшно).

Со знанием дела рассказано об индейском населении, о трудностях проведения аграрной реформы в Чили, о нечеловеческих условиях жизни сельскохозяйственных батраков.

Однако «профсоюзный аспект», видимо предложенный издательством, очень ограничил круг авторских впечатлений.

Бразилия — самая большая страна Латинской Америки и, пожалуй, самая противоречивая со многих точек зрения. Противоречиям и проблемам этого «зеленого гиганта» посвящена книга А. Аглина «Будни и битвы Бразилии». Написана она в отличие от предыдущих в духе популярно-справочном. Конечно, и такие книги имеют все права на существование, хотя и меньше привлекают массового читателя.

Автор сообщает много сведений об общественно-политической жизни страны, почерпнутых из бразильских источников. Красноречив, например, отрывок из журна-

ла «Ревиста бразилиенсе» — описание одного дня представителя мелкой буржуазии Бразилии. Выясняется, что не только рабочий всю свою жизнь способствует увеличению иностранных капиталов, вложенных в Бразилию. «Бразилино» — символ среднего сословия — с самого раннего утра также повышает дивиденды иностранных компаний. В коротеньком эпизоде, как в фокусе, отражается одна из самых жгучих проблем Бразилии: огромные возможности для развития национальной промышленности — и засилье иностранного капитала, путившего глубокие корни в самых разнообразных отраслях экономики страны. Большой интерес представляют главы об американско-бразильских отношениях. Читателю становится ясно, кто организует правительственные кризисы в Бразилии и вообще в Латинской Америке. Говоря о движении народной солидарности с революционной Кубой, о презрении каждого бразильца к «янки», автор свидетельствует, что народ Бразилии (как и народы других латиноамериканских стран) прекрасно знает, кто подлинный друг его и кто лишь использует личину друга.

Но никогда жизнь народа не будет представляться полнее, если нет рассказа о его культуре. Книга А. Аглина страдает именно этим недостатком. Как ни странно, литературе, искусству, архитектуре автор отводит всего лишь полторы страницы.

У каждого, кто прочитает эти три книги, непременно возникает вопрос: а что происходит в других странах Латинской Америки? Но читатель пока не найдет в книжных магазинах очерков ни об Аргентине, ни о Венесуэле, ни о Мексике, ни о Колумбии, хотя там побывали и делегации наших общественных деятелей, и коллективы артистов. А ведь вполне естественно предположить, что среди них есть люди пишущие.

Л. НОВИКОВА.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

А. П. КОСИЦЫН. Государство всего народа. «Советская Россия». М. 1963. 180 стр. Цена 23 к.

В этой книжке на большом фактическом материале показано, как осуществлялось у нас перерастание государства диктатуры пролетариата в общенародное государство. В ней рассказывается о сущности и функциях Советского государства в современных условиях и путях его дальнейшего развития — к коммунистическому общественному самоуправлению.

Все большее число трудящихся привлекается к управлению государственным аппаратом, к руководству хозяйственным и культурным строительством. «Всенародное государство, — говорит Н. С. Хрущев, — порождено жизнью, и оно выражает нашу линию в политической организации общества — всемерное развитие демократии».

Важнейшие теоретические положения автор излагает не отвлеченно, а в тесной связи с жизнью, с практикой коммунистического строительства. На конкретных примерах, взятых из практики работы государственных органов, он показывает возрастание роли Советов, в составе которых около двух миллионов депутатов, а также массовых общественных организаций трудящихся — профсоюзов, комсомола, кооперации, различных добровольных обществ, насчитывающих более ста миллионов человек. Постепенно общественным организациям передается ряд функций, выполнявшихся ранее государственными органами.

Особое внимание уделено в книге рассмотрению руководящей и направляющей роли Коммунистической партии Советского Союза. Чем шире советская демократия, чем многообразнее формы ее проявления, тем больше возрастает роль КПСС, объединяющей и направляющей в интересах всего народа все проявления самостоятельности и инициативы трудящихся.

Партия ведет последовательную линию на то, чтобы демократия проникла буквально во все клеточки нашего общества, чтобы ленинские демократические принципы в применении государством и производством неуклонно развивались и углублялись.

Это хорошо показано в небольшой, но содержательной книжке А. П. Косицына.

М. Шафир.

В. КОНОВАЛОВ. Подвиг «Алмаза». Одесское книжное издательство. 1963. 259 стр. Цена 35 к.

Незабываемым страницам революционной борьбы на юге нашей страны, в Одессе, посвящена эта книга.

Свой первый подвиг славный экипаж крейсера «Алмаз» совершил в тяжелом Цусимском сражении. В. И. Ленин в статье «Разгром», разоблачая позорную политику царского самодержавия, подчеркивал, что из всей огромной русской эскадры спасся и прибыл во Владивосток один «Алмаз».

В январе 1906 года «Алмаз» прибыл в Кронштадт и сразу попал в водоворот революционных событий. На корабле действовала большевистская подпольная группа во главе с кочегаром Петром Бородиным. Традиции революционной Балтики «Алмаз» принес на Черное море, куда он был переведен в 1911 году.

В центре внимания автора — бурные события семнадцатого года, героическая борьба моряков Черноморья за установление советской власти. В конце апреля ЦК направил из Петрограда в Севастополь группу матросов-большевиков. Перед отъездом балтийцы встретились с В. И. Лениным и Я. М. Свердловым. На «Алмаз» попал машинист крейсера «Аврора» Михаил Аркушенко. Дух «Авроры» витал над «Алмазом». На корабле был организован митинг, на котором обсуждалась статья В. И. Ленина «О задачах пролетариата в данной революции» и принято приветствие Владимиру Ильичу. «Алмаз» стал опорой большевистской организации Одессы, на корабле помещался исполком Совета матросских депутатов и Революционный трибунал.

В решающие дни боев за установление советской власти в Одессе в январе 1918 года плечом к плечу с отрядами рабочих Красной гвардии героически сражались на суше моряки «Алмаза», «Синопа», «Ростислава» и других революционных кораблей. В составе экипажей оставались те, кто был необходим для несения вахты и обслуживания орудий. Военные корабли взяли на прицел гайдамацкие «курени» и юнкерское училище — оплот контрреволюции. Оперативный штаб по руководству восстанием находился на «Алмазе».

Исключительное бесстрашие и отвагу проявили алмазовцы в уличных боях. Они

первые ворвались в район вокзала, где происходили особенно упорные бои.

Книга о славном крейсере «Алмаз», орудия которого возвестили победу Октября в Одессе, написана на основании большого фактического материала. Автор использовал документы различных архивов, воспоминания, прессу. Книга написана живо и хорошо иллюстрирована.

С. Магазинер,
кандидат исторических наук.

★

ДАЙСОН И ШАРЛОТТА КАРТЕР. Будущее свободы. Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1963. 300 стр. Цена 56 к.

Авторы книги — канадцы. Они хорошо знают также жизнь Соединенных Штатов Америки. Три поездки в Советский Союз, множество встреч с нашими людьми, долголетнее, вдумчивое изучение нашей действительности дали им неисчерпаемый материал для анализа и сравнений.

По убеждению Картеров, абстрактная свобода личности, о которой так много пишут буржуазные публицисты, не может иметь серьезного значения, если условия жизни народа не позволяют превращать ее в реальную свободу для каждого. Только в странах социализма свобода становится реальностью для всего народа. В доказательном, оригинальном по форме исследовании фактических свобод в двух мирах — высокая идейная и познавательная ценность книги.

Знакомясь с работой Картеров, ловишь себя на мысли, что наши представления о повседневной жизни человека на Западе несколько сужены. Скажем, мы достаточно осведомлены о том, что такое пресловутая свобода печати в США или Канаде; многие читатели могли бы сами расширить и с полным знанием дела дополнить главу книги, названную: «Свобода иметь любой цвет кожи». Однако куда менее привычен и знаком нам круг понятий и фактов, объединенных главами: «Свобода от рекламы», «Свобода от преждевременной смерти», «Свобода от душевных расстройств», «Свобода от благотворительности»...

Реклама? Тысячекратно описанные мельтешищие огни? Назойливость, которую турист иногда все же склонен амнистировать ради остроумной выдумки рекламных мастеров? Да, это одна ее сторона. А другая — в ошеломляющих экономических подсчетах: рекламные дельцы ежедневно забирают в Северной Америке из народного кошелька тридцать миллионов долларов. В лучшем случае при этом покупателю навязывают вещи, в которых он не нуждается. В худшем его обманывают дважды: он покупает скверные товары и сам оплачивает их жутьяническую рекламу. Он не свободен и не может освободиться от оплаты рекламы: ее чудовищная стоимость входит в цены товаров. Тридцать миллионов долларов в день!

Книга написана предельно сжато, местами почти конспективно. В ней хорошо сплавлены воедино репортаж, записи бесед, газетная хроника, извлечения из статистических таблиц и судебных протоколов, отрывки из речей государственных деятелей и статей социологов; факты, только факты как опора для выводов!

Может быть, особенно придиричивый читатель найдет у канадцев частные, не столь уж существенные неточности при описании некоторых сторон жизни в нашей стране. Это, пожалуй, естественно для иностранцев, хотя бы и трижды посетивших Советский Союз. Но в целом, право, стоило бы и некоторым нашим авторам поучиться у Картеров уменью широко охватить явления действительности той или иной страны, показать их истинный социальный смысл!

Г. К.

★

З. СЕИДМАМЕДОВА. Записки летчицы. Азербайджанское государственное издательство. Баку. 1963. 96 стр. Цена 10 к.

Это было 8 марта 1960 года. В Кремле был устроен большой прием по случаю пятидесятилетия Международного женского дня. Во время приема министр культуры СССР Е. А. Фурцева поднялась и сказала: «Товарищи женщины! Давайте поприветствуем одну из представительниц Советского Азербайджана, летчицу, участницу Отечественной войны Зулейху Сеидмамедову. Она была штурманом женского авиаполка, имеет на своем счету более сорока боевых вылетов. А теперь товарищ Сеидмамедова — министр, государственный деятель своей республики...»

За этими несколькими словами крылась большая и замечательная жизнь женщины Советского Востока, о которой теперь она сама рассказала в книжке «Записки летчицы».

Ее матери с десяти лет закрыли лицо непроницаемой чадрой. Такая же участь бесправной рабыни в доме мужа ожидала бы и Зулейху. Но Великий Октябрь в корне изменил судьбу женщин Востока, и совсем иначе сложилась жизнь не только девочки, но и ее матери. Мина Алескеровна одной из первых женщин Азербайджана скинула с себя чадру и села за парту в вечерней школе, а ее маленькая дочь ходила в дневную школу и носила красный пионерский галстук. Зулейха Сеидмамедова уже была слушательницей Военно-воздушной академии, когда ее мать кончала медицинский институт.

Просто и увлекательно рассказывает Сеидмамедова о том, как она одной из первых девушек-азербайджанок стала летчицей бакинского аэроклуба. Вместе со своими боевыми подругами она сражалась с немецкими стервятниками над Волгой и Воронежем, Курском и Украиной. С большой теплотой вспоминает бывшая летчица своих подруг: Клазу Нечаеву, Женю Прохорову, Лиду Литвяк, Галю Рабинович, Валерию

Хомякову, а также Героя Советского Союза Марину Михайловну Раскову.

Выступая на митинге на Красной площади 22 июня 1963 года, Валентина Терешкова говорила:

— Нас, женщин, окрыляли трудовые подвиги Паши Ангелиной, героизм Марины Расковой, мужество и бесстрашие Зои Космодемьянской, честь и трудолюбие Валентины Гагановой и Надежды Григорьевны Заглады и многих, многих других советских женщин.

В числе тех, кто вдохновлял на подвиг первую женщину-космонавта,— и бывшая летчица, ныне министр социального обеспечения Азербайджанской ССР Зулейха Сеидмамедова.

Л. Серебряник.

★

РОБЕРТ ЮНГ. Лучи из пепла. История одного возрождения. Перевод с немецкого. Издательство иностранной литературы. М. 1962. 290 стр. Цена 55 к.

Многие читали книгу Роберта Юнга «Ярче тысячи солнц». Он рассказал в ней, как наука, постепенно проникая в тайны строения материи, открыла таящуюся в ней гигантскую энергию, как она сумела высвободить эту энергию и использовать ее грозную, разрушительную силу. Он рассказал историю создания атомной бомбы.

«Лучи из пепла» — это повествование о том, какое страшное бедствие принес людям первенец атомной эры — атомная бомба американцев, сброшенная на Хиросиму. Рассказ двух главных персонажей книги Кадзуо М. и Итиро Кавамото, переживших хиросимскую трагедию, возвращает нас к 6 августа 1945 года. А затем шаг за шагом воссоздает картину возрождения города.

Ныне на месте испепеленной и сравненной с землей Хиросимы, на месте «атомной пустыни» вырос новый современный город, наполненный жизнью, деловой суетой. Возрос даже (по официальным данным) жизненный уровень его жителей. Хиросима возрождена. От былой трагедии, казалось бы, не осталось и следа. Но это не так. «Не казенные и помпезные здания напоминают в Хиросиме о прошедшей войне. а люди, в крови, тканях и зародышевых клетках которых навеки выжжен знак «того дня».

Через десятилетия проявляются поздние заболевания лучевой болезнью, появляются новые, еще неизвестные опухолевые болезни, сказываются вторичные последствия радиации — нарушение деятельности мозга, сердца, органов дыхания.

Книга Роберта Юнга пытается осмыслить послевоенную историю Хиросимы. Работая над ней, он познакомился со многими жертвами атомной бомбы. «И тут я начал понимать,— пишет Юнг,— какое новое несчастье надвигается на человечество... Пусть каждый найдет свой путь для борьбы за сохранение жизни на земле. И пусть он относится к этому очень серьезно».

Юнг заставляет читателя задуматься над вопросом, что же надо сделать для того, чтобы не повторились ужасы Хиросимы.

Л. Лерер.

★

ЛАСЛО ЯКУЧ. В подземном царстве. Перевод с венгерского М. П. Ульрих. Географгиз. М. 1963. 272 стр. Цена 71 к.

Человек XX века устремляется не только в космос, но и в глубь земли. Ведь только в наше время по-настоящему началось изучение подземного мира — царства вечного мрака. Смелые люди по веревочной лестнице спускаются в пропасти и затем ищут новые ходы, чтобы проникнуть еще глубже в подземелье.

Что же ждет спелеолога — разведчика земных глубин? Какую награду и удовлетворение он получает за свой тяжелый и опасный труд? Об этом живо и увлекательно рассказывается в книге венгерского спелеолога Ласло Якуча.

«С едва видимого глазом потолка свисали метровые сталактиты, на зеленовато-серых каменных стенах сверкали всеми цветами радуги кристаллические натски. И все это великолепное зрелище отражалось в воде ручья... Темно-зеленая вода и свисающие над ней удивительные кружева красных, желтых и белоснежных сталактитов создавали игру красок, не поддающуюся никакому описанию».

Но дело не только в неопишуемой красоте подземных глубин. Под землей спелеологи находят пещеры, которые служили в глубокой древности убежищем для человека. В них обнаруживают золу давно потухших очагов, останки первобытного человека, каменные орудия и другие предметы, кости мамонтов, пещерных медведей, гиен, львов и других животных.

Исследование подземных вод имеет и большое народнохозяйственное значение при проектировании электростанций, обеспечении населенных пунктов питьевой водой, орошении. Так, в результате изучения пещер и подземных течений удалось в достатке снабдить венгерский город Мишкольц питьевой водой. В другом районе были разведаны месторождения доломита.

Ласло Якуч отмечает, что учеба в Москве помогла ему поставить изучение подземного царства на научные основы и избежать рискованных операций и ошибок.

В. Яунзем.

★

К. С. СИМОНЯН. Путь хирурга. Страницы из воспоминаний о С. С. Юдине. Медгиз. М. 1963. 93 стр. Цена 14 к.

Новатор, спасший тысячи людей резекциями желудка и операциями по созданию искусственного пищевода, пылкий мыслитель, разработавший учение о переливании трупной крови, человек неукротимого темперамента и большой эрудиции — таким

был замечательный советский хирург, действительный член Академии медицинских наук СССР профессор Сергей Сергеевич Юдин.

Книга ученика Юдина Кирилла Симоняна помогает заглянуть в творческую лабораторию великого энтузиаста медицины. Она не претендует на строгую биографичность и последовательность изложения; в ней — отрывистые воспоминания, ненужные, на первый взгляд, подробности. Так ли уж важно, например, описание рук Юдина, сравнение их с руками Вертинского и Конрада Вейдта? Оказывается, очень важно! Руки хирурга, как и руки музыканта, — наиболее выразительное «орудие производства». Гибкие, мягкие, с длинными, до неправдоподобия подвижными пальцами — руки виртуоза, спасающие от смерти, возвращающие радость и веру в жизнь.

Скупыми, но выразительными штрихами рисует Симонян внешний облик хирурга. Он рассказывает об Институте имени Склифосовского, который многие годы возглавлял Юдин. Медики различных стран, различных школ и направлений стремились побывать в этой «хирургической Мекке». Один известнейший хирург говорил: «Когда я приезжаю в Москву, я считаю своим долгом сходить в Художественный театр и художественную мастерскую Сергея Сергеевича...»

Штрихи характера, вкусы Юдина, рассказ о сложнейших операциях, сделанных им, его мысли о дальнейшем развитии медицинской науки — все это, вместе взятое, и создает полнокровный и яркий образ человека, отдавшего себя медицине.

Эта небольшая книга увлекательно рассказывает о самой гуманной из профессий — профессии борцов за жизнь и здоровье людей.

Л. Кафанова.

★

Н. ЖДАНОВ. Детство современника. Повести. Детгиз. М. 1962. 368 стр. Цена 79 к.

Герои трех повестей, собранных в этой книге, — мальчишки, свидетели, а то и случайные участники больших и малых событий: Гришутка Кременцов, который приехал с бабушкой в Петроград в дни Октябрьского восстания («Петроградская повесть»), юный нахимовец Дуся Парамонов, привыкший к первым шагам трудной «морской жизни» («Морская соль»), Митя Птахин, детскими глазами увидевший большую стройку Волжского гидроузла («Новое море»). За приключениями этих ребят следишь с неподдельным, искренним интересом.

Николай Жданов умеет писать о детях. Умеет воссоздать непосредственность, чистоту детского мировосприятия, не навязывая своим юным героям «взрослых» движений души, «взрослой» логики поступков.

Рассказывая, например, о том, как Гришутка попал в самый водоворот Октябрю-

ских событий, автор не поддается соблазну поразить юного читателя и с этой целью представить дело так, будто мальчик играет заметную роль во всем происходящем. Да, Гришутка был на Дворцовой площади во время штурма Зимнего. Но при всем этом он именно случайный свидетель событий, потому что иным не может еще быть.

И события, давно нам известные и вроде бы до малейших деталей знакомые, предстают перед нами в новом свете: в восприятии мальчика как-то особенно ясно ощущается не только героический, но и глубоко человеческий пафос октябрьских дней.

Книга написана искренне, сердечно, и даже самые драматичные эпизоды Н. Жданов умеет изобразить точно, скупло, без риторики: «На каменном щебне лежал юнкер. Он лежал лицом вниз, смолянистые волосы на его затылке топорщились от ветра, и темная, стынущая струя медленно текла по булыжнику из-под его головы... Я беспомощно оглянулся и, должно быть, в моих глазах отразились растерянность и страх и неподготовленность к зрелищу смерти. Во всяком случае, керосинщик, подошедший к нам, сказал серьезно и тихо:

— Вам тут нечего делать, ребята...

И, сняв свой фартук, накрыл им убитого».

Не вся книга написана с такой художественной сдержанностью и точностью. Но лучшие ее страницы — те, где автор стремится к достоверности простого, безыскусного рассказа.

М. Хитров.

★

ВАСИЛИЙ ГЛОТОВ. Пути и думы. Стихи. «Советский писатель». М. 1962. 100 стр. Цена 10 к.

Книжка В. Глотова привлекает своей содержательностью, существенностью тематики и мотивов.

Уроженец Сибири, Глотов пишет о своих родных местах, об алтайской целине, о новоселах, но и об Украине, где он живет со времени окончания войны, и две эти темы органически соприкасаются и дополняют одна другую в его простых, неприятельных по форме, но нередко выразительных стихах («На Оби», «Побратимы» и др.).

Третья тема В. Глотова (с нее он и начал в поэзии) — тема фронтовых буден Отечественной войны. Этот раздел, дополненный, впрочем, стихами об армии в мирное время, автор относит в конец книги, но вряд ли следовало это делать: хронологический порядок расположения стихов лучше уже потому, что дает в большей наглядности рост поэта от стихотворения к стихотворению.

В книге есть стихи, без которых она могла бы с пользой для себя обойтись (например, «Дума», «Руки», «Особняк»).

Нехорошо, что в разделе, называемом «В родном краю», слыхком часто синева рифмуется с травой: дело не в рифмовке,

а в том, что это обнаруживает как бы бедность словаря, нехватку слов, а следовательно, и бедность мысли. Иногда автору изменяет слух, и у него складываются строки весьма банального толка.

Но в целом появление этой книжки можно поставить издательству в заслугу.

А. Т.

★

И. ГРАНТ. По ту сторону... Из жизни моих знакомых. Перевод с немецкого. Госполитиздат. М. 1963. 104 стр. Цена 15 к.

Франц и Ганночка, Вольфганг и Эльфрида Томашек, мастер Ган и владелец фирмы по экономическим вопросам Вильгельм Джон — совершенно незнакомые друг другу люди. Но все они живут западнее Бранденбургских ворот, что и определило их судьбы. Одни из них очутились на улице, другие стали нищими, третьи обанкротились и попали в тюрьму, а старый добрый мастер Ган покончил жизнь самсубийством.

О том, как все это произошло, читатель узнает из этой небольшой книги, написанной рукой опытного журналиста, сумевшего в обыденной, на первый взгляд ничем не примечательной жизни своих героев увидеть острые социальные проблемы, которые ежедневно заставляют жить западноберлинцев в тревоге.

Неразрешимость этих проблем и приводит героев книги либо к трагическому концу, либо заставляет смириться, уйти от всякой борьбы в серенькие будни зыбкого и иллюзорного «мещанского счастья». Так, например, поступили жильцы одного из домов по Ораниенштрассе. Их отказ от борьбы за свои права привел к тому, что квартирная плата еще более повысилась, жизнь стала еще труднее, безрадостней.

Много бед выпало на долю жителей Западного Берлина. Но кое-кому здесь живется неплохо. Вот один из преуспевающих — господин Вермин. Он получает хорошее жалование, потому что многие западноберлинцы вообще не имеют работы. Своей прекрасной квартирой он обязан им же: они оплатили строительство. И уж, несомненно, преуспевает бургомистр Западного Берлина Вилли Брандт, который так усердно служит своим заокеанским хозяевам.

Вот, пожалуй, и все герои, с которыми встретится читатель в книге, и каждого из них он оценит по достоинству.

Г. Трофимов.

★

В. МАЯКОВСКИЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ. Гослитиздат. М. 1963. 732 стр. Цена 1 р. 74 к.

В только что вышедшем сборнике «В. Маяковский в воспоминаниях современников» представлены написанные в разное время воспоминания сорока пяти авторов. Многие из них доработаны и дополнены специально для сборника, тринадцать публику-

ются впервые. Из огромной мемуарной литературы о Маяковском составитель сборника Н. Реформатская выбрала наиболее интересные и разносторонне характеризующие поэта. Содержательны примечания, в которых дополнительно приведены многие документы и отрывки из воспоминаний, не вошедших в основной состав книги. Принцип композиции сборника дает возможность читателю увидеть Маяковского в самых различных ситуациях, встречах, столкновениях и при этом воспринять характер поэта в динамике, как бы проследить весь путь его развития.

Мы видим Маяковского не по летам серьезным мальчиком, уже занятым революционной работой, но совсем по-мальчишески прибавляющим себе годы. Видим его юношей, занимающимся живописью («Он мне очень понравился... Подготовлен он был слабо, но очень понравился мне своим свободным, открытым лицом, скромностью, застенчивостью. А самое главное — сразу было видно, что он не кулачок, рассчитывающий на искусстве нажить деньги», — пишет учитель Маяковского художник П. Келин). Встречаем его на премьере трагедии «Владимир Маяковский», на улицах Петрограда в октябрьские дни. Мы присутствуем при его работе в РОСТА, на репетициях в театре Мейерхольда, на выступлениях перед читательской аудиторией, в дружеском кругу.

Нам дана возможность узнать о поэтических и человеческих пристрастиях и антипатиях поэта, узнать его любимые стихи, увидеть, как он работал.

О Маяковском в сборнике пишут люди разные и по-разному удаленные или приближенные к его судьбе, пишут и о главном, и о случаях незначительных, хотя и характерных. Порой воспоминания спорят между собой. Но из всей суммы свидетельств возникает живой образ поэта с его сложным, подчас противоречивым характером и совсем не легкой судьбой.

Книга эта объективно, не сглаживая острых углов (в этом же духе написана и вступительная статья З. Паперного), рисует облик Маяковского, и тем самым она неизбежно развенчивает лживые легенды о поэте: и бытовые представления о нем как о футуристе-хулигане в желтой кофте, и олеографические изображения, где поэт не похож сам на себя.

Очевидно, такой сборник можно было бы дополнить, так как и он оставляет еще некоторые «белые пятна» в творческой биографии Маяковского. Так, недостаточно показана литературная борьба двадцатых годов, обойдены взаимоотношения Маяковского с Горьким (представлены только первые годы знакомства), нет воспоминаний его зарубежных друзей — поэтов, переводчиков, художников, артистов.

Но и в настоящем своем виде сборник представляет большой интерес для всех любящих Владимира Маяковского.

В. Швейцер.

И. И. СТАРЦЕВ. Вопросы детской литературы и детского чтения. 1918—1961 гг. Библиографический указатель книг и статей по истории, теории и критике. Детгиз. М. 1962. 286 стр. Цена 1 р. 1 к.

Пока не написана критическая история детской литературы, ее в какой-то мере заменяет история описательная — библиография. У последней, впрочем, есть свои преимущества: все выводы и наблюдения, связанные с детокой книжкой, читатель может сделать сам.

И. И. Старцев, автор девяти библиографических выпусков, охватывающих всю историю советской детской литературы до самых последних лет, предлагает на этот раз первый в своем роде указатель критической литературы по детской книжке. При всем том, что указатель не претендует на исчерпывающую полноту, он одним своим объемом опровергает ходячее мнение, будто о детской литературе писали мало. Нет, писали довольно много, хотя и неравномерно по годам и не всегда квалифицированно.

Библиографические сведения в справочнике систематизированы по шести разделам: общие вопросы, материалы по истории детской литературы, литературоведение и критика (русская, национальные, зарубежные литературы, театр и драматургия, журналы и газеты), педагогика детского чтения, оформление и иллюстрирование детских книг, библиографические указатели и пособия.

Помощь такого справочника всем интересующимся книгой для детей несомненна. И если стоит говорить о его недостатках, то лишь потому, что они характерны для подобных библиографий.

Прежде всего о заметных пропусках.

Оправдывает ли их фраза из предисловия: «Не претендуя на исчерпывающую полноту...», если пропущены многие статьи, бывшие когда-то в центре внимания (например, статья Г. Рихтера «В поисках занимательности...», напечатанная в «Литературной газете» 10 марта 1956 года, статья С. Маршака «Дети отвечают Горькому», печатавшаяся в «Правде» 18 мая 1934 года, и др.)?

Или о принципе отбора библиографических сведений. Зачем включать в библиографию по советской литературе, например, статью Л. Толстого «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?», опубликованную в журнале «Ясная Поляна» век тому назад, или статью В. Белинского «О детских книгах» из «Отечественных записок» за 1840 год? Есть ли смысл упоминать, скажем, статью «О линейных мерах», принадлежащую перу С. Маршака, но не имеющую прямого отношения к детской литературе?

Составитель называет только статьи и не называет рецензии. Но, не говоря уже о том, что он много раз нарушает свой принцип, почему, скажите, толковая рецензия заслуживает меньшего внимания, чем бессодержательные статейки типа «Больше хороших детских книг» или «Повысить уровень литературы для детей»?

Наконец, об ошибках. Они в библиографии коварны. Одна неточная цифра — и вы «открываете» в 1938 году газету «Литература и жизнь», писательницу Марию Прилежаеву, а заодно и автора статьи о ней С. Алексеева.

Хотелось бы видеть такую библиографию, которой можно безоговорочно доверять.

Вл. Глоцер.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

✱

ГОСПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О партийном, государственном и общественном контроле. Сборник. 285 стр. Цена 50 к.

Открытое письмо Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза партийным организациям, всем коммунистам Советского Союза. 63 стр. Цена 6 к.

Н. С. Хрущев. Предотвратить войну, отстоять мир! Речи, беседы и выступления. 447 стр. Цена 74 к.

Н. С. Хрущев. Марксизм-ленинизм — наше знамя, наше боевое оружие. Речь на Пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 21 июня 1963 г. 48 стр. Цена 6 к.

Н. С. Хрущев. В единую строю — к великой цели! Речь на митинге германо-советской дружбы в Берлине 2 июля 1963 г. 31 стр. Цена 4 к.

Н. С. Хрущев. Братский союз, нерушимая дружба! Речь на митинге советско-венгерской дружбы 19 июля 1963 г. 31 стр. Цена 4 к.

К 145-летию со дня рождения Карла Маркса. Сборник статей. 623 стр. Цена 85 к.

ИПСС. Справочник. 343 стр. Цена 57 к.

А. Караваева. Вечнозеленые листья. Дневник писателя. 176 стр. Цена 22 к.

Н. Карев. Разноэтажная Америка. 222 стр. Цена 34 к.

О религии. Хрестоматия. 599 стр. Цена 88 к.

Проблемы политической экономики социализма. Сборник статей. Выпуск 1963 г. 359 стр. Цена 95 к.

Сильнее смерти. Воспоминания, письма, документы. 128 стр. Цена 15 к.

СССР и страны Африки. 1946—1962 гг. Документы и материалы. В двух томах. Том I (1946 г.— сентябрь 1960 г.). 764 стр. Цена 1 р. 75 к.

Справочник агитатора. 352 стр. Цена 58 к.

Гэс Холл. Покончить с «холодной войной». 56 стр. Цена 8 к.

СОЦЭНГИЗ

Ф. М. Бурлацкий. Государство и коммунизм. 247 стр. Цена 45 к.

М. С. Любский, Г. О. Сокольников. Прогнозирование империализма ФРГ в слаборазвитые страны. 182 стр. Цена 28 к.

Счерки новой и новейшей истории Венгрии. 415 стр. Цена 1 р. 19 к.

Рабочее движение в России в XIX веке. Том IV. 1895—1900. Часть вторая. 1898—1900. 918 стр. Цена 1 р. 50 к.

И. А. Тихонов. Материально-техническая база коммунизма и производительность труда. 296 стр. Цена 64 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

К. Багриновская. Ничей. Повесть и рассказы. 208 стр. Цена 30 к.

А. Баужа. Огни на дороге. Рассказы. Перевод с литовского. 168 стр. Цена 28 к.

Е. Брандис, В. Дмитриевский. Через горы времени. Очерк творчества И. Ефремова. 220 стр. Цена 71 к.

В. Войнович. Мы здесь живем. Повесть. 104 стр. Цена 15 к.

Г. Калиновский. Капитан поднимается на мостик. Рассказы. 216 стр. Цена 30 к.

Х. Камалов. Вишневая гора. Стихи. Перевод с татарского. 64 стр. Цена 8 к.

И. Константиновский. Возвращение в Бухарест. Роман. 392 стр. Цена 66 к.

П. Кустов. Беломорье. Стихи. 152 стр. Цена 15 к.

Р. Лунгу. Чудесное лекарство. Рассказы. Перевод с молдавского. 128 стр. Цена 17 к.

И. Радволина. До новой встречи, друзья! Очерки. 244 стр. Цена 43 к.

Б. Смирнов. Испанский ветер. Записки летчика. 308 стр. Цена 57 к.

Н. Тарасенкова. Как это все сказать. Рассказы. 208 стр. Цена 30 к.

П. Тартаковский. Дмитрий Кедрин. Жизнь и творчество. 256 стр. Цена 49 к.

Т. Хмельницкая. Голоса времени. Статьи о современной советской и зарубежной литературе. 416 стр. Цена 92 к.

Г. Цурикова. Борис Корнилов. Очерк творчества. 248 стр. Цена 45 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

К. Григорьян. Творческий путь Аветика Исаакяна. 184 стр. Цена 45 к.

Фахриддин Гургани. Вис и Рамин. Поэма. Перевод с персидского. 496 стр. Цена 2 р.

Ан. Дремов. Образ нашего современника в советской литературе. 160 стр. Цена 20 к.

Ленин и литература. Сборник статей. 272 стр. Цена 77 к.

Мария Майерова. Медальон. Повести и рассказы. Перевод с чешского. 400 стр. Цена 70 к.

С. Марвич. Сыновья идут дальше. Роман. 656 стр. Цена 1 р. 30 к.

Гилемдар Рамазанов. Стихи. Перевод с башкирского. 232 стр. Цена 41 к.

Джон Стейнбек. Жемчужина. Квартал Тортилья—Флэт. Повести. Перевод с английского. 263 стр. Цена 69 к.

Максим Танк. Стихотворения. Перевод с белорусского. 296 стр. Цена 47 к.

Наби Хазри (Бабаев). Лирика. Перевод с азербайджанского. 228 стр. Цена 39 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Безыменский. Партбилет № 224332. Стихи о Ленине. Воспоминания. 176 стр. Цена 35 к.

Г. Гор. Кумби. Научно-фантастические повести. 272 стр. Цена 55 к.

Г. Гулиа. Дмитрий Гулиа. Повесть о моем отце. 256 стр. Цена 54 к.

Ион Друцэ. Степные баллады. Роман. 208 стр. Цена 32 к.

Мирослав Зикмунд. Иржи Ганзелка. Переворотный полумесяц. Перевод с чешского. 344 стр. Цена 99 к.

Ю. Ильинский. За ядовитыми змеями. Повесть. 176 стр. Цена 42 к.

В. Песков. Шаги по росе. 352 стр. Цена 87 к.

Л. Татаренко. Синее дерево. Лирика. 144 стр. Цена 30 к.
С. Шуртанов. Первое свидание. Рассказы и повесть. 176 стр. Цена 41 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Э. А. Асратян, П. В. Симонов. Надежность мозга. 136 стр. Цена 21 к.

Л. Т. Бугаенко, Е. П. Калязин. Химия радиационная (Химическое действие ядерных излучений). 136 стр. Цена 20 к.

Вопросы античной литературы в зарубежном литературоведении. 191 стр. Цена 50 к.

И. Н. Голенищев-Кутузов. Итальянское Возрождение и славянские литературы XV—XVI веков. 416 стр. Цена 2 р. 33 к.

Б. В. Горнунг. Из предыстории образования общеславянского языкового единства (Доклады советской делегации). V Международный съезд славистов (София, сентябрь 1963). 144 стр. Цена 48 к.

Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 г. 695 стр. Цена 2 р. 4 к.

С. К. Даронян. Микаэл Налбандян. 200 стр. Цена 32 к.

Древнерусское искусство XV — нач. XVI в. 296 стр. Цена 2 р. 68 к.

Итальянские гуманисты XV века о церкви и религии. 391 стр. Цена 1 р. 51 к.

В. С. Кулебакин, В. Д. Нагорский, Ю. Е. Воскресенский. Полупроводники в автоматике. 151 стр. Цена 55 к.

Культура индейцев. Вклад коренного населения Америки в мировую культуру. 328 стр. Цена 1 р. 33 к.

О чертах личности нового рабочего. 248 стр. Цена 90 к.

Э. В. Померанцева. Русская народная сказка. 128 стр. Цена 28 к.

Проблемы логики. Сборник статей. 152 стр. Цена 44 к.

Развитие современного русского языка. Сборник статей. 172 стр. Цена 67 к.

А. Н. Робинсон. Жизнеописание Авакума и Епифания. Исследование и тексты. 316 стр. Цена 1 р. 15 к.

Строительство коммунизма и проблемы культуры. Сборник статей. 472 стр. Цена 2 р.

П. Ф. Швецов. Мерзлые слои земные, их распространение и значение. 103 стр. Цена 17 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Белая лодка. Рассказы и очерки. 196 стр. Цена 45 к.

В. Владимиров. Путешествие в далекое и близкое. Очерки. 280 стр. Цена 61 к.

А. Волков. Урфин Джос и его деревянные солдаты. Сказочная повесть. 236 стр. Цена 1 р.

Дерзание. Сборник спортивных рассказов. 160 стр. Цена 29 к.

Лесорубы России. Сборник очерков. 128 стр. Цена 11 к.

Н. Мельников. Звездные капитаны. 256 стр. Цена 39 к.

Н. Поздняков, А. Скорняков. За создание материально-технической базы коммунизма. 136 стр. Цена 24 к.

М. Поповский. Разорванная паутина (Об академике К. И. Скрябине). 136 стр. Цена 16 к.

А. Садовский. Жоржины годы. 272 стр. Цена 40 к.

Спортивные песни и марши. Сборник. 232 стр. Цена 59 к.

«КАРТА МОЛДОВЕНЯСКЭ» (КИШИНЕВ)

В. Малева. Песня пробивает себе путь. Повесть и рассказы. Перевод с молдавского. 240 стр. Цена 49 к.

Молдавская новелла. Сборник. Перевод с молдавского. 287 стр. Цена 58 к.

А. Семенов. Незабываемые встречи с В. И. Лениным. 32 стр. Цена 3 к.

МАГАДАНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. Вяткин. Человек рождается дважды. Роман. Книга I. 319 стр. Цена 67 к.

А. Зимкин. У истоков Колымы. Записки геолога. 183 стр. Цена 28 к.

НОВОСИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. Мисюров. След беглеца. Сороки. Рассказы о былом. 152 стр. Цена 66 к.

Г. Михасенко. В союзе с Аристотелем. Повесть. 179 стр. Цена 68 к.

РОСТОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

С. Званцев. Сатира. Юмор. 427 стр. Цена 97 к.

Молодые, разные. Стихи и проза молодых. 311 стр. Цена 47 к.

С. Швецов. Отчий дом. Повесть. 159 стр. Цена 28 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).

Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 14/VI 1963 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 21/VIII 1963 г.

А 03907. Формат бумаги 70×108/16. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 120.600

Зак. 1140.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖНИК РСФСР»
ВЫПУСКАЕТ:**

книги и альбомы, посвященные творчеству отдельных художников и творческих коллективов,
популярные брошюры,
мемуарную литературу,
сборники, освещающие теоретические вопросы современного развития изобразительного искусства,
репродукции и открытки с произведений живописи, скульптуры, графики,
факсимильные репродукции с произведений русских и советских художников.

Вышли в свет альбомы и книги, посвященные творчеству видных мастеров советского театрально-декорационного искусства:

А. Я. Головин. «Театральные эскизы».

Альбом содержит 16 репродукций эскизов декораций и костюмов и вступительную статью о творчестве их автора — народного артиста РСФСР А. Я. Головина. Объем 5 п. л. + 16 илл. Цена 2 руб.

М. П. Бобышов. «Театральные эскизы».

Альбом посвящен творчеству народного художника РСФСР М. П. Бобышова. Состоит из 16 репродукций эскизов декораций и вступительной статьи о творчестве художника. Объем 12 п. л. Цена 3 руб.

М. Пожарская. «Н. Н. Медовщиков».

Монография рассказывает о творчестве заслуженного деятеля искусств РСФСР и Кабардино-Балкарской АССР, лауреата Государственной премии Н. Медовщикова. Книга иллюстрирована воспроизведениями его работ. Объем 2,2 п. л. + 2 цв. вкл. Цена 19 коп.

А. Михайлова. «И. В. Севастьянов».

В монографии освещается творческий путь заслуженного деятеля искусств РСФСР И. Севастьянова — главного художника Новосибирского государственного театра оперы и балета. Издание иллюстрировано. Объем 3,75 п. л. + 4 цв. вкл. Цена 40 коп.

Издания можно приобрести во всех книжных магазинах. По желанию читателей издательство высылает книги и альбомы наложенным платежом. Наш адрес: Ленинград, Центр, ул. Якубовича, 2/3, издательство «Художник РСФСР».